В·КАВЕРИН

5

В·КАВЕРИН
5



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1982

В·КАВЕРИН

•

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ВОСЬМИ ТОМАХ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1982

В. КАВЕРИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ПЯТЫЙ

ОТКРЫТАЯ КНИГА
РОМАН
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ
ПОВЕСТЬ

КОСОЙ ДОЖДЬ
ПОВЕСТЬ

ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ
РОМАН



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1982

Р2
К13

Оформление художника
М. ШЛОСБЕРГА

К $\frac{4702010200-319}{028(01)-82}$ подписное

ОТКРЫТАЯ КНИГА

РОМАН

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

НАДЕЖДЫ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

А ЖИЗНЬ ИДЕТ

Вступление

— Москва, Москва... Да вы садитесь, товарищ Власенкова. Длинная история. Не дают нам Москву!

Дождь стучит по крыше маленького здания телеграфа в маленьком пограничном городке. Заливает окна, журчит вдоль панели, брызгая, выбегает из водосточной трубы. Без отдыха, без умолку. На стеклах, в сливающихся струях воды переламывается свет фонаря.

— Подождем, товарищ Власенкова. Видно, Москве не до нас!

Да, подождем. Телеграфистка похожа на Машеньку Спешневу — худенькая, прямая, с мягкими движениями, с нежным лицом. Я смотрю, как она работает — тонкие пальцы ловко, с треском вставляют в гнезда шнуры.

— Вы бы прилегли, товарищ Власенкова. У вас лицо усталое. Я разбужу, когда дадут Москву.

— Спасибо. Я подожду.

А ведь, правда, как хочется спать! Дождь стучит успокоительно, равномерно, и под это постукиванье и журчанье, под этот раздробленный, пробегающий топот спит городок. За десять тысяч километров от фронта, от Москвы, от всего, о чем говорено-переговорено, думано-передумано, спит городок. Что же делаем здесь мы в эту ночь, в эти дни, за десять тысяч километров от фронта?

«Проводим мероприятия» — за кордоном были случаи азиатской холеры. Даем бактериофаг — пограничникам и населению. Всех приезжающих из-за рубежа сажаем на

шесть дней в карантин. Уничтожаем продукты, которые они привозят с собой. Встречаем пароходы, дезинфицируем грузы...

Нет холеры, ложная тревога! Давно пора возвращаться в Москву. Нельзя вернуться, нет приказа. Нельзя вернуться, молчит, не отвечает Москва.

— Алло, кто на проводе? Вызываю Москву.

Все мешается в голове. Сплю и не сплю. Андрей выходит из темноты, из туманного света, который, дрожа, переливается на залитом водой стекле. Где ты, мой дорогой? Здоров ли? Почему, не дождавшись меня, отправил Павлика с бабушкой в Лопахин — ведь мы условились, что они будут ждать моего возвращения в Москву? Почему в Лопахин, где у нас давно уже нет ни родных, ни друзей? Ах, как беспокойно, тревожно на сердце! Как волнуется, томится душа!

— Москва, Москва... Занят провод. Не отвечает Москва.

Завернутый в газету завтрак лежит в кармане пальто. Я разворачиваю газету. «Особенно ожесточенные бои происходили на Клинском, Волоколамском, Тульском и Ростовском (Ростов-на-Дону) участках». В десятый раз я перечитываю последнюю сводку.

— Хотите бутерброд?

— Спасибо, некогда.

Сплю и не сплю. Стучит дождь, стучит девушка телеграфным ключом. Полно, да в Термезе ли я? Просторный город с раскинувшейся, просторной рекой открывается передо мной. Ростов? Фонари нежно и ярко освещают липы бульвара. Где Митя? «Скучаю без вас,— писал он в последнем письме.— Ну, не преступленье ли, что мы видимся так редко?»

Да, мы могли видеться чаще. Не так уж много на свете людей, без которых хотя и можно, но не очень хочется жить. Зачем же мы — я и Андрей — позволили, чтобы он столько лет, семь или восемь, прожил так далеко от нас? Он один, у него не удалась — кажется, не удалась? — жизнь. Он стареет, у него поседели виски. Что придумать, как поступить, чтобы он вернулся в Москву?

Поздно. Неподвижно висят черные, страшно освещенные тучи — над полями и лесами, над морями и реками, над городами и селами.

— Москва, Москва! Не отвечает Москва.

Дверь хлопает, я открываю глаза. Высокий человек с

мокрым лицом, в мокром плаще входит в комнату. Это Виктор Мерзляков — наяву, не во сне.

— Татьяна Петровна, я пришел вас сменить. Я у хозяйки зонтик взял. Вот он. Идите к себе, отдохните.

— Зачем вы вскочили, Витя? Мне нельзя уйти. А ну, как уйду — и дадут?

— Москва, Москва... Кто на проводе? Москва? Центр шесть шестьдесят один пятьдесят четыре. Алло! Товарищ Власенкова, возьмите трубку.

— Дежурный по Наркомздраву слушает.

— Дайте Малышева... Михаил Алексеевич, это вы? Говорит Власенкова.

— Слушаю вас, Татьяна Петровна.

— Докладываю: работа полностью закончена. Предположения не подтвердились. Прошу разрешения вылететь в Москву.

— Нет, Татьяна Петровна. Вылетайте в Ташкент.

— В Ташкент?

— Да. На месте получите спецзадание.

Пауза.

— Одна или с группой?

— Кто с вами?

— Мерзляков и два лаборанта.

— Мерзлякова оставьте для дальнейшего наблюдения.

— Михаил Алексеевич, а вы не думаете, что в Москве я...

— Поменьше вопросов, Татьяна Петровна. Институт эвакуирован в тыл.

Снова пауза.

— Андрея Дмитриевича видел на днях. Вернулся с фронта и опять уехал. Справлялся о вас. Сообщил ему, что вы живы-здоровы.

— Я-то что! Вы как?

— В порядке. Тороплюсь. Желаю счастья, Татьяна Петровна.

— Желаю счастья.

...Мы выходим на улицу, и Виктор раскрывает надо мной огромный, рыжий, старомодный зонт.

Дождь усиливается. Словно в бешеной битве, кружатся, сталкиваются, сливаются капли. Барабанят по крышам. Бегут по ночной пустынной улице спящего пограничного городка.

— Стало быть, я здесь остаюсь? Ну что же! И здесь найдется работа. Татьяна Петровна, как вы думаете, а что,

если на пробу залить фагом колодцы? Ведь, собственно говоря... Да вы, никак, плачете, Татьяна Петровна?

— Что вы, Витя! Это дождь. Когда же наконец кончится этот надоедливый дождь? Зайдем к начальнику погранотряда, Витя. Нужно справиться, когда идет самолет на Ташкент.

Почему с такой остротой запомнилась мне эта ночь в Термезе? Потому ли, что еще непривычными были горькие впечатления войны? Или потому, что я томилась сознанием оторванности, заброшенности в этом чистеньком, утонувшем в садах городке? Не знаю. Вскоре я поняла, что это — ложное чувство. Но тогда мне казалось, что все, чем мы занимаемся в нескольких тысячах километров от фронта, не имеет и не может иметь ни малейшего отношения к тяжкому испытанию войны.

...Я получила письмо из Лопахина: Агния Петровна сняла комнату на Малой Михайловской, недалеко от того дома, в котором когда-то жили мы с мамой. Знакомых она не нашла, кроме какого-то Дедюлина, который в те годы, когда Агния Петровна заведовала Домом культуры, работал в этом доме монтером. Но зато она случайно на улице встретилась с Агашей — той самой толстой, доброй, пугливой Агашей, которая еще до революции служила у Львовых. И Агаша, по старой памяти, взялась помогать бабушке по хозяйству. Я радостно вздохнула, прочтя эти строки: на Агашу, со всеми ее причудами, запомнившимися с детства, все же можно было положиться. Впрочем, и бабушка, судя по этому письму, была настроена бодро. Я боялась, что она растеряется,— нет! Фразы были короткие, почерк решительный, твердый, и по всему было видно, что Агния Петровна снова почувствовала себя прежней энергичной, деятельной, вырастившей двух сыновей хозяйкой «Депо проката роялей и пианино».

Андрей вернулся с фронта и с августа жил в Москве, один, в новой квартире в Серебряном переулке, которую мы получили перед самой войной. «Мы обменялись профессиями,— писал он,— ты стала, как сказал Маяковский, «певцом воды кипяченой и ярым врагом воды сырой», а я засел в лабораторию и занимаюсь известной тебе вакциной. Пока ничего не получается или почти ничего, причем дед утверждает, что на это «почти» он наткнулся еще в конце прошлого века. Я спросил: почему же в таком случае он бросил работу, и он ответил, что занялся другой, «менее безнадежной». Каков, а?»

Дед — это был Никольский, который, несмотря на все настояния родных и друзей, отказался уехать из Москвы, а вакцина, над которой работал Андрей, была вакциной против сыпного тифа. Что касается выражения «засел в лабораторию», то нетрудно было догадаться, что Андрей принимает желаемое за совершившееся, потому что он был назначен директором большого производственного института и в своей лаборатории мог бывать, увы, не больше двух-трех раз в неделю.

О том, каждый ли день он обедает, он не писал, а когда я наконец рассердилась, ответил, что на работе так хорошо, тепло и уютно, что он подчас предпочитает ночевать в институте, тем более что непривычно большая квартира без меня и Павлика представляется ему чем-то вроде пустыни Гоби...

Мы долго ничего не знали о Мите, а между тем кого только я не расспрашивала о нем! Куда ни закинула бы меня судьба или, точнее сказать, опасность эпидемической вспышки, везде я прежде всего искала ростовчан и, найдя, расспрашивала о Мите. Один военный врач, с которым я познакомилась в самолете, сказал, что Митя с лабораторией эвакуировался в Нальчик,— я немедленно написала туда и не получила ответа. В Красноводске какая-то медсестра, узнав, что я навожу справки о Мите, разыскала меня и, наговорив с три короба, напугала до смерти. Митя, по ее словам, тяжело заболел накануне отхода наших войск из Ростова и, безусловно, остался бы в городе, если бы не доктор Гордеева, которая спрятала его в погребе, выходила, а потом бежала с ним к партизанам. Я не поверила этой истории — мне показалось странным, что медсестра отзывалась о Мите с истерической восторженностью, а потом проговорилась, что видела его только раз на публичной лекции в Доме санитарной культуры. Но как я ни убеждала себя, что нельзя верить ни одному слову этой болтливой неприятной женщины, а все-таки думалось: ведь взялся же откуда-то этот слух! И тревожно, тоскливо становилось на сердце.

Я написала Андрею, и он согласился со мной, что все это вздор. Но что было делать с Агнией Петровной, которая каждое письмо начинала с вопроса: где Митя? «Только не скрывайте правды,— просила она.— Сердце чувствует, что с ним случилась беда, и лучше мне все сразу узнать, чем медленно убьет меня неизвестность».

Прошло два-три месяца, и вдруг — это было в Ташкенте, в конце декабря — один знакомый микробиолог спросил меня: «Вы знаете, что вас разыскивает Дмитрий Дмитриевич Львов?»

— Дмитрий Дмитрич? Да ведь я же сама его разыскиваю вот уже полгода!

— А он — вас. Или брата.

Я бросилась в институт, нашла этот, больше месяца пролежавший в канцелярии, узенький драгоценный листок — и сразу точно чья-то рука отвалила камень от сердца. Это был краткий, в двух словах, запрос обо мне и Андрее: не знают ли в институте, куда мы уехали из Москвы? Под Митиной — несомненно, Митиной — подписью стоял номер полевой почты.

Точно такой же запрос я нашла через две недели в Астраханском, потом в Куйбышевском бакинститутах. Митя поступил просто: он написал директорам всех бакинститутов — знакомым и незнакомым, справедливо рассчитав, что микробиологи должны знать, куда эвакуировались их товарищи по работе. В том, что мы с Андреем эвакуировались, он почему-то не сомневался.

Где же он пропадал так долго? Почему, когда мы наконец списались, ответил на мои вопросы глухо, невнятно, упомянув между строк, что прошел пешком больше тысячи километров? «Все расскажу при встрече. А вот встретимся ли, где и когда? Кто знает?»

Крутой поворот

Еще в юности, в ту далекую пору, когда я работала над своим первым рефератом, Николай Васильевич предостерегал меня от «комнатности» в научной работе, от опасности, которую таит в себе «стеклянный мир лаборатории». То были годы, когда я выбирала между деятельностью практического врача и наукой, смутно догадываясь, что не могу и не захочу жить без этого «стеклянного мира». И, вернувшись из зерносовхоза, на добрых восемь лет я засела в лабораторию, забыв и думать об этих предостережениях и опасениях. Впрочем, я не забыла о них. Но мне казалось, что самое направление работы, связавшее меня сперва с промышленностью, потом с клиникой, само по себе разрывает заколдованный круг, в котором живут многие люди науки. И началась — и продолжалась до са-

мой войны — та особенная полоса в моей жизни, когда с жесткой последовательностью я старалась отстранить от себя все, что отвлекало меня от дела науки.

Но вот в летний воскресный день 1941 года скрылась из глаз, как за крутым поворотом, прежняя жизнь, и вдруг стало ясно, что я жила за лабораторным стеклом. Как красная ракета — сигнал «к наступлению», вылетела я из привычной обстановки, и одна, без сотрудников, без лаборатории, принялась за дело, о котором до войны не имела никакого понятия. Из Москвы в Термез, из Термеза в Ташкент, потом Красноводск, Астрахань, Саратов. Лабораторный работник, занимавшийся изучением лекарств, я стала эпидемиологом, санитарным врачом. Как тысячи моих товарищей, я читала лекции по гигиене, добывала дрова для бань, инвентарь для больниц. Я воевала с местными администраторами, не желавшими тратить свое драгоценное время на такую малость, как противоэпидемическая защита. Я преследовала, разумеется с помощью милиции, спекулянтов, торговавших сансправками, без которых нельзя было купить железнодорожный билет.

Главная трудность заключалась в том, что необходимо было предупредить возникновение болезней не только в городах и селах, среди оседлого, живущего в привычных условиях населения, а среди сотен тысяч людей, медленно двигавшихся на восток по железным и шоссейным дорогам. Случалось, что на иных этапах этого громадного переселения возникала необходимость остановки, ожидания транспорта, происходили скопления, заторы. Вот сюда-то и посылали меня, как посылали других солдат и офицеров противоэпидемической службы.

Я сказала: солдат и офицеров — и не оговорилась. Мы действительно составляли армию — огромную армию, действовавшую незаметно, непрерывно, днем и ночью, на дорогах и вокзалах, в колхозах и на заводах. У этой армии был свой штаб, своя разведка, свои тактика и стратегия — и, разумеется, свой фронт, о котором в сводках Главного командования не упоминалось ни словом. Боевые действия на этом фронте то охватывали обширные пространства, то происходили в тесноте походных лабораторий. Фронт был незримый, без свиста бомб и грохота снарядов.

Часть моих сотрудников осталась в Москве, а другая, значительно меньшая, состоявшая из Виктора и Кати Димант, оказалась в Ташкенте. Разумеется, нечего было и

думать о научной работе, тем более что сама-то я в Ташкенте почти не жила, а только прилетала и улетала. Но все-таки мы затеяли кое-что, хотя у нас не было даже крыши над головой, не говоря уже о животных и аппаратуре.

Прошла неделя, другая, и нашлась крыша, подобралась аппаратура. Хуже было с мышами. Мышей не было,— конечно, белых, серые не годились для опытов,— и не было надежды, что удастся достать их, хотя в ту пору на ташкентском базаре, кроме небесных светил, можно было, кажется, достать все, что угодно.

И все-таки я отправилась на базар. Мне пришло в голову, что наше «кое-что» можно прекрасно испытать на морских свинках, тех самых, которые предсказывали судьбу по рублю за билетик.

Не стану подробно рассказывать о своих приключениях на ташкентском базаре: первая предсказательница, заподозрив во мне опасную соперницу, немедленно и решительно отвергла все предложения. Разговор со второй начался издалека: сперва я вытащила билетик, на котором было написано: «Ваше желание исполнится», потом еще один, на котором прочла: «Утешься! В твоих намерениях будет успех». Потом я дала понять, что предсказательница имеет дело с врачом. Поговорили о болезнях. Наконец узнав, что у предсказательницы проходят курс обучения еще десять свинок, я открыла карты и предложила продать всю партию за весьма солидную сумму. Если бы я предложила ей полет со мной на Луну, вероятно, это не вызвало бы большего изумления! Предсказательница ахнула, закусила губу и едва не трахнула меня ящиком, в котором находилось все ее несложное хозяйство.

Не все владельцы морских свинок встречали меня с таким острым чувством негодования. Один пожилой мужчина даже пригласил меня к себе и терпеливо выслушал мою страстную речь о том, что он может оказать человечеству неоценимую услугу. Но, выслушав, все-таки отказался, заявив, что человечество бог весть когда выиграет от моей затеи — да еще и выиграет ли? — а он уже и сейчас проиграет.

Наконец мне удалось купить двенадцать свинок. Но опыт поставить все-таки не удалось. Малышев вызвал меня в Москву и предложил заняться холерным бактериофагом, который, по сведениям, поступившим из оккупиро-

ванных местностей, мог понадобиться в условиях нашего контрнаступления — и действительно понадобился, когда оно началось.

Возвращение

Вся наша семейная жизнь состояла, в сущности, из одних только разлук и свиданий. Десятки раз мы подолгу жили далеко друг от друга, и можно было, кажется, привыкнуть к этим расставаниям, беспрестанно сменявшим друг друга. Но к этой разлуке было невозможно привыкнуть. Мне было бы легче, если бы война настигла нас одновременно и мы рука об руку вступили бы в эту новую, неизвестную жизнь. Но война началась, когда наша группа была в Термезе, и как я ни успокаивала себя, думая о том, что все близкие — если это правда — здоровы, что бабушка с Павликом и без меня прекрасно устроились в Лопахине, а Андрею удалось наладить свою холостую жизнь, все-таки время от времени становилось страшно, что все это произошло и продолжает происходить без меня. Теперь — наконец-то! — все мое стало моим: и то, что Павлику (об этом сказал мне Андрей на вокзале) можно отправить посылку со знакомым проводником вагона, и то, что Андрей не знал, хорошо ли он сделал, купив на рынке кило масла за 920 рублей, и то, что концентраты, которые выдали ему на работе, он положил в столовую, где температура редко поднималась выше нуля, и то, что в Институте профилактики половину сотрудников, по чести говоря, нужно уволить, а другую учить с азов, и т. д. и т. д.

...Неразобранные книги в связках лежат по углам, под диваном, на окнах. Паровое отопление не действует, и в самой маленькой из комнат (прежде в ней жила Агния Петровна) Андрей поставил железную печку, ту самую знаменитую «пчелку» или «буржуйку», о которой еще смутно помнили люди моего возраста, а кто помоложе, мог лишь прочитать в книгах о гражданской войне.

«Пчелка» топится давно, в комнате жарко. Все, что я привезла из Ташкента, стоит на столе. Это первый наш вечер в Москве. Мы обходим квартиру, которая без Павлика кажется мне не просто пустой, а пустынной, возвращаемся, садимся за стол и только теперь, наконец, рассматриваем друг друга — впервые в этом новом мире войны. Андрей побледнел, скулы торчат, на носу беленькие

параллельные косточки, как всегда, когда он худеет, и мне смешно, что, расставаясь с ним, я всегда забываю, что он красивый и что, когда он смеется, видны все его широкие белые зубы.

— Вспомнила?

— Почти. А ты?

Письма Агнии Петровны лежат перед нами, и среди них — дневник Павлика, который он ведет с первых дней эвакуации и который тайно от автора бабушка прислала в Москву.

«На второй день езды у нас опять кончилась вода, и мы ее больше не пили. Обед мы брали в вагоне-ресторане, но бабушка боялась ходить, и мы не брали. Света не было. *Отлично*».

Последнее слово написано красным карандашом — видимо, бабушка позволила Павлику изложить свои впечатления вместо диктанта.

«Когда приехали, долго сидели на улице, а потом пошли на вокзал. Скамейки были заняты, и многие, подстелив какой-нибудь платок, лежали на полу. Бабушка села в какую-то сметану, и ее пришлось вытирать...»

«Станция Лебедин, на которую мы приехали, называлась городом, но на самом деле это было большое село. Мы шли по пыльной дороге, уставали, маленькие плакали. Мы пришли поздно, легли спать на голый пол, потому что вещи были в поезде. На следующий день играли и бегали. Вторую ночь мы спали на сене. Так началась моя жизнь в Лебедине. Я радовался, когда приходили хорошие известия с фронта».

«Драка с Лелей. Однажды я вышел гулять в сад. Девочки кидались снежками с большим мальчиком Лелей. Он постепенно загнал нас в глубокий снег. Я провалился, а когда вылез, калоши на моем валенке не было. Старуха пряла пряжу. Только на другой день калоша нашлась буквально на метр в снегу».

Должно быть, старуха переехала в дневник со следующей страницы, на которой большими ужасными буквами были написаны грамматические упражнения.

Скоро год, как мы расстались с Павликом — как он, должно быть, изменился, как вырос! Хоть бы только раз посмотреть на него. Осенью он пойдет в школу — я не буду с ним в этот важный для него, надолго памятный день. Вот он пишет: «буквально на метр в снегу»,— в прошлом году он еще не знал этого слова.

Мы вздыхаем и смеемся одновременно, и Андрей ладонью вытирает мне глаза, и целует, и называет старушкой, как всегда, когда он особенно ласков со мной.

— Ничего, старушка! Давай-ка ложиться. Двенадцать часов.

...Огонь в печурке вспыхивает и меркнет, сквозь открытую дверцу видно, как медленно покрываются пеплом бархатно-красные угли. Встать бы, подбросить дровишек! Куда там! Разве можно изменить что-нибудь в этой тишине, в этом ровном дыханье Андрея? Осунувшееся лицо его кажется в полусумраке молодым, острые косточки скул торчат совсем как в далекие лопахинские годы. Так это он условился встретиться со мной на берегу Тесьмы в семь утра, потому что еще никто не назначал свиданий так рано? Пу́стынька была видна с набережной, плоты стояли на реке — так много, что можно было, не замочив ног, перейти на другой берег, утреннее солнце вспыхивало разноцветными лучами в облачках пара, поднимавшегося от сохнувших бревен.

И мне чудится, что я еду к нему по зимней, заваленной снегом Москве. Тишина, темнота! Только время от времени рассыпается сноп искр над трамвайной дугой, мгновенно озарив улицу неверным брызнувшим светом, да фосфорный значок на груди одинокого прохожего слабо забрезжит и растает во мгле. Он прилетел, он ждет меня на аэродроме. Неужели пройдет еще час, прежде чем я увижу его, прежде чем он снимет перчатки с моих замерзших рук и станет греть их своими губами?

Но вот уже утро, а я еще жду. Овальные тени сугробов медленно тают под желтым светом зари. Он приехал, но это не он. В полутемном вестибюле аэропорта кто-то другой подходит ко мне, высокий, с орлиным лицом, с недовольно поднятыми бровями. Чем ты недоволен, в чем я провинилась перед тобой? Кого просить, кого умолять, чтобы больше не приснился этот мучительный сон?

Я не видела Москвы с первых дней войны и поразилась тому, насколько она стала другая — опустевшая, раскрашенная, задумчивая и в то же время полная сдержанной силы. Странные темно-красные дома с перекошенными окнами были нарисованы на площадях, на манеже, на китай-городской стене. Ящики с песком стояли у витрин, и окна ТАСС в шутку назывались мешками ТАСС, потому

что все большие окна и витрины были забиты деревянными досками и завалены мешками с песком. На площади Коммуны появились маленькие дома, деревья, речка, и театр Советской Армии превратился в раскинувшуюся среди Москвы искусственную деревушку.

Легкие белые аэростаты по ночам висели над городом, и первые лучи солнца серебрились на них — только первые, потому что с рассветом на всех бульварах и скверах начинали скрипеть лебедки и девушки в пилотках спускали на тросах эти аэростаты, которые оказывались огромными, похожими на какие-то мягко колеблющиеся, бесшумно дышащие рыбы. На улицах разговаривало, гремело, пело радио, и часто после тревоги почему-то передавали «Ночной зефир» Глинки... «сквозь чугунные перила ножку дивную продень». Исчезли, как не бывало, такси, сменившись грязными закамуфлированными фронтовыми машинами, трамваи с забитыми фанерой окнами шли медленно, как бы ощупью, прикрыв по вечерам свои — и без того неяркие — огни козырьками.

У вокзалов вдруг появились извозчики — бородатые, в армяках, с номерами, и школьники подолгу разглядывали их, как живую иллюстрацию к истории дореволюционной России.

Новая обувь появилась в Москве — суконные туфли и ботинки на деревянных подошвах, и, присоединяясь к городскому шуму, всюду слышался непривычно отчетливый стук.

Кажется, ничего не было забыто, чтобы превратить прежнюю веселую, многолюдную Москву в этот новый, полузнакомый, полный сурового спокойствия город. Забыли только детский городок на бульваре у Новоекатерининской больницы, и лесенки, мостики, сказочные домики на курьих ножках остались на своих местах — скучающие, пустые. Не кружилась больше полинявшая под осенним дождем карусель, неподвижно висели гигантские шаги, и петушки на кровлях, подняв головы, с удивлением прислушивались к железному лязганью танков.

Осенью 1941 года Коломнин собрал сотрудников, оставшихся в Москве после эвакуации института, и предложил организовать лабораторию по производству фагов. Месяца три эта лаборатория работала на началах полного самоуправления, что не мешало ей снабжать необходимыми препаратами уходившие на фронт ополченские дивизии. Потом я послала (из Ташкента) просьбу оформить ее как фи-

лиал отдела. Возможно, что это было слишком громкое название для лаборатории, состоявшей из пяти человек и работавшей в единственной теплой комнате опустевшего здания. Но нарком согласился, и 31 декабря 1941 года, в запомнившийся, радостный день взятия нашими войсками Калуги, я получила от сотрудников телеграмму, в которой они поздравляли меня с тремя событиями: с победой, с Новым годом и с основанием филиала.

Из сотрудников нашего отдела в филиале первое время работали только Коломнин и Ракита. Рубакины были в Казани, и Лена писала, что Петр Николаевич энергично хлопочет о возвращении института в Москву.

Конечно, это было прекрасно, что новую и сложную работу мы начали не па пустом месте. Но для того чтобы развернуть ее, нужны были люди, а новые сотрудники никогда не занимались антимикробными веществами, и обучить их оказалось делом нелегким. Один из них, Петр Петрович Зубков, был паразитологом, всю жизнь бродившим где-то в пустынях Средней Азии и интересовавшимся древней архитектурой Самарканда куда больше, чем своей наукой. Другой — обыкновенный санитарный врач, заботившийся доселе лишь о чистоте московских дворов. Зато нашелся — это было важно — хороший хозяйственник, тот самый энергичный, усатый, воинственный Кочергин, которого Крамов в свое время без всякой причины уволил из института.

В начале марта Никольский, которому минуло 83 года и который уже давно не то что «ушел на покой» (он не любил этого выражения), но почти не работал, явился в институт, сказал: «Ну-ка, покажите, что у вас тут есть?» — и проворно облазил все наше хозяйство.

— Хороши разбойнички,— с довольным видом сказал он, увидев редкий прибор, который по необъяснимой причине остался после эвакуации в Мечниковском институте.— Стащили?

— Николай Львович, такую вещь бросить! Это уже только перед концом света.

Он помолчал.

— Штат укомплектовали?

— Какое! Ведь мы сейчас вообще без определенного штата работаем, Николай Львович. На хозрасчете. Людей можно было бы сколько угодно взять. Да где их найдешь? Вот нам, например, фармаколог нужен — просто до зарезу!

Дед снял очки, подышал па них и стал долго протирать большим носовым платком.

— А микробиолог не нужен?

— Вы говорите о Караеве?

— При чем тут Караев? — сердито наморщив большой мясистый нос, спросил Николай Львович.— Караев еще человек молодой, а я вам хочу предложить работника со стажем.

Караеву было лет шестьдесят, так что нетрудно было, кажется, догадаться, кого имеет в виду дед, предлагая мне «работника со стажем». Но я все еще не понимала.

— Пожалуйста, Николай Львович,— сказала я с глупым, любезным выражением.— Кого бы вы ни рекомендовали — найдем работу. Вот сейчас мы, например, раневой фаг налаживаем. Может быть, в эту лабораторию? Или...

Дед сурово засопел.

— Вам бы этого... немного отдохнуть, Татьяна Петровна,— сказал он.— А то вот тоже на днях зашла к нам молочница, а моя старуха берет у нее молоко и платит, я вижу, десять копеек. И говорит: «Это тебе за две кружки, а на три копейки ты нам в другой раз картофеля принесешь, ну там еще морковочки да капустки». Вдруг назад отъехала лет этак на сорок. Теперь я для нее путевку хлопочу. Отдохнуть надо. Так вот, может быть, и вам бы...

— Николай Львович,— я вскочила и поцеловала его.— Вы хотите работать у нас?

— А что же, мне в такое время сложа руки сидеть? — сердито сказал дед.— Дадите дело — возьму. А на нет и суда нет. Пойду восвояси.

К сожалению, дед успел побывать у нас только несколько раз. Узнав, что он хочет работать, нарком уговорил его взять на себя руководство одним из вернувшихся в Москву институтов.

В апреле 1942 года мы получили план и выполнили его с превышением. Препарат мы научились готовить в сухом виде, что дало возможность перебрасывать его воздушным путем на любые расстояния. Потом (благо в нашем распоряжении было все здание на Ленинградском шоссе) мы организовали еще одну лабораторию — по раневому фагу...

Нужно было поставить производство, которое было одним из тысяч больших и маленьких производств, связан-

ных с войной, и вокруг лаборатории, затерянной в пустом, холодном здании эвакуированного института, стали собираться люди — техника и люди.

Зимой сорок первого года многие москвичи оставались ночевать на работе — одни были на казарменном положении, другим не хотелось возвращаться в опустевшие, без жены и детей, заброшенные квартиры. Оставался, когда я была в отъезде, и Андрей. Но с тех пор как я вернулась в Москву, решено было непременно ночевать дома, хотя дома было холодно и темно и приходилось возиться с «буржуйкой», а на работе — сравнительно тепло и старинная лампа-молния, которую откуда-то достал Кочергин, горела по уговору до полуночи...

В марте после оттепели ударил мороз — очевидно, зима, как и полагается военной зиме, отступила стратегически, чтобы с новыми силами перейти в наступление.

Погода стояла солнечная, с крепким, скрипящим под ногами снегом — и вдруг капель начинала стучать по корочкам льда, намерзшим под водосточными трубами.

В эту ночь, пасхальную, пятого апреля, разрешено было ходить без пропусков, и мы с Андреем, встретившись у моего института, прошли пешком до Серебряного переулка. Пусто было на улицах, снежные сугробы лежали нетронутые, как в поле, и холодно было смотреть на их овальные тени.

Накануне я узнала о смерти Оли Тропининой от голода в Ленинграде, и страшные вести, которые до сих пор были все-таки только вестями, впервые предстали передо мной во всем их бессмысленном, бесчеловечном значении.

Мы почти не виделись со студенческих лет, но следили друг за другом и как-то гордились теми особенными, милыми, хотя и сдержанными, отношениями, которых у меня никогда не было ни с кем, кроме Оли. И эта прекрасная, умная женщина умерла, потому что отдавала свой хлеб старику отцу, который пережил ее несколькими часами.

Весна 1942 года,— пожалуй, это было самое трудное время. В марте почему-то ничего не выдавали по февральским талонам, в коммерческих столовых стало пусто, хоть покати шаром, за хлеб на рынке спекулянты просили по 100 рублей за килограмм, и наше хозяйство, и без того не очень-то прочное, окончательно развалилось. Вероятно,

оно все равно развалилось бы, потому что я давным-давно отвыкла от хозяйства и теперь, во время войны, никак не могла заставить себя думать о том, что приготовить к ужину или к обеду. Впрочем, обед и ужин происходили обычно в один и тот же очень поздний час, когда, возвращаясь с работы, мы с Андреем вынимали из портфеля небогатый паек, состоявший иногда из селедки и куска пшенной каши.

...Все было под рукой в этой комнате: белье, книги, посудный шкафчик, который, разумеется, не шел в сравнение с новым буфетом, стоявшим в будущей, когда кончится война, столовой. Обеденный стол, в зависимости от обстоятельств, превращался то в письменный, то в кровать, когда оставался ночевать кто-нибудь из друзей, приезжавших с фронта. Это было настоящее — тесная, заваленная вещами, книгами, газетами комнатка, в которой соединилось все необходимое для двух очень занятых людей, редко бывавших дома. А те большие, светлые, просторные комнаты, в которых мы так и не успели пожить,— будущее. Случалось, что я заглядывала в это «будущее» и с грустью убеждалась в том, что матовые стены выглядят уже не так красиво, как прежде, на потолке здесь и там появились трещины, белила пожухли. Бывали солнечные, веселые дни, когда казалось, что от настоящего до будущего только шаг — распахнуть дверь и вбежать навстречу яркому зимнему солнцу! Но трудно, ох как трудно сделать этот шаг! Далеко было до светлого, прекрасного, просторного будущего. Ох, как далеко!

В Сталинград

Нарком предлагает на выбор два самолета, и я выбираю более поздний — в шесть тридцать утра. Плохо только одно: Андрей на заседании, и туда, где происходит это заседание, нельзя позвонить. Ну что ж, придется оставить записку: «Михаил Алексеевич расскажет тебе, в чем дело. Вылет с Центрального аэропорта, шесть тридцать. Если успеешь — приезжай. Хлебные карточки — в столе. Каша — в газете под подушкой. Обнимаю тебя». Записку — условлено — я прикалываю к абажуру настольной лампы, ключ — тоже условлено — оставляю соседям. Смена белья, полотенце, мыло, зубная щетка, пачка печенья. Кажется, все. Нарком сказал, что он ждет меня дней через десять. Самолет специальным приказом прикомандирован ко мне.

Спускаюсь по лестнице. Темно, хоть глаз выколи! За углом водитель, приоткрыв дверцу, окликает меня.

Сегодня дежурит Коломнин — вот что удачно! Нужно поговорить, на время командировки он заменит меня.

...Коломнин горбится, на узкие плечи накинуто старенькое пальто, грудь впалая, худое лицо в морщинах. Мы работаем не спеша: времени вдруг оказалось много. Из лабораторного оборудования — самое необходимое. Из медикаментов — набор проверенных противохолерных сывороток. Среди пленных, взятых под Сталинградом, отмечены случаи холеры.

— Татьяна Петровна, возьмите с собой раневой фаг. Когда еще представится случай испытать его в боевой обстановке!

Я смотрю в его умные, терпеливые глаза много видевшего, много думавшего человека. Наши опыты над лечебными свойствами зеленой плесени были прерваны. В атмосфере всеобщего напряжения, недоверия, арестов не только трудно — небезопасно было заниматься внеплановой работой, которая была объявлена (на внутриинститутской дискуссии) «антинаучным бредом». Теперь раневой фаг — наша главная надежда в борьбе против нагноения ран, заражения крови. Но работа не кончена, количество добытого препарата ничтожно.

— Возьмите, Татьяна Петровна. Приготовим новый.

Легко сказать — приготовим новый! Но Коломнин настаивает, и я соглашаюсь.

— Товарищам кланяйтесь.

— Непременно!

— Деду привет.

— Передам.

— На Клинский завод не забудьте послать за посудой.

— Не забуду. Берегите себя.

— Спасибо. Все будет в порядке.

...Утро встает над городом, медленное, неторопливое, в равнодушных, бледно-желтых красках июньской зари. Я стою у подъезда аэропорта. Машины подкатывают одна за другой, военные, разговаривая, проходят в подъезд. Нет Андрея. Дежурный по вокзалу приходит за мной. Пора.

В большом самолете летят пять военных, кроме меня. Один из них генерал — пожилой, сухощавый, с умным, мрачноватым лицом. Пилотов двое, и, как всегда, кажется немного странным, что сейчас они поднимут в воз-

дух просторное помещение самолета с окнами, полом, стенами, потолком и двумя рядами длинных скамеек, на которых сидят, читают, курят, разговаривают люди. Но как ни странно, а чудо происходит — помещение поднимается и послушно летит над землей, над облаками, встречая и обходя темные, грозовые тучи.

Проходит час, другой, третий. Спят пассажиры, спит генерал, прикрыв лицо воротником шинели. Уснуть бы и мне. Да не спится, все думается... Сталинград.

Когда мы с Леной ездили на Астраханский икорный завод, пароход почему-то долго простоял в Сталинграде, и мы успели посмотреть этот прекрасный город. Мы успели лишь пробежать по нему, но в памяти осталось впечатление чистоты, ровных газонов, бегущих к Волге аллей, обсаженных акацией и тополями, частого сочетания двух цветов: белого и зеленого. А вечером, когда зажглись огни, стало видно, как далеко по берегу Волги раскинулся город; «на пятьдесят километров»,— сказал нам вежливый, загорелый, в ослепительном кителе помощник капитана. Пароход отошел — и прощальная музыка, грустная и веселая, прозвучала над Волгой. Мы отплывали все дальше, а музыка слышалась и слышалась. Нас провожал Сталинград...

Частая дробь мгновенно прокатывается по самолету, стекло вылетает, осколки падают на колени. Пилот приоткрывает дверцу кабины:

— Никто не ранен?

— Что случилось?

— Обстрелял, паразит.

Самолет с ревом устремляется вниз, все падают друг на друга. Я поднимаюсь, смотрю в окно. Мы летим низко, над самой Волгой. Неподвижно лежит она под сверкающим солнцем, белый берег сбегает к ней стремительно круто, замаскированные зелеными ветками стоят у причалов лодки, катера, пароходы...

Все ли сделано?

Несколько пленных, взятых под Сталинградом, заболели холерой — впрочем, мне еще предстояло проверить этот установленный местными микробиологами факт. Просочившиеся через фронт слухи о том, что на территории, занятой противником,—в Ровенках — вспыхнула эпидемия, полностью подтвердила разведка.

Белянин, тот самый толстый, пыхтящий, с красным, зверским лицом, который был помощником Андрея по Метрострою, сидит рядом со мной в машине. Мы едем в СЭЛ, Санитарноэпидемиологическую лабораторию фронта.

— Всю жизнь мечтал пожить на Волге, поудить рыбу. Поудил! Как Андрей Дмитрич? Его бы сюда.

— Здоров. А что, и для него нашлась бы работа?

— Еще бы! Что вы смотрите на меня? — скорчив свирепую физиономию, сказал Белянин.— Потолстел?

— Все тот же.

И правда, Белянин все тот же, война мало изменила его. Гимнастерка сидит на нем нескладно, по-штатски. Фуражка измята. Ремень нетуго затянут на большом животе.

— Как Малышев?

— А вот Малышев похудел, как собака. Мы с ним все телячью ногу жуем.

— Какую телячью ногу?

— Жена на дорогу дала.

— Вы же здесь вторую неделю!

— Ну так что ж! Еще хорошая нога. Мы строгаем ее и жуем. Местами, правда, заплесневела. Но я ему говорю: «Ведь Власенкова доказала, что плесень полезная вещь!»

СЭЛ помещается в маленьком деревянном домике за железнодорожным мостом. В одной из маленьких комнат можно устроить бокс — это удобно. Белянин знакомит меня с сотрудниками.

— Доктор Мельников. Доктор Пирогова. Садитесь, товарищи, и, не теряя времени, расскажите Татьяне Петровне, в чем дело.

Оба доктора — из Харьковского института микробиологии, эвакуированного в Сталинград. «О кадрах не беспокойтесь,— это сказал мне Белянин.— Кадры первоклассные. И гости и хозяева. Действуйте смело».

Доктор Мельников, пожилой, загорелый, в очках, с коротко стриженной седой головой, рассказывает о том, как среди множества ежедневно проверяемых культур он обнаружил две подозрительные. Доктор Пирогова — маленькая, кругленькая, пришепетывающая от волнения,— о том, как были проверены эти две культуры.

— Нечего и говорить, как мы были бы счастливы, если бы вам удалось доказать, что мы не правы, Татьяна Петровна. Вот я был под Харьковом в окружении, насилу вырвался, многое пережил. Но когда пришлось убедиться в том, что...

С тяжелым сердцем принимаюсь я за работу. Нужно ответить на вопрос: угрожает ли новая опасность Сталинграду, который днем и ночью, на дальних и ближних подступах готовится к обороне? Который пропускает сотни тысяч бойцов к излучине Дона, где в середине июня развернулось еще не виданное по своему размаху сражение. Который принимает в свои госпитали бойцов со всего Донского фронта, потому что пути на север (через Балашов) и на юг (через Котельниково) закрыты. Который переполнен войсками, эвакуируемым населением из других городов. В котором, как в любом южном городе, очень много фруктов и овощей, и никто не задумывается — некогда! — над преимуществом кипяченой воды перед сырой.

Заседание ведет Покровский, заместитель председателя исполкома, высокий, уверенный, усталый, с характерным движением руки, которым подкрепляет свою нетороплиВую речь.

— Прежде всего санитарно-гигиенические меры — изоляция, дезинфекция очагов. Затем — бактериофаг. В каких пределах? Поголовно.

Он переходит к санитарному состоянию Сталинграда, и с первых слов становится ясно, что город он знает глубоко, подробно. Не только тот город, который знает каждый коренной сталинградец, но и другой, подземный, невидимый, бесшумный — тот, который раскинулся сетью электрических и телефонных кабелей, сетью труб водопроводных и канализационных.

Ночь, а в комнате душно. Приглушенный стук время от времени пробегает по окнам, завешенным синими плотными шторами — ветер бросает в стекла песок.

Выступает сухощавый генерал с жесткой складкой у рта, тот самый, который летел со мной из Москвы и за всю дорогу не сказал ни слова. Впрочем, он и сейчас не особенно многословен.

— Кто не знает, что холере не страшны надолбы и противотанковые рвы? Она наступает бесшумно и незаметно.

Выступает представитель транспорта.

— От Сталинграда ежедневно отходят пароходы и эшелоны в Астрахань и Саратов. Следовательно, вспышка, если ее не удастся предотвратить, может распространиться по всему Союзу. Достаточно ли ясно, какая огромная ответственность ложится при создавшемся положении на

членов противоэпидемического совета? В полной ли мере сознают они все значение предстоящей работы?

Да, сознают. Но открой, отыщи тропинки, по которым болезнь может проникнуть в огромный, переполненный войсками, находящийся в беспрерывном движении город!

Слово предоставляется доктору медицинских наук Татьяне Петровне Власенковой,— так пышно представляет ее председатель,— и нельзя сказать, что с ясной головой и спокойным сердцем выступает сей доктор медицинских наук.

В Сухуми — это было в 1939 году — мы заражали холерой обезьян и излечивали их с помощью бактериофага. В Термезе мы с успехом применили бактериофаг как предупреждающее средство — по ту сторону границы, в Иране и Афганистане, были случаи тяжелой холеры. Но задача, возникшая в Сталинграде, была не похожа на все, что делалось прежде, ни по характеру, ни по масштабу. Задача была неслыханная, небывалая. Она заключалась в том, что мы должны были организовать сложное микробиологическое производство в осажденном городе, находившемся под тяжелой угрозой. Она заключалась в том, что это производство должно было выпускать препарат в огромных, с каждым днем возрастающих размерах. Она заключалась в том, что фагировать нужно было не только оседлое население, а тысячи людей, уходящих, уезжающих и улетающих из Сталинграда.

На заседании Чрезвычайной комиссии кто-то предложил доставлять бактериофаг из Москвы. Но в середине июня это было уже невозможно. Железнодорожные линии были блокированы. Самолеты прорывались с трудом.

...В подвале СЭЛа на термостатах стоят бутылки с лизолом, а в глубокой яме помещается несгораемый шкаф, в котором, вероятно впервые, хранятся не деньги и бумаги, а живые культуры, необходимые для производства фага. Восемь человек — в том числе Мельников, Пирогова и я — работают в этом подвале. Кажется, обо всем переговорено. Но проходят две, три недели, а мы по-прежнему почти не знаем друг друга. Иное заботит душу, волнует сердце, будит по ночам, заставляет включать радио дрожащей рукой: каждый день новости, одна тревожней другой. Немцы взяли Цимлянскую. Вышли на излучину Дона.

Я ночую в военном госпитале и, возвращаясь ночью с работы, всякий раз нахожу перемены, от которых беспокойно сжимается сердце. Все теснее сдвигаются койки. Все больше раненых в саду, на дворе. Еще несколько дней — и разбито левое крыло, печально обнажена внутренность операционной, в накренившемся шкафу видны медикаменты, вата. Теперь госпиталь начинается от самых ворот...

По радио и в газетах, в бомбоубежищах и па пристанях без устали рассказывают о том, как бороться против желудочно-кишечных заболеваний. Все ли здоровы? Уезжающие, знаете ли вы, что перед отъездом нужно пройти пропускник! Хлорированы ли колодцы? Нет ли больных в соседнем дворе? Дежурят в булочных, на эвакопунктах — хлеб выдается только после того, как принимается фаг.

Не о войне

Это может показаться странным, но, работая в СЭЛе, я почти не видела Сталинграда. Мне запомнилась только улица, по которой каждый вечер я шла на заседание противоэпидемического совета. Я проходила мимо городского сада, в котором, по-видимому, не так давно гастролировал зверинец — на полотнище были нарисованы уже изрядно полинявшие лев с разинутой пастью и тоненький, как мальчик, укротитель. Может быть, здесь был зоологический сад? Я все собиралась спросить об этом кого-нибудь из сталинградцев, да так и не спросила.

Это было в середине августа, вечером, после работы. Я шла «домой» — если можно назвать так маленькую комнатку подле операционной, которую я делила с одной медицинской сестрой. В операционной были выбиты стекла, и никто не оперировал, а лежали раненые, и среди них трое, которым я стала впрыскивать раневой фаг на другой же день после приезда. Неясные результаты! Один поправляется, но врачи полагают, что он поправился бы и без раневого фага. Другой умирает...

Какой-то моряк обогнал меня — как раз у рекламы зверинца, потом вернулся, заглянул в лицо и сказал неуверенным голосом:

— Таня!

— Да.

— Не узнаешь?

Я колебалась только две-три секунды — немного, если вспомнить, что мы не виделись со студенческих лет.

Это был Володя Лукашевич, мой земляк и школьный товарищ. В юности он был такой здоровый, что при одном взгляде на него становилось смешно, да и сам он немного стеснялся своих слишком румяных щек, крепких плеч, сильного рукопожатия, после которого, бывало, долго трясешь в воздухе онемевшей рукой. Теперь он, кажется, не мог похвастать здоровьем: выгоревший китель свободно облегал неширокую грудь, чуть сгорбленные плечи. Лицо стало тоньше, как будто из-под прежних, молодых, грубоватых черт показались новые, в которых отразилась внутренняя (должно быть, не легкая) жизнь.

— Как я рад! Я часто вспоминал о тебе! Давно в Сталинграде?

— Скоро месяц. А ты?

— А я скоро сутки. Сколько мы не виделись?

— Сто лет.

— Андрей с тобой?

— Нет.

— Жалко. Какая ты стала,— сказал он с доброй улыбкой.— Ведь я все знаю о тебе. Догадайся, от кого? От Гурия Попова.

— Да ну! Где он? Вообще, где все наши?

Володя засмеялся.

— Вот интересно, сколько было потом друзей — в училище, на флоте. Все — наши. А лопахинцы все-таки — самые нашенские наши! Гурий — это Г. Попов. Разве ты не читала его корреспонденции в «Известиях»?

— Так это он? Мне и в голову не приходило, что Г. Попов — это Гурий.

— Почему же? Вот наша компания,— с гордостью сказал Володя.— Знаменитые люди! А Нинка Башмакова? Я слышал ее в Ленинграде. Как поет! Но растолстела! Ужас. А ты молодец.

— Почему?

— Не знаю. Доктор наук. Не растолстела.

— Растолстеешь тут! Но расскажи о себе. Откуда ты? В последний раз ты писал, что тебя собираются перевести из Кронштадта?

— И перевели. В Полярное, на Крайний Север. А вот теперь, видишь, в Сталинграде.

— Надолго ли?

Он пожал плечами.

Мы вышли на набережную, и я сказала Володе, что за три недели в Сталинграде еще не была на набережной и памятник Хользунову, например, вижу впервые.

— Так занята?

— Да, очень.

Он посмотрел на меня — наверно, хотел спросить, что я здесь делаю. Но подумал и не спросил.

...Это было так, как будто, отыскивая любимое место в книге, мы быстро перелистывали страницы от конца к началу. Лопахин, школа, споры о том, как должен вести себя активист в условиях нэпа.

— А помнишь научную комиссию по преобразованию праздника Ивана Купалы!

— Неужели и такая была? Нет, не помню!

— Ну как же! Комиссия по преобразованию Ивана Купалы с целью придать ему революционно-пролетарское содержание. Ах, черт побери! Как мы были молоды! И как странно, что тогда мы как-то не замечали этого чувства молодости, счастья, здоровья. Впрочем, у меня к нему неизменно присоединялось еще одно чувство: мне, понимаешь, все время казалось, что я ужасный дурак, а вы все умные-преумные, особенно Гурий. И правда, вы все много читали, а я только журнал «Юный пролетарий». Впрочем, в этом виноват тот же Гурий. Он дал мне «Руководство к чтению», а там было написано: «Никогда не читайте чрезмерно. Это приводит к донкихотству. Вы станете жертвой призраков и будете жить, как во сне». Вот я и не захотел жить, как во сне. Зато я заучивал афоризмы.

— Зачем?

— А чтобы не отставать от вас! «Нэпман — бацилла капитализма, посаженная в банку»,— с ученым видом сказал Володя и не выдержал, засмеялся.— Ты знаешь, мне и до сих пор иногда снится, что Андрей с Гурием говорят о чем-то ученом, а я жду удобную минуту, чтобы вставить свой афоризм.

Мы говорили, и я долго не могла понять то особенное, что было в нашем разговоре. Потом поняла: мы говорили не о войне. Володя сказал только, что был ранен, служил после госпиталя в береговой обороне, а теперь со своим батальоном отправлен с Крайнего Севера на Сталинградский фронт.

— Как все прошло, как прошло,— говорил он.—В юности трудно жилось, работали и учились. И все-таки так

хорошо, пожалуй, никогда больше не было в жизни! А помнишь ночь на Пустыньке? — вдруг с волнением спросил Володя.— Ох, как я был тогда влюблен в тебя, если бы ты знала! Мы переходили через какой-то ручей, я перенес тебя на руках, и мне потом каждую ночь казалось, что я несу тебя на руках.

— Я все знала, все!

— Нет, не все.

Тихо было на набережной и пусто, только девушка с красной повязкой на рукаве и солдат прошли мимо нас с серьезными, счастливыми лицами. Я слушала и волновалась.

— С Гурием ты кокетничала, а со мной была серьезная, степенная. Ты точно наказывала меня. Я все думал: «За что?» Я писал тебе письма и не отправлял — все вспоминалось, как ты однажды, как дважды два, доказала, что любить по-настоящему может далеко не всякий, а только тот, кто обладает талантом любви. Я чуть с ума не сошел, все проверял: есть ли у меня этот талант? С той минуты, как я расставался с тобой, я начинал думать только об одном: где и когда мы увидимся снова. Ты снилась мне каждую ночь, и я помню, что одно письмо начиналось так: «Сегодня ты мне не снилась».

Мы прошли по набережной, потом вернулись к Хользунову. День был жаркий, а сейчас жара стала быстро спадать, с Волги повеяло прохладой. Какая-то военная машина, покрытая темно-зеленым с лапчатым рисунком полотнищем, проехала и остановилась у спуска, изрытого щелями.

— И вот что странно: я не сомневался ни одной минуты в том, что со мной ты была бы счастлива, а с любым другим человеком на земле, будь он даже ангелом во плоти, несчастна. Тебе холодно? — спросил Володя.— Ты побледнела.

— Нет, нет.

Завыла сирена, свет сразу многих прожекторов беспокойно скрестился в еще прозрачном, только что потемневшем небе, и какой-то суровый человек сказал, торопливо проходя по набережной:

— Не слышите, что ли? Тревога.

Мы не ушли, только замолчали — точно можно было не заметить тревоги, света прожекторов, людей, появившихся на спуске и поспешно уходивших в щели, беспокойства, с которым солдаты стали заводить замаскированный

грузовик. Точно не было на свете ничего, кроме этой неназванной любви, этой горечи, вдруг перекликнувшейся с моими самыми затаенными мыслями, полузабытыми, отложенными надолго. Может быть, навсегда?

Еще прежде я спросила Володю, женат ли он, и он пожал плечами с таким видом, как будто был виноват передо мной, что до сих пор не женился.

— Пробовал,— серьезно сказал он.— Даже дважды. Но каждый раз в последнюю минуту прыгал в окно, как Подколесин.

— Что же так?

— Боялся обмануть.

— Обмануться или обмануть?

— И то и другое. А жалко. Иногда так бывает жалко, вот особенно теперь, во время войны! Я очень детей люблю. Как-то пусто становится в сердце, когда подумаешь, что на свете нет никого, кто беспокоился бы о тебе, ждал, думал. А подчас думается: может, и лучше?

Володя проводил меня до госпиталя, и, расставаясь, я взяла с него слово, что он завтра же зайдет ко мне в СЭЛ, а если не удастся — напишет. Он кивнул.

— А ведь грустно, что так разбросала нас жизнь,— сказал он.— Все могло быть иначе. Ты счастлива?

Я промолчала, он заглянул мне в глаза, крепко сжал руки и ушел — точно растаял в темноте, я не успела даже проводить его взглядом.

Окно маленькой комнаты подле операционной выходит на улицу, ведущую к Бекетовке, одному из южных районов Сталинграда. Каждую ночь я просыпаюсь от глухого топота, невнятных окриков, тревожного шума. Гонят скот. Тощие, измученные коровы проходят, недобро поглядывая вокруг. Овечьи отары смутно виднеются в предрассветном сумраке, в облаке пыли. Жмутся друг к другу, жалобно кричат, точно просят о помощи овцы.

Но в эту ночь — так мне кажется — они кричат особенно уныло и грустно. Бесформенные фигуры в накинутых на голову парусиновых плащах показываются и пропадают — как будто их уносит вместе с овцами, с пылью какая-то нечеловеческая роковая сила.

Стараясь справиться с тоской, от которой ноет, сжимается сердце, я долго стою у окна, потом ложусь, потом сно-

ва встаю. Я счастлива? Да. Обо мне беспокоятся, думают, ждут. Я счастлива? Нет. И довольно об этом.

Протяжный стон доносится из бывшей операционной. Один из раненых не справился с мучительной болью, и вслед за ним — так бывает всегда — другие начинают стонать в коридоре, в саду, на дворе. Все могло быть иначе,— кажется, так он сказал?.. Вздор! И нечего думать о том, что не случилось и не могло случиться. Или могло? И нечего вглядываться в эту неизвестную жизнь, которая прошла где-то рядом со мной.

И довольно об этом!

Не удался наш раневой фаг — вот о чем нужно думать и думать. «Не удался» — вот о чем говорят эти стоны, этот страдальчески бормочущий сад, эти койки, стоящие вплотную друг к другу.

И старая мысль, как старый друг, входит и останавливается на пороге и терпеливо ждет, когда уйдут другие, случайные, беспокойные мысли: маленькая худенькая девочка, лежащая на высокой подушке, с затянутой полотенцем головой, Катенька Стогина, крустозин, «воскресение из мертвых»...

Доктор Дроздов

Стоит тяжелая, сухая жара, ветер несет по улицам горячий мелкий песок. Тревоги становятся все чаще, и наконец каждый день в десятом часу вечера разносится надоедливый, скучный вой сирены. Это значит, что налет групповой. Когда к городу пробиваются одиночные самолеты, тревогу не объявляют.

В духоте, от которой нет спасения, в жаре и пыли трудится город. Роют окопы, возводят дзоты, устанавливают противотанковые ежи. Строят рубеж — ближний и дальний. Запасают воду. На заводах все быстрее делают танки, покрывают броней тягачи. Каждый день после работы становятся в строй.

Работают, не отступая перед трудностями, и микробиологи, лабораторные люди. Без сомнения, фашисты были бы изумлены, узнав, как много холерного бактериофага производится в городе, находящемся под угрозой двадцати двух пехотных, трех моторизованных и пяти танковых дивизий. Пятьдесят тысяч человек ежедневно принимают бактериофаг — этого еще не было никогда и нигде.

Все очень заняты, и нет времени, чтобы думать о том, что нельзя сделать сейчас, на другой день, через неделю. В госпитале не хватает врачей, и каждую ночь, вернувшись из исполкома, я выслушиваю раненых, перевязываю, даже — в неотложных случаях — оперирую. Была же я лет двенадцать тому назад лечащим врачом в зерносовхозе!

Гулкий раскатившийся шум донесся откуда-то издалека, затрещали зенитки, шевельнулась прикрывавшая разбитое окно бумажная штора. Налет. Ночь проходит, еще одна ночь. Но если я не сплю, если правда, что я в Сталинграде — откуда же взялся за стеной этот хриплый, ворчливый, разносящий кого-то, решительный голос? Эти короткие распоряжения, похожие на морские команды? Откуда взялся здесь доктор Дроздов, тот самый, который заведовал Сальским райздравом и вместе со мной ликвидировал мнимую холерную эпидемию в зерносовхозе?

Через минуту я была уже в коридоре, потом — голос успел удалиться — спустилась во двор. Разумеется, он! И точно такой же, как был,— маленький, седой, с короткой черной трубочкой в зубах, в развевающемся халате.

— Здравствуйте, Иван Афанасьевич!

— Здравствуйте,— отвечал он сердито.— Люди лежат чуть ли не один на другом, а разобрать складскую рухлядь на заднем дворе — это вам в голову не приходит? Безрукость? — хриплым, страшным голосом сказал он начхозу, который, побледнев, вытянулся перед ним.— Голову надо иметь!

Он задохнулся, не найдя слов, и, грозно откашлявшись, зашагал между коек. Я догнала его.

— Иван Афанасьевич, вы меня не узнали?

Дроздов вынул трубочку — и на его морщинистом лице появилось доброе, удивленное выражение.

— Батюшки светы, никак, докторенок? Мне кто-то в Сануправлении фронта сказал. «Да нет,— думаю,— наверно, не та!» Та, значит?

— Та, Иван Афанасьевич.

— Ну, рад, сердечно рад. Вы здесь, в госпитале, живете?

— Да.

— Так идите же к себе. Я тут посмотрю еще кое-что и явлюсь к вам. Очень рад, от души!

Я не дождалась его, уехала за город, в Горную Поля-

ну,— там была наша главная производственная база — и вернулась к себе в двенадцатом часу ночи.

— Так профессор, да? — спросил Дроздов, постучавшись и зайдя в мою комнату, когда я уже собиралась ложиться.— А кто говорил, что вы далеко пойдете?

— Еще не далеко.

— Как сказать! Чай есть? Черт знает что у вас тут творится,—сказал он, садясь и снимая фуражку с еще курчавой седой головы и приставив потрепанный портфель к ножке стула.— Полевые госпитали перебросить в Сталинград уже невозможно. Значит, эвакогоспитали должны взять на себя функции полевых. Кажется, ясно? И поняли же это в шестом, семнадцатом, девятом. А у вас тут... Просто из рук вон!

Я сбегала за кипятком, заварила чай. Хлеба не было. Зато было печенье и шпик, который я привезла еще из Москвы.

— Иван Афанасьевич, расскажите же, где вы, что вы? Давно в Сталинграде?

— Недавно, а на Волге — с июля прошлого года. Просился на фронт, попал на флотилию. На войну не пускали — стар! А вот видите — вышло по-моему.

Я налила ему чаю. Он выпил стакан и стал немного дрожащими пальцами набивать свою трубку.

— Знаю, что вы здесь делаете, докторенок. Извините, что я по старой памяти вас так называю! Мне сегодня ваш Белянин целую лекцию прочитал о том, как важно перед едой мыть руки. Все верно! И все-таки в сравнении с тем, что происходит вокруг,— он широко повел рукой,— это мираж, обманчивое видение!

— Ну, нет. Не мираж!

— Так самообман, еще хуже. Вот скажите положа руку на сердце, сколько у вас было подозрительных случаев — два, три, четыре? А от ран, от раневых осложнений умирают десятки тысяч! У меня статистика самодельная, я только три месяца, как в начальство попал и не успел еще подыскать себе статистиков-доброхотов. Но кое-что я все-таки успел подсчитать! Вот, взгляните!

Он вынул из портфеля разграфленный, покрытый цифрами лист бумаги и бережно положил передо мной на стол.

— Не умеем мы лечить раны,— хриплым, низким голосом сказал он.— Не умеем! Умирают люди по нашей вине. Я об этом наверх писал и с медицинскими генералами говорил... Дошел до начальника Сануправления фрон-

та! Разводят руками генералы! Нет других средств, работаем на уровне современной науки. «Здесь чудо нужно»,— так один и сказал. А люди умирают,— горестно опустив голову, сказал Дроздов.— Так чем бороться с призраками, придумайте же это средство, это чудо!

Я уговорила его остаться, уложила на койку, сама легла на пол. Он посопел трубочкой, потом откинул руку. Трубочка выпала, уснул. А я не спала до утра. Впервые с такой отчетливостью предстала передо мной наша неудача. Мы схватились за раневой фаг, потому что этот путь обещал нам легкую победу. Но в науке не бывает легких побед.

23 августа

День был воскресный, и ко мне пришли в гости две дружинницы Красного Креста, которых я взяла к себе, потому что в СЭЛе с каждым днем работы становилось все больше. Одна была еще совсем девочка, лет шестнадцати, но уже сложившаяся, высокая, с нежным лицом. Ее звали Клава, на курсы РОККа она пошла из восьмого класса. Другая, Валя, работница с «Красного Октября», была из тех находчивых, веселых девушек, о которых Николай Васильевич любил говорить: «Куды ни пидэ, за нею всюду золотии верби растут». Она много смеялась, встряхивая кудряшками и кончая каждую фразу певучей вопросительной интонацией.

Девушки принесли мне арбуз с очень мелкими семечками, и мы немного поговорили об этом сорте, который я не встречала в Москве. Он назывался «Победитель». Потом девушки рассказали, что им дали отпуск на целые сутки, что почти все отделение отправилось на строительство баррикад, и они тоже скоро пойдут, только нужно заглянуть еще к Клавиной маме, потому что она должна была в воскресенье вернуться с рубежа и, наверно, очень беспокоится о дочери.

Мне запомнились большие, красиво нарезанные куски душистого арбуза, лежавшего на белом больничном столе, и то, что Валя, смеясь, рассказывала о каком-то краснофлотце, с которым она условилась встретиться на набережной, если не будет тревоги, и то, что я слушала ее с удивлением перед могуществом молодости, которая в этом городе, в эти дни назначает свидания. Все это запомнилось мне с такими подробностями потому, что это была послед-

няя минута той напряженной, очень трудной, но все-таки укладывающейся в определенный порядок жизни, которою до сих пор жил Сталинград. Завыла сирена, девушки заторопились, они должны были немедленно вернуться на пост. Я сказала, что зайду к Клавиной маме, и она сперва не соглашалась, стеснялась, а потом торопливо набросала несколько строк, и девушки подписались «твои дочери Клава и Валя».

Они не были сестрами — почему они так подписались? Почему, прощаясь, мы взглянули друг другу в глаза? Я видела этих девушек третий или четвертый раз в жизни — почему в эту минуту мне было так трудно с ними расстаться? Тревоги объявлялись каждый день, по нескольку раз в день, откуда же взялось это чувство, что объявлена какая-то особенная, не похожая на другие, тревога? Оно не обмануло меня... Воздушная тревога, объявленная в середине дня 23 августа, больше не отменялась.

Я проводила девушек до подъезда госпиталя, вернулась к себе и увидела их через окно. Они бежали вдоль забора — на той стороне улицы стоял деревянный двухэтажный дом, обнесенный забором. Но что-то изменилось за те две-три минуты, пока я их провожала: тень упала на город, и улица, которую только что ярко освещало солнце, была теперь в этой странной, быстро надвигавшейся тени. Я услышала крик: «Немцы, немцы!» Женщина с ребенком на руках торопливо вышла из-за угла, за ней мальчик лет пятнадцати с лопатой, которую он неловко держал перед собой, и в том, как женщина взглянула на небо, а потом с отчаяньем прикрыла головку ребенка рукой, был ужас перед этой догоняющей тенью. Я тоже посмотрела на небо — над городом шло, не знаю сколько, но, должно быть, не меньше тысячи самолетов. Тень надвинулась, и вместе с грохотом рванувшегося воздуха черный столб земли взметнулся перед деревянным домом. Все исчезло в этом столбе — женщина, мальчик с лопатой, забор и самый дом, рассыпавшийся дождем досок, стропил, рваных кусков железа. Вихрь отбросил меня, я упала, больно ударилась, но сейчас же вскочила и бросилась во двор, на улицу, где — я это знала — была ранена или убита эта женщина, прикрывавшая голову ребенка рукой.

Девушки-дружинницы, которые ушли довольно далеко, успели вернуться, пока, успокаивая раненых, я проби-

ралась между койками, стоявшими на дворе. Грузовик с аварийной командой вылетел из-за угла. Рвущийся и свистящий воздух, грохот зениток, искры, рассыпавшиеся снопами в черно-дымной пыли...

Мы не расставались весь день, весь вечер, эти девушки и я,— приводили в чувство угоревших, перевязывали раненых, перевозили тяжело раненных, если удавалось устроить их в переполненные санитарные машины. Как в причудливом, болезненном сне помнится мне бомбоубежище на набережной, где вдоль стен сидели, задыхаясь от дыма, полуголые, обожженные люди. Взрывы стали удаляться, и по траншее девушки провели меня к Волге. Нужно было умыться... А потом мы снова пошли по щелям, где лежали и сидели в почерневшей одежде задохнувшиеся, обожженные люди, и снова приводили их в сознание и перевязывали, перевязывали без конца.

...Не только не ослабевал грохот рвущихся бомб, но усиливался с каждой минутой. Не только не утихал, рассыпаясь искрами, дымный вихрь, от которого тлела и загоралась одежда, но поднимался все выше, со всех сторон охватывая город.

Я вспомнила, что в подвале СЭЛа, в несгораемом шкафу могли остаться культуры особо опасных инфекций и, хотя можно было не сомневаться, что Мельников и Пирогова сделают то, что в подобных случаях полагается делать, я все-таки беспокоилась и решила зайти.

Светало — и непередаваемая картина горящего города медленно открывалась перед нами. Еще не отпылали деревянные здания, еще пламя, бледное в утреннем свете, страшно показывалось из окон. Проволока судорожно скрутилась в спирали вокруг упавших телеграфных столбов. Копоть низко летела над мостовой, заваленной осколками кирпича, сломанной мебелью, изогнутыми крючьями бетонной арматуры.

...Чуть слышный стон донесся из полуразбитого дома. Мы осторожно заглянули в подъезд и увидели небо сквозь рухнувшую, прогоревшую крышу. Прислушались — стон повторился. Осторожно, стараясь не касаться наклонившихся стен, мы вошли в одну комнату, потом в другую. Никого! Как будто самый дом простонал в последней, предсмертной муке.

— Татьяна Петровна, здесь,—негромко сказала Клава.

И мы увидели высоко, почти на уровне плеч, чуть заметные в груде мусора кончики ног, носки женских туфель.

Женщина была завалена в узком пространстве под лестницей между первым и вторым этажом. Казалось, что весь второй этаж лежит на ней — и он действительно рухнул бы вниз, если бы его не поддерживала накренившаяся балка перекрытия.

Нечего было и думать, что удастся вытащить эту женщину своими силами, и я послала девушек за аварийной командой. Но, быть может, удастся нащупать голову, освободить дыханье?..

Два марша лестницы сохранились, и я стала подниматься очень осторожно, потому что ступени так и ходили под ногами. Первая, вторая... Вдруг наступила тишина, и с каким-то болезненным чувством *услышала* я эту режущую тишину после беспрерывного грохота и гула. Третья, четвертая... Перила качнулись, я хотела вернуться, по стон повторился, и на этот раз отчетливо послышалось:

— Помогите!

Пятая и шестая. Теперь я была на площадке, но дотянуться было все-таки трудно и пришлось — очень осторожно — подняться еще на одну ступеньку. Где-то здесь должна быть голова — и я действительно нащупала ее в груде щебня. Так! А теперь освободим дыханье.

Лестница качалась, но мне почему-то больше не было страшно.

— Разожмите рот!

Рот был набит известкой, и пришлось присесть на корточки, иначе было трудно работать. Я отбрасывала известку одной рукой, а другой держалась за перила.

— Вы слышите меня? Разожмите рот!

Что-то глухо скрипнуло за моей спиной, и стена, которую подпирала балка перекрытия, стала медленно оседать, перестраиваясь перед моими глазами. Я схватилась за перила, но и они стали уходить, так что прыгнуть можно было только под накренившуюся стену. Но я извернулась, прыгнула в сторону — и последнее, что мне запомнилось в этот день, в этот час, было странное ощущение, что я лечу не вниз, а вверх, туда, где в рваной бесформенной дыре светлело небо, озаренное нежным светом восходящего солнца.

Не стану рассказывать о том, как со сломанными ребрами меня вытащили из-под рухнувшего дома,— скажу только, что плохо было бы мое дело, если бы я не послала девушек за аварийной командой. Но дело было все-таки плохо. Сказалось ли напряжение последнего дня или усталость, постепенно нарастая, дошла до своей высшей точки, но мертвая неподвижность, полное, глубокое безразличие овладели мной. Я потеряла сознание ненадолго, голова, по счастливой случайности, была почти не ушиблена, ранений много, но легкие. Почему же мне было так трудно заставить себя поднять руку, выпить глоток воды, произнести хоть слово?

Первую неделю нечего было и думать о том, чтобы вывезти меня из Сталинграда. Тысячи самолетов продолжали бомбить город, и, чтобы добраться до переправы, нужно было пройти вдоль падающих зданий, по расплавленному асфальту, в котором вязли ноги, пройти, не задохнувшись в дыму. Об этом со спокойным мужеством говорили раненые, назначенные к эвакуации и лежавшие вместе со мной в бомбоубежище областного театра. А я... странно вспомнить и немного смешно, но едва раздавался грохот сброшенных бомб, как меня мгновенно охватывал сон, с которым невозможно было бороться. Я засыпала, поднося ложку ко рту, не договорив фразу...

Давно сбились, перепутались дни и ночи, но когда бы я ни открывала глаза, толстое озабоченное лицо Белянина неизменно склонялось надо мной. Он ухаживал за мной трогательно, самоотверженно: доставал откуда-то воду, когда был разбит городской водопровод, таскал ко мне врачей и со страшным, зверским выражением лица требовал от них, чтобы мне стало лучше. Он же, доложив о моем положении командующему Сталинградским фронтом, отправил меня на самолете в Москву.

...Это было первое утро, когда мне вновь захотелось вспоминать, сравнивать, думать. Осторожно, чтобы не спугнуть это чувство, я повела глаза направо — кроватный столик, покрытый салфеткой. Потом налево — дверь, освещенная солнцем. Голова начинала кружиться, когда я смотрела на эту ослепительно белую дверь.

Больше я не сомневалась в том, что все это уже было когда-то: точно так же я лежала на спине и боялась вздохнуть. Точно так же мне казалось, что в этой комнате я не одна и что, если осмотреться вокруг, можно увидеть того, кто ровно дышит где-то рядом со мной. Но тогда мамонты поднимались и спускались по лестнице, и с медленно бьющимся сердцем я долго прислушивалась к их удалявшимся, тяжело переступавшим шагам. Это было, когда Митя нечаянно ранил меня и я лежала у Львовых.

...Дверь внезапно распахнулась, и высокий человек в шапочке и халате стремительно ворвался в комнату. Он не вошел, а именно ворвался, и за ним, уступая друг другу дорогу, торопливо вошли другие врачи. В тихой палате сразу стало тесно и шумно. Один из врачей стал что-то говорить о моих сломанных ребрах, он молчал, прищурясь, потом перебил, подсел ко мне, послушал сердце и одобрительно буркнул. Я едва удержала улыбку — у него был озорной вид, точно он раздумывал, не выкинуть ли ему какую-нибудь забавную штуку? Две медсестры торопливо, но почтительно записали это бурканье. Потом он вышел, и врачи, негромко и тоже почтительно переговариваясь, повалили за ним.

Это был профессорский обход, и высокий стремительный человек с бледным, умным лицом, в котором мелькало что-то мальчишеское, был профессор Ю., знаменитый хирург.

А ведь я в палате действительно была не одна! Первые дни мы лежали, не видя друг друга, две забинтованные куклы. Мы разговаривали, и я уже знала, например, что моя соседка — военный врач, хирург, что она ранена где-то под Ростовом. Она рассказала мне о своем сыне, а я — о своем. С помощью сиделки мы обменялись их фотографиями и, таким образом, увидели своих сыновей прежде, чем друг друга. Мальчик был курчавый, с торчащими ушками, милый, но все-таки не такой милый, как мой.

Соседка говорила лениво, как будто с трудом, и по этому неторопливому разговору я почему-то решила, что у нее круглое, добродушное лицо с улыбающимися глазами. Ничуть не бывало! Когда мы наконец повернулись — я на левый бок, она на правый,— я увидела одно из тех смелых, поражающих своей сдержанной силой лиц, которых в жизни встречаешь немного. И какое там добродушие — к Елизавете Сергеевне (так звали мою соседку) меньше всего подходило это слово!

Я видела до этой встречи только двух настоящих красавиц: Глафиру Сергеевну — в молодости — и одну подавальщицу в столовой зерносовхоза. И обе они не только прекрасно знали, что они красавицы, но именно это заставляло их говорить и думать так, а не иначе.

А моей соседке было все равно, что у нее такое нежно-смуглое лицо с крупными сходящимися бровями. Ей было все равно, что, когда она нехотя смеялась, становились видны такие удивительно ровные, с голубоватым отливом зубы. И то, что врачи, осматривая ее, немного терялись, как будто она была особенным существом, которому неловко было давать обыкновенный бром с валерианой,— все это не имело для нее никакого значения. Я сказала, что она смеялась нехотя. Это и было первое впечатление — все она делала как бы нехотя, сдерживая раздражение и сердясь на себя. Сестры, ухаживая за ней, немного робели, сиделки — я слышала — сердились на нее: «Подумаешь, королева!» Она никогда не говорила ничего лишнего, и в этой определенности, законченности было даже что-то неженское, резкое. Мне становилось неловко, когда она двумя словами обрывала не в меру разговорившегося собеседника.

Однажды к ней зашли однополчане, и один офицер глупо пошутил, что Елизавета Сергеевна живо поправилась бы, если бы начальство позволило прибавить двести граммов беленькой к больничному рациону. Все засмеялись, а она даже бровью не повела. Офицер, взглянув на нее, неловко замолчал. И все замолчали.

Андрей бывал у меня очень часто, но впервые с ясной головой я встретила его все в тот же запомнившийся день. По-видимому, идиотическое равнодушие, в котором я находилась так долго, очень напугало его, потому что, увидев меня очнувшейся, он с трудом удержался от слез. Зато я не удержалась!

Он очень похудел, пиджак смешно болтался на плечах, глаза были запавшие, испуганные. Он принес бульон, который сам сварил в лаборатории, и сказал, чтобы я не беспокоилась ни о чем: Павлик здоров, мама пишет часто. Вчера звонил Малышев, справлялся обо мне и просил передать, что группа, работавшая в Сталинграде, представлена к награждению. С продовольствием — хорошо. На фронте — тоже хорошо, наши наступают.

— Словом, дело только за тобой,— сказал он с такой, непохожей на него, наигранной бодростью, что я испугалась, что все эти новости — сплошное вранье, не только фронтовые. О том, что на фронте плохо, что мы отдали Новороссийск и бои идут в самом Сталинграде, я знала.

— Что случилось?

— Ничего, все в порядке.

— Павлик здоров?

— Я же тебе сказал, что здоров.

— Скажи: честное слово.

— Честное слово.

— А Митя?

— Собирается в Москву.

— Вот хорошо! И надолго?

— Не знаю.

Так я и не поняла, чем был расстроен Андрей,— да и не старалась! С какой-то эгоистической бережностью обходила я в эти дни все, что могло огорчить меня. Мне нужно было поправиться скоро, очень скоро! Поправиться и, едва позволят врачи, вернуться к работе. Коломнин уже перестраивал лабораторию на плесневой «крустозинный» лад.

Давно пора

— Татьяна Петровна, как ваша фамилия? — спросила меня соседка, когда Андрей ушел и наступило то спокойное предвечернее время, когда нас не кормили, не лечили и дневные сиделки перед уходом домой занимались не нашими, а своими делами.

Я назвала себя, и у нее дрогнуло лицо, точно она надеялась услышать что-то совсем другое.

— Вы огорчились? Вы думали, что с вами в одной палате лежит Уланова, да?

Она улыбнулась.

— А как ваша, Елизавета Сергеевна?

— Гордеева.

Гм, Гордеева! Я подумала и решила, что горьковский Фома Гордеев виноват в том, что мне показалась знакомой эта фамилия.

— Нет, я потому спрашиваю,— помолчав, сказала Елизавета Сергеевна,— что он напомнил мне одного человека.

— Кто напомнил?

— Ваш муж. Он не родственник Дмитрия Дмитриевича Львова?

— Родной брат.

— Родной брат?

Я взглянула на соседку и поразилась: это было так, как будто прежняя, сдержанная Елизавета Сергеевна мгновенно исчезла куда-то, а вместо нее появилась совсем другая женщина, живая, вдруг вспыхнувшая, с широко открытыми глазами, с изменившимся от волнения лицом.

— А вы знакомы с Дмитрием Дмитриевичем?

— Да. Мы вместе работали в Ростове.— Она посмотрела на меня и опустила глаза.— Вы не знаете, где он теперь?

— Знаю.

Елизавета Сергеевна перевела дыханье.

— Он жив?

— Да.

И мы замолчали. Елизавета Сергеевна потому, что ей нужно было справиться с волнением, а я... Мне вспомнился тот вечер в Ростове, когда мы с Митей остались одни, и он показал мне разорванный и склеенный портрет Глафиры Сергеевны. Мы сидели на балконе, фонари нежно и ярко освещали нарядные липы бульвара, и я чувствовала, что о своей «тяжелой болезни» он может говорить только со мной. «Меня познакомили здесь с одной женщиной,— сказал он тогда.— И мне показалось...»

Он не договорил, а потом стал рассказывать об этой женщине: врач-хирург, ученица Б. Я спросила: «Красивая?» Он ответил: «Да. Очень».

Елизавета Сергеевна — вот кто была эта женщина, и вовсе не горьковский Фома Гордеев был виноват в том, что эта фамилия показалась мне такой знакомой! Я услышала ее от полусумасшедшей сестры в Красноводске, которая рассказала о том, как некая доктор Гордеева спрятала Митю в подвале, а потом бежала с ним к партизанам.

Широко открытые темные глаза смотрели на меня с мучительным нетерпением, и я стала торопливо говорить о Мите, так торопливо, точно была виновата перед этой женщиной, которая, быть может, была бесконечно ближе Мите, чем я.

— Я сама еще ничего толком не знаю, мы от него получили только одно письмо, да и то какое-то беглое. Все-таки можно понять, что он был где-то у немцев в тылу, потому что пишет, что прошел пешком больше тысячи километров. Андрей придет послезавтра, я попрошу его принести это письмо. Очень беглое, вы увидите — все о нас

спрашивает, а о себе — два слова. Когда вы видели его в последний раз? Это правда, что вы спрятали его в каком-то подвале, а потом бежали с ним из Ростова?

Ни разу в течение тех дней, что мы лежали в одной палате, я не слышала, чтобы моя соседка смеялась. Теперь услышала — когда спросила ее об этой истории.

— Я была мобилизована в первые дни войны, он проводил меня, и больше мы не виделись. Это было второго июля.

Мне захотелось спросить: откуда же взялись такие странные слухи? Но я только подумала и не спросила.

Елизавета Сергеевна лежала на спине, повернув ко мне голову, забинтованную, трогательно-красивую, с темными большими глазами. Я рассказывала о Мите и думала: «Да, милая. И красивая. И давно пора. И прекрасно».

Но все было совсем не так прекрасно, как мне представлялось.

— Я была уже лет пять замужем и любила мужа, хотя он был много старше меня. Хороший человек, очень спокойный и все прощал, только одно требовал — чтобы я говорила правду.

— А было что прощать?

— Было. Я очень неровная, капризная, вечно меня тянуло куда-то. То мне весело, и муж хорош, и работой увлечена, и жизнь прекрасна. А то хоть на белый свет не гляди — все скучно, немило! Муж ребенка очень хотел, а я нет, но он в конце концов убедил, между прочим, тем, что я тогда перестану метаться. И вот тут-то я встретилась с Дмитрием Дмитричем.

Длинный больничный день подходил к концу, ночная сиделка уже пришла и поздоровалась громогласно и добродушно, дневная стала собираться домой, и Елизавета Сергеевна, которая ела очень мало, подозвала ее и сунула хлеб в карман халата.

— Встретились мы в одном доме, и он мне сперва не понравился — какой-то резкий, недовольный, хмурый. Говорит нехотя, свысока. Мы с ним сразу поссорились, помнится, из-за шефа. Я у Б. работала, вы о нем слышали?

— Еще бы! Превосходный хирург.

— И человек превосходный. Дмитрий Дмитрич отозвался о нем иронически. Ну, а я, разумеется, на дыбы! Так мы и расстались — с отвратительным впечатлением друг от друга. А через несколько дней я встретила его на

улице. Это было вечером, зимой. Холод резкий, а он идет в летнем пальто, шляпа откинута, в руке трость и пьяный. Не очень, но навеселе, он ведь первое время вообще пил в Ростове. И, сама не знаю почему, мне вдруг захотелось, чтобы он... ну, хоть вспомнил бы, что я существую на свете! «Дмитрий Дмитрич, застегнитесь». И вижу, он обрадовался, хотя за то время, что мы не виделись, конечно, не подумал обо мне ни разу. Он ведь такой, знаете...

— Какой?

— Когда видит, тогда и любит.

Она сказала это с грустным и сердитым выражением и, когда я отрицательно покачала головой, посмотрела на меня искоса и тоже сердито.

— Ладно... Ну, разлетелся он, поцеловал руку — знаете, как он умеет с женщинами, когда хочет понравиться. От него немного пахло вином, но и это было приятно. «Вы меня пожалели, Елизавета Сергеевна? И не боитесь? Ведь это опасно!» — «А я, Дмитрий Дмитрич, не из пугливых!» И мы пошли — сама не знаю куда, зачем... Мне только хотелось, чтобы это было всегда — острый ветер, от которого щеки кололо, снежинки, залетавшие в рот. И чтобы он вел меня под руку и говорил, говорил — со мной, обо мне, для меня.— Елизавета Сергеевна замолчала, вздохнула.— Потом мы не виделись долго, около года. И не было ни единого дня, когда бы я не думала о нем, ни единого часа. Он всегда был со мной, и когда иной раз случалось, что я ненадолго забывала о нем, поверите ли, мне было стыдно, точно я совершила какое-то святотатство.

— Девочки, пора спать, спокойной ночи,— сказала, зайдя в палату, дежурная сестра.

— Спокойной ночи.

Сестра ушла и вернулась.

— Как вы себя чувствуете, доктор? — спросила она Елизавету Сергеевну.

— Очень хорошо, благодарю вас.

— У вас лицо взволнованное.

— Вам показалось. Спокойной ночи.

Мы помолчали.

— Татьяна Петровна, мы все лежим, и я даже не знаю, какая вы. Высокая или маленькая? — спросила вдруг Елизавета Сергеевна.

— Скорее маленькая. А вы?

— А я — большая.

— Так я и думала. Свет погасить?

— Зачем? Скоро одиннадцать.

В одиннадцать свет выключали.

— Потом родился Игорь,— продолжала Елизавета Сергеевна.— И все потускнело, отступило. Я должна была все делать сама, стирать и готовить. Муж и всегда-то меня любил, а тут просто не отходил ни на шаг, и я начала относиться к нему сердечнее, мягче. И когда стали говорить, что Дмитрий Дмитрич собрался в Москву — потом оказалось, что не совсем, а на конференцию ВИЭМа,— я даже удивилась: так спокойно встретила это известие, так равнодушно! Этот разговор был, между прочим, при муже, и он, помнится, с тревогой посмотрел на меня. Я ему улыбнулась и подумала: «Все кончено, навсегда, навсегда».

Свет погас, и в больнице стало по-ночному тихо. Надоедливая дверь, весь день хлопавшая под нашей палатой, хлопала теперь редко. Радио, бормотавшее, певшее, игравшее в наушниках, лежавших у меня на груди, замолчало.

— И вот... Это было осенью тридцать девятого года. Я узнала случайно, что Дмитрий Дмитрич должен быть в театре, и решила пойти — из какой-то лихости, что ли! Мне хотелось доказать себе, насколько я к нему равнодушна. Он опоздал, я не видела, как он вошел в темноте. Но точно кто-то сильно толкнул меня в самое сердце, когда он вошел. Я знала, знала наверно, что вот только что его не было в зрительном зале, а сейчас он здесь, где-то близко, и смотрит на сцену, и видит то же, что я. И мне уже было все равно, что нас могут заметить, что в театре много общих знакомых, что завтра о нас станут говорить в мединституте. Я только ждала, когда кончится действие, чтобы, не медля ни минуты, найти его и сказать, что стоит ему сказать одно слово, только одно, и я...

Елизавета Сергеевна замолчала. Я слушала ее и не могла справиться с грустным, щемящим чувством.

— Так что я его ни в чем винить не могу. Все сама, только сама. И вы знаете, Татьяна Петровна, нельзя сказать, что в моей жизни не было счастья. Но если все это счастье подобрать до последней крупинки и положить на одну чашу весов, а наши немногие встречи с Дмитрием Дмитричем на другую...

— Немногие?

— Да. Мы скоро расстались. Я разошлась с мужем, рассталась с сыном, он и теперь у моей матери в Канске — есть такой городок в Сибири. А с Дмитрием Дмитричем так ничего у нас и не вышло.

— Почему?

— Не знаю. Мы очень разные люди. Мне все казалось, что я не могу жить без него, а ему без меня иногда даже лучше. Он мне рассказал о Глафире Сергеевне и уверил, что давным-давно забыл и думать о ней. И все-таки я знала, что он любил ее совсем не так, как меня,— и мучилась, сходила с ума, ревновала. Он не был счастлив со мной,— вздохнув, сказала Елизавета Сергеевна.— И очень хорошо, что мы разошлись. Так мне и надо.

Елизавета Сергеевна простудилась, когда ее возили на рентген, и два дня пролежала с высокой температурой. Она бредила — отталкивала кого-то, звала на помощь, оправдывалась, умоляла и несколько раз тоненьким, жалобным детским голоском позвала Митю. На третий день температура упала, и она очнулась, обессиленная до такой степени, что едва могла вымолвить слово.

Вскоре и меня повезли на рентген. В длинном коридоре, повернувшем под углом и снова оказавшемся длинным-предлинным, сидели и лежали на койках раненые, и с чувством неловкости я подумала о том, как, в сущности, нам с Гордеевой хорошо в отдельной, светлой палате. Подумала и сказала.

— Еще бы,— отозвалась сердитая, катившая мое кресло сиделка.

Перед лифтом, который должен был поднять меня в рентгеновский кабинет, мы застряли, и я вдруг увидела себя в зеркале — вот так вид! Забинтованный, измученный монгольский мальчик с широкими скулами и провалившимися глазами смотрел на меня... Хороша голубка!

Сердитая сиделка кричала на другую сиделку, загородившую нам дорогу узлами с бельем, та оправдывалась и тоже кричала. Санитары молча растащили узлы и с размаху вкатили меня в большой, грязноватый лифт. Не отрывая взгляда от монгольского мальчика, я успела подмигнуть ему одним глазом и теперь, поднимаясь на лифте, думала: что бы это могло означать, что я ему подмигнула? Выздоравливаю — вот что! Иначе бы не мигала!

Печальный пример Елизаветы Сергеевны научил меня, и я упорно отказывалась снять шерстяной платок до тех пор, пока меня не поставили перед аппаратом. Я сказала рентгенологам, что у них в кабинете все простуживаются, но меня им простудить не удастся. Бодрый, красноносый

врач в халате, надетом на что-то теплое, толстое — должно быть, на ватник,— засмеялся и сказал, что, когда больной является к нему с подобной претензией, можно заранее сказать, что дело идет на поправку. Потом он посмотрел мои кости, и действительно оказалось, что дело быстро идет на поправку.

Друзья бывали у меня очень часто — и в приемные и в неприемные дни. Лена Быстрова, которую я не видела с начала войны и по которой очень скучала, приехала на несколько дней из Казани — похудевшая и помолодевшая, хотя прядь над высоким лбом стала теперь совсем седая.

Войдя в палату, она остановилась у двери, глядя прямо на меня и не узнавая,— это больно кольнуло меня.

— Лена, это я! Неужели я так изменилась?

Она бросилась ко мне:

— Нет, нет! Просто свет ударил в глаза.

Это была неловкая минута: Лена уверяла меня (не очень искренне), что я не изменилась, а я не слушала — расстроилась, что она не узнала меня.

Катенька Стогина — вот о ком она вспоминала через каждые два-три слова, вот кем была глубоко, болезненно занята! Ее отец был ранен, лежал в госпитале где-то под Тюменью и, по-видимому, после выздоровления, останется работать в тылу. Лена боялась, что он возьмет к себе Катеньку. И дрогнувшим голосом она сказала, что заранее старается приучить себя к этой мысли, старается — и не может.

Она достала из сумочки фотографию Катеньки, и толстенькая девочка с огромным бантом взглянула на меня, доверчиво улыбаясь.

— Здорова?

— Совершенно. А помнишь...

— Еще бы! Ты даже не представляешь себе, как много я думаю о твоей Катеньке. И не только я. Ты была в институте?

— Была и все знаю. Ох, ты даже не представляешь себе, как мне хочется поскорее вернуться в Москву!

Накануне Коломнин приезжал ко мне, и мы как раз говорили, что в нашем коллективе, особенно перед войной, уже была не только профессиональная, но и психологическая цельность и что теперь, когда лаборатория разорвана на две неравные части, эти внутренне связанные части непременно должны тянуться друг к другу.

— У меня фармаколога нет, и ты мне нужна до зарезу.

— Вот так и напиши наркому: Быстрова, в частности, нужна до зарезу.

Мы проговорили до тех пор, пока дежурная сестра, появившись на пороге, выразительно развела руками.

Виктор, только что вернувшийся из Ташкента, и Николай Васильевич Заозерский пришли ко мне в один день и, выяснив, что я уже почти здорова, занялись вопросом о том, как поставлена в Средней Азии противоэпидемическая работа.

Николай Васильевич спрашивал, Виктор отвечал — и отвечал умно, со знанием дела. Я посмотрела на них, и слезы невольно навернулись на глаза: это были мой учитель и мой ученик. Виктор заметил, что я взволнована, спросил, что со мной, я засмеялась и сказала, что он приехал смешной — черный, подсохший, похожий на индуса, но с самой что ни на есть рязанской выгоревшей шевелюрой.

А Николай Васильевич постарел. Никогда прежде я не видела его таким подавленным и усталым. Ни привычных шуток, ни милых украинских словечек, от которых почему-то становились проще самые запутанные дела!

Его приемный сын, тот самый, который некогда, во времена маньчжурской чумы, был торжественно вручен ему китайским мандарином, погиб под Москвой. Николай Васильевич любил сына, гордился его успехами и был глубоко потрясен этой смертью. А осенью сорок второго он похоронил и жену.

К этим несчастьям, о которых с ним лучше было не говорить — большие глаза его сразу же наполнялись слезами,— присоединилось еще одно. Последние годы, после переезда на Украину, он каждое лето проводил в Чеботарке. Он мечтал превратить ее, по образу павловских Колтушей, в один из центров советской микробиологии. Немцы сровняли с землей его Чеботарку. На месте богатого села с двумя школами-десятилетками, с только что выстроенным медицинским техникумом стояли среди развалин виселицы с казненными партизанами — об этом упоминалось в одной из фронтовых корреспонденций.

Прежнего добродушно-лукавого, любящего цветы, легкий отдых, легкую беседу с друзьями Николая Васильеви-

ча теперь трудно было узнать в старом, сгорбленном человеке с пожелтевшим, исхудалым лицом. Бородка его тоже пожелтела и стала редкая, длинная. Глаза смотрели пристально, с неподвижным выражением. Он умолкал подчас во время оживленного разговора, и чувствовалось, что его томит в эти минуты невеселая дума...

— Неужели это правда о Догадове? — спросил Виктор, возвращаясь к новости, о которой я знала уже давно и которая его поразила.— Какой негодяй!

Летом 1942 года Догадов оказался — при каких-то темных обстоятельствах — на оккупированной территории и выступил по радио с клеветнической речью.

— Татьяна Петровна, неужели правда?

— А вы думаете, Витя, что я должна знать больше других? Очевидно, правда.

— Какой позор!

Я сказала, что Догадов всегда казался мне фальшивым.

— Эта корректность, этот ровный голос, эта видимость объективности, а на деле ненависть, от которой он, должно быть, задыхался наедине с собой. Не помню, где я читала: «Мертвые, которые считают себя живыми только потому, что видят свое дыхание в холодном воздухе». Это о нем.

— И довольно о нем,— сердито сказал Николай Васильевич.

Последнее время Виктор работал уполномоченным Наркомздрава по Средней Азии, и теперь было необходимо, чтобы Заозерский позвонил наркому насчет возвращения Виктора в наш «филиал». Я попросила, Николай Васильевич обещал, а потом разговор снова уткнулся в эту, как будто немного отравившую всех, историю с Догадовым.

— Интересно, что думает об этом Валентин Сергеич? — сказал Виктор.— Должно быть, расстроен? Как-никак, а ведь Догадов его ученик. И ближайший.

— Еще бы не расстроен,— сказал Николай Васильевич.— Впрочем, знает ли он? На днях он уехал в Лондон.

— Зачем?

— Очевидно, хочет изумить своими достижениями мировую науку,— сильно покраснев, сказал Виктор.

Заозерский внимательно посмотрел на него.

— Подрос ваш воспитанник, Татьяна Петровна.

— Да, подрос. Впрочем, у него с Крамовым счеты. Правда, Витя?

— Да. Но не личные счеты.

Мы помолчали.

— Ну-с, это дело особое,— сердито теребя бородку, возразил Заозерский.— И к тому, что сделал подлец Догадов, ни малейшего отношения не имеет. И я к Валентину Сергеевичу симпатии не питаю. Больше того, должен сознаться, что подчас в его присутствии испытываю нечто подобное тому, что испытывает человек при виде скорпиона, который может его ужалить. Но на грязное предательство он не способен. И довольно об этом.

Ох, как трудно, оказывается, стоять на ногах, не держась за спинку кровати! Первый день — десять шагов, второй — двадцать, а на третий — прощанье с Елизаветой Сергеевной, которая как-то сухо, едва разжимая губы, целует меня, точно сердится за то, что мы расстаемся. Ей еще лежать и лежать. Я написала Мите о нашей встрече, и она написала, но письма едва ли успеют дойти — скоро он должен приехать в Москву.

...Андрей привез из дому платье, которое я не носила, должно быть, лет пять, я сержусь на него, а сама так рада этому старенькому, заштопанному платью. С радостной, глупой улыбкой я бреду, едва передвигая ноги, по коридору, спускаюсь по лестнице, и все, кто встречается мне на этом бесконечном пути, тоже начинают улыбаться, как будто весь огромный госпиталь радуется тому, что я возвращаюсь домой.

Андрей надевает на меня пальто — сто пудов, но все равно хорошо! Мы выходим на улицу: темнота, от которой я успела отвыкнуть, резкий ветер, косой дождь пополам с мокрым снегом — все равно хорошо! Мы садимся в машину, толстый слой снега лежит на переднем стекле, «дворник» еле работает, водитель ругает погоду. Андрей сетует, что не взял меня из госпиталя утром... Хорошо!

Заколдованный круг

Не знаю почему, но в госпитале я не могла заставить себя расспросить, что случилось с Андреем, а между тем редкий день не замечала в нем беспокойства, которое он (не очень умело) старался скрыть от меня. Зато дома, когда мы остались одни, я напала на него с такой энер-

гией, что он не выдержал — поднял руки и закричал: «Сдаюсь!»

Дело касалось, как я и думала, вакцины против сыпного тифа — той самой вакцины, которую Никольский оставил в конце прошлого века, чтобы заняться другой работой, «менее безнадежной». Но дед не располагал в конце прошлого века тем простым и оригинальным методом, которым воспользовалась лаборатория Андрея. Метод — если сказать о нем по возможности кратко — заключался в том, что мышей заражали через нос возбудителями сыпного тифа, вызывая у них воспаление легких, а потом из переболевших легких приготовляли вакцину.

Все шло хорошо. Мыши лихорадили, кашляли, чихали — словом, вели себя именно так, как им полагалось. Первые препараты были уже получены, испытаны с хорошими результатами, осталось немногое, чтобы приступить к производству. И вдруг — это было в тот день, когда меня привезли из Сталинграда — заболел лаборант, приготовлявший вакцину, и заболел, увы, сыпным тифом.

Конечно, это могло быть случайностью. Но лаборант был опытнейший, не допускавший промахов в своем, подчас рискованном, деле. Может быть, совпадение? В самом деле, мог же он заразиться и вне института?

Но через несколько дней захворал швейцар, он же гардеробщик, то есть человек, который вообще не заходил ни в лабораторию, ни в виварий,— это было уже совсем ни на что не похоже! Жил он в комнате под лестницей, в первом этаже, а мыши свой недолгий век коротали на третьем. Правда, раза два в неделю он поднимался наверх, чтобы попить чайку со своим приятелем, служителем из лаборатории Андрея. Однако служитель-то был здоровехонек!

Снова случайность? Но Андрей, который, быть может, лучше всех в Советском Союзе умел разгадывать эпидемиологические загадки, прекрасно понимал, что двух совершенно подобных случайностей не бывает и что нужно причину искать там, где скрещиваются пути заболевших. Но пути их не скрещивались — ни на работе, ни в жизни.

— Ты понимаешь, не могу понять, что произошло. Я проследил каждый час жизни этого швейцара и даю тебе слово... Это совершенно необъяснимо — почему заболел он, а не швейцар из соседнего дома.

Но вот — это было совсем недавно — в институт приехал важный гость, сотрудник иностранной миссии, интересовавшийся достижениями советской науки. Он не за-

ходил в лабораторию Андрея. Он только прошел по коридору, вдоль стены, за которой находился виварий,— и через установленный срок заболел сыпным тифом.

— Тяжелым?

— Да,— потирая ладонью лоб, отозвался Андрей.— Очень тяжелым.

Нарком назначил комиссию, и дело — по многим причинам — сразу приняло дурной оборот.

Институт профилактики был одним из тех научно-производственных институтов, которые Наркомздрав в течение многих лет пытался передать Академии наук, упорно отказывавшейся от этого сомнительного подарка. Вечно в нем что-то не ладилось: то он перестраивался, то объединялся. Постоянно менялись директора. Среди научных сотрудников были люди, стремившиеся лишь к одной цели — стать кандидатом, а впоследствии (если удастся) доктором наук. Поговорка, поразившая меня своей откровенностью (когда я услышала ее впервые), родилась, мне кажется, в стенах именно этого института. Вот она: «Не в знании сила, а в звании». Недаром же Институт профилактики и иммунитета называли «кузницей диссертаций»!

Правда, эти диссертации забывались через день (или через час), не оставляя ни малейшего следа в науке. Но зато в бюджете Наркомздрава они оставляли заметный след, поскольку доктора и кандидаты, согласно закону, получают бо́льший оклад, чем недоктора и некандидаты.

Трудно или даже невозможно определить, чем занималось это учреждение вплоть до самой войны. Одна из лабораторий работала над проблемой выпадения волос, так что по своему научному направлению она приближалась к известному «Институту красоты» в Париже. Причем и руководитель и сотрудники этой лаборатории были, как на грех, необычайно плешивы. В другой занимались определением пола будущего ребенка по материнской крови.

Были в этом институте и серьезные ученые, но работали они, закрыв глаза и уши и стараясь не замечать той поистине фантастической чепухи, которую выдавали за науку иные лаборатории. Впрочем, с открытыми глазами и ушами они не продержались бы в этом институте и полгода.

Не знаю, по какой причине Институт профилактики не был эвакуирован — очевидно, его признали одним из тех

незаменимых научных учреждений, без которых жизнь столицы могла принять нежелательное направление. Так или иначе, он остался в Москве. Директор-статистик был снят, а на его место назначен Андрей, с азартом взявшийся за это запущенное хозяйство.

Вероятно, он сразу нажил врагов, потому что действовал с той беспощадностью, которую я оценила в нем еще в те далекие времена, когда мы боролись с дифтерией в Анзерском посаде. По своей привычке, он скрывал от меня свои неприятности.

Ему удалось многое. В 1942 году институт впервые за много лет выполнил производственный план. Но вот работа остановилась перед загадкой, которую Андрей не мог решить, несмотря на весь свой многолетний опыт.

Такой острой, болезненной неудачи в его жизни еще не бывало! Случались промахи, подчас заметные, но не отражавшиеся на той совокупности черт, которая определяет место человека в обществе и называется «положением». На этот раз было подорвано именно «положение». Эпидемиолог, не сумевший предупредить вспышку заразной болезни в собственном институте,— это было нечто такое уж непочтенное, обидное для самолюбия, вызывающее иронию!

Я не успела до Сталинграда побывать в его институте и теперь просила показать мне лаборатории, виварий — кто знает, быть может, мне и удалось бы найти причину загадочной вспышки. Он решительно отказался: «Не семейное дело». Это была та преувеличенная, высшая принципиальность, которую я называла «святой» и которая раздражала меня.

Он боролся отчаянно, последовательно, не упуская ни одной возможности, даже самой ничтожной. Каждый вечер он писал объяснения, отчеты, и это были великолепные объяснения, объективные отчеты. Он привозил в институт Малышева, Ровинского, Краута, и эти опытнейшие работники должны были признать, что и они не в силах найти причину загадочной вспышки. Это были люди, желавшие помочь ему, поддержать, ободрить. Но были другие — те, которые только и ждали удобной минуты, чтобы толкнуть в спину, отвернуться.

Среди этих недоброжелателей на первое место можно было смело поставить некоего Скрыпаченко, в прошлом одного из учеников Крамова, бывшего заместителя директора института. Это был человек, о котором многозначи-

тельно говорили: «Пишет», отнюдь не имея в виду при этом непреодолимую склонность к художественной литературе. Скрыпаченко занимался литературой другого рода, той самой, которая зачастую остается анонимной, разумеется, только по скромности автора. Правда, эта сомнительная безыменность говорила сама за себя — многие произведения Скрыпаченко попадали в корзину для бумаги. Но что-то оставалось — легкое подозрение, оттенок недоверия, тот дым, который «без огня не бывает».

Это был высокий человек с неопределенно-осторожной улыбкой, чуть показывающейся на тонких губах. Он всегда ходил в потертом длинном пиджаке, в длинном пальто, придававшем ему сходство с иезуитом, и затхлый запах неуютного, холостого жилья шел от этих плохо сшитых вещей, от носового платка, от всей его извилистой, настораживающей, несимпатичной фигуры.

Говорили, что от него сбежала жена — этому нетрудно было поверить. Что он живет более чем скромно — аскетически, отвешивая домашней работнице продукты на весах и попрекая ее каждой копейкой. У него были узкие, слабые руки с длинными пальцами, и мне подчас представлялось, как он сидит один в полутемной комнате, погруженный в свои отравленные завистью мысли, и слабыми пальцами плетет сети, в которые завтра попадется друг или враг.

С приходом Андрея этот опасный человек должен был уступить свое место опытному эпидемиологу. Скрыпаченко стал заведовать отделом и, разумеется, не простил этого новому директору института.

...Проведя свой первый после болезни рабочий день в институте, голодная, усталая, я вернулась домой, и Андрей не окликнул меня, как обычно, хотя не мог не слышать, что я открыла дверь, вошла, сняла пальто в передней.

— Ты дома?

Он сидел на полу, обхватив колени руками, дверца «пчелки» была открыта, и угли бросали слабый красноватый свет на его лицо, показавшееся мне особенно измученным в эту минуту.

— Что с тобой? Почему ты молчишь?

— И я еще учил тебя, как нужно работать в науке! — с отчаянием сказал он.— Я сердился и доказывал, что ты не права. Лучше бы ты прямо сказала, что я бездарен и что мне не следовало браться за такое сложное дело. Быть

может, я бы послушался тебя. А теперь все пропало. Молчи, молчи, не утешай!

В первую минуту я растерялась, потом подсела к нему, обняла, и давно мы не говорили так сердечно, так долго! Куда исчезли его спокойствие, его умение всему найти свое место? Передо мной был расстроенный, усталый человек. Он не судил себя, нет! Просто пришла минута, когда он не мог справиться с собой, и он от всей души отдался этой минуте.

Это было совсем нетрудно — доказать Андрею, что дело совсем не в его бездарности, а в том, что он, в сущности говоря, мало занимался наукой.

— Ты вспомни, что было со мной! Не отмахивайся, пожалуйста! Со свечением я возилась — страшно подумать — три года! А раневой фаг? А крустозин? Сколько раз я думала, что в моих руках средство от самых страшных болезней!

Я успокаивала его и думала: «Полно, да Андрей ли это?» Я целовала его и чувствовала, что вот такой растерянный, не похожий на себя, он почему-то особенно дорог мне и близок.

Позвонили. Я пошла открывать и не поверила глазам, увидев высокую фигуру Скрыпаченко, вежливо улыбающегося, в длинном пальто и облезлой шапке со спущенными ушами.

— Виноват... Здравствуйте. Андрей Дмитриевич дома?

Это был, несомненно, Скрыпаченко, и спутать его с кем-нибудь другим было решительно невозможно. Он спросил, дома ли Андрей Дмитриевич — стало быть, не ошибся дверью. И все-таки это было настолько невероятно, что я долго молчала, прежде чем ответить:

— Дома. Раздевайтесь, пожалуйста.

Конечно, незачем было пускать его к Андрею, тем более что у меня даже не было уверенности, что Андрей захочет разговаривать с ним. Но было уже поздно, Скрыпаченко снял пальто. Затхлый, неприятный, какой-то нежилой запах вошел вместе с ним в переднюю. Уж не было ли это обманом чувств? Он повесил пальто и стал долго чистить перед зеркалом потертые лацканы пиджака.

Я попросила его подождать и вернулась к Андрею, плотно закрыв за собой дверь. Он по-прежнему сидел перед «пчелкой», упершись подбородком в колени, и не обернулся, когда я вошла, только спросил усталым голосом:

— Кто там, Танюша?

— Скрыпаченко.

— Кто?

— Скрыпаченко. Только ты не волнуйся, пожалуйста, и не делай глупостей,— торопливо сказал я.

У Андрея потемнело лицо, и он встал, машинально отряхивая брюки.

— Обещаешь? Я скажу, что он может зайти. Хорошо?

Возможно, мне не следовало оставлять их наедине, но, к сожалению, это было неудобно, и, уйдя на кухню, я принялась за обед или ужин — как там ни называть полузамерзшую картошку, из которой, с помощью манной крупы, иногда удавалось испечь оладьи. Впрочем, ни звука не доносилось из комнаты, и можно было, кажется, не сомневаться, что там идет серьезная и миролюбивая беседа. Мне даже представилась эта беседа: Скрыпаченко с улыбкой на тонких губах, слабо взмахивая рукой, убеждает в чем-то Андрея, а тот слушает, хотя и мрачновато, но внимательно и время от времени вставляет ни к чему не обязывающие, но вполне корректные замечания.

Прошло несколько минут, и послышался легкий стук, точно кто-то за стеной снял с ноги сапог и бросил его на пол, а потом поднял и снова бросил. Я вышла в переднюю, прислушалась. Стук прекратился, и, успокоенная, с поварешкой в руках, я снова принялась за оладьи. Конечно, после идиллической картины, которую я так живо нарисовала, было трудно догадаться, что этот стук вызван тем, что один из собеседников бьет другого головой о стену.

Увы!.. Это было именно так. Только что я приготовилась отправить на сковородку новую порцию оладий, как стук повторился, на этот раз одновременно с пронзительным бабьим криком, от которого у меня сердце так и упало; потом дверь из нашей комнаты распахнулась, и, неопределенно болтаясь, с помертвевшим лицом, Скрыпаченко выскочил в переднюю и прислонился к стене, выставив вперед длинные руки. Андрей, не торопясь, вышел за ним. Я бросилась к нему. Он отстранил меня, даже не отстранил, а поднял и переставил. У него были бешеные, веселые глаза, немного косящие, веки полуопущены. Таким я его еще никогда не видела. Он подошел к Скрыпаченко и засмеялся так, что стали видны все его белые широкие зубы, потом взял за горло, и вот тут-то и повторился этот странный стук, которому я прежде не придала значения.

— Андрей! Оставь его, перестань! Ты слышишь?!

Скрыпаченко по-прежнему пронзительно визжал и, вдруг захлебнувшись, высоко подпрыгнул, точно надеясь взлететь в воздух и таким образом освободиться от Андрея. Но не тут-то было! Держа его одной рукой за горло, Андрей открыл дверь и, сжав зубы, одним движением вымахнул этого длинного человека на лестницу, а потом — я не успела опомниться — сорвал с вешалки его пальто и шапку и бросил их вслед за ним.

Это уже было однажды: некий звездочет явился ко мне после маминой смерти, потребовал, чтобы я вернула ему какие-то гадальные книги, и Андрей спустил его с лестницы. Но звездочет все-таки не был, как мне кажется, настолько близок к расчету с земным существованием!

Немного бледный, но очень веселый, Андрей обнял меня за плечи и аппетитно потянул носом.

— Вкусно пахнет. Знаешь, что предложил мне этот прохвост: замять всю эту историю с вакциной. Но с одним условием: чтобы я снова сделал его своим заместителем по научной части. Хорош? Жаль все-таки, что я его не убил.

Я засмеялась и только пожала плечами. Не могла же я признаться, что мне ужасно понравилось, что Андрей едва не убил Скрыпаченко. Я поцеловала его, и мы принялись за оладьи.

Очень странно, но это покушение на убийство не только не имело ни малейших дурных последствий для Андрея, но вообще не получило огласки. Скрыпаченко, что называется, съел — и не поперхнулся. Однако не думаю, чтобы положение Андрея в Институте профилактики стало прочнее. Да и только ли в институте? Его не пригласили на пленум ученых медицинских советов РСФСР, где он собирался выступить с докладом о методе Планельеса по лечению дизентерии. Медгиз, для которого он написал популярную брошюру, не только вернул рукопись, но потребовал обратно аванс, что было даже забавно. Но совсем не забавным показался нам фельетон в «Медицинском работнике» о некоем директоре института, который похвалялся, что открыл могучее средство против заразной болезни, а сам не обеспечил простейших санитарных условий «в собственном доме»...

Признаться, ни разу в жизни не случалось мне задумываться над общественным значением обыкновенного

телефона. Меньше всего представляла я, например, что этот привычный аппарат, который мы даже не замечаем, может стать чем-то вроде зеркала отношений. До этой истории с вакциной Андрея звали к телефону каждые полчаса, в урочное и неурочное время. Теперь с каждым днем ему звонили все реже.

То были последние месяцы года, когда радио что ни день приносило известия о новых победах. В ноябре началось наступление под Сталинградом.

Было нечто страшное — скажу, не боясь этого слова,— в той вынужденной неподвижности, на которую был обречен Андрей среди этого нарастающего кипения дела. Как будто он остановился с разбегу, а чья-то злая рука уже успела обвести вокруг него заколдованный круг. Он не был одинок в этом кругу, друзья остались друзьями. (А те, которые лишь притворялись друзьями,— о них не стоило думать!) Но никогда в жизни ему не было так тяжело, так невыносимо грустно!

Давным-давно он затеял написать книгу о работе врача-эпидемиолога, все доказывал, что пора «вывести в люди» представителей этой скромной профессии. В годы войны эта тема стала значительнее, острее, и он все сетовал, что нет времени, чтобы взяться за нее, не доходят руки. Теперь дошли — лучше бы не доходили!

Света не было, короткий зимний день кончался в четыре часа, Андрей работал при коптилке. Глаза у него стали красными от напряжения, веки набухли. Я посылала его к врачу, но он только смеялся и говорил, что теперь — баста! Он окончательно потерял доверие к медицине, сыгравшей с ним такую подлую штуку.

Он писал, почти не выходя из дому, по четырнадцать часов в день, с бешенством, с неистовой страстью — словом, с теми чувствами, которых я у него прежде, кажется, не замечала. Я возвращалась поздно, усталая, и он редко читал мне, а читая, стеснялся и сердито морщился, останавливаясь на неудачной фразе. Мне казалось, что он пишет живо, умно, а он был все недоволен.

Я ложилась, а он еще писал. Минутами он задумывался, по-детски зажав палец между зубами, и удивление проходило по усталому, но чем-то довольному лицу — точно он и верил и не верил тому, что написал.

Прошло всего две недели с того вечера, когда, полуживая, еще не умея ходить, я вернулась домой, а между тем казалось, что все это было очень давно: госпиталь с его размеренной, как бы идущей по кругу жизнью, смена сиделок, знакомство с Гордеевой, о которой я аккуратно справлялась через день, а в другое время почему-то старалась не думать.

Крустозин удалось наладить, и работа пошла бы полным ходом, если бы не приходилось время от времени прибегать к помощи подозрительных кустарей, наживавшихся на упаковке. Мы просто пропадали без собственной упаковочной мастерской, и дело кончилось тем, что наш воинственный завхоз просто-напросто стащил чье-то беспризорное оборудование, очень хорошее, с новенькой штамповальной машиной. Машина в особенности порадовала меня: теперь мы сами могли печатать этикетки для бактериофага и других препаратов. В общем, все было бы хорошо, если бы не холод, которого я стала почему-то особенно бояться после ранения. Холодно было дома, холодно на работе! Я возвращалась к себе, и такая настывшая, неуютная комната, с такими ледяными — не дотронуться — вещами встречала меня! Жизнь начиналась только поздним вечером, когда на раскаленной «буржуйке», похожей на маленького чугунного бога, закипал чайник и становилось тепло и возвращались на свои места сбежавшие куда-то от холода обыкновенные человеческие мысли и чувства.

...Мы боялись, что плесневой грибок заразит производство фагов, и работу по крустозину пришлось перенести в институтский флигель, необорудованный и тесный. Кому-то пришла в голову мысль устроить термостаты в ящиках от письменных столов, и хотя лаборатория стала походить на мебельный склад, грибок в письменных столах чувствовал себя превосходно.

В этот день был «аврал» — нужно было разобрать рухлядь, оставшуюся после эвакуации в первом этаже институтского здания. И лишь возвращаясь домой в полутемном трамвае (где, закутанные, синие под синими лампочками, сидели молчаливые, понурые люди и синяя кондукторша с фонариком отрывала билеты), я с тревогой вспомнила об Андрее.

...Еще на лестнице я услышала голоса, настолько похожие, что мне показалось, что Андрей громко говорит сам с собой. Не раздеваясь, я осторожно заглянула в комнату. Нет, не он! Он сидел на корточках перед печкой, колол дровишки и молчал, а говорил кто-то другой, и прежде чем я узнала этого другого, я увидела его мечущуюся по стенам огромную, угловатую тень.

— Митя!

Он замолчал на полуслове, засмеялся, шагнул через стул, на котором лежал его заплечный мешок, и протянул мне руки.

— Я, Танечка, я, как это ни странно!

Он был в форме — полковник,— и на мгновенье мне вспомнился молодой врач, носившийся по тихим лопахинским улицам в длинной кавалерийской шинели. Но врач был уже немолодой, сильно поседевший, с острым профилем, в котором и прежде было что-то орлиное, а сейчас стало еще заметнее, чем прежде.

— Встретились все-таки, как хорошо,— говорил Митя, когда мы поздоровались и он держал мои руки в своих и не отпускал, целуя.

— Надолго?

— Сравнительно, да. Вызвали и поручили организовать экспедицию.

— Куда?

— К черту на рога,— смеясь, сказал Митя.

Он был очень доволен.

— Садитесь, Татьяна! — Я сняла пальто.— Нет, сперва покажитесь! Похудела,— сказал он с огорчением.

— Постарела, Митя?

— Может быть. Чуть-чуть. А вот Андрей...

— Он вам рассказывал?

— Еще бы!

Они спорили добрых два часа до моего прихода. Уже был нарисован план лаборатории, вивария, института. Уже были обруганы Ровинский и другие бездарные, по мнению Мити, советчики Андрея. Уже раз десять братья вернулись к сотруднику иностранной миссии, который, к счастью, не зашел посмотреть на зараженных мышей. В общем, Митя утверждал — и это была неожиданная точка зрения,— что эта история доказывает только одно: сыпнотифозная вошь, по-видимому, не является единственным источником заражения.

— Чтобы согласиться,— с досадой сказал Андрей,—

нужно только одно: забыть все, чему нас учили в институте.

— Вот и забудь! Иногда это полезно.

Андрей махнул рукой.

— Да пропади она пропадом, эта история! Не хочу я больше говорить о ней. Расскажи лучше о себе. Черт знает как мы за тебя волновались! Таня, он не хотел рассказывать, пока ты не придешь!

Я разогрела кашу, Митя достал из заплечного мешка консервы и шпик, и мы устроили великолепный, давно не виданный ужин с настоящим кофе, которое я сварила по всем правилам кофейного искусства. В комнате было тепло, и, хотя печка время от времени «отказывала» — дым валил в комнату, а из колена трубы, заправленной в форточку, начинала капать черная жидкость,— братья объявили, что «банкет удался».

Последние годы так редко случалось видеть их вместе! В юности они были совсем не похожи, а теперь то в движениях, то в интонации вдруг мелькало необыкновенное сходство. Младший стал немного горбиться с годами, старший по-прежнему держался по-военному прямо. Младший был, как всегда, нетороплив, в старшем то и дело закипало нетерпение — в особенности когда нужно было выслушать собеседника, этого он никогда не умел. Младший, как всегда в эти редкие встречи, был полон делами, мыслями, надеждами старшего брата. А старший был полон только собой и рассказывал о себе с легким оттенком хвастовства, нисколько не уменьшавшегося с годами.

Он был действительно болен дизентерией, и очень тяжелой, когда немцы взяли Ростов. На третью неделю он начал вставать, и в этот день у его дома остановилась легковая машина. Какой-то человек в штатском, с цветком в петлице и с драгоценной тростью в руке поднялся по лестнице и на чистом русском языке спросил профессора Львова. Разговор был короткий. Через четверть часа машина уехала, а профессор позвал старушку-домработницу и спросил, не хочется ли ей поехать с ним в город Берлин.

— Не хочется,— сказала старушка.

— Ага. Вот и мне не очень. А ведь обещают полмира.

Старушка сказала, что ей не нужно полмира.

Он уложил свой заплечный мешок и, когда стемнело, вышел из дому. План был простой — на время скрыться в одной знакомой деревенской семье, а потом найти партизан и переправиться с их помощью через линию фронта.

Недалеко ушел он за ночь. Недавняя болезнь давала себя знать, да и не привык он шагать по дороге с тяжелым мешком за плечами. С зарей он залег в пшенице, и такой незнакомой, забытой показалась ему эта зеленая, с капельками росы, молодая пшеница. И он спокойно уснул, глядя в розовое высокое небо.

На другую ночь он подошел к знакомой станице — и не нашел ее. Почерневшие стоянки торчали здесь и там, указывая место, где находились избы. Станица была сожжена и, как видно, недавно: дымок еще пробивался кое-где среди обугленных бревен. Нужно было двигаться дальше. Куда?

Так началось его путешествие — в своем письме он шутливо назвал его «великим исходом». Но тогда было не до шуток. Он шел, и одежда, в которой он покинул Ростов, постепенно превращалась в тряпье. В одной деревне он променял свои изношенные ботинки на лапти, в другой — пиджак на котелок супа. У него отросла борода. («Увы, седая»,— смеясь, добавил в этом месте Митя.) Без шапки, с пыльной гривой, с длинной палкой — он скоро понял, что нельзя придумать лучшего маскарада. Старухи крестились, когда он появлялся на деревенских улицах,— «ну и, разумеется, подавали».

В одной станице мотоциклист, у которого отчаянно фыркала, но не трогалась с места машина, подозвал его свистом, как собаку. Митя подошел. Очевидно, наружность его показалась подозрительной солдату. Не слезая с машины, он дернул его за бороду.

— Сам бог,— сказал он, захохотав, и, уверившись, что борода настоящая, приказал подтолкнуть мотоцикл.

Уже кончилась степная полоса с ее зеленым простором без конца и края. Пошли курские леса, Льгов был недалеко.

Теперь, просыпаясь, Митя вставал с трудом. Немела спина, ноги были давно разбиты, сердце болело, и боль была плохая — с отдачей в левую руку. Как-то он присел у ручья и очнулся от страшного чувства, как будто кто-то рукой закрывает глаза. Он лежал в ручье — должно быть, упал, потеряв сознание.

И вот наступил день, когда он почувствовал, что кончается его «великий исход».

Не скрываясь больше, он днем зашел в большое село. Он узнал, что здесь сохранилась больница и женщина-врач принимает больных.

— Здравствуйте, доктор,— сказал он, дождавшись своей очереди и зайдя в комнату, где сидела худенькая женщина в халате.

— Здравствуйте, дедушка. Откуда?

— Издалека,— сказал Митя и сел.— У меня к вам секретное дело, доктор. Я вас не знаю, но вы русская и врач, этого достаточно. Дело в том, что...

Вечером, умытый и причесанный, он сидел в чистой избе с вышитыми полотенцами и рассказывал без конца. Перед ним стояла тарелка с жареным картофелем, и то, что можно и даже нужно было брать этот картофель вилкой, казалось ему чудесным сном, который может исчезнуть в любую минуту.

Решено было, что он останется у доктора Клитиной на несколько дней. Это было рискованно, муж ее служил в Красной Армии, немцы присматривались к ней, староста не раз подъезжал с разговорами. Больные видели, как она проводила Митю к себе из больницы. Но делать было нечего...

Он проснулся ночью, в чулане, и несколько минут лежал, не открывая глаз и сонно прислушиваясь к тому, что его разбудило. Это был шорох, шепот где-то очень близко, за стеной, на дворе. Чулан был дощатый, в пристройке, и ему показалось, что слабый свет мелькнул между рассохшимися досками.

Он приподнялся на локте, потом встал. Негромко постучали в окно. Полоска света появилась за дверью — хозяйка со свечой вышла в сени. Она спросила:

— Кто там?

И прежде чем со двора успели ответить, понял, что пришли за ним.

Три недели он провалялся в каком-то грязном подвале. Его били, снимали оттиски пальцев, показывали каким-то незнакомым людям. Он выдавал себя за профессионального нищего, бывшего сторожа хлебозавода в Нахичевани, к нему подсаживали провокаторов, ловили на перекрестных допросах. Ничего не добившись, его перевели в одиночку и оставили умирать, потому что он дошел до последней степени истощения.

Ему удалось достать листок папиросной бумаги, огрызок карандаша, и, собрав последние силы, он написал Андрею. Но кому передать листок? Доктору Клитиной? Кто знает, быть может, и она схвачена, выслана, погибла?

Среди его тюремщиков был один русский, тот самый, который помог ему добыть карандаш и бумагу. Довериться ему? Терять было нечего, а у этого парня было хорошее лицо. И Митя решился.

— Подойди-ка поближе, друг,— сказал он, когда тот заглянул в камеру на вечерней проверке.— Мне, кроме тебя, поговорить не с кем. Дело мое, как видишь, плохо. Еще дня три — и не поминай лихом! Так вот, возьми этот листок и при первой возможности перешли моему брату в Москву, Серебряный переулок, двадцать два, квартира четыре.

Листок, свернутый в трубочку, был засунут в окурок. Парень взял окурок, повертел его в пальцах. Потом оглянулся на дверь и наклонился к Мите.

— Погодите помирать-то, профессор,— быстрым шепотом сказал он.— Наши близко. Скоро небось увидите брата.

Это был наш разведчик, связанный с партизанами и служивший у немцев...

И наши действительно оказались близко. Через неделю Митя лежал в госпитале, а еще через две возился со своими пробирками в фронтовом СЭЛе.

Мы с Андреем сидели на кровати, а он шагал по комнате, натыкаясь на стулья, и огромная тень металась за ним, причудливо повторяя движения. Коптилка мигала, он нервно поправил ее. Он умолкал, иногда надолго. Справляясь с волнением, он крепко брался за спинку стула. Веселый тон подшучиванья над собой пропал, и он рассказывал тяжело, задумываясь над тем, что произошло с ним, и как будто не веря.

— Митя, а вы знаете, с кем я лежала в одной палате? — спросила я, когда стало удобно заговорить о другом.— С доктором Гордеевой. Я писала вам о ней, но вы, должно быть, не получили?

То было время, когда свет в Москве выключали по районам,— нужно же было, чтобы он вспыхнул в то мгновенье, когда я сказала об Елизавете Сергеевне!

Пожалуй, с хозяйской точки зрения, было бы лучше, если бы это произошло завтра утром,— в непривлекательном виде предстала наша комната, с измятой кроватью, с грязными тарелками на столе! Но это чувство только мелькнуло: Митя бросился ко мне так стремительно, что

столик, за которым происходил наш «банкет», покачнулся, и я едва успела подхватить покатившиеся стаканы.

— Где она?

— Еще в госпитале.

— Ранена?

— Да. Но все обошлось.

Как будто просыпаясь, он провел рукой по лицу.

— Как вы думаете, Таня, могу я ей позвонить?

— Когда?

— Сейчас.

— Вы сошли с ума! Третий час ночи.

— Ну так что же! Я только передам ей привет.

— Ох, Митя! Не торопитесь. Она не уснет, если ей скажут, что вы звонили. У вас голова седая. Не торопитесь.

Братья

Наутро он умчался, не позавтракав, вернулся в середине дня, притащил груду хлеба, который получил по аттестату, и с этой минуты все в доме пошло вверх дном, потому что он стал заниматься нашими, а мы — его делами. Экспедиция оказалась ответственнейшей, и, чтобы организовать ее в короткий срок, нужно было заняться ею, и только ею. Как бы не так! Елизавета Сергеевна выписалась из госпиталя, и он устроил ее в гостиницу «Москва» — зимой 1943 года это было равносильно подвигу Геракла. Он прочел книгу Андрея — черновик, в котором я не могла разобрать ни слова, и три вечера подряд доказывал, что главная неудача Андрея заключается в том, что двадцать лет тому назад он, Андрей, занялся медициной, а не литературой.

И наконец,— это было самое главное — он поехал с ним в Институт профилактики.

— Иди ты знаешь куда! — сердито сказал он, когда Андрей попытался убедить его, что это «не семейное дело».— Кроме высокой чести состоять с тобой в родстве, я все-таки четверть века занимаюсь наукой.

Молча облазил он все три этажа института, заглянул в виварий и заставил всех лаборантов, одного за другим, рассказать о том, как они приготовляли вакцину. Рабочее место заболевшего лаборанта он не просто осмотрел, а, можно сказать, обнюхал.

Вечером, когда мы встретились за столом, об этой ревизии не было сказано ни слова. Мы поужинали, легли, и я уже почувствовала, что мысли смешались и что-то неожиданное всплыло, как всегда, в последнюю перед сном минуту...

— Андрей, я понял!

Я испугалась. Андрей коснулся моей руки и тихонько сказал:

— Спи, спи. Он бредит.

— Иди ты к черту! Ты сам бредишь! Я все понял! Они заразились аспираторно.

— Кто заразился?

— Эти люди, лаборант и кто там еще.

Андрей повернул выключатель и сел:

— Сыпной тиф по воздуху не передается.

Митя засмеялся. Он был всклокоченный, бледный, с вдохновенными, смеющимися глазами.

— Вот спасибо, а я и не знал,— сказал он.

— Во всяком случае, до сих пор не передавался.

— Ах, до сих пор! Так ведь до сих пор никто не вызывал у мышей сыпнотифозного воспаления легких. До сих пор сыпной тиф не сопровождался кашлем. До сих пор...

— Швейцар не заходил в виварий.

— Значит, он плохо изолирован. Не швейцар, разумеется, а виварий!

— Штукатурная перегородка.

— Ну, тогда трещины, черта и дьявола, не знаю что,— покраснев и сердито подняв брови, сказал Митя.— Таня, вы спите?

— Нет.

— Вы согласны со мной?

— Почти.

— В науке не бывает «почти». Товарищи, да как же вы не понимаете, что весь опыт как будто нарочно поставлен для того, чтобы возбудители могли свободно выделяться в воздух? Андрей!

— Да?

— Ты что молчишь?

— Я думаю.

— Ах, ты думаешь? — с глубоким удовлетворением сказал Митя.— Так вот, раз уж ты думаешь, постарайся усвоить ту простую истину, что из новых условий, как правило, возникают и новые явления. До сих пор сыпнотифозные больные не чихали, не сморкались и вели себя со-

гласно формуле «сыпной тиф по воздуху не передается». А ты заставил их...

Он замолчал, потом стал ровно дышать — уснул. Уснула и я. Андрей вставал, пил воду, ворочался — не спал до утра.

На другой день братья снова поехали в институт, и Митина догадка полностью подтвердилась. Виварий был действительно изолирован, но вентиляционный ход соединял его с коридором, и возбудители сыпного тифа не просто проникали, а, можно сказать, с силой выбрасывались наружу, распространяясь по всему институту. Ничего удивительного не было в том, что люди, проходившие по этому коридору, подвергались опасности заражения. Удивительно было другое — что из множества этих людей заболели всего только трое.

Разумеется, все это произошло далеко не так просто, как я рассказала. Через несколько дней многие сотрудники Института профилактики и иммунитета заговорили о том, что иначе и быть не могло, они думали совершенно так же. Это было повторением известной истории с колумбовым яйцом, поставить которое — после Колумба — оказалось удивительно просто.

Но нашлись и другие: Скрыпаченко, например, упорно доказывал, что если даже Львов-старший прав,— что более чем сомнительно,— Львов-младший все-таки виноват, потому что хороший директор обязан знать устройство вентиляционных ходов в своем институте. Не стану рассказывать о других, более сложных маневрах. Все было сделано, чтобы Андрей не то что не мог, а не захотел вернуться в Институт профилактики. И он действительно не вернулся.

Елизавета Сергеевна

Митя пропадал целыми днями, по его словам, в разных «снабах», которые должны были снарядить его экспедицию, а по моим предположениям,— в гостинице «Москва», на одиннадцатом этаже, в номере тысяча сто десятом.

Впрочем, обитательница этого номера почти не упоминалась в наших разговорах — мы с Митей редко оставались вдвоем, а говорить о ней при Андрее он, по-видимому, стеснялся. Лишь однажды он спросил Андрея, с кем, по его мнению, нужно поговорить, чтобы ему, Мите, разрешили включить в состав экспедиции опытного врача-хирурга?

Нетрудно было догадаться, о ком идет речь, но Андрей сделал вид, что это его не интересует.

— Гм. Но ведь твоя экспедиция, насколько мне известно, не имеет к хирургии ни малейшего отношения!

— В том-то и дело! — с отчаянием отозвался Митя.

— Так, так. Старый врач?

— Какое это имеет значение?

— Не скажи. А прежде когда-нибудь он был в твоем распоряжении?

— Не был.— Митя слегка покраснел.

— И ты в этом совершенно уверен?

— Совершенно.

— Гм. Тогда, пожалуй, ничего не выйдет.

— Почему?

— Видишь ли, если бы ты прежде знал этого врача, можно было бы сказать наркому, что тебе без него будет скучно. А начальник экспедиции не должен скучать — это может вредно отразиться на деле.

Митя посмотрел на него.

— Господи помилуй, единственный брат — и подлец! — с изумлением сказал он.

В другой раз он упомянул — небрежно и между прочим,— что медкомиссия дала Елизавете Сергеевне полугодовой отпуск, и, стало быть, теперь ее участие в экспедиции зависит только от собственного желания.

Я заметила, что после тяжелого ранения ехать в такую далекую экспедицию неосторожно. Но Митя улыбнулся и возразил, что трудно придумать понятие, более несвойственное Елизавете Сергеевне, чем «осторожность».

Он сказал это, и я, как наяву, увидела ее перед собой — смуглую, нехотя улыбающуюся, с крупными, по-мужски сходящимися бровями.

Но вот прошло несколько дней, и мрачный, расстроенный Митя явился домой, отказался есть великолепную картошку в мундире, от которой по всей комнате пошел вкусный пар, и стал ругательски ругать какого-то Кор-

ниенко, который просто задался целью провалить экспедицию, а его, Митю, засадить в каталажку.

Но не в Корниенко тут было дело! Повернувшись к стене, он долго лежал, притворяясь, что спит, и демонстративно засопев, когда я его о чем-то спросила. Потом не выдержал, сел на постель и сказал мрачно:

— Не едет.

— И прекрасно. Лучше, если она подождет вас в Москве.

— Подождет! Она за Военно-санитарным управлением, ей придется вернуться в полк, если она не поедет со мной. Да об этом еще сегодня утром и речи не было.

— Что же случилось?

— Ничего не случилось. Я думал, что знаю женщин,— с досадой сказал Митя,— а оказалось, что не только не знаю, но сам черт их не разберет. Она прогнала меня.

— Ну вот!

— Да, да. За то, что я пошел к Глафире Сергеевне.

— Ах, так!

Митя посмотрел на меня.

— И вы туда же? — пожав плечами, спросил он.— Я даже не знал, что она в Москве, и вообще не думал о ней.

— Как же вы к ней попали?

— Да просто наткнулся в записной книжке на ее телефон и позвонил наудачу. Сам не знаю почему, может быть, из любопытства. Вы мне верите, Танечка?

— Верю.

— Она обрадовалась, позвала меня, и мы провели вечер за чаем. Это был очень грустный вечер, такой, что грустнее и придумать нельзя. Уж лучше бы она осталась в памяти прежней Глашенькой, без которой я не мог жить, как это ни странно.

— Постарела?

— Да, постарела, располнела, хотя и была в черном платье, наверно, чтобы не было очень заметно, что располнела. Это что! Мы все постарели. Нет, другое! Я нашел ее раздавленной, испуганной, отвыкшей от человеческого слова. Она не просто боится Крамова, она его смертельно боится. Он в Лондоне, за тридевять земель, но он присутствует в каждом ее движении, в каждом взгляде. И вы думаете, она жаловалась на него? Превозносила. Но какая пустота чувствовалась за этими похвалами, какая уста-

лость! Она была очень откровенна со мной. Но как только речь заходила о нем...

Митя замолчал. У него было напряженное лицо, одновременно задумчивое и холодное, с недовольно-поднятыми бровями.

— Вы знаете, что ее мучит, о чем она жалеет больше всего: скоро старость, а нет детей. Хотела взять сироту — невозможно.

— Почему?

— Валентин Сергеевич не любит детей. Да, Валентин Сергеевич... А мне-то казалось, что он остался где-то далеко позади, в прежней, довоенной жизни. Ничуть не бывало! Известный ученый, общественный деятель, член коллегии, Лондон, Париж... Вот, Татьяна. Это все, что произошло. Теперь скажите, неужели я действительно не должен был идти к Глафире Сергеевне?

— Не знаю.

— Не притворяйтесь, Танечка. Все люди как люди. Один я, как собака.

— Митя, вы должны настоять, чтобы Елизавета Сергеевна осталась в Москве. Война скоро кончится.

— Ну да, конечно. «Жди меня, и я вернусь». А вы уверены, что я вернусь?

— Уверена.

— Кто знает.

— Ах, так! В таком случае, тащить ее с собой — преступление.

Митя улыбнулся.

— А любить? — спросил он.— Тоже преступление?

Он уговорил меня поехать к Елизавете Сергеевне, и как я ни отнекивалась, а все-таки поехала, сердясь на себя, на него и чувствуя себя старой, скучной тетушкой, которой почему-то всегда приходится улаживать подобные недоразумения.

У подъезда стояли грязные фронтовые машины с привязанными канистрами, вдоль вестибюля спали, неудобно скорчившись в креслах, военные, у ресторана на лестнице толпились женщины с кастрюльками — словом, я не увидела ничего похожего на ту картину, которую, рассказывая о гостинице «Москва», нарисовал передо мной Митя. Впрочем, он особенно напирал на два обстоятельства: в номерах круглые сутки горячая вода, а в ресторане по-

дают даже водку. Водка мало занимала меня, а вот вода... Это было глупо, но, поднимаясь на лифте, я с завистью поглядывала на счастливцев, которые могут днем и ночью мыться горячей водой.

Елизавета Сергеевна жила на одиннадцатом этаже, где уже не было ни мрамора, ни ковров и где в узком, обыкновенном коридоре сидели не всевидящие, окруженные телефонами дежурные, а простые женщины в платках, пившие чай из эмалированных кружек.

Я постучала к ней — шорох, испуганный шепот, быстрые шаги послышались за дверью. Потом она выглянула — в халате, с завязанной полотенцем головой и встревоженная, как мне показалось.

— Вот это кто! Ну, заходите, живо!

И энергично втащив меня в комнату, она закрыла двери на ключ.

— А я уже думала, что попалась с поличным,— сказала она и засмеялась.— Катька, тащи кастрюльку. Напрасная тревога! Не дают, прохвосты, пользоваться электрической плиткой,— объяснила она мне, доставая плитку из-под кровати и водружая ее на письменный стол.— А как тут обойдешься? Вот девица приехала, нужно ее накормить?

Хорошенькая девочка, лет четырнадцати, в юбке до колен и рыжем свитере с закатанными рукавами вышла из ванной комнаты и подала Елизавете Сергеевне кастрюльку, очевидно, с супом.

— А поздороваться? — строго напомнила Елизавета Сергеевна.

Девочка подняла на меня глаза под длинными ресницами и произнесла очень вежливым, тоненьким голосочком:

— Здравствуйте.

— Видите, какая тихоня,— смеясь, сказала Елизавета Сергеевна.— А сама отказалась уехать в эвакуацию и осталась в Москве с какой-то сумасшедшей старухой. Это дочь моего двоюродного брата.

— Я не отказалась, тетечка Лизочка, а просто маме без меня будет легче.

— Да уж! Это несомненно. Вернулась с работы такая грязная, что я ее три часа не могла отмыть. Щеткой терла, как лошадь. Ну ладно. Вари суп и молчи. Что вы на меня так смотрите, Татьяна Петровна?

Я сказала:

— Любуюсь.

Елизавета Сергеевна немного покраснела.

— Вот именно, в этой чалме. Мы только что мылись. Хотите принять ванну?

— Нет, спасибо.

— Ну, тогда садитесь. Я давно хотела вас повидать и очень рада. Вот сейчас сварим суп, запрем Катьку в ванной комнате и наговоримся вволю.

Когда мы лежали в клинике, Елизавета Сергеевна не раз подшучивала над своими длинными ногами — и все-таки я не думала, что она на целую голову выше меня. Она была большая, но вовсе не длинная, не угловатая, а легкая, неторопливо-грациозная, с плавной походкой. Все шло к ее высокому росту: и смуглость, и выражение смелости, вдруг мелькавшее в исподлобья брошенном взгляде. Разговаривая с ней в клинике, я часто испытывала неловкое чувство, происходившее, мне казалось, оттого, что между нами не было ни малейшего душевного сходства. Сейчас она была радушнее, проще.

С первого слова она поняла, зачем я пришла, и выслушала меня молча, насупясь.

— Вот уж не ожидала, что он посмеет поручить кому-нибудь такой разговор. Даже вам.— Она взяла меня за руки.— Не сердитесь. Я его люблю, что мне перед вами таиться. Но вы не знаете, как это трудно — любить его, какое это мученье! Ведь он нарочно пошел к Глафире Сергеевне.

— Нарочно?

— Да, да. Нарочно, чтобы потом мне рассказать. Я не верю, что из любопытства, да и откуда мог взяться в записной книжке ее телефон. Он купил в Москве эту записную книжку. Он помешан на своей свободе, и это даже не странно, потому что вся его жизнь с Глафирой Сергеевной была рабством, унизительным, подлым. Но как же он не понимает, что это постоянное напоминание оскорбляет меня!

Она сердито смахнула набежавшие слезы.

— Не нужен он мне со своей свободой, если она для него дороже, чем я. Да и что за детская выдумка, боже мой! Вот я люблю — нужна мне, что ли, свобода? Вы скажете, что это ревность и глупая, потому что глупо ревновать к женщине, с которой он расстался чуть ли не де-

сять лет назад и которая причинила ему столько горя! Конечно, не стоит. Но вы не знаете его,— снова сказала она страстно.— Он беспечен, легкомыслен, он всегда полон только собой. Это сожаление о каждом ушедшем дне, если он прожит не так, как ему хотелось, это незамечание чужой жизни, потому что он всегда занят только своей. Он бы замучил меня, если бы я поехала с ним. Даже не он, я бы сама замучилась, и тогда мы поссорились бы навсегда, навсегда!

Дверь из ванной комнаты чуть-чуть приоткрылась — должно быть, Катька решила вознаградить себя за скучное ожидание и познакомиться, хотя бы в общих чертах, с душевной жизнью тети. Елизавета Сергеевна сердито захлопнула дверь.

— И потом, вы думаете, это легко — работать под его руководством? Мало сказать — он требователен. Он беспощаден. Попробуйте ошибиться, ответить приблизительно, опоздать... У него становится такое лицо, такой взгляд и голос, что только впору провалиться сквозь землю!

Постучали, вошла коридорная, извинилась и задернула шторы.

— И еще одно,— продолжала Елизавета Сергеевна, когда девушка вышла.— Эта экспедиция... Вы знаете, куда его посылают?

— Куда — не знаю. Зачем — догадываюсь.

— Вам я могу сказать... У наших восточных соседей чума, к нам обратились с просьбой о помощи. Вот видите, и вы взволновались. А Митя уверяет меня, что в наше время чума — это вздор. Врет, конечно?

— Врет.

— А ведь он отчаянный, вы не представляете себе, какой он отчаянный! Так еще и беспокоиться за него каждый час? Ну, нет! Благодарю покорно. Чему вы смеетесь? Скажите, Татьяна Петровна!

— Да нет же! Мне просто стало смешно, потому что Митя точно так же отозвался о вас — отчаянная, неосторожная. Вот что я думаю, дорогая Елизавета Сергеевна: я обещала ему уговорить вас, хотя мне все время казалось, что ехать в экспедицию прямо из госпиталя, после тяжелого ранения — это ошибка, которая может дорого обойтись и вам и ему. Теперь я вижу, что это не ошибка, а безумие. Противочумная экспедиция, да еще за рубежом, в чужой, незнакомой стране, без подготовки... Да он не имеет права брать вас с собой!

Это была минута, когда мне показалось, что Елизавета Сергеевна ждала от меня совсем другого, надеялась, что я стану уговаривать, убеждать ее. Странное выражение мелькнуло на ее взволнованном, побледневшем лице.

— Да, вы правы,— сказала она грустно.— Мы расстанемся надолго, на полгода. Ну что ж! Быть может, это к лучшему. Передайте ему, что я не поеду.

Дверь из ванной комнаты снова приоткрылась.

— Теточка Лизочка, теперь можно? — жалобно пропищала Катька.

Это уже было однажды: я приехала к Мите и нашла его в тоске, в отчаянье, потрясенного несчастьем, которое заставило его пересмотреть всю свою жизнь. Тогда от него ушла Глафира Сергеевна. В опустевшей, пропахшей табачным дымом комнате он шагал из угла в угол, запахивая измятую пижаму, грустно поглядывал туда и сюда, и в каждом его слове была видна усталость надломленного человека.

Теперь все было совсем иначе — и все-таки, возвращаясь от Елизаветы Сергеевны, я живо представила себе, как Митя, которому тесно в нашей маленькой комнатке, мечется, натыкаясь на стулья и прислушиваясь к каждому скрипу двери, а Андрей сидит на корточках перед «буржуйкой», колет дрова и немного косящими глазами, как всегда, когда он сердит, поглядывает на брата.

Ничуть не бывало! В комнате было холодно и дымно, на столе стояла пустая бутылка и валялся скелет какой-то глубоководной рыбы, а братья лежали валетом на кровати и мирно разговаривали — вспоминали молодость, гимназию, Лопахин. Впрочем, говорил главным образом Андрей, а Митя лишь изредка вставлял два-три слова — и всякий раз с оттенком горечи, которую я не знала, чему приписать — бутылке ли на столе или другой, более серьезной причине? На меня братья не обратили никакого внимания, и только, когда, растопив печку, я полезла под кровать, где у нас был устроен дровяной склад, Митя сонно посмотрел на меня одним глазом.

— А помнишь Саньку? — спрашивал Андрей. Это был учитель математики, и он смешно изобразил его: заморгал и озабоченно почесал подбородок — должно быть, похоже, потому что Митя, несмотря на свое мрачное настроение, так и покатился со смеху.

— Нет, Санька что! — сказал он.— В ваше время это была уже не та гимназия. А помнишь тетку Пульхерию?

И, хохоча, он стал вспоминать какую-то тетку, сестру отца, которая, приехав в Лопахин, потребовала, чтобы ей устроили «красную комнату», и бедная Агния Петровна, заняв под вексель, велела оклеить комнату красными обоями и заказала красный абажур на толстых красных шнурах.

Андрей удивился.

— Позволь, я забыл, почему красную?

И Митя, слегка заплетаясь, объяснил, что у тетки была «отталкивающая внешность», а на красном фоне эта внешность заметно выигрывала, так что в конце концов один ветеринарный врач предложил тетке руку и сердце. Рассказывая эту историю, он внимательно присматривался ко мне, очевидно, не узнавая.

— А, Танечка, это вы? — сказал он и сделал попытку, совершенно безнадежную, сесть на постели.— А мы тут рас... расположились и отдыхаем.

— Я вижу, как вы отдыхаете.

— Да,— гордо сказал Митя.— А что?

— Оставь, разве она понимает? Слушай, а ты помнишь этого, как его... Из восьмого «А»? У него еще была хорошенькая сестра, за которой ухаживал Ванька Зернов?

— Коржич?

— Да-да.

— Мими — собачья морда?

— Да, да,— сказал Андрей с наслажденьем и засмеялся.— Мне мерещится или это правда, что Рубин напился и доказывал, что нужно его утопить?

Должно быть, долго еще продолжались бы эти воспоминания, если бы я не потребовала, чтобы братья слезли с постели. Они покорно слезли и немного постояли, поддерживая друг друга и вспоминая, как было хорошо, пока я не пришла. Потом Митя подмигнул брату, и Андрей, сделав серьезное лицо, присел на корточки и стал шарить в углу, где были сложены книги. Водку выдавали довольно часто, почти каждый месяц, почему-то на промтоварные единички, но за книгами стояла бутылочка заветная, настоянная на тархуне — накануне решено было распить ее на Митиной отвальной.

— Андрей!

Он сделал вид, что не слышит.

— Перестань!

Значительно моргая, Андрей достал бутылку и передал ее брату.

— Да что вы, товарищи, ошалели? С чего бы это?

— По стопочке!

— Никаких стопочек! Пора спать! Митя, у вас завтра трудный день.

— Вот и нужно, чтобы была легкая ночь.

— Дайте сюда бутылку.

Митя погрозил мне.

— Э, нет! — пьяным, добрым голосом сказал он.— Я еще не забыл, как вы швырнули в форточку коньяк, когда я жил на Садовой. А какой был коньяк! Пять звездочек, боже правый! — И он высоко поднял руку с бутылкой.— Достанете — ваше!

— И не подумаю. Пейте, пожалуйста. Кстати, вам не хочется узнать, что ответила мне Елизавета Сергеевна?

Трудно было поверить, что минуту назад Митя стоял посредине комнаты, глупо хохоча, упираясь бутылкой в потолок. Точно я взмахнула волшебной палочкой — так стремительно превратился он в совершенно трезвого, взволнованного, слегка побледневшего Митю.

— Вы говорили с ней? Вы у нее были?

— Да, была.

Он поставил бутылку на стол.

— Не томите, Татьяна! Что она вам сказала?

— Завтра, завтра! Сегодня вы не годитесь для серьезного разговора.

— Так ведь я же не знал, что вы пошли к ней сегодня!

— Вот и поговорим не сегодня, а завтра.

— Танечка!

— Нет, нет!

— Андрей, скажи ей!

— Ну, нет. Это ваши дела.

— Татьяна, я очень прошу вас!

— Нет!

Я не слышала, как раздался звонок, Андрей вышел в переднюю и вернулся.

— Митя, к тебе.

Она не вошла, а влетела в комнату, быстро дыша, в распахнутом полушубке, взволнованная, румяная, с испуганными глазами.

— Татьяна Петровна, простите, но я...— дрогнувшим голосом сказала Елизавета Сергеевна.— Когда вы ушли, я

решила... Я испугалась, что Дмитрий Дмитрич позвонит куда-нибудь, что я отказалась. Познакомьте же меня с братом, сумасшедший человек,— сказала она, и слезы стали быстро капать на полушубок.— И больше не сердитесь на меня. Я еду, еду.

Через несколько дней мы провожали Митю. Мы ехали в «газике», я сидела, заваленная чемоданами и мешками, и молчала, а братья всю дорогу, до самого вокзала, с ожесточением обсуждали не слишком злободневный вопрос о том, каким образом — и нужно ли — связывать кафедру с научной работой? Очевидно, война, так глубоко изменившая жизнь, оставила неприкосновенным лишь содержание этих долголетних споров. Впрочем, я не прислушивалась. Мне было грустно. Это был день, когда в газетах появилось известие о гибели Марины Расковой, и хотя такие известия были не в диковинку зимой 1943 года, эта смерть показалась особенно неожиданной и нелепой. На каждом углу с расклеенных газет смотрело на меня милое, женственное лицо в траурной рамке, и так трогателен был контраст между строгим военным кителем и косами, уложенными вокруг головы!

«Да, не так легко, не так просто,— думала я, удерживая слезы, которые нет-нет да и подступали к глазам,— погибнуть, когда отдали пол-России. Эти косы, эти глаза, как будто задумавшиеся в юности и так и оставшиеся задумчивыми, молодыми. Лицо женщины, созданной для спокойной, счастливой жизни. Остались ли дети?»

И мне вспомнилась та страница из севастопольских рассказов Толстого, когда умирающий Козельцов спрашивает у священника, выбиты ли французы, и священник, скрывая, что на Малаховом кургане уже развевается французское знамя, отвечает, что мы победили. И Козельцов умирает, не чувствуя, что слезы текут по щекам, и испытывая «счастье сознания, что он сделал геройское дело».

У нее не было и этого счастья.

Вдоль полутемного вестибюля вокзала, на скамьях, на полу, спали солдаты, молоденький командир с измученным лицом курил в стороне. Девушка-носильщица тащила чемоданы толстого, хорошо одетого пассажира, и я слышала, как он тревожно расспрашивал ее, почем в Москве молоко и масло.

Митя настоял, чтобы мы не провожали его до вагона.

— Но вот что забавно.— Он засмеялся и поставил чемодан на платформу.— Ведь я так и не рассказал вам о самом главном.

— То есть?

Митя махнул рукой.

— Ладно, в другой раз,— сказал он, и я догадалась, что самое главное — это его теория о происхождении рака.— Кстати, у меня сохранился листок, который я хотел переслать тебе из тюрьмы. Жаль, надо бы его в Москве оставить. На всякий случай, а?

— Иди ты к черту!

Митя засмеялся.

— А теперь, дети мои, будем прощаться.

Я не выдержала и заплакала, когда, обняв и еще не отпуская Андрея, он полуобернулся и протянул мне свою широкую руку.

— Полно, Танечка, что это вы? — говорил он и, как ребенку, быстро вытер своим платком мои мокрые глаза и щеки.— Вот уж не похоже!

— Что-то грустно вдруг стало. Ну, ладно! Все будет хорошо! Мы ждем вас, Митя. Берегите себя.

Он подхватил вещи, спрыгнул с перрона. Перешел одни пути, потом другие. Легко обернулся и ласково помахал, чтобы мы уходили.

Старые друзья

Малышев звал Андрея в Военно-санитарное управление, и он согласился.

Нужно было оборвать эпидемии, вспыхнувшие среди освобожденного населения, в Орловской, Тульской, Смоленской областях. Нужно было предотвратить опасность, угрожавшую частям Калининского фронта, действовавшим в зараженных районах.

Нужно было посылать разведчиков впереди наступающих войск, на территорию, занятую противником, чтобы наши войска могли миновать зараженные села. Это была санэпидразведка, отличавшаяся от военной разведки тем, что к обычным опасностям присоединялась опасность заражения, и еще тем, что медицинские разведчики не только стремились избегнуть этой опасности, но шли прямо на нее, в самую глубину эпидемий. Нужно было организовать санитарно-контрольные пункты, построить тысячи бань и десятки тысяч дезинфекционных камер. Словом,

нужно было очень многое, и Андрей взялся за работу с вдохновением, с азартом.

Он получил военное звание — полковник медицинской службы,— надел форму, и сразу же у него стал непривычно подтянутый, помолодевший вид. Всю жизнь я забывала, что он хорош собой — с правильными чертами доброго, твердого лица, с широко открытыми серыми глазами.

Несколько дней он пропадал в библиотеках, потом стал уезжать, улетать, неожиданно возвращаться и опять уезжать — эпидработа всегда была для него чем-то вроде трамплина, который стремительно выбрасывал его в неведомые края и маршруты. Но теперь он стал относиться к этим поездкам как-то иначе, чем прежде,— я не сразу догадалась, что эта перемена была связана с его литературной работой. Он продолжал собирать материал для своей книги, и по его письмам нетрудно было догадаться об этом.

«Знаешь ли, какое зрелище больше всего поразило меня,— писал он из Сталинграда,— пленные немцы! Не могу забыть одну колонну, идущую степью, сплоченную в голове, но постепенно редеющую к концу. Люди останавливались, пошатываясь, потом гнулись к земле, падали, пытались ползти на четвереньках и коченели в снегу, с белыми носами, с замерзшими веками. А другие все шли да шли. Наши автоматчики в полушубках и валенках терпеливо ожидали их, положив на автоматы руки в шерстяных рукавицах. В одной балке наши раздавали пленным хлеб и колбасу, и ты посмотрела бы на эти дрожащие руки, горящие глаза и послушала бы добродушные прибаутки нашего каптенармуса, кормившего вчерашних врагов! Потом налетел запоздавший «юнкерс» и сбросил несколько бомб в балку, на своих. Те пленные, у которых еще были силы, побежали в разные стороны, а большинство продолжало жевать русский хлеб, обильно поливая его слезами... Злобы? Обиды? Отчаяния? Поди разберись!»

В Сталинград он уехал надолго — нужно было восстановить в разрушенном, заваленном трупами городе санитарно-эпидемиологическое хозяйство.

Весна сорок третьего года. Днем — работа, напряженная, острая, а по вечерам — внезапные приезды друзей из разных мест и лет, друзей, не вспоминавших о нас годами. Война, глубоко перетряхнувшая жизнь, вдруг оживила

старые, казавшиеся давно забытыми связи. К старым друзьям потянуло, как потянуло к «Войне и миру», книге, которую тогда читали все — и в тылу и на фронте. Многое было недоговорено, полузамечено, и все задумались: да не были ли эти полузамеченные, промелькнувшие мысли и чувства самыми серьезными, самыми глубокими в жизни?

Однажды, возвращаясь домой, я догнала на лестнице плотного, широкоплечего военного, с большим лицом, в котором, точно в дружеском шарже, все было как бы подчеркнуто, добродушно преувеличено: брови — вдвое шире, чем надо, губы — толстые, немного шлепающие, глаза — угольно-черные, нос — вздернутый, крепкий.

Это был Гурий Попов, военный корреспондент «Известий», а в прошлом — мой товарищ по школе и автор знаменитой бессловесной кинопьесы, в которой я играла главную роль.

— С лопахинским приветом,— сказал он и засмеялся.— Не будем говорить о том, какими мы стали. Поговорим о том, какими мы были. Можно называть вас на «ты», уважаемый доктор медицинских наук?

Он провел у меня целый вечер, рассказывая о своей работе, которая понаслышке всегда представлялась мне увлекательной, необыкновенной. Увы! Сам военный корреспондент был о ней совершенно другого мнения!

С первого слова я спросила о Володе Лукашевиче, и Гурий ответил, что в последний раз видел его прошлым летом на Северном флоте. Он ничего не знал о его дальнейшей судьбе и удивился, когда я сказала, что в августе прошлого года мы встретились в Сталинграде.

— Славный малый,— с обидевшей меня небрежностью сказал Гурий.

Это был милый вечер воспоминаний о Лопахине, о школьных друзьях. Но это был вечер, в котором чего-то все-таки не хватало, точно мы старательно ловили и не могли поймать давно порвавшуюся нить отношений. Так не было, когда я встретилась с Володей Лукашевичем в Сталинграде, потому что жизнь сделала его богаче и тоньше, а Гурий — я быстро убедилась в этом,— потеряв прелесть молодости, стал энергичным и дельным, но ограниченным человеком. Впрочем, может быть, нам просто не хватало Андрея?

— Расскажи хоть, какой он стал? — с нежностью, вдруг оживившей его большое, грубое лицо, сказал Гурий.— Черт знает что за жизнь! С лучшим другом видишься раз в полстолетие.

Фотография Андрея висела над столом, моя любимая, на которой ясно виднелись беленькие параллельные полоски на носу и твердое правильное лицо было озарено светлыми глазами. Гурий долго рассматривал фотографию.

— Какая досада, что он в отъезде. Бог весть когда еще удастся выбраться к вам!

Я сказала, что в последнее время Андрей работал над книгой, и Гурий вдруг радостно захохотал, показав большие, неправильные зубы.

— В нашем полку прибыло! — сказал он.— Ох, нелегкое дело. Ну-ка, почитай.

Мне давно хотелось, чтобы Андрей посоветовался о своих очерках с каким-нибудь писателем или журналистом. Куда там! Он только смеялся и говорил, что сейчас пишут все — летчики, врачи, просто читатели. Вот написал и он — не отставать же от всех!

Часть рукописи была напечатана на машинке — опять-таки по моему настоянию, и я наудачу прочитала Гурию несколько страниц. Он выслушал, туповато уставившись и немного распустив толстые губы.

— Это написал Андрей? Послушай, да ведь это же превосходно. Если бы я умел так писать — давным-давно ушел бы из газеты. Только меня и видели! Прочитай еще что-нибудь.

Я прочитала.

— Очень свежо! Дай мне этот очерк.

— Зачем?

— Мы его напечатаем.

— Ну да? А если Андрей не захочет?

— Не захочет — верну.

Я подумала и согласилась. Гурий ушел, пообещав позвонить. И не позвонил, должно быть, уехал.

Я сказала, что друзья стали являться «из разных лет и мест», и это было именно так. Из далеких школьных лет явился Гурий Попов. В середине января была прорвана ленинградская блокада, и в Москву приехал Леша Дмитриев, мой товарищ по медицинскому институту. А в середине марта сам «Зерносовхоз № 5» ворвался ко мне с «лекарней», в которой горел по ночам загадочный лунный свет, с пылью, жарой, суховеями, с грейдерными до-

рогами, по которым грохотали нагруженные пшеницей машины.

Впрочем, в то утро воскресного дня я занималась не наукой, а стиркой. Котел с бельем стоял на раскаленной докрасна «пчелке», поперек комнаты была протянута веревка, на которой висели наволочки, полотенца и другое белье, которое я, пожалуй, не развесила бы так картинно, если бы поджидала гостей.

В комнате было жарко, и я выехала со своим корытом в переднюю. Длинная белая лента пара тянулась на лестницу через приоткрытую дверь.

Кто-то постучал. Я крикнула, не отрываясь:

— Открыто, войдите!

И, прежде чем успела опомниться, высокий военный в фронтовой шинели шагнул через порог и расцеловал меня в обе щеки.

Это был Репнин, постаревший и поседевший, но по-прежнему шумный, самоуверенный, с широкими движениями, с победоносным хохотом, от которого звенело в ушах.

Невозможно было вести его в нашу комнату, увешанную мокрым бельем, и, предупредив, чтобы Данила Степанович не снимал шинели, я устроила чай в нашей холодной парадной столовой. Изо рта у нас шел пар, но зато чай был хорош — тот самый крепкий и сладкий «морской» чай, который некогда меня научил варить тот же Данила Степанович.

— Ну, рассказывайте же! Где вы и что вы? В армии?

— Как видите.

— Танкист?

— Так точно.

— Больше, стало быть, не прокладываете дороги?

Репнин поджал губы и покрутил головой.

— Как сказать! Другое оружие и другие дороги.

— Где Машенька? Как это получилось, что мы не переписывались так долго?

— Мы с Машей не раз собирались написать вам. Да как подумаешь... Ученый человек, доктор наук! Помнит ли? Может, у нее таких, как мы, сотни две друзей? Или три? Не со всеми же вести переписку?

— Как вам не стыдно!

— Шучу. Маша — в эвакуации, в Кунгуре.

— Здорова? Как сын?

Это было последнее, что я знала о Репниных,— что у них родился сын, которого назвали, как отца, Данилой.

— Маша здорова, спасибо. Надеялся съездить к ней, да не пришлось. Как вы сказали — сын?

Он улыбнулся. Потом отстегнул планшет и вынул из него фотографию. Машенька, очень изменившаяся, пополневшая, с толстой косой вокруг головы, сидела у стола в уютной, знакомой позе. По правую руку от нее стояли два мальчика, беленькие, застенчивые, удивительно похожие на нее и друг на друга, а по левую еще два — черные, лихие и — с первого взгляда было видно: страшные хвастуны и задиры.

Я не могла удержаться от смеха.

— Четыре?

— Да,— с гордостью сказал Данила Степаныч.

— Сколько же им?

— Пять, шесть, восемь и девять.

— Ну, счастливый же человек. Четыре сына!

— Счастливый-то счастливый...

Данила Степаныч замолчал, только сурово взглянул исподлобья... «Счастливый-то счастливый, да удастся ли уберечь это счастье?» — так можно было понять этот взгляд.

...Данила Степаныч зашел ненадолго, но и эта короткая встреча была испорчена появлением очень глупой женщины, которая жила на одной площадке со мной. Соседка забежала за утюгом и, увидев офицера, да еще такого бравого, вдруг проявила острый интерес к действиям наших танковых частей, которого я в ней прежде не замечала. Напрасно я намекала, что у майора мало времени, что нам еще нужно поговорить о важных делах, напрасно Репнин с досадой сказал, что на ее вопросы едва ли может ответить даже командующий фронтом, она только кокетливо щурилась — и не уходила. Наконец я выпроводила ее, но было уже поздно. Данила Степаныч взглянул на часы и встал.

— Не сердитесь, Татьяна,— добродушно сказал он.— Хорошая примета! Стало быть, не в последний раз встретились. Еще доведется нам увидеть друг друга. Тогда и договорим.

— Вы даже не сказали, надолго ли в Москву? И зачем?

— Зачем — могу сказать. Пришли мне в голову некоторые соображения, и послал я их начальству в Москву. Вот меня и вызвали. А надолго ли? (Он пожал плечами.)

Кто знает. Если будет возможность — непременно приду. Не могу передать, как я был рад повидать вас, Татьяна! Андрею Дмитричу сердечный привет. Да, кстати,— сказал он, когда мы вышли в переднюю,— не его ли статью я читал в последнем номере «Известий»? Подписано — А. Львов.

— Однофамилец. Мало ли Львовых? О чем статья?

— В том-то и дело, что по медицинской части! Что с вами, Татьяна?

— Ох, я пропала!

— Что такое?

— Это Андрей написал, а я без его ведома отдала одному журналисту.

— Ну и что же? Хорошо ведь, что напечатано?

— Он мне голову оторвет.

Репнин засмеялся.

— Вот, действительно, огорчение. Меня бы умудрил господь что-нибудь написать, уж я и не говорю — напечатать! Я свою записку полтора месяца составлял. Вот была мука! Два слова напишу — и на воздух!

— Зачем?

— Как зачем? Дышать! Буквально шатался после каждой страницы! Андрей Дмитрич, пока статью писал, пил?

— Нет.

— Ну вот! А вы говорите!

Он захохотал, потом обнял меня и сказал грустно:

— Не поминайте лихом.

Уходя с работы, я отдала Кате Димант ключ от квартиры — не была уверена, что рано вернусь домой,— и гости собрались без хозяйки. И даже не только собрались, но уютно устроились вокруг «пчелки», на которой гудел мой слегка помятый заслуженный чайник. Катя, повязавшись моим передником, накрывала на стол. Зубков, полный, смешливый, с темным лицом, обожженным в среднеазиатских пустынях, читал вслух «Медработника», и Виктор с Ракитой — наш новый сотрудник — слушали его и хохотали. Это был любимый «номер» Зубкова — чтение «Медработника» с комментариями, в которых, как в зеркале, отражалось подлинное и, увы, невеселое положение дел в нашей медицинской науке. Когда я вошла, он сказал что-то насчет наркома, и Виктор, хохоча, потребовал, чтобы он повторил свою шутку.

— Ну, пожалуйста! Татьяна Петровна, послушайте, это очень метко.

Зубков сказал, что нарком занимается тремя вещами: во-первых, старается понять, почему он нарком, во-вторых, ждет чуда и, в-третьих, боится. Ждет чуда — это значило, что он надеется, что к нему в один прекрасный день явится гениальный самоучка-новатор с могучим средством от всех болезней сразу.

— А Коломнин звонил, что не придет,— сказал Ракита.

— Почему?

— У него грипп. Какая сегодня сводка превосходная, правда?

Я достала карту, и в течение получаса были высказаны по меньшей мере десять предположений о том, каким образом окружить немцев в одном месте и наголову разбить в другом, причем некоторые из них своей смелостью, без сомнения, поразили бы руководителей Генерального штаба.

— А где Андрей Дмитрич? — спросил Зубков.— Еще в Сталинграде?

— Да.

— Пишет?

— Часто.

— Ох, повезло ему, что он ушел из Института профилактики! Вот уж поистине — унес ноги!

— А что?

— Как, вы не слышали? Вчера посадили Верховцева.

— Не может быть! За что?

Зубков иронически поджал губы.

— Вы, должно быть, забыли, как я всегда отвечаю на этот вопрос: знаю, да не скажу,— зло усмехнувшись, сказал он.

Верховцев был не просто скромный и честный, а скромнейший и честнейший человек, проработавший в Институте профилактики чуть ли не четверть века. Поверить, что его могли арестовать за политическое преступление, было невозможно. Он был членом партии с 1916 года.

— Ну, стало быть, за уголовное,— возразил Зубков.— Впрочем, в Институте профилактики это, кажется, уже девятый случай.

— Но ведь не может быть, что без всякой причины?

— Эх, Татьяна Петровна! Хотите, я вам скажу, кто их сажает? Сам директор, собственной персоной.

— Какой директор?

— Ну какой! Скрыпаченко.

— Зачем?

— Очевидно, для престижа,— сказал Виктор.

— Вы думаете, Витя?

— А почему бы и нет? Чего только не сделает подлец, чтобы оправдать свое существование.

— И такому человеку верят?

Все замолчали.

— Ладно,— нахмурясь, сказал Зубков.— Поговорим о чем-нибудь более веселом. Насчет Андрея Дмитрича — ясно. А как поживает его отчаянный брат?

— Почему отчаянный?

— Ну как же! Говорят, он кого-то увез?

Это были запоздалые отзвуки сплетни, распространившейся вскоре после Митиного отъезда.

— Увез жену.

— Свою?

— Не люблю сплетен.

— Не сердитесь, дорогая Татьяна Петровна! Он ведь, в сущности, гусар, ваш Дмитрий Дмитрич. Свою жену может увезти всякий. А ему положено не свою, а чужую.

...«Банкет» наш шел к концу, уже выпили за Андрея и его успехи на медико-литературном фронте, за старика Никольского, наконец — последний тост — за тамаду Зубкова, когда вошел Коломнин, в шубе, бледный, с завязанным горлом.

Его встретили радостно: «А, Иван Петрович! Пришел все-таки! Товарищи, лечить его! Татьяна Петровна, у вас в доме есть перец?»

Коломнин снял шубу и примостился с краешка на диване. Я тревожно взглянула на его усталое, морщинистое, исхудавшее лицо, на сгорбленные плечи, на всю его тощую, словно вогнутую, фигуру. Он ответил тревожным, неуверенным взглядом.

— Иван Петрович, что случилось?

— Мне звонил Преображенский.

Это был заведующий отделом бакинститутов Наркомздрава.

— Он говорит, что в «Британском журнале экспериментальной патологии» появилась заметка о новом средстве против раневых осложнений.

— Ну так что же?

— Пенициллин, препарат из плесневого грибка. По некоторым признакам напоминает наш.

— Не может быть!

— Крамов вернулся из Англии. Он настаивает, чтобы мы немедленно приобрели патент. Завтра он будет разговаривать об этом с наркомом. Вы понимаете, что это значит, Татьяна Петровна? Да почему же мы шепчемся? — вдруг спросил он, растерянно улыбнувшись.

— Не знаю. Товарищи, минуту внимания!

К вечеру подморозило, я открыла окно перед сном, и сухой еще совсем зимний воздух вошел в комнату, точно сказал: «Здравствуйте. Вот и я!» Но когда я легла, далекий отчетливый стук послышался в ночной тишине. Это весенняя капель начала свою беспокойную песню.

Что же произошло? Мысль, которой были отданы годы труда, к которой я возвращалась, как бумеранг,— кажется, так определил мое пристрастие Крамов,— мысль, поразившая меня еще в те далекие годы, когда я впервые увидела на окне у Павла Петровича старые, позеленевшие от плесени ломтики хлеба и сыра, эта мысль больше не принадлежала ни мне, ни ему.

Заметка, напечатанная в «Британском журнале экспериментальной патологии», была подписана тремя именами. Одно из них было знаменитое — Александр Флеминг.

«Тук, тук, тук»,— неторопливо стучит капель, и в этот важный, равномерный стук вдруг врывается быстрая, шаловливая поступь. Это тающий ледяной великан шагает по Серебряному переулку, а впереди — «тук, тук, тук» — бегут его маленькие шаловливые дети. «Опоздала»,— стучит великан-капель, и дети повторяют дразнящими голосами: «Опоздала, опоздала!»

Да, опоздала. Ну что ж! Ничего не поделаешь. Вот теперь будет в жизни и это. И нужно постараться уснуть, потому что для разговора с Крамовым нужна ясная голова, очень ясная, а в том, что нарком вызовет его, можно не сомневаться.

«Тук, тук, тук»,— стучит капель. По всему переулку стучит капель, уходя все дальше и дальше, и вдруг сосулька падает и разбивается о мостовую с нежным, далеко разносящимся звоном. Мартовский ветер гуляет по городу, раскачивает кроны еще черных деревьев, гудит в дымоходах. Светает? Да, кажется. Какая длинная бессонная ночь!

— Соображения материальные нас в данном случае не остановят. Речь идет о реальной помощи раненым бойцам — этого, Татьяна Петровна, золотом не измеришь. Так что предостерегать от подобных трат не приходится.

— Еще бы! Но, прежде чем покупать, необходимо, мне кажется, убедиться в полезности препарата.

— В полезности или незаменимости?

— И в том и в другом. По журнальной заметке в несколько строк трудно судить, что представляет собой это открытие.

Тяжелый малахитовый прибор — чернильница в виде чаши, обвитой змеей,—стоит на столе, за которым сидит невысокий плотный человек лет пятидесяти, с энергичным красным лицом, на котором особенно заметны большие темно-рыжие брови. Это Павел Ильич Максимов, заместитель наркома здравоохранения, в недавнем прошлом врач, работавший председателем одного из областных исполкомов. Он молчит, крепко сжимая челюсти. Говорит, опустив глаза. Все это сильно огорчает меня в первые минуты нашего разговора. Что это за человек? На своем ли он месте? Понимает ли всю важность вопроса? Кто знает? Он всматривается, взвешивает, медлит. Одно можно сказать с уверенностью: он осторожен.

Мы, Крамов и я, в его просторном, с высокими окнами, с высоким потолком кабинете.

— Но почему же вы думаете, Татьяна Петровна, что мы намерены, извините, купить кота в мешке? Валентин Сергеевич привез данные, которые не позволяют сомневаться в высокой активности препарата.

Крамов встает, прохаживается, садится — манера, которую я не замечала прежде. Я не замечала прежде, чтобы он был *так* уверен в себе. Он тратит теперь «вдвое меньше времени на вежливость», как сказал о нем Николай Васильевич.

— Павел Ильич, я только что доложила вам о нашей работе. Нам удалось доказать, что препарат из плесневого грибка представляет собой кислоту, неустойчивую в водном растворе, но образующую значительно более устойчивые соли. Я объяснила, почему этот путь обещает быстрое решение задачи. А между тем... Должна сознаться, что мне кажется странным направление этого разговора. Как

будто ни нашей лаборатории, ни нашего препарата вообще не существует на свете.

Я не спала, голова кружится, и сердце по временам начинает биться скоро и слабо.

Крамов встает, прохаживается, садится — покрупневший, пополневший и все-таки очень маленький, особенно когда он поудобнее устраивается в глубоком кожаном кресле.

— Я вполне понимаю волнение Татьяны Петровны. Она занималась плесенью еще до войны. Она упрямо — нужно отдать ей должное — верила в бактерицидные свойства плесени, в то время как многим это убеждение казалось несколько странным.

— Многие — это вы?

Максимов поднимает карандаш, чтобы постучать по столу...

— В том числе и я,— не колеблясь, с достоинством отвечает Крамов.— Однако, насколько мне известно, возражения — в том числе мои — не остановили Татьяну Петровну. Она продолжала работать и добилась бы значительных результатов, если бы...

— Если бы ей не мешали.

Максимов опускает руку, не постучав по столу.

— Мешали? О нет! — тонко улыбаясь, отвечает Крамов.— Но оценим положение спокойно. Англичане получили новый препарат, который нужен нам, будем прямо говорить, до зарезу. Есть возможность наладить производство этого препарата у нас — в этом, разумеется, мы будем прежде всего рассчитывать на помощь Татьяны Петровны. Быстро помочь бойцам, страдающим от раневых осложнений. Положите на одну чашу весов эту возможность, а на другую — ложно понятую научную честь...

А, честь? Он говорит о чести, этот старый знакомый?

— Не знаю, Валентин Сергеевич, кому из нас следовало первому сказать о научной чести. Кто утверждал, что вопрос плесени вызывает представление о задворках науки, потому что «на задворках обычно пахнет плесенью и валяется мусор»?

Крамов слушает меня, положив ногу на ногу, с равнодушным, почти скучающим видом.

— Вы сказали... кто станет интересоваться... никто не захочет узнать историю вопроса. Ошибаетесь, Валентин Сергеевич! Эта история началась не вчера. Десять... нет, двенадцать лет в вашем архиве пролежала рукопись, в

которой свойства плесени были доказаны опытами на животных. И теперь, когда задача давно проверена и обдумана, когда она требует лишь одного — хорошей лаборатории,— теперь вы предлагаете нам от нее отказаться? Да кто вы такой, чтобы...

Крамов медленно поднимается с кресла, снимает пенсне, протирает стекла. Пальцы — я замечаю это со злобной радостью — немного дрожат. Заместитель наркома обходит вокруг стола, успокоительно поднимая руку. Они оба что-то говорят, мне все равно, я не слышу.

— Да кто же вы такой, чтобы отменить не только мой труд — за него я еще постою,— а труд нескольких поколений? Какую пользу надеетесь извлечь для себя из этого дела? Кого думаете обмануть — очевидно, тех, кто еще не знает...

Крамов со страдальческим выражением подносит пальцы к вискам, и от этого знакомого жеста у меня — сама не знаю почему — вдруг пропадает дыхание.

...Странное, успокоительное чувство, что все это уж было когда-то — точно так же я кричала, не помня себя, и кто-то наливал воду в стакан широкой, твердой рукой,— охватывает меня. Точно так же я отталкивала стакан, а потом выпила, и немного воды пролилось на ковер. Точно так же я лежала на диване, и кто-то смотрел на меня серыми, внимательными глазами и говорил: «Успокойтесь, Татьяна Петровна, вам нельзя волноваться». Точно так же я хотела подняться на локте, а мне сказали: «Молчите и лежите спокойно».

Все это уже было однажды и прошло, и кончилось прекрасно, и в самом деле нужно немного помолчать и успокоиться, а потом все объяснить неторопливо и хладнокровно. И нечего было ехать в Наркомздрав, если я всю ночь не спала и сердце ежеминутно то падало, то билось болезненно часто.

— Да как же вы не позвонили мне, что плохо себя чувствуете, Татьяна Петровна? Мы вместе поехали бы к Максимову. Что касается Крамова... Нет худа без добра! Это хорошо, что вы на него накричали.

— Да уж! Куда лучше.

Коломнин щурится, поджимает тонкие губы. У него усталое, но спокойное лицо, и в том, как он достает из кармана старенький кожаный кисет и неторопливо наби-

вает трубку, тоже чувствуется спокойствие, которое невольно передается и мне.

Было время, когда Ивана Петровича тревожило непризнание его научных заслуг, когда в каждом номере научного журнала он искал свое имя, когда самолюбие мешало ему работать. Теперь его интересовало только то, что происходило внутри работы. «У меня нет времени на обиды»,— сказал он мне однажды.

— Ваш обморок беспокоит меня куда больше, чем эта история.

— Да что обморок! Вчера не ела целый день, ночь не спала, утром тоже ничего в горло не лезло — вот вам и обморок.

— Вольно же вам так волноваться! А стоит ли? Разве это первый случай?

— В чем же дело, Иван Петрович? Кто виноват?

Коломнин щурится, молчит, положив ногу на ногу, подняв узкие плечи.

— Вы, конечно, хотите, чтобы я ответил вам — Крамов? Да, и он. Но дело не только в Крамове. Прошло и никогда не вернется то время, когда науку вели вперед всеобъемлющие умы, гении, корифеи. Сколько человек занималось до войны крустозином? Восемь. Сколько химиков из этих восьми? Один.— И желтым табачным пальцем он ткнул себя в тощую грудь.— А нужно было бросить на это дело десятки лабораторий, сотни ученых и дать им не наше оборудование, собранное с бору по сосенке в эвакуированных институтах, а первоклассную технику, которую тоже нечего покупать за границей, потому что мы можем и должны ее сделать. Вот тогда не пришлось бы вам падать в обморок. Да что!

И он безнадежно махнул рукой.

— А Крамовых, конечно, нужно бить. Или, если можно, убить,— добавил он, усмехнувшись.— Впрочем, он еще ничего! Есть и похуже.

— Что же делать, Иван Петрович, дорогой?

— Что делать? Работать! Я считаю, что мы в три-четыре месяца можем дать клиникам препарат, который будет действовать не хуже этого хваленого пенициллина.

— Иван Петрович, да полно вам! Разве справимся мы так скоро?

— Справимся, если получим «танки».

До сих пор мы пользовались обыкновенными «матрасами» — сравнительно небольшими стеклянными сосуда-

ми, которые служат для выращивания культур. Необходимо было перейти на «танки» — так называются большие котлы, которыми в бродильном производстве пользуются для глубинного выращивания дрожжей.

— Будут «танки».

Мы помолчали. Я потянулась за носовым платком, лежавшим под подушкой.

— Что вы? Я вас просто не узнаю, Татьяна Петровна. Вот уж правда, что женщина всегда остается женщиной.

— А кто же я еще? — Я вытерла слезы.— Обидно...

— Э, не привыкать! Да мы еще возьмем свое! Помяните мое слово.

Семейный дом

Это было напряженное, но в общем веселое время, когда в нашем филиале господствовала атмосфера риска, вдохновения, азарта,— этим острым ощущением были захвачены решительно все, вплоть до девушек, наклеивающих этикетки на препараты.

Срок был неслыханный, и когда я думала, что мы должны в четыре месяца — только четыре! — дать клиникам готовый, проверенный препарат, мне хотелось, как маленькой девочке, убежать куда глаза глядят, «потеряться в просторах родины», как шутил надо мной Коломнин. Но нельзя было потеряться — Наркомздрав, по нашему настоянию, отказался от покупки патента, и можно было не сомневаться в том, что Крамов и разные Крупенские с нетерпением ожидали нашего провала.

Технология — вот что было особенно трудно!

Но не следует думать, что жизнь на планете Земля остановилась в молчаливом ожидании нашего решительного наступления на плесень. Жизнь продолжалась, и даже в моей собственной жизни произошло событие, которое в другое время показалось бы мне необыкновенным.

Это было утром, я торопилась в институт и, стоя в пальто, разговаривала по телефону. В парадной позвонили, я открыла дверь, вернулась к телефону и, только поговорив еще минуты две, поняла, *кто* с чемоданом в руке остановился у порога. Это был мой отец, которого я не видела со студенческих лет.

Давно забытое чувство страха перед тем неожиданным, что всегда входило в мою жизнь вместе с появлением отца, шевельнулось в душе, когда я увидела его маленькую, ху-

денькую, но еще довольно крепкую фигурку. Но вот мы обнялись, расцеловались, я стала расспрашивать его, он не мог отвечать от волнения и только утирал слезы, так и катившиеся по его румяным, пухленьким щечкам, и мне стало стыдно этого чувства.

— Таня? — сказал он не очень уверенно.— Господи помилуй, родная дочь.

Он приехал чистенький, аккуратный, с пушистыми седыми усами, над которыми как-то совсем уж по-стариковски висел красненький нос. Впрочем, нос был теперь красненький вообще, а не по известной причине. Еще до войны отец сообщил мне, что бросил пить, но не «резко», как это опрометчиво сделала его покойная супруга, а постепенно, по «методе,— писал он,— Демидова князя Сан-Донато».

Если не считать, что время от времени он присылал мне длиннейшие письма, посвященные главным образом улучшению складского дела на железнодорожном транспорте, у нас, в сущности, не было никаких отношений. Но вот он сидел передо мной и плакал, и было совершенно ясно, что эти несуществующие отношения на самом деле связывали нас неразрывно.

— Успокойся, папа! Что же ты не написал, я могла оказаться в отъезде. Раздевайся же! Ты молодец, что приехал!

Он уже оправился, снял пальто, аккуратно расчесал усы.

— Да вот надумал, понимаешь ты это,— сказал он.— У меня тут дела в Москве. Самоцветов звонил, лично просит свидания. У них тут с хранением швах. Пришлось поехать.

Самоцветов был заместителем наркома путей сообщения, и едва ли он стал бы лично просить о «свидании» моего отца, занимавшего какую-то скромную должность в камере хранения на Амурской железной дороге. Я невольно засмеялась, и мне вдруг стало легко с отцом.

— Ты прямо с вокзала?

— Так точно. А что? Проведать дочь, а там — аллемарше! Ведь тут, в Москве, сейчас Петька Строгов. Говорят, персона. Так можно к нему. Что ж такого? Я понимаю.

— Вот еще! Никуда я тебя не пущу. Я одна сейчас и очень скучаю. У нас ведь еще две комнаты, не только эта. Пойдем, я тебе покажу.

Должно быть, отец понял слово «одна» в том смысле, что я разошлась с Андреем, потому что он поморгал, и в светлых глазах появилось тревожное выражение.

— Одна? А супруг?

— Супруг в Сталинграде.

Мы пошли смотреть комнаты, и отец надолго замер перед портретом Павлика, висевшим над письменным столом в кабинете Андрея.

— Внучек?

— Да.

— Красавец, а? Весь в бабку! Ведь она в молодости какая была? Косища — во! Элеонора Дузе. Ужасно, безобразно красива.

Я сказала, что отправила Павлика в Лопахин, и старик вдруг радостно захохотал — так и залился, как ребенок.

— В Лопахин? Значит, пригодился еще наш Лопахин!

За чаем он вернулся к Самоцветову, высказав весьма вероятное предположение, что этот ответственный товарищ намерен поручить ему хранение «во всесоюзном масштабе» и что в этом нет ничего удивительного, поскольку у него, Петра Власенкова, в этом деле еще с гражданской войны солиднейший опыт.

Я сказала, чтобы он не торопился к Самоцветову, а сперва отдохнул бы дня три с дороги. Он подумал и согласился: в самом деле, подождет Самоцветов.

Как это ни странно, а в Наркомате путей сообщения действительно не торопились с назначением Петра Власенкова на пост всесоюзного руководителя камер хранения — иначе у него не оказалось бы так много свободного времени, которое он решил употребить на устройство моих дел, находившихся, по его мнению, в полном беспорядке. По лимиту, например, продукты получала соседка — та самая кокетливая пожилая дама, которая при виде Репнина обнаружила острый интерес к действиям наших танковых частей на Центральном фронте. За услугу она получала натурой, и отец торжественно доказал, что эта «натура» равняется едва ли что не трети лимита. На другой день он сам отправился в магазин и, вернувшись с топленым маслом, сказал, что давно так приятно не проводил время в избранном обществе действительных членов Академии наук, среди которых, к его удивлению, оказалось довольно много женщин. Это были, конечно, не академики,

а их жены или домашние работницы, но они действительно называли себя академиками — это я не раз слышала и сама. Я объяснила отцу, в чем дело, но он отнесся к моим словам с недоверием и убедился, что я права, лишь через несколько дней, увидев старую женщину в рваном кожухе, которая протискивалась к прилавку, потрясая лимитной книжкой и крича на весь магазин: «Я — академик, я — академик!»

Мои электрические дела отец устроил менее успешно, затеяв генеральную уборку квартиры с помощью пылесоса.

Этот полузабытый с довоенных времен аппарат он взял у кого-то напрокат, заплатив за пользование манной крупой, пропахшей нафталином,— крупа стояла под кроватью еще с апреля сорок второго года. Мысль была прекрасная — я имею в виду пылесос, а не крупу,— и квартира была убрана с неслыханной быстротой. Жаль только, что едва было закончено это мероприятие, как явилась белокурая девушка, лет шестнадцати, которая, весело напевая что-то, перерезала провода, пояснив в двух словах, что мы использовали электрический лимит, полагающийся нам до конца года.

Но все это были мелочи в сравнении с трактатами, посвященными Т. П. Власенковой, доктору медицинских наук. Дело в том, что, приглядевшись к моему, в общем, весьма беспокойному существованию, отец пришел к выводу, что образ жизни Т. П. Власенковой не соответствует ее научным заслугам и что он, как отец, обязан обратить на эту ненормальность внимание начальства. «Поскольку личность работает не для купидомства, а исключительно в отношении советской науки,— писал он в одном из трактатов,— советую обратить внимание, пока не села на якорь». Словом, в краткой, но выразительной форме отец доказывал, что раз уж Т. П. Власенкова посвятила себя заботам о здоровье народа, народ, в свою очередь, должен позаботиться о ее здоровье и, в частности, не позволять ей оставаться ночевать на работе. Тут же приводились очень толковые, хотя и не относящиеся к делу, соображения относительно нецелесообразности выдачи водки на промтоварные единички. Очевидно, хотя отец и бросил пить, его волновала судьба других граждан, еще не воспользовавшихся системой Демидова князя Сан-Донато. Мне с трудом удалось убедить его оставить эти трактаты в моем письменном столе.

В общем, с приездом отца мне стало куда веселее и легче. Возвращаясь с работы, я знала, что он ждет меня — чистенький, аккуратный, в пижаме Андрея, с расчесанными седыми усами. Он читал мне газеты, высказывая весьма дельные соображения по поводу глубоких потрясений, которые испытало складское дело во время войны, и сетуя, что в прессе почти не отражена боевая деятельность наших интендантов, что, кстати сказать, было совершенно верно. Когда ко мне заходили друзья, он умело поддерживал разговор, рассказывая главным образом о грандиозных аферах прошлого века и пересыпая свои рассказы фамилиями крупных дельцов и авантюристов, с которыми, по его словам, он был «на короткой ноге». При этом он не забывал упомянуть, что бурная, полная приключений жизнь, однако, не помешала ему воспитать дочь, в которой он давно угадал будущее светило медицинского мира.

Высокий гость

Я ездила в этот день на Клинский завод и очень устала, потому что наш заслуженный «газик» вдруг отказал и пришлось несколько часов провести на пыльной дороге. Мечтая лишь о том, как бы поскорее добраться до постели, я вернулась домой и еще в передней, открыв своим ключом входную дверь, догадалась, что этой надежде суждено осуществиться не скоро. Два голоса донеслись до меня: один — отцовский, а второй... О, услышав второй голос, я с изумлением поняла, что удостоилась чести, о которой не смела и думать! Высокий гость поджидал меня, почтенный, глубокоуважаемый гость с пухлыми, улыбающимися губами, с облысевшей головой, вокруг которой лежал венчик седых волос.

Я бесшумно закрыла входную дверь и немного постояла в передней — мне хотелось послушать, о чем они говорят. Потом вошла.

— Здравствуйте, Валентин Сергеич.

Крамов встал, улыбаясь, и протянул мне свою маленькую, со слабыми пальцами, почти детскую руку.

— Ну, Татьяна Петровна, я на вас в претензии, честное слово. Вы знаете меня столько лет и никогда не упоминали о вашем батюшке. Да вы его от нас просто скрывали!

Я посмотрела на отца. Он приосанился, выгнул грудь и с достоинством провел рукой по усам. Он был чрезвычайно доволен.

— Отец недавно приехал. Извините, Валентин Сергеич, я переоденусь, умоюсь. Прямо с работы.

— Ради бога! У нас тут такой интереснейший разговор, что я даже прошу вас не торопиться.

Я похолодела, услышав из соседней комнаты этот интереснейший разговор: отец рассказывал о том, как в 1903 году его приятель Петька Строгов «под видом прошенья» покушался на жизнь Николая Второго.

— Значит, оделся он, тройка приличная, крахмала́, цепочка от часов серебряная в аршин, подходит честь честью, а тут черкесы, конвой его величества. Стой, осади назад! Ладно. Отступил — и через забор в сад. Идет, не подавая виду, смотрит: графиня Румянцева, он знал. Стоит и нюхает розу: «Ты что?» — «Да царя поглядеть».— «Вали в церковь». А царский кортеж уже показался, кучер вот с такой бородой, черкесы с саблями наголо, дворяне, которые почище, пажи. Ну, думает, ладно! Будь что будет. Я сжег корабли.

Должно быть, у меня было каменное лицо, когда, поспешно умывшись, я вернулась в столовую, потому что, взглянув на меня, отец робко заморгал и осекся. Потом перевел взгляд на Крамова, который слушал его с неподдельным интересом, и приободрился, даже повеселел.

— Слушайте дальше, чем кончится,— драмой,— значительно сказал он.— Вот, значит, заходит он в церковь. Народу полно. Запах от дам — задохнешься, сирень. Вдруг — суматоха, кортеж. Подождал он еще немного, да и шмыг к алтарю! То, се, копых-ворых — пробрался, руки назад и стоит. Тут он, а тут Александра Федоровна.— Отец усмехнулся.— Простота нравов.

Я послушала еще немного и наконец не выдержала, когда Петька упал перед царем на колени, одной рукой придерживая на голове прошенье, а другую — засунув в карман, где находилась бомба.

— Извини, папа, я занята. Да и у Валентина Сергеевича, должно быть, не так уж много времени! Ты в другой раз доскажешь эту историю.

— Татьяна Петровна,— укоризненно сказал Крамов.

Отец пробормотал:

— Конечно, конечно...— испуганно закивал и вышел.

— Я вас слушаю, Валентин Сергеич.

— А может быть, и я в другой раз? Тем более что я без звонка явился. Правда, пытался созвониться, но вы сегодня, по-видимому, путешествовали с утра. Много работы?

Тон был участливый, дружеский и — фальшивый.

— Не столько работы, сколько ненужных хлопот, которые мешают работать.

Крамов помолчал. Он пришел почему-то с палкой (еще у наркома я заметила, что он немного хромает) и теперь, поставив ее между колен, удобно устроил на набалдашнике руки.

— Татьяна Петровна, я очень жалел, что наш разговор у Максимова окончился так печально. Хотите верьте, хотите нет, мне и в голову не приходило обойтись без вас в этом деле! — Крамов говорит негромко, точно бережет себя, свой голос.— Скажу более: это было бы невозможно. Но с другой стороны — вольно же было вам не опубликовать вашу работу! Я был уверен, что у вас ничего не вышло.

Он лгал. Еще перед войной мы с Леной Быстровой выступали в Обществе микробиологов с докладом, в котором были приведены первые данные и рассказана история болезни Катеньки Стогиной.

— Не будем вспоминать прошлое, Валентин Сергеевич, тем более что вы ничего не выиграете от этих воспоминаний. Мы не могли своевременно опубликовать работу. Но не вам упрекать нас за то, что мы опоздали.

Крамов серьезно посмотрел на меня.

— Это правда,— задумчиво сказал он.— Я виноват. Много у меня грехов — и неполнота знаний, которую я скрывал, и равнодушие, которым сам подчас тяготился. Но самый большой мой грех — отношение к вам, Татьяна Петровна. Как могло случиться, что я не понял вас, в то время как вы... Ну, да не о том речь,— поспешно добавил он, должно быть, заметив, что меня ничуть не трогают эти сомнительные признания.— Я не уверен, что вы представляете себе положение дела. Даже англичанам оказалось не под силу поднять пенициллин, несмотря на солидные технические средства. В Оксфорде не одна и не две лаборатории полностью переключились на эту работу. Привлечены патологи, биохимики, инженеры. А все-таки Флори выпужден был поехать в Америку, и только там ему удалось получить достаточное — впрочем, не более килограмма — количество препарата.

Я слушала с интересом. Так, Флори ездил в Америку? Килограмм, ого! Хорошо бы узнать — в жидком или порошкообразном виде?

— Я знаю вашу энергию,— продолжал Крамов.— Но хорошо ли взвесили вы свои силы?

— Думаю, что да. Ведь я училась этому у вас, Валентин Сергеич.

Он улыбнулся.

— Странная вещь,— сказал он очень свободно.— У меня в жизни было много врагов. Меня не любили, старались подорвать, отстранить, я платил тем же, и в конечном счете победа оставалась за мной. Вероятно, я мог бы поставить в безвыходное положение и вас, тем более что у вас есть слабая черта — вы неосторожны. Но всякий раз меня останавливает какое-то необъяснимое чувство. Мне начинает казаться, что я сражаюсь не против вас, а против себя. Право, можно подумать, что вы воплощаете все, чего мне не хватает!

— Зачем такое сложное объяснение, Валентин Сергеич? Просто у вас еще сохранились в душе остатки совести, которые вас беспокоят.

— И вы даже не хотите узнать, зачем я пришел?

— Нет, хочу. Впрочем, об этом легко догадаться. Вы прикинули: а что, если эти беспокойные люди доведут до конца свою затею? Вы поняли, что пенициллин — не случайная удача, а целое направление, которое еще бог весть что может натворить в науке. Причем убедили вас не мы — куда там! — а, разумеется, англичане. Вы пришли, чтобы помочь нам, не правда ли?

— Да.

— Спасибо. Я подумаю. А теперь, когда мы объяснились, давайте пить чай. Признаться, я голодна и очень устала.

Он был очень мил за чаем — интересно рассказывал о своей поездке в Лондон, остроумно подшучивал над Андреем, напечатавшим в «Известиях» еще одну корреспонденцию из Сталинграда.

— И не боится, отчаянный человек, что врачи будут считать его хорошим писателем, а писатели — хорошим врачом!

Я смеялась. Он тоже смеялся. Но неуловимое движение время от времени проходило по холеному, маленькому лицу. Равнодушие? Ненависть? Усталость?

«Родная моя, прости, что так редко пишу. Это происходит не только потому, что совершенно нет времени, а потому, что не знаю, что выбрать из множества поразительных впечатлений. Я — в городе мертвых, не в символическом, а в самом точном, грубо-реальном смысле этого слова. На каждом перекрестке, на каждой улице, за каждым углом — мертвые. Много молодых, рослых, красивых, с рыжими, примерзшими к земле волосами.

Иногда, впрочем, сталкиваешься с живыми. Вчера мы наткнулись на полуобвалившийся деревянный барак. Это было ночью, и при свете фонаря мы увидели неправдоподобное, почти фантастическое зрелище: немецкие солдаты, укрывшись шинелями, лежали на койках, а над ними, оскалив морды, висели ободранные лошадиные туши. Я не сразу понял, что это значит: не вставая с койки, можно было отрезать ножом кусок гниющего мяса. Я приказал им встать. Они поднялись, поддерживая друг друга, распухшие, заросшие, черные. Не могу тебе передать, какая ненависть глянула на меня из этих провалившихся глаз... Ну, ладно! Поговорим о другом. Позвольте вам доложить, что я без памяти влюбился в одного человека. Не бойся — мужчина и в солидных годах — шестьдесят четыре, хотя на вид значительно меньше. Зовут его Григорий Григорьич Рамазанов. Я поручил ему один из самых трудных районов, и он работает толково, умно и, главное, весело — в здешних условиях это особенно важно. Знаешь, кто мерещится мне, когда я смотрю на него? Лермонтовский Максим Максимыч.

Будь здорова. Я очень рад, что Петр Николаевич вдруг приехал в Москву. Передай ему привет и ни в коем случае не отпускай в Лопахин до моего возвращения. Пишет ли тебе мама? Я получил от нее только одно письмо, зато с приложением, в котором Павличек огромными каракулями сообщает о своих и бабушкиных делах. Мама волнуется о Мите — что делать? Видно, так уж нам на роду написано — беспокоиться о нем всю жизнь. Может быть, ты от него что-нибудь получила? Целую тебя.

Твой *Андрей*».

Теперь, когда пенициллин можно приобрести в любой аптеке, когда на этикетке каждого флакона печатаются данные, когда на основе открытия возникла новая отрасль промышленности, какими робкими представляются мне наши первые шаги! Как мы были осторожны, как неуверенны, с каким трепетом ждали, что скажут врачи! Мы связались с несколькими клиниками, роздали препарат хирургам, кожникам, терапевтам — и в лабораторию со всех сторон стали слетаться вести. Их было очень много, этих вестей, и для ясности можно, пожалуй, разделить их на три группы: неопределенно-хорошие, просто хорошие и неправдоподобно-хорошие, причем последних с каждым днем становилось все больше.

...Каждый четверг в моем кабинете собирались врачи — препарат испытывался в шести клиниках одновременно.

Разговор начинался обычно около двух часов дня, а к пяти вдруг приезжал дед и требовал, чтобы все было рассказано сначала. Сгорбившись, положив ногу на ногу, задумчиво почесывая подбородок, выслушивал он очередные новости, и характерное скептическое лицо никуда не торопящегося, очень старого человека постепенно смягчалось, принимая удивленное, умиленное выражение.

Кто не знает, что представляет собою «история болезни» — скучная вещь, сухой протокол беды, кончающейся смертью или выздоровлением, или ни тем, ни другим. Но нечто фантастическое вдруг вспыхнуло в протоколе, который на очередном «четверге» прочитал нам Селезнев — старый, опытный, давно ничему не удивлявшийся хирург с седыми, длинными казацкими усами.

Боец М — ский, уралец, председатель колхоза, был твердо уверен в том, что он поправится — рана была неопасная, в ногу. После первой операции он даже написал родным, что теперь-то дело обязательно пойдет на поправку. Но когда у него отрезали ногу и вместо облегчения открылись три новые болезни, он стал понемногу готовиться к смерти. Он написал жене, простился и приказал недолго горевать, а лучше поберечь меньшую дочку, родившуюся перед самой войной. Он беспокоился: справились ли в колхозе с уборкой? Молодая женщина заменила его, и хотя она была работящая, но болезненная, и, говоря с врачами, он спрашивал уже не о себе, а о ней, о ее болезни. Наконец он успокоился. Упрекать себя ему было осо-

бенно не в чем, а вот пожалеть есть о чем! Да что толку жалеть, если жизни осталось уже от силы дней на пять?

Его еще кололи, заставляли пить какую-то горечь, и он слушался, но сердился и говорил, что раз уже не сумели его вылечить, так оставили бы уж лучше в покое!

И вдруг — это было через двое суток после того, как ему начали впрыскивать пенициллин,— он почувствовал, что изнурительный озноб, от которого все внутри ежеминутно трепетало и содрогалось, оставил его. В руках, беспомощно лежавших вдоль исхудалого тела, появилась сила. Усталая голова прояснилась, и впервые за много дней ему захотелось двигаться, говорить, жить...

И эта необыкновенная история, о которой главный хирург Красной Армии сказал, что ее нужно золотыми буквами высечь на мраморном обелиске и поставить этот обелиск перед зданием нашего института, эта история, чтение которой было встречено аплодисментами, была забыта через несколько дней. Другие события заслонили ее, и о самом необычайном из них рассказал на очередном «четверге» главный врач детской инфекционной больницы.

— Мы испытали ваш препарат на безнадежном случае септической скарлатины,— сказал он,— и были свидетелями картины, которую смело можно назвать «возвращением с того света».

В этот день мы заглянули далеко вперед.

А потом стали приходить письма. Каждое утро они нетерпеливо врывались в дом, требуя, чтобы их прочитали. Они слетались со всех концов страны, свернутые треугольниками, в самодельных конвертах — иные больше месяца проводили в дороге. Они лежали вокруг меня на столе, на окнах, на диване, на откидной крышке бюро — так что Андрей, вернувшийся в конце марта из Сталинграда, сказал, что я «вписана» в этот эпистолярный пейзаж, как шишкинские медведи в пейзаж соснового леса. Это были письма-просьбы, письма-исповеди, письма-признания.

Среди этого ливня, который нежданно-негаданно обрушился на меня, попадались письма, которые нельзя было читать без улыбки: некий гражданин со странной фамилией Непейпиво спрашивал меня, не помогает ли наш препарат при выпадении волос. Он, Непейпиво, недавно вторично женился и теперь до крайности озабочен тем, что «самый факт ускорившегося за последнее время выпа-

дения» может неблагоприятно отразиться на отношении к нему молодой супруги.

Счетный работник из Кунгура интересовался, замужем ли я, и упоминал, между строк, что, потеряв в 1935 году супругу, с которой благополучно прожил более двух десятков лет, подумывает о том, что недурно бы вновь сочетаться браком.

И только в большом светлом доме, занимающем чуть ли не половину Рахмановского переулка, никто не интересуется нашим «Большим экзаменом», как называл клинические испытания дед.

На неделю раньше назначенного срока мы с Коломниным приходим к заместителю наркома, и с грубоватой снисходительностью принимает нас сей государственный муж.

Входят и выходят бесшумные, хорошо одетые секретарши, негромкими почтительными голосами разговаривают заведующие отделами и подотделами, которых по разным вопросам, не имеющим отношения ни к русскому, ни к английскому пенициллину, вызывает заместитель наркома. Поросшая толстыми рыжими волосами рука нажимает звонок, и является тот, кому надлежит, и произносит то, что надлежит. Все совершается быстро, свободно, легко — но совершается ли? Легкий оттенок непрочности, шаткости сопровождает решительно все, что происходит в этом просторном, богатом, устланном большим ковром кабинете. И на самой коренастой фигуре хозяина лежит этот оттенок, даром что он сидит за таким внушительным письменным столом, на котором стоит такой внушительный малахитовый прибор с чашей-чернильницей, вокруг которой обвилась змея — символ мудрейшей из наук, медицины. Можно подумать, что, кроме нас, здесь присутствует какой-то неведомый и невидимый дух, и, прежде чем ответить на любой вопрос, заместитель наркома безмолвно советуется с этим духом, да не советуется, а с унизительной покорностью прислушивается к каждому его слову. «Что ты думаешь по этому поводу, глубокоуважаемый дух?» — как будто спрашивает нарком, и дух отвечает или молчит, и если он молчит, заместитель наркома тоже молчит, предоставляя нам понимать его молчание так или иначе.

Кто же этот дух, эти флюиды, рассеянные в воздухе, невидимые, но обладающие магической силой? Боязнь ответственности, страх перед начальством, попытка угадать, что скажет *тот* или подумает *этот?* Кто знает! Но почти

все, что мы слышим, говорит этот дух, а на долю заместителя наркома остается очень немногое, почти ничего.

Я завожу вопрос о расширении производственной лаборатории — количество пенициллина, которое мы выпускаем, ничтожно, а потребность велика и растет с каждым днем. Начальство соглашается, но будет ли разрешена лаборатория, остается неясным.

Недобро поблескивая глазами, Коломнин спрашивает, известно ли уважаемому Павлу Ильичу, что в Англии уже приступили к строительству пенициллинового завода. Павел Ильич соглашается — пора подумать и нам. Но, по-видимому, невидимый дух, с которым он ежеминутно советуется, еще не принял решения по этому вопросу. Поэтому, сказав «пора и нам», заместитель наркома умолкает и лишь произносит неопределенный звук, когда мы спрашиваем, когда будут вызваны руководители колбасных фабрик, на базе которых можно временно наладить массовый выпуск пенициллина.

Не в очень веселом настроении покидаем мы просторный кабинет с высокими окнами, с тяжелым письменным столом, за которым сидит человек, от которого, к сожалению, зависит очень многое в огромной системе советского здравоохранения.

— Стоило ли сходить с ума, не спать ночами! Он даже не поблагодарил нас.

Коломнин бледен, расстроен, зол.

— А вы ради его благодарности не спали ночами?

— Нет, конечно! Но все-таки... Грубиян. Вы заметили, он не встал, когда мы уходили?

— Еще вставать! Не огорчайтесь, дорогой Иван Петрович. Не в нашей власти назначать наркомов.

— К сожалению.

— Если бы на месте Максимова был настоящий человек — талантливый, образованный, смелый... Каков был бы наш разговор? Помечтаем.

И всю дорогу от Рахмановского до Ленинградского шоссе мы утешаемся тем, что придумываем этот несостоявшийся разговор.

Слухи

Правда ли, что на заседании Московского хирургического общества профессор Власенкова была вынуждена огласить записку, автор которой спрашивал: сделала ли

она соответствующие выводы из того обстоятельства, что ее препарат послужил непосредственной причиной гибели генерал-лейтенанта, лежавшего в клинике Бурденко? Генерал-лейтенанта? Да, известного, его имя часто упоминалось в приказах!

Расстроенная лаборантка приходит на работу и под строжайшим секретом спрашивает Виктора Мерзлякова: «Правда ли, что Татьяну Петровну отдают под суд за то, что она дала больному непроверенный препарат?» — «Кто вам это сказал»? — «Лаборантка из соседнего института».

Взволнованная Лена Быстрова звонит из Казани: «Правда ли, что наш препарат спешно изымается из всех лабораторий, госпиталей и клиник?» — «Что за вздор! Почему изымается?» — «Да тут все говорят, что Фармакологический комитет взял назад свое одобрение!»

Старый знакомый, которого вы знаете вот уже добрых двадцать лет, вдруг смущается и переводит разговор, когда вы начинаете рассказывать ему о своих удачах. У него становятся виноватые глаза, и вы догадываетесь, что хотя он сочувствует вам, но, к сожалению, не верит.

Соединяясь самым причудливым образом, упорно повторяются эти темные слухи. То уходят — и тогда начинает казаться, что это был просто мираж, на который не стоит, разумеется, обращать никакого внимания. Мало ли о чем говорят? То возвращаются — и вместе с ними возвращается тревожная мысль о том, что все это не случайно, что кому-то на руку эта игра.

Рубакин приезжает из Казани, и мы часа на три запираемся в моем кабинете. Он изменился за годы войны, похудел, постарел, и уже трудно представить себе, что в молодости он был розовый, круглый и чем-то походил на доброго, лохматого пса. Теперь стали особенно заметны его маленький рост, седина. Характерные убегающие вверх брови поросли большими толстыми волосами. Но способность сомневаться осталась такой же и даже стала, мне кажется, еще острее, чем прежде.

— Крамов? Ну, нет! Он все-таки крупнее, Татьяна.

— Не он, так его окружение.

— Новое дело всегда обрастает слухами. На вашем месте я не обращал бы на них никакого внимания.

— Пробовала. Не выходит. Теперь он в сто раз опаснее, чем до войны, когда на институтской конференции

осмелился однажды признаться в том, что работает мало и плохо. Теперь он совсем не работает — вот почему он будет держаться за свое положение зубами! Вы читали его письмо Сталину в сегодняшней «Правде»?

— Нет.

— Прочтите.

Я протянула Рубакину газету. Крамов писал, что он жертвует сто тысяч рублей в фонд Главного командования.

— Кому пришло бы в голову воспользоваться подобным письмом, чтобы еще раз утвердить себя как главу направления. Это дороже ста тысяч. И еще одно. Вы думаете, он простил себе, что рукопись Лебедева пятнадцать лет пролежала в его архиве? Он прекрасно понимает, что если бы у него хватило чутья, он сам занялся бы плесенью и прежде нас добился бы успеха. Как он, должно быть, ругал себя! Как мучила его досада!

Я говорила очень быстро и задохнулась и засмеялась, когда Петр Николаевич молча налил стакан воды и поставил его передо мной.

— Успокойтесь, Татьяна. Все верно. И все-таки при чем же здесь слухи?

— Теперь поговорим о слухах. К чему они сводятся, если отбросить частности, найти основное? Основное заключается в том, что Власенкова и Коломнин обманывают государство, и это плохо кончится не только для них, но и для тех, кто их поддерживает! Если Крамов при всех его качествах был человеком науки и еще смутно помнит об этом, так ведь у его последователей нет прошлого, нет ничего, кроме того, чему он их научил. Эти люди способны на преступление.

Значит, я не убит!

Должно быть, у меня был расстроенный голос, когда в два часа ночи я позвонила Малышеву, потому что он тотчас же тревожно спросил:

— Что случилось?

— Михаил Алексеевич, сегодня я получила письмо от старого друга. Он тяжело ранен, лежит в госпитале. По-видимому, безнадежен. Как узнать, где находится госпиталь?

— По номеру почты.

Я назвала номер.

— Как его фамилия?

— Лукашевич.

— Впрочем, это не важно. Не отходите от телефона... Этот госпиталь — в Москве,— сказал он через две-три минуты.— Ну-с, еще чем помочь?

— Как в Москве?

— Очень просто. Беговая, четыре.

— Так что же он не написал, что лежит в Москве?

Малышев засмеялся.

— Вот уж не знаю,— сказал он.— Как Андрей?

— Спасибо, хорошо.

— Кланяйтесь ему. Впрочем, он скоро вернется.

— Да? А я и не знала!

— А вам и не положено. Вот приедет вдруг — и сразу выяснится, как вы тут себя ведете без мужа.

Я говорила с Малышевым, смеялась, а сама думала: «Без ночного пропуска как добраться до госпиталя? Подождать до утра? Но застану ли я Володю, если подожду до утра?»

Темно на московских улицах, так непроглядно темно, что первые минуты я иду ощупью, протянув перед собой руки. На дне непроглядной осенней ночи, за плотными шторами, за окнами, переклеенными крест-накрест бумагой, спит, бодрствует, трудится Москва.

Дождь моросит, плохая погода. Патруль останавливает меня на улице Горького и пропускает, узнав, что я тороплюсь к больному.

— А в чемоданчике что?

— Лекарство и инструменты.

Девушка в пожарном костюме стоит у ворот, и, должно быть, очень скучно стоять у ворот в эту длинную, дождливую, осеннюю ночь, потому что она окликает меня:

— Промокнете, переждите.

— Спасибо, некогда. Тороплюсь к больному.

Пропадает вдалеке одинокий свет фонаря, снова темнота, пустота.

Кончаются темные громады домов, щиты у окон, витрины, заваленные мешками с песком,— Ленинградское шоссе наконец-то! Оказывается, есть на свете небо — я вижу его над Ленинградским шоссе.

Слава богу, теперь недалеко! Поворот на Беговую. Асфальт кончается. Ноги скользят по грязи. Снова патруль. Бесконечная, прыгающая под ногами дощатая панель вдоль низких заборов. Неоштукатуренное кирпичное здание за железной решеткой. Школа. Кажется, здесь!

Меня не пустили бы в госпиталь, если бы дежурный врач, совсем молодой, лет двадцати пяти, с тонкой юношеской шеей, торчавшей из халата, не был на моем докладе в Обществе микробиологов перед самой войной. У него стало серьезное лицо, когда я спросила о Володе.

— А вы ему кем приходитесь? Жена, сестра?

Я объяснила.

— Вот что!

Он интересовался микробиологией, слышал о пенициллине, но не слышал ничего хорошего: «Разве уже испытывали в клиниках? А мне сказали, что с этим делом что-то не вышло!» Рассказывая о состоянии Володи, он употреблял без нужды множество иностранных слов и покраснел, когда я машинально поправила одно ударение.

— У него множественное осколочное ранение левого предплечья, осложнившееся остеомиелитом лопатки и обеих костей предплечья. Высокая температура. Словом, тяжелый сепсис. В настоящее время...— Он замялся и не договорил.

— Могу ли я пройти к нему?

— Конечно, пожалуйста. Но мне хочется предупредить вас...

— Я все понимаю.

Володя лежал, отгороженный ширмой, ночник стоял на столе, слабый свет падал на закинутую голову с широко открытыми, блестящими глазами. Сиделка дремала на табурете подле койки. Он лежал неподвижно, одна рука свесилась с койки, лицо было белое, задумчивое, с медленно двигающимися, что-то шепчущими губами. Мы вошли, он повернул голову, шепот стал громче.

— А вот и Таня,— сказал он, точно ждал меня и был уверен, что я непременно приду.— Здравствуй. Почему ты так смотришь на меня? Я изменился, да? Это пустяки, просто грипп, я скоро поправлюсь.

Я подсела к нему, взяла его руку в свои. Он говорил без умолку, облизывая пересохшие губы.

— А помнишь, как было хорошо в Сталинграде? Я спросил: «Ты счастлива?», и ты промолчала. Понимаешь, командование не в курсе, а то ведь мне бы попало за то, что я перенес тебя на руках.

Сиделка негромко сказала что-то врачу.

— Что я еще хотел узнать у тебя? — взглянув на них невидящими глазами и тотчас же отвернувшись, спросил Володя.— Ах, да! Ты знаешь, иногда мне приходило в голову разыскать тебя, но я думал: зачем? А теперь уже поздно, темно. Галки кричат,— вдруг сказал он упавшим голосом.— Ох, как кричат! Таня, это ты? Почему ты плачешь? Ведь все хорошо?

— Все хорошо, Володя.

— Скажи им, чтобы они не кричали!

До сих пор мы еще не пробовали вводить такие огромные дозы — у Левитова, с которым я встретилась на другой день, глаза полезли на лоб, когда я сказала, что за двенадцать часов больному впрыснули почти миллион единиц. Токсическое (отравляющее) действие пенициллина еще не было полностью изучено в те годы, и ни один человек на земле не имел никакого представления о том, убьют ли эти дозы Володю или вернут ему жизнь.

Но терять было нечего — и, договорившись с начальником госпиталя, я начала этот, казавшийся почти фантастическим, курс.

Кто не знает русской сказки о мертвой и живой воде? Невозможно было не вспомнить о ней, наблюдая те удивительные превращения, которые на моих глазах стали происходить с приговоренным к смерти человеком.

Можно было точно предсказать, когда произойдет эта смерть, когда закроются глаза, остановится сердце. Ничего нельзя было сделать, даже если бы самые гениальные врачи всех времен и народов собрались у постели Володи Лукашевича и приложили все усилия, чтобы спасти ему жизнь. С неумолимой последовательностью шел процесс умирания, и не было до сих пор в мире такой силы, которая могла бы остановить или сделать обратимым этот процесс.

Но вот врач бросает щепотку желтого порошка в раствор поваренной соли, вливает эту жидкость в кровь приговоренного к смерти, и через несколько часов исчезает изнуряющий озноб, ослабевают боли, приходит счастье глубокого, ровного сна. Незаметно, исподволь прекращается

мучительная борьба тела с надвигающимся прекращением жизни. Еще день, и сиделка убирает ширму, стоявшую между жизнью и смертью.

Я приезжала к Володе почти каждый день, и он радостно встречал меня, невероятно худой, старательно причесанный, с провалившимися, улыбающимися глазами. «Я буду жить» — это чувствовалось в каждом движении, в каждом слове. Только при взгляде на его виски становилось немного страшно, точно в этих темных, впалых висках с прилипшими волосками еще сохранилось воспоминание о смерти. Он старался принарядиться к моему приходу — сложная задача, если вспомнить, что весь наряд состоял из бязевых кальсон, шлепанцев и халата! — и однажды рассердился на сестру, которая сказала, что недаром капитан волновался, дойдет ли до него очередь бриться?

Я приезжала ненадолго — хорошо еще, что от института до госпиталя было недалеко. Дела не радовали, и Володя узнавал это с первого взгляда.

— Опять Максимов? — спрашивал он сердито.

О пенициллине я прочитала ему целую лекцию, но она ему не понравилась — неясно.

— А ты не можешь с самого начала?

— То есть?

— Ну, то есть с вопроса о том, какое место занимает плесень в природе?

Обо всем ему нужно было знать с самого начала.

— А знаешь, все-таки странно, что ты — это ты,— однажды сказал он.— То есть что ты — ученый человек, доктор наук. Ведь это, в сущности, на тебя не похоже.

— Ну, вот еще!

— Честное слово! С тобой легко, хотя ты всегда немного грустная и чуть что — сразу начинаешь огорчаться, волноваться. Простая, а мне люди науки всегда казались сложными, необыкновенными. Я как-то еще до войны ехал в одном купе с академиком — так полночи не мог заснуть от уважения. Он храпел, и я чувствовал, что даже к его храпу отношусь как-то иначе, чем к обыкновенному ненаучному храпу. Кроме того, ты все-таки женщина.

— И что же?

— Ну как же! Дом и семья, а тут нужно думать о препаратах. И тебе, наверно, особенно трудно, потому что ты как раз очень женщина.

— Что это значит?

— Не понимаешь? Ну, бывают не очень женщины, а ты... Другое дело, если б ты была сухарем...

— Я — сухарь.

— Нет.

Я засмеялась.

— Правда, все это у тебя на втором плане,— немного покраснев, добавил Володя.— Но сегодня на втором, а завтра... Кажется, это Павлов сказал, что наука требует от человека всей его жизни?

— Да.

— На его месте я бы сделал оговорку,— серьезно сказал Володя.— Специально для женщин.

Я знала теперь о нем несравненно больше, чем после нашей сталинградской встречи, но первое впечатление душевной тонкости, неожиданной для прежнего лопахинского Володи, осталось и даже стало еще сильнее. И эта тонкость соединялась в нем с мальчишеским прямодушием, которое особенно сказывалось в манере говорить, не выбирая слов, быстро спрашивать, не дожидаясь ответа. Несмотря на свои тридцать восемь лет, он производил впечатление еще несложившегося человека. Полная определенность чувствовалась в нем, только когда речь заходила о флоте — моряк он был, по-видимому, превосходный. Но едва Володя «выходил на сушу», как эта определенность мгновенно покидала его, и за опытным моряком вдруг показывался юноша, застенчивый и немного путающийся в собственных мнениях. Он много читал и Третьяковку, например, знал куда лучше, чем я. Но начитанность была беспорядочная, неровная. Однажды в разговоре я упомянула Мечникова.

— Это капли Мечникова? — спросил Володя и смутился, когда я в ужасе замахала руками.

Он расспрашивал меня об Андрее, и в этих подробных расспросах, касавшихся подчас того, что понятно без всяких расспросов, был виден человек, стосковавшийся, одинокий. Как-то я вспомнила и пересказала ему несколько строк из дневника Павлика — он захохотал так, что обеспокоенная сестра пришла и объявила, что ему вредно так громко смеяться.

— Ну, какой Павлик? Ты еще ничего не рассказала о нем.

— Не знаю. Хороший.

— Похож на Андрея?

Я подумала.

— Да. А может быть, нет.

— Вот видишь! Это к нашему давешнему разговору. Нет, нет! Женщинам нельзя заниматься наукой. О собственном сыне — «да, а может быть, нет»!

— О собственном трудно.

— Слишком близко, да?

— Вот именно.

— Если бы у меня был сын, я бы знал, что о нем рассказать. Или тогда пускай в науке работают только необыкновенные женщины.

— Вздор, Володя.

— Я хочу сказать: не по таланту, а в том смысле, что их душевная жизнь должна быть широкой. Чтобы хватило на все — и на дом, и на любовь, и на науку.

Не прошло и двух недель с той ночи, когда капитан второго ранга Лукашевич получил — впервые в истории человечества — фантастическую дозу в один миллион единиц, а мы в госпитале на Беговой стали своими людьми — не только шумный, вечно острящий Зубков, но и тихий, неторопливый Ракита, о котором Володя сказал, что он впервые видит человека, который был бы так необыкновенно похож на собственную фамилию. Мы перезнакомились с ранеными, подружились с врачами и внушили подавляющему большинству персонала безусловную, непререкаемую веру в чудесные свойства плесневого грибка. Только главный врач, угрюмый толстяк, с тяжелым лицом и грубыми, красными, виртуозными,— как я не раз убеждалась,— руками, скептически покряхтывал, просматривая «наши» истории болезни. Он верил только в одно лекарство — хирургический нож.

— Видали мы эти панацеи! Гравидан, симпатомиметин. Приходят и уходят. А это,— и толстым пальцем он толкнул ланцет,— остается.

Это было после лекции, которую я по просьбе раненых прочитала в палате, где лежал Володя. Я подошла к нему проститься, и вдруг он стал горячо благодарить меня.

— Спасибо тебе, спасибо!

Я удивилась.

— За что?

— За все. Ведь это только кажется, что просто, а на самом деле... Подумать только, ты спасла меня. И Грушина, и Трофимова, и этого лейтенанта-казаха, который все просил ничего не писать матери, когда он умрет.

У него были горячие руки, блестящие, взволнованные глаза, и я стала беспокоиться, не поднялась ли температура.

— Полно, это совсем не то. Если и поднялась, не опасно. Послушай, вот ты говорила о старом докторе. Поразительно, как несправедливо обошлась с ним жизнь! Почему так бывает, что самые лучшие, чистые, добрые люди несчастны, а счастливы другие, жестокие, холодные, думающие только о себе?

— Павел Петрович был счастлив.

— Да, может быть. Потому что он был гениален. Ты знаешь, а мне он казался просто скучным стариком, на которого я сердился, потому что ты пропадала у него целыми днями. Но потом я стал жалеть его. Я видел, как однажды, когда он сидел на крыльце, какая-то женщина подошла и подала ему двадцать копеек. Он крикнул: «Сударыня, вернитесь. Вы ошиблись». Она извинилась, взяла деньги, ушла. А он... У него было такое лицо... После этого случая я перестал сердиться, что ты у него пропадаешь.

— Ну ладно. Вот ужин несут. Поешь и усни.

— Не хочу.

Володя сел на постели. Одеяло сползло, он нервно поправил его и с тоской оглянулся вокруг.

— Ох, устал! Скорее бы в полк.

— Да что с тобой сегодня?

— Ничего. Не думай обо мне. Все хорошо.

И все-таки я заставила его померить температуру — нормальная. Он поужинал при мне, мы простились, и я ушла, успокоенная, хотя и не очень.

Должно быть, Володя заразил меня своим непонятным волнением, потому что, вернувшись домой и просидев полчаса над какой-то упрямой фразой (мы с Коломниным готовили статью о крустозине), я отложила рукопись и принялась бродить из угла в угол.

Смешно повязавшись моим передником, отец хозяйничал у «буржуйки» — варил суп «по методе Марии Ределин «Дом и хозяйство». Об этом супе, который некая Мария Ределин рекомендовала варить, когда в доме, «по случаю или необходимости, нет продовольственного запаса», он толковал давно.

...А ведь среди лопахинских мальчиков Володя был дальше всех от меня! Вечно он гудел свои басовые партии, и казалось, что геликон, на котором он играл в школьном оркестре, был чем-то похож на него — такой же большой, простодушный и добрый. Он искренне огорчался, что не может одолеть «Дэвида Копперфилда», и в журналах и газетах читал только о флоте. Все мальчики объяснялись в любви. Однажды объяснился и он. Это было на Власьевской, Володя провожал меня из школы, и мне нравилось, что мы так чинно разговаривали, точно заранее условились, что скажу я, а что он...

Отец пожаловался, что вчера по промтоварным единичкам выдавали игрушки, и он хотел взять для Павлика, но раздумал, потому что игрушки (очевидно, за неимением красок) были белые, а это, по его мнению, легко могло испортить мальчику вкус.

— Вообще фантасмагория,— пожав плечами, сказал он.— Все белое — чулки, шнурки, пуговицы, пряжки.

От супа, который варил отец, почему-то пахло селедкой, я хотела попробовать, но он не позволил — рано. Метода, по его мнению, была верна, и ошибки быть не должно, разве только относительно вкуса. «Это случалось и прежде,— продолжала я думать.— Володя волновался, встречая меня,— ну и что же! Откуда же сегодня эта тоска и «скорее бы в полк!», и растерянность, от которой мне стало неловко и страшно?»

Наш разговор в Сталинграде вспомнился мне, тишина прохладного вечера, пустынная набережная, свет прожекторов, тревога. Он сказал тогда: «Я не сомневался ни одной минуты, что со мною ты была бы счастлива, а с любым другим человеком на земле, будь он даже ангел во плоти, несчастна».

Я засмеялась, и отец с удивлением посмотрел на меня.

«Ах, вздор! И нужно работать! Съесть суп Марии Ределин, если это возможно,— и за работу! Написать Андрею, что жду его к празднику,— и за работу!»

Дела и враги

Нетрудно было убедить Рубакина в том, что клеветнические слухи идут если не от самого Крамова, так из его окружения. Рубакин был единственный в своем роде «знаток» Крамова, уж он-то прекрасно понимал, что значат

два-три слова, сказанные в надлежащее время и надлежащем месте! Кто же, если не он, мог помочь мне в этой сложной, завязывающейся схватке, пугавшей меня, потому что бороться приходилось, в сущности, с призраками и тенями?

Но увы! Петр Николаевич вернулся в Казань, и я осталась лицом к лицу с намеками, брошенными между прочим, с шутками, невинными на первый взгляд, а на деле подрывающими доверие, с железной осторожностью чиновников, ловящих на лету каждое движение начальства. А начальство медлило, взвешивало, сомневалось...

Конечно, я была не одна. Но среди нас — увы! — не было «специалиста по слухам», который сумел бы разобраться в тумане бессовестной лжи и сомнительных предположений.

Коломнин отмалчивался, жестко поджимая губы, или говорил, что он недаром всю жизнь больше доверял пробиркам, чем людям. Виктор был в той полосе «думанья», когда он вообще ничего не видел и не слышал вокруг себя, и я нарочно говорила ему, что все эти слухи — вздор, которому не следует придавать никакого значения. Зубков посмеивался, Ракита, с каждым годом все больше напоминавший своего (и моего) учителя Лаврова, рассуждал последовательно, ясно, но, выслушав его, я всякий раз приходила к выводу, что против нас, очевидно, действуют магические силы, если обыкновенный здравый смысл выглядит в сравнении с ними таким беспомощно-безоружным.

Словом, все это были люди, охотно, радостно, с любовью думавшие о науке и с трудом, нехотя заставлявшие себя думать о том, что мешает науке. А против нас действовали люди опытные, бывалые, неуверенно чувствовавшие себя в лабораториях, но зато очень уверенно на заседаниях и в наркоматах. Крамов не был теперь главой «направления». Но всюду, куда ни бросишь взгляд, работали его соратники, если не по ЖМЭИ, которым он руководил до войны, так по Второму Мединституту, где он занимал кафедру микробиологии. Это был Крупенский, по-прежнему прославлявший в бессодержательных и пылких речах заслуги своего шефа. В его внешности, и прежде заметной, появилось теперь нечто благородное, внушающее доверие. В самом деле, кто бы мог подумать, что этот худой, узкоплечий человек, нервно закуривающий папиросу от папиросы, с романтически торчащей седой шевелюрой, с серыми навыкате глазами, в которых мелькала фа-

натическая преданность науке, на самом деле просто смелый интриган, думающий одно, а говорящий совершенно другое?

Было время, когда я почти не сомневалась в том, что его связывает с Валентином Сергеевичем искреннее чувство,— недаром же все-таки он всю жизнь перед ним преклонялся? Теперь для меня стало ясно, что это были отношения, лишенные каких-либо иллюзий. Иногда я думала: как разговаривают они наедине, без свидетелей, не притворяясь? И мне казалось, что и тогда их подлинные отношения открываются лишь чуть-чуть и что в длинных вежливых фразах они все-таки не называют вещи своими именами.

Крупенский был опасный пустозвон. Но в тысячу раз опаснее его был другой человек, лишь недавно появившийся на московском горизонте и немедленно примкнувший к Валентину Сергеевичу. Впрочем, примкнувший или включивший его в свою орбиту — этого, мне кажется, не понимал еще и сам Валентин Сергеевич.

Это был Скрыпаченко, которого Андрей спустил с лестницы, что, впрочем, не помешало этому любителю безыменных произведений стать директором Института профилактики. Не знаю уж, за какие услуги он был назначен членом Ученого совета Наркомздрава — должность, которую занимали обычно весьма почтенные деятели нашей медицины. Знаю только, что в кругу микробиологов это было встречено с изумлением.

В самом деле, глядя на этого высокого, небрежно одетого человека с неопределенно-осторожной улыбкой, чуть показывающейся на тонких губах, я спрашивала себя: «В чем секрет его успеха?» Ведь если даже четверть того, что говорили о нем, было правдой, он должен был не преуспевать, а униженно благодарить судьбу, что ему еще подавали руку. Он не только не имел права преуспевать, а его на пушечный выстрел нельзя было подпускать к любому делу, которое дало бы ему возможность — пусть самую малую — распоряжаться другими людьми. А он не только считался одним из видных медицинских деятелей, но представительствовал нашу страну на международных конгрессах.

Все это были опытные администраторы, чувствовавшие себя в самых сложных обстоятельствах уверенно и спокойно. Ни один из них не только не возражал против организации пенициллинового завода, но и не мог возражать, по-

тому что по кругу своей работы не имел никакого отношения к нашему препарату. Но взаимно выгодные отношения связывали этих людей с видными работниками Наркомздрава, и хлопоты о заводе то и дело натыкались на эти чуть заметные, но прочные связи.

Вспоминая теперь об этих хлопотах, я начинаю думать, что в своих неудачах отчасти была виновата сама. Мне казалось бессмысленным доказывать доказанное, настаивать на очевидном, объяснять то, что было ясно само по себе. Но именно это-то и нужно было делать последовательно, без устали, упрямо.

Совещание руководителей колбасных заводов должно состояться в сентябре. Проходит сентябрь, октябрь, ноябрь, и второй заместитель наркома, очень любезный молодой человек, внимательно выслушав меня, отвечает, что он впервые слышит о подобном совещании и не совсем ясно представляет себе, какое, собственно, отношение имеет колбаса к производству нашего препарата? И приходится терпеливо объяснять любезному молодому человеку то, что ему положено знать, потому что он не только второй заместитель наркома, но и редактор сборника, в котором помещена моя статья об отечественном пенициллине.

Он тщательно выбрит, пробор блестит, у него свежее лицо, превосходные зубы. Он говорит тихим голосом, с длинными паузами, долженствующими показать мне и всему свету, что хотя он и молодой человек, однако не бросает на ветер ни одного своего драгоценного слова. Конечно, в нашем разговоре не упоминаются слухи,— что за вздор! — но за этими осторожными, скользящими обещаниями то и дело мелькает, прячась, тень клеветы, острый краешек слуха. Я слушаю и чувствую с ужасом, что мне хочется убить этого человека с его вежливостью, пробором, зубами и глубоким дикарским равнодушием ко всему, что не касается его блестящей карьеры. Куда там, не под силу! И я ухожу, проведя у второго заместителя наркома не самый веселый час в своей жизни.

Плесневому грибку нужен сахар: активность крустозина возрастает, когда мы подкармливаем грибок сахаром — в частности, молочным, лактозой.

— Ишь чего захотела! — добродушно, но твердо отвечает мне другой человек, которому поручено снабжение лекарствами всех больниц и аптек в Советском Союзе.— Сахар, матушка моя, нужен мне для людей. А грибок твой небось как-нибудь обойдется!

К счастью, не все хозяева просторного дома на Рахмановском переулке в такой степени подвержены влиянию невидимых, но магических величин. Находятся люди, способные оценить «перспективное дело». Находятся люди, которые считают, что это граничит с преступлением, в особенности, если вспомнить, какое значение имеет пенициллин для возвращения раненых в строй.

И один из этих людей, который тоже носит звание члена коллегии, но у которого это высокое звание не написано на лице, не влияет на образ мышления и не заставляет ежеминутно стремиться к еще более высокому званию, хватает меня за руку и тащит к наркому и требует, чтобы нарком немедленно занялся загадочной историей крустозина-пенициллина ВИЭМ. И через неделю мы получаем небольшое, но удобное здание на берегу Москвы-реки, недалеко от Новодевичьего монастыря,— восемь комнат, в которых можно разместить людей, термостаты, «танки»...

Председатель, рабочий авиационного завода, показал на пустой стул рядом с собой — должно быть, его предупредили о моем выступлении. Я на цыпочках прошла в президиум, села и стала искать Цейтлину из Фрунзенского райкома. Цейтлина сидела в первом ряду, толстая, румяная, в ватнике, не сходившемся на ее мощной груди, с блокнотом на коленях, озабоченная, строгая и готовая немедленно, не задумываясь, ринуться в бой. Мне повезло, что на своем тернистом пути я встретилась с этой женщиной, и сейчас, убедившись (по целой серии подбадривающих энергичных движений, которыми она ответила на мой вопросительный взгляд), что ее боевой вид относится к моему выступлению, я снова подумала, что мне повезло.

Конференция происходила в Доме ученых, в большом концертном зале, где мне случалось бывать не раз и где мы с Андреем провели перед войной новогодний вечер. Тогда строгий зал с высокими дубовыми панелями, с квадратными ложами был празднично украшен, бумажные фонарики висели крест-накрест под резным потолком, возле елки стоял большой дед Мороз, и все говорили, что он как две капли воды похож на знаменитого старого ученого, славившегося своей рассеянностью, о которой рассказывали анекдоты.

Тогда воздушные шары качались в нагретом воздухе, на женщинах были высокие цветные колпачки со звезда-

ми, и так важно было, чтобы за соседним столиком сидели Пушковы, а не Бельские, и чтобы первый бокал шампанского был выпит ровно в полночь, с последним ударом часов.

Теперь в этом зале было по-осеннему сыро, еще не топили, и, должно быть,— подумалось мне,— не будут топить, как прошлой зимой. Пар шел изо рта, люди сидели в пальто и шинелях, с руками, засунутыми в обшлага, с румяно-сизыми лицами и с таким видом, как будто они пришли сюда только для того, чтобы сказать друг другу самое необходимое, то, без чего никак нельзя обойтись.

Начались выступления, очень краткие, видно было, что люди дорожат своим временем и не желают отнимать его у других.

О санитарном состоянии Москвы говорил пожилой санврач из горздрава, и мне понравилось его выступление, хотя речь шла о том, что было очевидно для всех. Но в энергии, с которой он говорил о вывозе мусора и нечистот, было нечто поэтическое, ничуть, впрочем, не мешавшее, а скорее даже помогавшее делу.

Для пенициллинового завода нужны были люди. «Вот бы такого директора»,— подумалось мне.

Я спросила у председателя фамилию санврача.

— Рамазанов.

— Как, Рамазанов? Не может быть! Григорий Григорьевич?

Председатель улыбнулся.

— Почему не может быть? Вот именно, Григорий Григорьевич. Замечательный человек. Знаете, сколько ему лет? Шестьдесят четыре.

Я еще раз взглянула на Рамазанова: плотный, широкоплечий, с военной выправкой, серо-седой, с большим решительным ртом, чуть скошенным, по-видимому от раны. Конечно, это был тот самый санврач, в которого Андрей «влюбился» в Сталинграде и необыкновенную жизнь которого пересказывал в своих письмах.

Я подошла к нему в перерыве.

— Здравствуйте, Григорий Григорьевич.

Он щелкнул каблуками.

— Извините. Не имею чести...

— Мы знакомы, хотя видим друг друга впервые. Давно из Сталинграда?

— Никак нет.— Он отвечал с вежливым недоумением.— Недавно.

— Как Андрей Дмитриевич?

— В добром здоровье. А вы...

— Я его жена.

— Да ну! — Он обеими большими руками долго тряс мою руку.— Как я рад! Последнее время перед моим отъездом Андрей Дмитриевич был в Горной Поляне, а то я бы вам от него непременно письмо привез. Я и так все собирался позвонить, да замешкался с делами.

— Значит, будем знакомы?

— Будем знакомы! И разрешите навестить вас! Нужно же доложить о супруге. Впрочем, могу и предварительно: редкий молодец и умница.

— Спасибо.

— Ему спасибо. И вам.

— А мне за что? Вы еще не уходите! Я буду выступать после перерыва, и хочется, чтобы вы послушали.

— Непременно.

— Мне нужно с вами кое о чем посоветоваться...

— К вашим услугам.

...Я знала, что это трудно — объяснить людям, весьма далеким от микробиологии, всю сложную игру, возникшую вокруг нашего открытия. Но я не представляла себе, насколько это трудно!

Нельзя было назвать Валентина Сергеевича, который, как меня уверяли в Наркомздраве, был сторонником немедленного строительства большого пенициллинового завода. Нельзя было упрекать Максимова, который все-таки отказался поддержать Крамова, настаивавшего на покупке английского патента. Нельзя было жаловаться на Скрыпаченко, Крупенского, Мелкову, стоявших в стороне и не имевших, в сущности, ни малейшего отношения к нашему препарату. Слухи? Да кто же станет придавать серьезное значение этому вздору?

И, взвесив слабость своей позиции, я перестроилась на ходу и заговорила о том, что, несмотря на удачу клинических испытаний, в практике не сделано и не будет сделано почти ничего, пока не удастся наладить массовый выпуск пенициллина.

— Что толку от лекарства, даже самого сильного, если его нельзя широко применить? Мы испытали препарат в сухом и жидком виде. Мы убедились в его полезности и сделали многое, чтобы усилить эту полезность. Но препа-

рата нет, а между тем сотни и тысячи раненых бойцов ждут его в тысячах госпиталей, в тылу и на фронте.

— Что вам нужно? — спросил с места высокий скуластый человек в темных очках, на которого я старалась не смотреть, потому что он слушал меня с недоброжелательным, сердитым выражением.

Я прочитала список. Нельзя сказать, что он был как две капли воды похож на тот длинный, в 103 пункта, список, который мы собирались предъявить заместителю наркома. Но сходство было если не в количестве пунктов, так в том воодушевлении, с которым был прочитан и которое было понятно людям, внимательно слушавшим меня в холодном, с запотевшими стеклами, неуютном зале.

Через неделю Цейтлина позвонила в институт и сказала, что завод стройматериалов отгрузил для нас метлахские плитки.

— Что?

— Метлахские плитки,— спокойным, торжественным голосом повторила Цейтлина.

Я сказала об этом Коломнину, и он скептически поджал губы. В самом деле, среди множества необходимых материалов на последнем месте в нашем списке стояли именно эти плитки. Но вслед за плитками привезли кирпич, а за кирпичом приехала центрифуга — большая, пузатая, красивая и выглядевшая среди лабораторных центрифуг, как Гулливер среди лилипутов.

Весь ноябрь на нас сыпались приборы и материалы, и двадцать новых сотрудников, в числе которых был, кстати сказать, Рамазанов, работали над устройством весьма солидного, по масштабам 1943 года, пенициллинового завода.

Мы не одни

Ракита и Виктор, работавшие в госпитале, аккуратно докладывали мне о Володином здоровье, так что я знала, что все идет хорошо — настолько хорошо, что в конце ноября его уже собирались перевести в команду выздоравливающих. Но настроение у него было, по-видимому, плохое.

— Чудит ваш пациент,— сердито сказал как-то Виктор, которого я попросила передать Володе несколько книг.

— А что?

— Скучает. Вы бы съездили к нему, Татьяна Петровна.

Но прошло еще добрых две недели, прежде чем я собралась к Володе.

Он лежал, повернувшись к стене, обхватив голову тонкой, похудевшей рукой. Справа от него, на соседней койке, два незнакомых офицера играли в шахматы, озабоченные болельщики стояли вокруг, обмениваясь замечаниями, почтительно-негромкими, чтобы не мешать игрокам. Слева пожилая сиделка вязала у постели тяжелораненого и о чем-то неторопливо рассказывала ему, а он молча, покорно смотрел на нее, широко открыв глаза, большие, темные, с застывшим выражением страдания. Одни читали, другие, надев наушники, слушали радио, третьи просто лежали на спине, сосредоточенно уставившись в потолок: ждали выздоровления. Только у Володи был одинокий, заброшенный вид, точно в этой большой, занятой своей жизнью палате до него никому не было дела. У меня сжалось сердце, когда я увидела его тонкую фигуру, вытянувшуюся на измятой постели.

— Володя!

Он медленно повернулся, откинул одеяло. Он был небрит, носки спустились, и, садясь, он не поправил их, не запахнул халат.

— Как дела, Володя? Как здоровье?

— Спасибо, хорошо.

— Сердишься?

— За что?

— За то, что я так долго не приходила?

— Разве долго?

Он постарался сказать это как можно равнодушнее — должно быть, рассердился, почувствовав, что я жалею его.

— Ты не представляешь себе, как я была занята! Помнишь, я рассказывала тебе о пенициллиновом заводе? Так вот, в конце концов удалось-таки получить помещение! И недурное: восемь комнат, на берегу Москвы-реки, поправишься, приезжай посмотреть! Правда, наркомздравцы спохватились в последнюю минуту, хотели отобрать под очковый завод. Ну, мы им показали!

Я говорила с оживлением, но, сама не знаю почему, с искусственным оживлением. Володя слушал или делал вид, что слушал.

Подошла сестра и пожаловалась на него: последнее время плохо ест, а по ночам сидит и думает, а нужно не сидеть и думать, а спать. Потом прибежал мальчик-врач,

который дежурил в ту ночь, когда, разыскивая Володю, я впервые пришла в госпиталь на Беговой, и, вытягивая и без того длинную юношескую шею, принялся рассказывать о раненом, поправившемся — поразительный случай! — от менинго-энцефалита.

— Да, интересно. Значит, у него теперь нормальная формула крови,— сказала я, чтобы сказать что-нибудь, и сделала ошибку, потому что, покраснев от удовольствия, мальчик-врач принялся с испугавшей меня энергией перечислять, сколько у больного было и сколько стало лейкоцитов и эозинофилов.

Наконец он ушел — вовремя, потому что Володя уже давно с тоской оглядывался вокруг, как будто выбирал, каким предметом ударить бедного мальчика — книгой или настольной лампой.

— Ты не должна говорить мне неправду,— тотчас же торопливо сказал Володя.— Я наверное знаю, что ты могла хоть каждый день бывать у меня, а не приходила, потому что в последний раз у меня было тяжело на душе, и ты вообразила, что я влюбился в тебя. Не беспокойся, пожалуйста, не влюбился.

Он был бледен, когда я пришла, а теперь побледнел еще больше, и под глазами стали видны синеватые тени.

— Вот была бы история, да? — Он невесело засмеялся.— Ладно, поправлюсь — и в полк, а там некогда думать — война. Я ведь знаю, что все это вздор, и даже не дай бог, чтобы сбылось, потому что у тебя и без того довольно хлопот. Ну, прости меня, больше не буду,— стараясь улыбнуться, сказал он.— И не думай о том, что я наболтал. Все прекрасно.— Он быстро провел моей рукой по лбу, по глазам.— Спасибо, что пришла. Фу, как хочется посмотреть Москву,— это было сказано громко, чтобы слышали соседи и особенно смуглый, широкоскулый офицер, бродивший по палате и ответивший ему добродушной улыбкой.— Вот Баруздин счастливец, на днях выписывается! Смотри, джан, не забывай друзей! Да, впрочем, и мне уже немного осталось. Не правда ли, Татьяна Петровна?

Это был самый обыкновенный вечер, если можно так назвать один из декабрьских вечеров 1943 года. Мы поужинали, потом послушали сводку: «Северо-западнее Пропойска наши войска, преодолевая сопротивление противника, овладели сильно укрепленными пунктами его обороны...»

Очевидно, в названии Пропойск отцу почудилось нечто родное, потому что, подивившись меткости русского языка, он пустился в воспоминания о том, как некогда служил у одного генерал-майора.

— Представь себе, Таня, культурная личность, ездил к Льву Толстому, верующий непротивлению злу, а сам приедет с ученья домой, разденется до кальсон, плачет и пьет. Его домработник, или, как в старое время, лакей, получал десять рублей в месяц, деньги громадные, начитанный, а каждое лето ловил чертей. Кухарка, пожилая, верующая, сорок лампадок, почтенная, наливалась с утра как налим. То землемеры приезжают, то офицеры из низших, пьянка поголовная. Чуть не погиб.

«Чуть не погиб» — это было сказано, по-видимому, о себе.

Пора было ложиться, но я знала, что не усну, и, умывшись, принялась за письма, давным-давно ожидавшие ответа. Но прежде чем ответить на письма, нужно было заняться диссертацией одного молодого хирурга, в которой значительная часть была посвящена крустозину. Это было неотложное дело, и, твердо решившись не отвлекаться посторонними мыслями, я принялась за чтение. Но посторонние мысли, очевидно, не считали себя посторонними, потому что, уйдя ненадолго, они вернулись и стали преспокойно распоряжаться моею душой, как будто мне было не о чем больше волноваться и думать.

«Да, возвращенье к жизни и надежда, что новая жизнь будет прожита интереснее, ярче,— вот откуда взялось это чувство. И если бы он встретил не меня, а другую женщину, случилось бы то же самое — ведь сказал же он: «ты знаешь, а ведь меня никто никогда не любил?».

Я взглянула на письменный стол, слабо освещенный самодельной лампочкой, которую подарил мне Виктор, и мне стало смешно: это было так, как если бы что-то удивительно нелогичное вдруг вошло в жизнь, состоявшую до сих пор из мысли и чувств, тесно связанных между собою, привычных, обыкновенных.

Школьница, бежавшая по Развяжской, под светом луны, волшебно изменяющим мир, низенькие, притихшие под снегом дома, в которых спали люди, не догадываясь о том, как необыкновенна любовь,— полно, да было ли это? Неужели это была я, та тоненькая девушка, которая в ответ на объяснения начинала длинно доказывать, что любовь — такой же талант, как художество или наука. С тех пор —

увы! — эти неопровержимые доводы потеряли многое в своем глубоком значении!

Я разделась, легла, потом вскочила и подняла синюю бумажную штору. Ночь была лунная, и мне захотелось, чтобы в комнате стало светло от луны. Эти шторы, эти козырьки над фарами машин, голубоватый сумрак в трамваях, темные улицы, по которым ощупью бредешь из лаборатории домой...

Вот на днях приезжает Андрей — наконец-то! — и все станет ясно, как всегда, когда приезжает Андрей. Мы вместе поедем в госпиталь, я стану рассказывать ему что-нибудь и — это будет легко — упомяну, между прочим... Нет, невозможно! Да и зачем? Ведь сказал же Володя, что «ничему не бывать, и даже не дай бог, чтобы сбылось».

Лунный свет вошел в комнату, и за окном стали видны деревья в снегу и на крышах чистый снег — сухой, отрезвляюще-белый. Теперь в комнате было светло как днем, и я пожалела, что накануне, рассердившись на тесноту, перетащила туалет в столовую, холодную, как и прошлой зимой. Мне захотелось взглянуть на себя. Причесываясь, я каждое утро смотрелась в зеркало, но, должно быть, машинально, не видя себя, потому что вдруг забыла, какие у меня волосы, губы. Какие глаза — карие, серые?

Из сумочки, лежавшей подле кровати на стуле, я достала зеркальце и стала разглядывать себя при свете луны. Усталое лицо. Еще не очень старое, но усталое, и нужно уснуть, а утром все будет так, как будто ничего не случилось. Известно, что по ночам в голову лезет вздор. Ночью человек должен спать, тем более что ничего нельзя изменить. Не только нельзя, а не нужно, потому что я счастлива и совсем не хочу другого, неизвестного счастья.

И вдруг мне страстно захотелось, чтобы Павлик был сейчас рядом со мной. Где ты, милый мой? Как случилось, что ты так далеко от меня?

И нетерпеливо, тревожно я стала думать о том, как устроить, чтобы завтра же можно было уехать в Лопахин. Это почти невозможно, но еще более невозможно не видеть его так долго — год или два? Боже мой, два года!

Начинало светать, лунный свет побледнел, и деревья стали по-утреннему голубыми в снегу, когда с такой отчетливостью, как это бывает только во сне, я увидела себя входящей в лабораторию, *до которой мне нет никакого дела*. Плитка шоколада, которую выдали на работе, лежит

в ящике моего стола, я пришла, чтобы взять эту плитку для сына да попросить Виктора достать мне «Таинственный остров». Павлик в каждом письме просит прислать ему эту книгу, а у Виктора в книжных лавках друзья, он достанет, он милый. Ракита подходит ко мне с каким-то вопросом, я слушаю и не слышу его. Мне все равно, чем заняты Коломнин, Зубков и утвердил ли нарком Рамазанова директором пенициллинового завода. Не глядя, прохожу я мимо того, чему были отданы годы труда. Одно не кончено, другое отложено, третье забыто. Мимо, мимо! Я больше не вернусь сюда, я пришла за плиткой шоколада. «Виктор, достаньте мне «Таинственный остров». Мне ничего не нужно, я два года не видела сына. Оставьте меня, я устала, устала...»

— Петр Николаевич, не нужно, пусть спит.

— Как можно, как можно! Ожидала, волновалась, супруг. Таня, вставай! Смотри, кто приехал!

Я открыла глаза. Андрей, румяный, смеющийся, в белом запачканном полушубке, опоясанный желтым ремнем с кобурой, стоял у моей постели. Все это было одно — щедро лившийся в окна зимний солнечный свет, и то, что Андрей похудел и окреп, и его радостные, соскучившиеся глаза, и запах улицы, свежести, зимы, который шел от его крепкой фигуры.

Володя Лукашевич

На этот раз мы не виделись долго, почти полгода, и я догадывалась, что для Андрея это было особенное время, полное острых, незабываемых впечатлений. Недаром же он просил меня поберечь его письма! Я даже обиделась на него — в старинном бюро, которое мы купили, переезжая в Серебряный переулок, для его писем давно был отведен отдельный ящик. Впрочем, и в этой просьбе было что-то новое для Андрея. Прежде он только смеялся, когда я говорила, что его письма нравятся мне больше, чем автор.

Книга — вот с чем он приехал, вот о чем заговорил с первого слова! И письма он просил сохранить, потому что они могли пригодиться ему для книги. Он назвал ее «Неизвестный друг» и еще из Сталинграда послал одному пи-

сателю, который с хорошим отзывом передал рукопись в Военное издательство, так что почти не было сомнений в том, что она будет принята к печати. «Неизвестный друг» — это был поэтический образ эпидемиолога, человека, который поставил своей целью «борьбу с несчастием многих», а сам всегда остается в тени.

Мне трудно судить, была ли книга Андрея произведением искусства, тем более что я не особенно хорошо разбираюсь в художественной литературе. Но мне нравилось, что Андрей остался в ней настоящим эпидемиологом: именно эта профессиональная окраска придала ей жизненную достоверность.

«Еще в самолете,— писал он,— обдумываешь план кампании против надвигающейся, разливающейся болезни, и летит вверх тормашками этот план, потому что на месте все оказывается «не то и не так». Всю ночь ворочаешься в постели, незнакомый город спит за окном, а где-то притаился враг, и нужно найти и уничтожить его, прежде чем он начнет шагать из дома в дом, из одной улицы в другую».

И то сказать, ведь я была единственной в своем роде читательницей этой книги! Для меня в ней снова показался тот Андрей, которого я узнала еще в далекие комсомольские годы,— с его внезапной задумчивостью, с его неожиданно простыми решениями, с его «взглядом со стороны», так странно и верно проникавшим в запутанные отношения взрослых. Наши разговоры тех лет вспомнились мне. Ночь на Пустыньке, первая сквозящая зелень вязов, «спор о великом, которое в нашей стране скоро будет происходить ежедневно». Юноша, умевший не смотреть, а всматриваться, точно он видел совсем другое, чем мы, своими широко открытыми серыми глазами...

Невозможно было не рассказать ему о Володе, тем более что он, разумеется, прекрасно знал о нашей сталинградской встрече. И я рассказала, как с помощью Малышева нашла его в госпитале на Беговой. Это вовсе не значило, что я собралась утаить от Андрея то, что произошло между нами. Но ведь, в сущности, ничего не произошло? По утрам Андрей распевал, умываясь, по вечерам с наслаждением разговаривал с отцом о Лопахине, поражая его и меня своей памятью, о которой, как он клятвенно уверял меня, он и сам не подозревал еще совсем недавно.

Он «разыгрывал» меня с самым серьезным видом, и когда, догадавшись по его смеющимся глазам, что я снова осталась в дурах, я принималась бить его, осторожно запирал меня в стенной шкаф, так что приходилось — ничего не поделаешь — прощать его и мириться. Словом, он был в превосходном настроении — так стоило ли рассказывать ему об этом свалившемся на голову объяснении в любви, о котором я сама вспоминала с чувством неопределенного стеснения и страха?

Первым явился Рамазанов — по делам пенициллинового завода, которыми мы, впрочем, не занимались и четверти часа, потому что Андрей стал приставать к старику насчет какой-то самарской истории.

— Товарищи, да забудьте вы о делах хоть ненадолго! Хорошая сводка, взят Кировоград, Конев наступает. Тепло, светло, на столе чай, сахар, хлеб. Обратите внимание — белый! Григорий Григорьич, рассказывайте!

— Это как я дивизию мыл?

— Ну да. Проси же, Таня!

Нельзя сказать, что мне так уж хотелось услышать эту историю, но делать было нечего, и я притворилась, что просто умираю от нетерпения.

Впрочем, история была действительно любопытная.

— Приехал я, значит, в Самару — это было в тысяча девятьсот двадцать первом году,— начал Григорий Григорьевич с приятной неторопливостью много видевшего человека,— и поручили мне дезинфекционную группу при военно-санитарной станции. Стал я мыть людей — так сказать, его величество Мойдодыр Первый. Веселое занятие, когда под рукой баня, и дров сколько угодно, и мыла — бери, не хочу! А если ни того, ни другого? Если приходит с басмаческого фронта боевая дивизия, а мыла ни куска и белья чистого ни единой пары?

Григорий Григорьевич рассказывал, и его старое большое лицо с косым шрамом у рта и начинающими выцветать старыми глазами было необычайно спокойно.

— Что делать? Ну, предложил я прежде всего дивизию остричь. Сделано. Казарму дезинфицировать и основательно натопить. Сделано. Дрова у нас были,— значит, людей можно было хоть горячей водой сполоснуть, если не вымыть. Но из средств была только сера, а серная дезинсекция продолжается, как известно, не меньше чем двенадцать

часов. Следовательно, люди должны из бани голышом бежать, а потом в казарме более полусуток без белья и обмундирования сидеть, потому что белья на смену у меня, разумеется, не было. Командование — на дыбы:

— Издевательство, доктор! Ищите выход!

Я говорю:

— Выхода нет. И ждать нельзя, поскольку в дивизии уже несколько случаев было. А насчет издевательства посовестились бы говорить! Кто за людей отвечает — вы или я?

Согласилось начальство. Отправились люди в баню, стали мыться поэскадронно, а потом — из бани в казарму бегом марш!

Вы знаете, когда один человек зимой по улице голый бежит — это уже зрелище, как бы помягче сказать, привлекающее внимание. А когда дивизия голая... Не эскадрон, не полк, а дивизия — и с утра до вечера в чем мать родила! Смеху было! И только один человек не смеялся — ваш покорный слуга. У меня кошки на душе скребли. Я с лекпомами в бане чай горячий устроил и самодеятельность организовал. Риск был большой. Люди простудиться могли, и двое действительно заболели. Но заболели и поправились, сыпного тифа в дивизии больше ни единого случая не было.

Андрей слушал, улыбаясь и глядя на Григория Григорьевича влюбленными глазами, потом побежал за блокнотом и, как заправский литератор, стал быстро исписывать листок за листком. Отец тоже слушал с интересом, слегка раздувая усы и готовясь, по-видимому, поразить нас рассказом, перед которым рамазановская «голая дивизия» показалась бы безделицей, не стоящей внимания. Он уже начал было: «А вот, помнится, нанялся ко мне в пастухи бывший граф, некто Рябчинский...» — как пришла Катя Димант, и интересная история оборвалась в самом начале.

Катя недавно вернулась из Ташкента, но уже успела с головой погрузиться в дела и заботы нашего «филиала». Она заметно постарела за годы войны, но была все той же скромнейшей, тишайшей Катей, без которой в моей лаборатории всегда как будто чего-то не хватало — может быть, тех поразительных новостей из жизни друзей и знакомых, с которыми она каждое утро являлась на работу. На этот раз ей удалось только шепнуть мне, что Зубков, по ее наблюдениям, намерен вернуться или даже уже вернулся к

Зубковой, а потом мы занялись важным вопросом о банкете в честь будущего доктора медицинских наук Виктора Мерзлякова.

Обычно на наших банкетах дежурным блюдом был студень, который мы варили из костей, остававшихся от «крустозинного» бульона. Кости были тощие, и лишь с помощью сложной методики мы умудрялись готовить из них холодец. Но Виктор был первым из моих учеников, защищавшим докторскую, и Катя считала, что на этот раз надоевший студень нужно заменить. Чем же? Вопрос остался открытым.

Обычно на банкет после докторской не приглашались артисты. Но защита — тринадцатого, а тринадцатого — старый Новый год. И каждый день такие хорошие сводки! И так давно не приезжал артист Журавлев, которого мы нежно любили и который, по слухам, разучил новую программу. Тут уж пришлось привлечь к обсуждению мужчин, и за столом,— я пригласила гостей к столу,— завязался оживленный разговор о том, что всегда интересует русского человека: об артистах и театрах.

...Сама не знаю почему, мне вдруг представилось, что кто-то стоит на нашей площадке, за дверью, и не решается постучать, только робко пошевелил раза два расшатанной ручкой: на лестнице было темно, перегорела лампочка, и кто-нибудь мог прийти и постучать, не найдя в темноте звонка. Но стало тихо, и я подумала, что ошиблась. Нет, постучали снова. Андрей пошел открывать, и сейчас же смех, восклицания, громкие голоса послышались в передней.

Это был Володя Лукашевич, в новенькой форме, худой, коротко стриженный, с торчащими, как у подростка, ушами.

— Вот он! — еще с порога закричал Андрей.— Владимир Лукашевич, прошу любить и жаловать. Срок дружбы — сорок лет, ни много ни мало!

— Ну хватил! — смеясь, возразил Володя.

— Тридцать, не все ли равно. Ну-ка, покажись!

И Володя комически вытянулся перед ним, щелкнув каблуками.

Он волновался, но только я (так мне казалось) почувствовала чуть заметное напряжение, которое то показывалось в нем, то исчезало. Все было немного слишком: и держался он слишком прямо, откинув плечи, что было вовсе на него не похоже, и говорил с преувеличенным оживле-

нием, и слишком часто смеялся — даже когда не было сказано ничего смешного.

Мы вспомнили госпиталь на Беговой, а потом Володя стал рассказывать о каком-то морском полуэкипаже, где живут ожидающие назначения офицеры.

— И ты? — спросил Андрей.

— Вот и я, в том-то и дело! Ох, ну и жизнь! Начальство глупое, толстое. За несвежий подворотничок такого фитиля дает, только держись. Гигиена, уставы, лекции, по утрам зарядка, обливаемся холодной водой, топаем во дворе минут сорок. А потом все бродят сонные, скучные, вялые. Воевать охота — нельзя! Напиться — рискованно!

Володя рассказывал живо, весело, но что-то искусственное сквозило за этим беспечным тоном. И потом мне ужасно не нравилось, что он ни разу не посмотрел на меня. Думал ли он, что я недовольна, что он явился так неожиданно, без предупреждения? Не знаю. В том, что он не смотрел на меня, была неловкость, которую невозможно было не заметить. Но чем заметнее становилась эта неловкость, тем я сама становилась все холоднее. Я сердилась на него — разумеется, не за то, что он пришел, а за то, что не в силах был справиться с собой. Коли так — нечего было и приходить! Но то, что я сердилась на него, не только не мешало, а даже помогало моему спокойствию, так что в конце концов я стала уже не просто холодная, а какая-то ледяная.

— Я ведь к вам еще третьего дня собирался,— все с той же нервной торопливостью говорил Володя.— Да какой-то полковник придрался на улице и отправил в комендатуру.

— За что? — спросил Рамазанов.

— За небритость.— Володя махнул рукой и засмеялся.— Вообще-то не беда, даже забавно, да один лейтенантик всю ночь по телефону звонил: «Загораю». Так мягко, с украинским выговором: «Захораю». Я, между прочим, прежде никогда не слышал этого выражения.

— А что это значит? — снова спросил Рамазанов, у которого было строгое лицо и которому, по-видимому, не нравился Володя.

— Вот и значит попасть на губу. Словом, утром выстроил нас помощник коменданта и сказал речь, из которой следовало, что бриться надо. Посмотрел я на своих товарищей по заключению, да так и покатился со

смеху. Люди все больше пожилые, лица помятые, сконфуженные — невеселая при бледном свете утра картина!

Я собрала посуду, вышла на кухню, оставалась там долго, минут пятнадцать, вернулась — Володя все еще говорил. Так бывает в кино, когда изображение уходит вверх или вниз, поперек экрана появляется темная полоса, и нетерпеливые мальчишки кричат: «Сапожники, рамку!» Вот так же не попадало «в рамку» все, о чем говорил Володя. Он был слишком откровенен с Рамазановым и Катей, которых видел впервые. Он не встречался с Андреем давным-давно, с юношеских лет, но, казалось, совершенно забыл об этом. Это было особенно странно. И Андрей не напоминал, только какое-то задумчивое сожаление раза два прошло по его лицу.

— Да ведь ты же недавно из Сталинграда. Ну, что там теперь? Я читал, что машинист Лукин на свои деньги купил тысячу тонн угля и сам же доставил его откуда-то из Сибири. Вот, должно быть, встретили его сталинградцы! Комсомольцы съехались со всего Союза, целая армия, да? Я, между прочим, думал: заботится ли правительство, чтобы все это сохранилось?.. То есть в памяти сохранилось как история, что ли. Не только восстановление — этим-то, наверно, занимаются разные там кинохроники. Нет, я бы нарочно оставил какой-нибудь район нетронутым — вот хоть это место, где дивизия Людникова дралась на «Баррикадах». Или переправу, но только в точности, как все было. Да нет, мы этого не понимаем! У нас, может, один разбитый домишко оставят на память, да и то едва ли! Снесут и построят новый!

— Я привез фотографии, хочешь посмотреть? — спросил Андрей.

— Конечно, хочу.

Это были минуты, когда «рамка» как будто встала на место, хотя Володя все еще не смотрел на меня, и руки, в которых он держал фотографии, немного дрожали. Но он хоть замолчал: должно быть, догадался, что говорил до сих пор слишком много.

Одна из фотографий поразила всех: на площади, окруженной грозными, подавляюще мрачными остовами разрушенных зданий, раскинулись полевые палатки — белые, легкие, похожие на маленькие снежные горы. У них был воздушный вид — точно они спустились в Сталинград прямо из стратосферы. Это был один из лагерей, в котором

жили молодые строители, съехавшиеся в город по путевкам ЦК комсомола.

— Это какое же место? — спросил Володя и вспомнил, прежде чем Андрей успел ответить.— Неужели площадь Павших борцов?

— Да.

— Позволь, но разве отсюда видна Волга?

— Волга, брат, теперь видна отовсюду.

— Невозможно узнать! Таня, а помнишь, мы с тобой встретились недалеко от площади Павших борцов, а потом пошли к набережной, и ты сказала, что не видела памятника Хользунову?

Он еще продолжал что-то об этом памятнике: правда ли, что он был сброшен взрывной волной, но сохранился, и сталинградцы уже успели поставить его на прежнее место? Но у него было такое лицо, как будто произошло что-то непоправимое и в этом непоправимом был виноват он, он один! Не знаю, что пришло ему в голову — решил ли он, что я не рассказала Андрею о нашей встрече в Сталинграде, или сама эта встреча как-то сместилась в его сознании и перепуталась с нашим последним разговором? Он вдруг замолчал на полуслове, с потрясенным, остановившимся взглядом.

Я спросила как можно спокойнее:

— Что с тобой, Володя?

Он не ответил. Он вышел в переднюю, прямой, мертвенно-бледный, и стал надевать шинель. Андрей бросился за ним.

— Куда же ты? Тебе дурно?

— Нет, нет. Нет, ничего.— Он бормотал, не слыша себя.— Извини, я уйду. Я позвоню вам. Все хорошо. Просто у меня вдруг пошли круги перед глазами,— сказал он, стараясь с усилием улыбнуться.— А в такие минуты мне, пожалуй, лучше быть одному.— Он впервые взглянул на меня.— Я ведь еще и контужен. Таня знает.— У него было измученное, растерянное лицо.— Таня, подтверди, пожалуйста. Ты еще не забыла мою историю болезни?

Мы одни

Еще не поздно было объяснить то, что произошло, хотя когда Володя ушел и мы заговорили о нем, я сказала, что не понимаю, почему он расстроился, вспомнив о на-

шей сталинградской встрече. Это была ложь, но еще не поздно было объяснить эту ложь. В самом деле, не могла же я сказать правду при Кате и Рамазанове, хороших, но, в общем, далеких людях?

Но когда мы остались одни и Андрей сел верхом на стул и задумался, машинально следя, как я мою посуду, стелю постели, заплетаю волосы на ночь — почему я все-таки ничего не сказала? Он ждал, он никогда не заговаривал первый. Я только спросила неискренним голосом: «Что же ты не ложишься?» — и он, не сводя с меня взгляда, неопределенно покачал головой. Нужно было сказать десять слов, только десять... Но с той минуты, как Андрей понял, что я что-то скрыла и продолжаю скрывать от него, точно какая-то злая сила подхватила меня...

Так начался этот разговор.

— Ты думаешь, я не понимаю, что между нами всегда оставалось что-то недоговоренное? Ты думаешь, я не чувствовал, как ты скрывалась от меня, как скрыла теперь то, что произошло между вами?

— Между нами ничего не произошло. Я не знаю, почему он смутился.

— Хорошо, пусть так. Я всю жизнь чувствовал, что люблю больше, чем ты, что ты от самой любви всегда, еще девушкой, ждала чего-то другого. Ты всегда заставляла себя любить меня, даже в наши самые счастливые дни. Когда ты наконец позвала меня и я приехал в зерносовхоз, думаешь, я не видел, как у тебя что-то оборвалось, потускнело? Вот скажи, что это неправда? Ты думаешь, я не замечал, как ты грустишь и завидуешь чужому счастью? Ты всю жизнь доказывала себе и другим, что меня нельзя не любить, а сама не любила.

— Это неправда.

— Нет, правда. Если бы между нами была полная откровенность, ты и теперь рассказала бы, что произошло между вами.

— Ничего не произошло. Ты мне веришь?

Он промолчал. Я в темноте поискала и нашла его руку. Он отнял руку.

— Ты не знаешь, как я мучился ночами, лежа подле тебя, потому что мне казалось, что у тебя счастливые сны, в которых ты счастлива не со мной. Я сам виноват, не нужно было надеяться, что ты наконец полюбишь меня. А ты столько лет прожила с нелюбимым!

— Неправда!

— Ну, с не очень любимым, не все ли равно!

Диван заскрипел в столовой, должно быть и отец не спал. Я вспомнила его расстроенное лицо, когда, проводив гостей, мы вернулись и он вдруг перекрестил меня на ночь.

— Ты можешь молчать, я не стану настаивать. Скажи мне только одно: вы переписывались после Сталинграда?

— Нет. Я получила от него только одно письмо. Он был при смерти и хотел проститься со мной.

— Почему с тобой? Если ты говоришь мне правду — почему с тобой? Что за странная мысль!

— Не знаю.

— Я читал это письмо и думал о том, что он одинок так же, как я.

— Тебе не стыдно?

— Да, я одинок. Ты не притворялась бы, если бы не была передо мной виновата. Ты притворялась с первой минуты, когда он вошел, неужели ты думаешь, что я не заметил, как ты волновалась? Ты запретила ему являться при мне, а он не выдержал и пришел, и ты рассердилась на него, а сама в глубине души была рада.

Я встала и зажгла свет. Андрей лежал, закинув руки под голову, и у него было мрачное лицо, с косящим неподвижным взглядом.

— Андрей, опомнись, что ты говоришь?

— То, что ты слышишь.

— Даже если Володя влюбился в меня — разве это так уж страшно? Мало ли кто еще может влюбиться в меня?

— Да, страшно. Потому что ты всегда мечтала, не знаю о ком... А я... Ты думаешь, я не вижу, что ты радуешься, когда я уезжаю?

— Андрей!

— Да, да. Ты лежишь подле меня, а думаешь о другом. И всегда было так, еще с первых дней в Анзерском посаде, когда ты обещала, что будешь моей женой, и притворилась из жалости, что полюбила меня. Да, из жалости, и вот уж как дорого обошлась мне эта жалость!

Он сел на постели. У него было усталое лицо, сразу постаревшее, с глубокими складками у рта. Ремень с пистолетом висел на спинке кровати, он скользнул по нему потускневшим взглядом. Он был в отчаянье, я видела, что он стыдится своей ревности, которую всегда скрывал от меня, что ему трудно бороться с желанием — не знаю — ударить меня, уйти. Застрелиться?

Но как будто это был не Андрей, а какой-то незнакомый мужчина в измятой пижаме, перед которым я за что-то должна была отвечать и бог весть в чем провинилась,— так я смотрела на него, не думая ни о чем, в оцепенении, от которого не могла освободиться. «Да, это он. И нужно что-то придумать, чтобы все стало как прежде, когда я любила его. А я не хочу и не буду ничего придумывать, а буду желать, чтобы между нами все было безжизненно, пусто».

Это продолжалось недолго, не больше минуты, а в другую минуту я уже бросилась к Андрею, не помня себя.

— Милый мой, родной, не сердись, или, даже лучше, сердись, но только не думай, что я *так* перед тобой виновата! Да, ты прав, у меня бывают какие-то глупые мысли, какие-то обрывки мыслей и чувств, о которых я не говорила тебе, и хорошо, что не говорила, потому что мало ли что мелькнет и исчезнет, мало ли что может присниться, когда человек не владеет собой? Да, ты прав, я неискренне рассказала тебе о Володе. Я должна была рассказать и не знаю, почему я не сделала этого, должно быть, боялась огорчить и расстроить тебя. И сейчас молчала так долго, потому что была оскорблена, что ты подозреваешь меня. Ну, прости меня! Я виновата.

Я целовала Андрея, и умоляла простить меня, и только раз, может быть, мелькнула в душе горькая мысль, что я уговариваю не только его, но себя. Но только мелькнула!

Мы проговорили, пока слабый свет пасмурного зимнего утра не окрасил — чуть заметно — истертые бумажные шторы. Мы помирились, и все стало как прежде. Прошел еще час или два, и совсем рассвело, а с зарей, как известно, все становится на привычное место. И становится ясно, что по ночам нужно спать, а не ссориться с мужем.

Ни одной свободной минуты

Это вышло удачно, что на другой же день ни у Андрея, ни у меня не оказалось ни одной свободной минуты. Дела, дела! И действительно важные, так что не было ничего удивительного в том, что мы занялись ими с рвением и даже, можно сказать, с вдохновением.

У Андрея начались совещания по санитарному обеспечению наших наступающих войск — вместе с армией,

стрелявшей, бомбившей, нападавшей с воздуха, захватывавшей города, переплывавшей реки, к наступлению готовилась и «незримая армия» противоэпидемической службы. За скучными словами «санитарное обеспечение» вставали марши в четыреста километров по зараженной местности, бои в городах, охваченных сыпняком и холерой, концлагери, из которых разбегались больные. Нужно было воздвигнуть санитарный барьер между освобожденным населением, неотвратимо двигавшимся на восток, и армией, которая на тысячах дорог могла встретиться с угрозой повальных болезней.

Что касается крустозина, можно смело сказать, что с весной 1944 года для него началось счастливое время. Мы работали теперь в две смены, людей было много, и каждый месяц все новые сотрудники появлялись в маленьком флигеле на институтском дворе. Больше, слава богу, не приходилось пользоваться тумбочками от письменного стола — многочисленная раса плесневых грибков привольно росла в уютной духоте оборудованной термостатной.

У нас появились ученики и последователи не только тыловые, но и фронтовые. Одна из санитарно-эпидемиологических лабораторий Первого Украинского фронта, например, прекрасно наладила производство препарата. В Ташкенте и Баку начали работать пенициллиновые лаборатории. Словом, все было хорошо, и только какое-то осторожное чувство время от времени легонько постукивало в сердце — что-то уж больно хорошо, как бы чего не случилось.

Вот почему я не очень удивилась, узнав, что Комитет по Сталинским премиям отклонил нашу работу. Никто и думать не думал о премии. Но работа была отклонена на том основании, что она «не получила достаточного практического подтверждения»,— вот это уже было вздором, и подозрительным вздором. Проще было указать, что первенство осталось за англичанами — как-никак, а возражать против этого нам было бы трудно.

Пожалуй, могло показаться странным, что этого молодого и не столь уж известного ученого (Виктор, который был самым начитанным среди нас, сказал, что Норкросс начинал как патолог и лишь недавно, в годы войны, при-

мкнул к группе оксфордских ученых, работавших над пенициллином) встретили у нас с таким шумом. Заметка в «Правде», статья в «Медработнике», интервью по радио. Заседание медицинской секции ВОКСа, на котором профессор Норкросс передал академику Бурденко набор хирургических инструментов, подарок английского хирурга Робинсона. Прием в Наркомздраве, на котором Семашко рассказал о дружеских связях между учеными Англии и СССР. Профессор Норкросс в энском госпитале. Профессор Норкросс на концерте Краснознаменного ансамбля, на станции Скорой помощи и т. д.

— Вы когда-нибудь играли в теннис? — спросил меня Коломнин, прочтя одно из этих сообщений.

— Нет.

— Стало быть, не представляете, что такое подача?

— Вы хотите сказать, что Норкросса *подают?*

— Вот именно.

— Кому это нужно?

— Не знаю, не знаю,— сердито проворчал Коломнин.

Прошло несколько дней, и Максимов позвонил мне и сказал, что завтра Норкросс приедет в наш институт.

— Он намерен передать вам некоторое количество английского препарата. Так что прошу позаботиться, Татьяна Петровна.

— О чем?

— О соответствующей встрече,— неопределенно, но с металлическим оттенком в голосе сказал Максимов.

...Это было глупо, но прежде всего я подумала, чем мы будем кормить нашего гостя — не холодцом же из костей, оставшихся от производства? Вскоре выяснилось, что можно не заботиться об этой стороне дела: бесшумные, вежливые, хорошо одетые люди явились (утром того дня, когда должен был приехать английский ученый) и, назвавшись работниками треста ресторанов, воздвигли в моем кабинете стол, покрытый хрустящей белоснежной скатертью. Очевидно, это была скатерть-самобранка, потому что на ней с волшебной быстротой появились вкусные, давно не виданные яства.

Все остальное было, кажется, в полном порядке, за исключением коломнинского табака, от которого свежему человеку могло сделаться дурно, да необъяснимого пристрастия Виктора к песочным штанам, которые он носил

не первое десятилетие, упорно отказываясь заменить их другими, несмотря на все мои уговоры.

Норкросс приехал. Это был еще совсем молодой человек, веселый, долговязый и слегка смахивающий на лошадь, быть может потому, что он внезапно, как будто очнувшись, встряхивал пепельными, падавшими на лоб волосами. Он долго тряс моим сотрудникам руки с одинаковым выражением веселого дружелюбия, по которому было нетрудно догадаться, что их имена он слышит впервые. Но когда очередь дошла до Коломнина, он произнес непередаваемое английское «оу» и сказал, что счастлив познакомиться с великолепным химиком, работы которого еще в юности поразили его воображение. Краска удовольствия проступила на худом лице Коломнина, а наркомздравцы, приехавшие с Норкроссом, растерянно заулыбались — очевидно, не имели понятия о том, что у них под носом работает «великолепный химик».

Мы прошли по лабораториям, и начался разговор, в общем весьма содержательный, потому что на обмен любезностями ушло не более четверти часа, а потом гость перешел к препарату, который он из любезности называл по всей форме: «пенициллин-крустозин ВИЭМ».

Мне понравилось, что он вел себя без всякой торжественности. Передача «некоторого количества английского препарата», о которой столь внушительно предупредил меня заместитель наркома, произошла так быстро, что ее можно было и не заметить. Продолжая спрашивать меня о чем-то, Норкросс просто положил на стол коробку с ампулами, а потом, попросив халат, стал показывать нам свой так называемый чашечный метод.

...Это было за столом и довольно поздно. Тосты затянулись, наш гость, у которого был утомительный день и который решил, по-видимому, преодолеть усталость при помощи русской водки, уже не без труда таращил покрасневшие глаза на очередного оратора и только, чтобы не уснуть, встряхивал своей пепельной гривой. Представитель Красного Креста приветствовал его как прогрессивного общественного деятеля, видного члена общества «Англия — СССР». Потом слово попросил Крамов.

Только он мог начать свою речь с утверждения, что и у него, Крамова, есть своя доля в чудесной истории плесневого грибка. Эта доля заключалась в том, что он всегда сомневался в его целительных свойствах, а ведь сомнение — не правда ли? — это основа науки.

Я взглянула на Коломнина: он сидел выпрямившись, в длинном застегнутом на все пуговицы пиджаке, в белой рубашке с широким воротником, из которого торчала морщинистая, похудевшая шея.

— Но вот плесневой грибок, долгое время произраставший где-то на задворках лабораторий, начал свое победное шествие по клиникам всех пяти частей света. Кто не знает сказки о Золушке, проводившей дни и ночи у грязного очага и вдруг оказавшейся красавицей, победившей королевского сына? Плесневой грибок — Золушка науки. Давно ли она потеряла свою крошечную туфельку на королевском балу, а уже все принцы микробиологии ищут красавицу, чтобы предложить ей руку и сердце.

Валентин Сергеевич приостановился, очевидно рассчитывая на успех своего действительно очень удачного сравнения. Успеха не последовало. Наркомздравцы давно забыли сказку о Золушке, а Норкросс только широко улыбнулся, показав длинные желтые зубы.

— Мой друг, профессор Норкросс, явился к нам не с пустыми руками. Родоначальник новой расы плесневых грибков передан из рук в руки, и можно не сомневаться, что под покровительством талантливой Татьяны Петровны он произведет на советской земле многочисленное потомство.

Крамов обвел всех смеющимися глазами. Он порозовел. Он был, что называется, в полете.

— Наш уважаемый гость сегодня откровенно признался, что не ожидал встретить Золушку в русских лабораториях. Прибавим: не только в лабораториях, но в клиниках, и не только свою, но и нашу. Мы не ждали помощи, мы самостоятельно создали восьмое чудо света. И вот естественная мысль является, когда мы думаем о том, что отныне наука располагает не одним, а двумя чудотворными препаратами: почему бы, воспользовавшись пребыванием профессора Норкросса в СССР, не поставить опыт сравнительного воздействия на больных русского и английского пенициллина?

Норкросс проснулся. Впрочем, он не спал, а находился в том состоянии добродушной лени, когда на весь мир хочется смотреть только одним, да и то полузакрытым, глазом. Теперь точно кто-то мгновенно сбросил с него это блаженное полузабытье. Он снова сказал «оу», но это было уже совсем другое, рискованное «оу», по которому сразу же можно было узнать человека с азартом.

— Некогда великий Ру,— продолжал, улыбаясь, Валентин Сергеевич,— остановился перед страшной возможностью раз и навсегда проверить силу открытой им сыворотки против дифтерии. Разделив сто больных детей на две группы, он мог впрыснуть свою сыворотку лишь пятидесяти из них, приговорив, таким образом, остальных пятьдесят к почти неизбежной смерти. Слава богу, мы не стоим перед подобной альтернативой. И английская и русская Золушки приносят реальную, ощутимую пользу. Обе прекрасны, но которая лучше? Обе делают чудеса, но чья волшебная палочка обладает большей магической силой?

Я снова посмотрела на Коломнина и встретила спокойный, иронический взгляд. «Ну-с, кто оказался прав?» — как будто говорил этот взгляд.

— Профессор Норкросс — наш друг,— продолжал Валентин Сергеевич.— Однако едва ли он ясно представляет себе, какое значение в жизни нашей страны имеет социалистическое соревнование. Не решаюсь воспользоваться этим определением, поскольку в поединке, который я предлагаю, участвует продукт иной социальной культуры. Но ведь дело — не правда ли — не в словах? Обдумаем условия. Изберем болезнь. Поставим параллельное наблюдение. Сопоставим факты, подведем итоги. И перед лицом мировой науки увенчаем победителя лавровым венком, разумеется, в переносном... а может быть, и в буквальном смысле этого выражения?

Норкросс встал. Это был, конечно, все тот же долговязый молодой человек, которому давно пора было постричься и который десять минут тому назад думал только о том, чтобы добраться до постели. Но точно его окунули в живую воду — так вдруг загорелись его серые, слегка вылупленные глаза, с таким задором он встряхнул своей пепельной гривой.

— Я согласен,— сказал он.

Все посмотрели на меня. Это была одна из тех минут, которые запоминаются надолго. Можно ли было сомневаться, что Крамов предложил эту дуэль с единственным расчетом поставить меня — и всю лабораторию — в безвыходное положение? В самом деле, если я откажусь — что скажут руководители Наркомздрава, которым я прожужжала все уши, добиваясь сносного существования для своего плесневого грибка? Что скажут мои товарищи по работе и весь широкий ученый круг — широкий, потому что крустозин вошел в жизнь многих лабораторий и кли-

ник? Нет, об отказе нечего было и думать! Ну, а если соглашусь? Есть ли надежда, пускай самая маленькая, что наш препарат устоит перед прославленным оксфордским пенициллином?

— Валентин Сергеевич опередил меня,— сказала я очень спокойно.— И остается лишь подивиться его умению читать мои мысли. Едва стало известно, что профессор Норкросс приехал в СССР, как мне пришло в голову, что недурно было бы поставить опыт сравнительного изучения нашего и оксфордского пенициллина. В самом деле, когда еще представится более удобный случай? Вашу руку, профессор Норкросс! (Он поспешно протянул мне руку.) Завтра мы приступим к делу. А сегодня я пью за это рукопожатие, за соперничество друзей, за братство прогрессивной науки.

Счастливого пути

Мне уже случалось однажды участвовать в подобной дуэли — на рыбных промыслах под Астраханью, когда мы с Леной Быстровой победили мастера-икряника Зимина. Но одно дело была икра, даже зернистая, даже сорт «экстра», и совершенно иное — бойцы и офицеры, лежавшие в энском госпитале и страдавшие от тяжелых послераневых осложнений. Тогда мы воевали против отживших традиций старой купеческой Волги, а теперь... О, теперь перед нами был совсем другой неприятель — куда более дальновидный, уверенный и, главное, чувствующий себя хозяином положения. Я говорю не о Норкроссе, искренне увлекшемся научной стороной спора. Но за его спиной, в приличном отдалении, стоял Крамов, стояли Скрыпаченко, любитель безыменных произведений, Крупенский, Мелкова и другие темные карьеристы, которым было важно и выгодно доказать, что наш препарат ничего не стоит по сравнению с оксфордским. Идея верная! Не удалось захватить в свои руки крустозин, а вместе с ним и новое направление в медицине,— так хоть доказать, что Крамов был прав, советуя правительству приобрести английский патент. «Не послушались, пренебрегли, отклонили — ну что же, пеняйте на себя. Уж кто-кто, а мы не виноваты в том, что ваш хваленый крустозин провалился!»

Да, это была совсем другая дуэль, и нетрудно вообразить те чувства, с которыми Крамов (и крамовцы) ожи-

дали нашего поражения; здесь все сошлось — и злорадство, и зависть, и полная уверенность, что удар наконец попадет в цель, и торжество — немного преждевременное, быть может?

Гурий, который время от времени появлялся как из-под земли — толстогубый, смуглый, в простреленной (чем он очень гордился) шинели, пригласил нас в Дом писателя, и мы пошли, хотя пришлось поломать голову, чтобы выкроить целых три часа на знакомство с современной поэзией. Андрей бывал в Доме писателя, а я нет, и давно жалела об этом еще и потому, что, по слухам, в этом старинном московском доме на улице Воровского жили Ростовы из «Войны и мира». Но Гурий разочаровал меня, сказав, что дом Ростовых рядом, а тот, в котором помещается писательский клуб, не представляет собой ничего интересного с исторической точки зрения.

В небольшом, темноватом, отделанном высокими деревянными панелями зале, с высоким же овальным окном и антресолью, на которую вела резная лестница, собралось немного народа. Зато ресторан, находившийся рядом с залом, был полон, и посетители, казавшиеся мне, все без исключения, известными писателями, шли и шли в ресторан через зал, пока маленький толстый сердитый администратор не закрыл широкую дверь.

Гурий усадил нас и, уважительно пришлепывая губами, стал называть имена. К моему стыду, я спутала двух беллетристов, у которых были похожие фамилии, и совершенно пала духом, когда Гурий, затрепетав от этого святотатства, разъяснил, что между Р. и Р. нет ни малейшего сходства. Андрей тоже что-то наврал, но ловко вывернулся, блеснув цитатой из первого Р., который действительно ничем не был похож на второго Р., но зато необычайно напоминал Льва Толстого.

Андрей был очень оживлен в этот вечер, глаза блестели, форма сидела на нем как-то особенно ловко. С Гурием он обращался нежно, должно быть догадавшись, что наш старинный приятель был не только незаметной, но, можно сказать, микроскопической величиной в этом доме. Для меня «жертва поэзии» была в общем довольно тяжелой жертвой не потому, что я не любила поэзии, а потому, что приходилось все время быть начеку, и я скоро устала. А для Андрея, который чувствовал себя в этот вечер автором «Неизвестного друга», это было вступлением в неведо-

мый, загадочный, привлекательный мир. Он покраснел, как мальчик, когда Гурий познакомил нас с одним известным писателем, а когда маленький сердитый администратор пригласил публику занять передние пустовавшие ряды, он ринулся вперед с такой поспешностью, не соответствовавшей его возрасту и званию, что я даже придержала его за рукав. Чтение началось, и он стал слушать с бледным румянцем на щеках, с вдруг засиявшими, взволнованными глазами. Он был по-юношески мил в эти минуты.

И мне стало легко, когда началось чтение. Выступали три поэта, должен был приехать четвертый, но заболел, и почему-то при известии, что он заболел, в публике пробежал смешок, здесь и там мелькнули улыбки. Но с меня было довольно и тех, что приехали, тем более что и трех-то поэтов одновременно мне до сих пор еще никогда не приходилось видеть. Они были в военной форме (этому я уже перестала удивляться: почти все литераторы, как объяснил нам Гурий, служили в армии и носили форму), и у них был самый обыкновенный вид, так что, если бы мне показали их на улице, я бы ни за что не поверила, что это поэты. Но вот они стали читать, и сердце дрогнуло, с трудом удалось удержать подступившие слезы.

Не знаю, хороши или плохи были эти стихи — мне они все, без исключения, показались прекрасными. Здесь было все — и сожаление, и шутка, переплетавшаяся с горечью, и то грозное, мстительное чувство, которое, быть может, впервые заставило меня оглянуться на три тяжелых, невознаградимых года. «Мы привыкли к войне,— как будто говорили эти стихи,— нам кажется, что так было всегда — эта жизнь на кухнях, подле газовых плит, окна, переклеенные крест-накрест, дымовые трубы в форточках, ночная пустыня затемненной Москвы. Но вот взлетает над городом разноцветный ворох салюта, в ослепительном магическом свете отступает, тускнеет все машинальное, и мы видим себя «с оглохшими от горечи сердцами». Кто вернет нам встречи, которых не было, потому что мы потеряли друг друга? Время не возвращается, дети растут без нас, нежный звон позывных плывет над советской землей. Прислушайся, что он сулит тебе? Надежду, избавление, горе?»

Андрей обернулся, взглянул на меня и крепко, ласково сжал мою руку.

В «Казаках» Толстого есть прекрасные страницы, где Оленин, впервые приехавший на Кавказ, видит горы, и тонкий воздушный рисунок гор присоединяется ко всем его мыслям и чувствам: «И горы».

Вот точно так же, стоило мне закрыть глаза, и передо мной появлялась светлая, просторная палата, где происходило наше, в сущности, очень странное состязание.

Двенадцать бойцов, находящихся в одинаково опасном положении, лежат в этой палате — шестеро справа и шестеро слева. Заражение крови! Лежащих слева лечат нашим препаратом, лежащих справа — английским. «Левые» истории болезни идут под четными, «правые» — под нечетными номерами.

Каждый день после работы я отправляюсь в Яузскую больницу, и почти всегда Норкросс уже шагает между койками, озабоченный и удивительно долговязый, в коротком халате, в шапочке, из-под которой торчат непокорные космы, и в огромных — по-моему, сорок пятый номер — ботинках. Разумеется, он доверяет нам (исследования ведут мои сотрудники), но это настоящий ученый, который все хочет видеть собственными глазами.

Спор, в сущности, идет о дозах, и по тем временам это существеннейший, глубоко значительный спор. Пенициллин был тогда редкостью, лечить им приходилось лишь тяжело раненных, приговоренных к смерти, и не хочется даже вспоминать, как трудно было подчас *выбирать* тех, кому мы могли подарить жизнь.

Норкросс утверждает, что наши маленькие дозы недостаточно активны и, следовательно, бесполезны. А мы утверждаем, что большие дозы английского препарата дают не лучший, в сравнении с нашим, результат, а даже несколько худший.

Право, можно было подумать, что весь ход развития здравоохранения в СССР зависит от итогов нашего состязания,— с таким интересом отнеслись к нему самые видные деятели Наркомздрава. Звонит Максимов: как дела, не нужна ли помощь? Приезжает Преображенский — тот самый любезный, внимательный молодой человек с превосходными зубами, который еще совсем недавно напугал меня своим дикарским равнодушием к судьбе крустозина. Но роль верховного арбитра — не знаю уж по какому соизволению — берет на себя Валентин Сергеевич Крамов.

— Ну как «Власенкова — Норкросс»? — спрашивает он, касаясь слабой рукой пенсне, за которым остро и сухо поблескивают глазки.

И маленькое холодное лицо светлеет,— да, да, светлеет! — когда я отвечаю, что не сомневаюсь в успехе.

Игра, которую он ведет, глубоко продуманная, дальновидная, в характерном «крамовском» духе. На всех совещаниях и конференциях он расхваливает наш препарат. В беседе, напечатанной в газете «Медицинский работник», он свидетельствует свое глубокое уважение профессору Норкроссу, что не мешает ему выразить полную уверенность в победе русской, советской науки.

Что значит это запоздалое признание? Как всегда, мне трудно проследить ход мыслей этого человека, угадать расчет, проникнуть в его «тайное тайных». Но на этот раз ларчик, кажется, открывается просто: чем выше будет вознесен крустозин, тем с большей силой он брякнется о землю. А с ним, разумеется, и я — недаром же с некоторых пор Валентин Сергеевич не устает напоминать о том, что «наша милая, деятельная Татьяна Петровна отдала лечебной плесени всю свою жизнь».

Это были шумные, тревожные, но в общем хорошие дни, когда, возвращаясь из клиники, я влетала домой с какой-нибудь новостью и находила Андрея над корректурой «Неизвестного друга». Гранки были белые, длинные, пахнувшие типографской краской, и Андрей правил их с трогательной пунктуальностью, так что корректорам после него, без сомнения, уже нечего было делать. Кто-то сказал в издательстве, что наборщики похвалили книгу — верный признак, что ее ждет успех! И Андрей сообщил мне об этом с таким сосредоточенным выражением, как будто он открыл железный закон, согласно которому развивается наша литературная жизнь.

Не знаю, ждал ли его успех, но легкий шум и неразбериха началась уже и теперь, когда на столе еще лежали гранки. Люди, с которыми я до сих пор не имела чести быть знакомой, стали запросто приходить к нам, причем, как нарочно, в самое неудобное время. Это были журналисты (один даже член Союза писателей), и Андрей

отзывался о них с уважением. Но у этих уважаемых людей было почему-то очень много времени, так что я никак не могла взять в толк, когда же они пишут свои произведения. По телефону они начинали разговаривать после часа ночи, причем поводы были очень серьезные: что думает Андрей о последней статье Эренбурга?

Гурий привел к нам этих журналистов и сам стал бывать очень часто. От него-то и пошел шум, столь несвойственный нашему тихому «ученому» дому.

Словом, жизнь усложнилась, и только один человек чувствовал себя в этой суете превосходно. Это был мой отец. Недаром же он всегда утверждал, что в литературе он «доброволец-фанатик».

Отец блаженствовал. Бог весть что пришло ему в голову, но он, по-видимому, решил, что журналисты приходят к нам с единственной целью — почтить своим присутствием его, Петра Николаевича, незаурядное дарование. Правда, едва он вынимал откуда-то из сундучка свои рассказы — те самые, которые еще в Лопахине он писал по четыре-пять в сутки, как наши гости скисали. «По-видимому, просто не любят читать»,— высказал он однажды очень вероятное предположение.

Впрочем, многие свои рассказы отец знал наизусть, так что ему удавалось время от времени познакомить с ними наших новых знакомых. «Прибытие интервентов на станцию Михаил Чесноков»,— вдруг начинал он торопливо, очевидно побаиваясь, что его перебьют.— «Американские матросы гуляли в поселке Сурожевка, и один говорит: «Кто меня тронет, то мы не оставим камня на камне, а наша эскадра разобьет Владивосток». И тогда один наш встает: «Эскадра, пли!» — и бьет его в левую щеку. Тот падает, а он опять: «Эскадра, пли!» — и в правую щеку. Откачали с потерями, но вскоре выздоровел и заключил брачный контракт с русской девицей на три месяца по сто шестьдесят долларов в месяц. Вот тебе и «Эскадра, пли»!»

Отец даже потолстел, так что красный носик совершенно скрылся меж пухлых щек. Седые усы, которые он мыл синькой — я случайно разгадала этот невинный секрет,— распушились и выглядели очень солидно на кругленьком, слегка надутом лице. Он и в самом деле стал похож на кого-то из классиков — Гурий утверждал, что на Григоро-

вича и что для полного сходства хорошо бы еще отрастить бакенбарды.

Андрей уехал, как всегда, неожиданно, не успев даже проститься со мной — только позвонил и попросил, чтобы я занесла в издательство корректуру. На этот раз он уехал не в Сталинград, а на Первый Украинский, и ненадолго — так, по крайней мере, сказал ему Малышев. Мы простились, но он не сразу повесил трубку, а немного помолчал, точно ожидая, что я скажу еще что-нибудь. Потом повторил ласково: «До свиданья». Я ответила: «Счастливого пути», и занялась концентрацией крустозина в крови одного из моей «шестерки».

Главный арбитр

— ...Что касается сравнительных данных по концентрации русского и английского препарата в крови...

За длинными, в виде буквы «Т», покрытыми зеленым сукном столами, сидят ученые мужи, прославившиеся своими (или чужими) трудами, носящие высокие (и не очень высокие) звания. Представители Наркомздрава, представители ВОКСа, представители прессы. Коломнин — в своем парадном черном костюме, горбящийся, довольный и усталый. Виктор, все еще молодой, Катя Димант, Ракита. Эти — справа, вдоль длинной палочки «Т».

Скрыпаченко с неопределенно-осторожной улыбкой на тонких губах, Мелкова — толстая, кокетливая, неприятно смешная, Крупенский, Картузова из городского института, эти — слева, вдоль длинной палочки «Т». Внимание! Главный Арбитр, почтеннейший ученый с седым венчиком волос вокруг лысой головы, с сизыми щечками, свисающими на высокий крахмальный воротник, читает протокол:

— «Таким образом, клинический эффект был получен при лечении раненых как английским, так и русским препаратом. Однако следует признать...»

Вот именно, следует признать! Следует признать, что Главный Арбитр немного жалеет об этой странной дуэли. Следует признать, что Главный Арбитр раскаивается, что он затеял это состязание. Следует признать, что он с бóльшим удовольствием прочел бы некролог одного из со-

перников, чем этот протокол, составленный столь обстоятельно и подробно. Следует признать, что ему не везет с этой Власенковой, черт бы ее побрал вместе с ее крустозином!

Да, не везет! Недаром же этот подлый Скрыпаченко смотрит на него таким тяжелым, презрительным взглядом — должно быть, думает: а не пора ли расплеваться с шефом? Уж больно он по-старомодному тонок. Кому нужны эти хитрые штучки? Надо действовать проще — сажать в тюрьму, если это возможно, убивать, если этому не мешают. Донос — это вещь! А все остальное — приблизительно, шатко, непрочно.

Изредка касаясь двумя пальцами поблескивающего пенсне, Главный Арбитр читает протокол. Он читает медленно, внятно, как бы стараясь продлить удовольствие, которое доставляет ему содержание этого документа. Время от времени он останавливается и со сдержанной улыбкой обводит глазами ученых мужей, прославившихся своими (и чужими) трудами, носящих высокие (и не очень высокие) звания. Седой венчик вокруг головы придает ему сияющий вид.

— «Поскольку комиссия установила, что дозы пенициллина-крустозина ВИЭМ были, при равной клинической эффективности, значительно — до десяти раз — ниже оксфордского препарата...»

Норкросс начинает аплодировать первый, и через весь стол протягивает мне огромную лапу. Аплодируют Максимов, Скрыпаченко, Крупенский. Аплодируют свои и чужие. Аплодирует пресса.

Маленькой, почти детской, рукой Главный Арбитр аккуратно складывает листы.

— ...Я счастлив, что с первых дней этого беспримерного состязания предсказал победу советского препарата... Для меня, неисправимого фантазера, давно стало ясно, что мы вступили в новую эру медицинской науки... Нет сомнений, что закончившаяся столь успешно дуэль войдет в историю науки.

Он говорит уверенно, свободно — не менее уверенно и свободно, чем несколько лет тому назад, когда утверждал, что идея лечебной плесени принадлежит к числу курьезов и заблуждений, которыми кишит история науки. Все в порядке. Ничего не переменилось. Но, может быть, ему только кажется, что ничего не переменилось?

Валентин Сергеевич заканчивает свою речь здравицей в честь дружбы русской и английской науки. Слово предоставляется профессору Власенковой, и профессор Власенкова встает с мыслью, от которой она начинает чувствовать себя семнадцатилетней. Вот эта мысль: «Ух, как я сейчас его двину!»

— ...Но в особенности я должна поблагодарить Валентина Сергеевича Крамова, который предсказал победу нашего препарата. Это был шаг смелый, я бы даже сказала, рискованный, в особенности если вспомнить, сколько сил он отдал в свое время борьбе против самой идеи крустозина. Подумать только, ведь еще не так давно он сравнивал доктора Лебедева, основоположника этой идеи в России, с теми средневековыми алхимиками, которые утверждали, что им удалось из тряпок и гнилой муки вырастить живого человечка! Какую же душевную борьбу должен был он выдержать, чтобы забыть свои прежние убеждения, объявить их никогда не существовавшими или существовавшими только в моем воображении! Нет, нет! Я не допускаю и мысли о том, что этот шаг мог преследовать личные цели. Напротив! Самопожертвование — вот слово, которое вполне определяет отношение Валентина Сергеевича к вопросу о крустозине. И нельзя сомневаться в том, что этот подвиг войдет в историю нашей науки.

Кажется, я слегка перехватываю: напряженные улыбки застывают на лицах Скрыпаченко, Крупенского и других, сидящих слева вдоль длинной палочки «Т». Коломнин хмурится — боится за меня или недоволен моим остроумием? Коснувшись двумя пальцами пенсне, Главный Арбитр кладет руку на сердце. У него — страшное лицо с поблескивающими зубами, и на мгновенье мне самой становится страшно. И только Норкросс, ничего не понимая, рассеянно поглядывает вокруг. Ему кажется, что церемония затянулась. Крустозин оказался сильнее — ну, и прекрасно! Зачем же об этом говорить так торжественно, так долго?

В самом деле, зачем?

И, двинув еще разок пошатнувшегося врага, я приглашаю присутствующих к столу.

— Как, опять банкет? — смеясь, спрашивает Норкросс.— Клянусь честью, я не знал, что у вас так весело заниматься наукой!

С чувством беспричинного счастья я проснулась в этот, навсегда оставшийся в памяти, день.

Отец шуршал газетами в столовой и, поджидая меня, должно быть, уже второй или третий раз ставил чайник на плитку. Утро было воскресное, солнечное, майское — три серьезных повода, чтобы, закинув руки под голову, проваляться до половины одиннадцатого, перечитывая письма от бабушки из Лопахина и от Мити из некоей дружественной державы. К бабушкиному письму был приложен, как обычно, дневник Павлика, перепутанный с каким-то упражнением, из которого можно было узнать, что «скворцы не поют, грачи не кричат, колхозники не пашут и не сеют», а сам Павлик «не ложится рано, не ложится поздно, не катается на лыжах, не находится в душной комнате и не моется по утрам холодной водой».

Митя очень кратко, в несвойственном ему телеграфном стиле сообщал, что жив-здоров и вернется в июле. «Таня, милая, не жалею, счастлива»,— твердым, неженским почерком приписывала сбоку Елизавета Сергеевна.

...Что-то звенело в душе и хотелось, чтобы немедленно, сию же минуту произошло, сама не знаю что,— ну, хоть чтобы я вдруг очутилась в кедровом лесу за Тесьмой. Я закрыла глаза и улыбнулась. Открыла — нет, все то же: комната, в которой я снова одна, потому что муж снова — и надолго — уехал. Книги, книги, книги. Письменный столик-бюро, тесный, заваленный оттисками своих и чужих статей, диссертациями, слишком «дамский» для такой ученой дамы, как я. Туалет с потемневшим старинным зеркалом, в котором все выглядят загорелыми, только что с юга, и которым я пользуюсь сравнительно редко.

Я снова закрыла глаза, и на этот раз неожиданное все-таки случилось. Отец, давно шуршавший газетами в столовой, постучал и спросил:

— Таня, ты спишь? Тебя к телефону.

Это был Володя Лукашевич, не приходивший и не дававший о себе знать с того вечера, когда он до полусмерти

смутился, упомянув при Андрее, что мы виделись в Сталинграде.

— Я скоро уезжаю в полк, и вот подумалось, что, может быть, это все-таки нехорошо, что я... что мы... Ты очень сердишься?

— Теперь уже не очень.

— Я вел себя как подлец, да?

— Нет, как мямля.

Володя помолчал: очевидно, был подавлен беспощадностью моего приговора.

— Я хотел тебе сказать. У меня большая радость. Пока я валялся в госпитале, мне дали звездочку. Вчера было в газетах.

— Орден Красной Звезды?

— Нет, золотую звездочку.

— Да ну? Героя?

— Да. А я, главное, ничего и не знал. Вдруг приходят товарищи и тащат вино. Вот, понимаешь...— У него зазвенел голос.— Мне хотелось именно с тобой поделиться.

— Спасибо. Поздравляю, Володя! Жаль, что Андрей в отъезде. И он бы порадовался. Позволь, так тебе же теперь памятник поставят в Лопахине?

— Да нет же! — смеясь, возразил Володя.— Это дважды Героям — и то не целый памятник, а только половину. Я хотел тебе предложить, Таня... Сегодня в консерватории концерт Нины Башмаковой. Может быть, ты захочешь пойти? Ты с ней давно не встречалась?

— С Нинкой-то? Лет пятнадцать.

— Ого! Но ведь она до войны часто выступала в Москве?

— Нет, редко. Она же оперная. Приезжала, правда, и мы даже собирались несколько раз, а потом все как-то не получалось. Ведь она знаменитая?

— Во всяком случае, известная.

— Еще и не узнает!

— Ну, вот еще! Так пойдем? Органный концерт.

— Конечно, пойдем!

Он так обрадовался, что даже переспросил несколько раз, прежде чем убедился, что я действительно готова пойти с ним в концерт, несмотря на все его прегрешения.

Я бы солгала себе, если бы стала уверять, что весь этот месяц ни разу не подумала о Володе. Я сердилась на него, и все-таки мне хотелось встретиться с ним. Зачем? Не знаю. Неужели только для того, чтобы снова увидеть,

как он бледнеет и, вытянувшись, выходит из комнаты с остановившимся взглядом?

Может быть, это было подло с моей стороны, но в то солнечное майское утро мне было весело и хотелось, чтобы он позвонил. И вот он позвонил.

Володя пришел совсем другой — распрямившийся, отдохнувший, со звездочкой, выглядевшей на новом кителе сразу и парадно и скромно. Прежнее впечатление надломленности совершенно исчезло, и вместе с ней — тоска, от которой (это чувствовалось) ему самому становилось страшно. Короче говоря, он ожил, и если бы не глаза, пожалуй, можно было вообразить, что он сейчас загудит басовую партию, как в юности, когда в школьном оркестре он играл на большой медной трубе. Глаза остались прежние, задумчивые, с пристальным взглядом — глаза человека, чувствующего и понимающего «больше, чем ему положено», как однажды сказал о нем Андрей.

Он заехал за мной на какой-то грязной, в черно-желтых разводах машине, которая была совершенно ненужна, потому что от Серебряного до консерватории, как известно, не более пятнадцати минут ходу. Вообще он ухаживал за мной, и в том, как он это делал, была трогательная неловкость, от которой я тоже начинала чувствовать неловкость и нежность. Вот это было уже совсем ни к чему, и я сразу же подумала, что нужно изменить эти отношения, которые неожиданно стали такими, как будто мы оба давно и нетерпеливо ждали этой встречи.

— Володя, пожалуйста, купи мне программу,— сказала я холодно и, пока он ходил, постаралась превратиться в почтенного профессора, доктора наук. Один сотрудник из Мечниковского института узнал меня, поклонился, я еле кивнула. Не помню, когда еще я чувствовала себя такой почтенной личностью, разве что в Лопахине, читая «Любезность за любезность». Но вот Володя вернулся, подал программу, заговорил, и — увы! Гордая ученая дама, глядевшая вокруг себя ничего не выражающими глазами, мигом пропала, а на ее месте оказалась самая обыкновенная женщина, которой было приятно, что она в консерватории, в большом, нарядном зале, где за всю войну не удалось побывать ни разу. И что некий капитан с золотой звездочкой на груди смотрит на нее такими потерянными глазами.

Концерт начался. Знаменитый органист, сгорбленный, с красным лицом и пушистой седой шевелюрой, вышел, волоча ноги, и равнодушно потащился к органу. А вместе с ним...

— Вот она,— прошептал Володя.

Я не видела Нину много лет, и не было ничего удивительного в том, что она изменилась. И все-таки первые минуты я не могла заставить себя поверить, что эта уверенная красавица в длинном платье, из-под которого выглядывали носки серебряных туфель, крупная, но с легкой походкой, как это бывает у рано пополневших женщин,— та самая тоненькая, принципиальная Нина! Та самая Нина, которая в Ленинграде таскала меня в страшный театр «Гиньоль», а потом не могла заснуть и лезла ко мне в постель, и мы обе тряслись, ругая друг друга.

Но вот она запела, и первый же чистый звук, пронесшийся и затихший где-то далеко, мгновенно спугнул это впечатление поразившей меня перемены. Она пела, орган вторил ей, глубоко вздыхая, и казалось, что какое-то огромное, но хрупкое существо стоит за ее спиной и осторожно, чтобы не помешать, дует в серебряные трубы.

И, как всегда под музыку, я стала думать о чем-то своем, но музыка входила в это чувство, и оно открывалось для меня как чудо, от которого хотелось смеяться и плакать.

Не знаю почему, мне вспомнилось, как девочкой зимними вечерами я возвращалась домой из трактира Алмазова, и с высокого берега Тесьмы открывалась привычная картина засыпанного снегом бедного и темного посада. «А помнишь комнату старого доктора?» — пел голос. И это была уже не глупенькая, милая Нина и не артистка, исполнявшая номер, а какая-то волшебница, читавшая мои мысли и чувства.— «Ветхая фисгармония стояла в углу, и, когда старый доктор играл на ней, она начинала вздыхать и задыхаться, как будто жаловалась, что ей очень тоскливо. Портреты прекрасной женщины с темными глазами висели на стенах. Это была любовь несбывшаяся, неудавшаяся — любовь, которой помешали. Но разве можно помешать любви?»

Потом орган запел торжественно и нежно, и это была ночь в степи, когда мы до рассвета бродили с Андреем и

где-то далеко горела стерня, и ветер гнал на нас легкий дым, освещенный зарею. Это была ночь, когда я была так счастлива, как никогда потом не была с ним. «Почему же, когда он уехал и мы снова встретились в Москве, все стало совсем по-другому?» Я слушала и думала с прикрытыми рукой глазами: «Почему все стало таким, как будто не было этого лучшего месяца в жизни, Аскании-Новы, кино в степи, бабочки, мелькнувшей в прозрачном конусе света, когда Андрей сказал, что он не может жить без меня? Прошло то время и никогда не воротится, и нечего думать о несбывшемся, о том, что все равно нельзя изменить.

Какая-то строгая тетя в мундире с белыми галунами не хотела пускать нас в артистическую, но я издалека увидела Нину, разговаривающую с органистом, и закричала ей:

— Нина, мы к тебе! Скажи, чтобы пропустили.

И тетя в мундире пропустила нас, услышав, что мы называем знаменитую артистку на «ты» и радостно машем ей руками.

— Позвольте представиться,— сказала я, когда она, не узнавая, с недоумением уставилась на нас своими большими, с загнутыми ресницами глазами,— Татьяна Власенкова и Владимир Лукашевич. Мы боимся, что ты стала такая знаменитая, что, пожалуй, нас и не узнаешь.

— Господи помилуй, свят, свят,— сказала Нина и смешно, по-бабьи, всплеснула руками.— Татьяна! Володя!

Она обняла меня, поцеловала, закрасила и, спохватившись, стала оттирать платочком.

— Откуда вы взялись? Вы узнали, что я в Москве?

— Собственно, на каждом углу висит известие о твоем приезде,— серьезно возразил Володя.— Так что выяснить это было нетрудно.

— Да, правда. Господи, живая Танька! — снова сказала она и засмеялась.— Сколько мы не виделись?

— Не стоит считать.

— Подожди, что я знаю о тебе? Ты за Андреем?

— Я, брат, уже двенадцать лет за Андреем.

— Нет, я что-то еще слышала,— растерянно сказала Нина.— Ты что-то открыла, какое-то лекарство.

— Э, брось! Что там лекарство. Как ты поешь, Ниночка!

— Разве хорошо?

Она покраснела от удовольствия.

— Очень.

— Спасибо. Я давно не была в Москве, а сегодня первый раз во время войны, и как-то было особенно страшно. Какие вы милые, что пришли. А где Андрей? — вдруг спросила она с опаской.— Он ведь тоже врач. Когда мы увидимся? У меня еще три концерта в Москве.

— Три? Учтем,— смеясь, сказал Володя.

— Володька, а ты все еще не женат?

Она спрашивала, не дожидаясь ответа, смеялась — и не прошло и пяти минут, как исчезло впечатление поразившей меня перемены. Нина была все та же — хорошенькая, добрая и, увы, такая же недалекая, как в те времена, когда она будила меня по ночам, чтобы выяснить, серьезно ли влюблен в нее Васька Сметанин или не серьезно.

Я упомянула что-то о Павлике, и она вдруг взволнованно захлопала глазами.

— Послушай... Извини, Володя,— она отвела меня в сторону.— Может быть, мне не следует тебя спрашивать... Но я очень волнуюсь, а ты ведь все-таки доктор. Ты ничего не заметила?

— Нет. А что?

Мы почему-то заговорили шепотом.

— Ты думаешь, я всегда такая толстая?

— А-а.

— Шестой месяц. Боюсь как!

Я сочувственно покачала головой.

— Первый раз?

— В том-то и дело. Я не хотела. Муж настоял. А ведь мне уже тридцать восемь.

— Ничего, родишь как миленькая.

— Я хочу девочку.

— Ну, это уж...— Я развела руками.— Что бог даст.

— Я понимаю. Ох...— Она вздохнула.— Так не очень заметно?

— Нисколько.

— А ты не боялась?

— Милый друг, да когда ж это было!

— А я боюсь.

— Ничего, ничего. Все будет прекрасно.

— Ты думаешь?

Органист, куда-то скрывшийся, когда мы подошли к Нине, появился в дверях. Она вздохнула.

— Нужно идти. Я в «Метрополе», номер четыреста двадцать. Приезжай, я тебя умоляю.

Ничего нельзя изменить!

Был прохладный вечер с вдруг налетевшим ветерком, каким-то негородским, прозрачным. Мы шли из консерватории, Володя говорил без умолку, и, наверно, мне не следовало слушать то, о чем он говорил. А я слушала, и мне хотелось, чтобы мы еще долго шли по этим гулким весенним улицам, о которых пел в Большом зале орган.

— Я спрашивал себя: ну, а если бы мы не встретились в Сталинграде? Вот ты уверяешь меня, что я обманываюсь, что это просто возвращение к жизни, и, если бы мы не встретились, я влюбился бы в другую. Но ты не знаешь, чем было всегда для меня это чувство!

Я сказала: «Довольно, Володя», но, должно быть, у меня был не очень решительный голос, потому что он замолчал, только чтобы поцеловать мою руку.

— На флоте у меня был друг, даже брат: мы побратались, и я написал его матери, чтобы она считала меня за сына. Он убит. Мы говорили, и я поражался тому, как беспечно, как равнодушно он относился к любви. И другие. А я... Тебе странно, я знаю, что все это как будто вспыхнуло вдруг. Но я никогда не мог забыть тебя, а когда влюблялся, это были женщины, которые чем-то напоминали тебя. Не говори ничего,— вдруг сказал он, остановившись.— Пусть будет так, как будто ты не слышишь меня. Когда в Сталинграде я спросил тебя: «Ты счастлива?»...

— Володя, я запрещаю тебе говорить об этом.

— Хорошо. Хочешь, я расскажу тебе, как однажды, в ледоход, перешел Оку? — вдруг спросил он, остановившись и приблизив ко мне лицо с широко открытыми глазами.— Это было в Колкове, есть такой маленький городок на Оке. Я приехал туда по комсомольским делам и не один, а с товарищами, среди которых был некий Шульга, очень острый и насмешливый парень. Время было — весна, снег

только что сошел, земля взъерошенная, неприбранная, и все в каком-то волнении: птицы орут без умолку, вода бежит днем и ночью. Должно быть, это волнение передалось и нам — мы много спорили и все до одного были влюблены.

— И ты?

— Да,— быстро отозвался Володя.— В том-то и дело. Но я, понимаешь, был влюблен в девушку, которая совершенно не замечала меня. Она жила в Ленинграде, в общежитии мединститута и, когда я приезжал к ней из Кронштадта, разговаривала со мной ровно десять минут, да и то уткнувшись в какую-нибудь терапию. Ну вот. Это было тогда.

Он помолчал.

— Я много раз видел ледоход, и всегда это было так, как будто какая-то сила нехотя ломала грязный лед. А тут... Шум стоял над рекой, да не шум, а рев, от которого сразу стало тревожно. Льдины сталкивались, кружились, и вода между ними была мутная, бешеная. И все вокруг было именно бешеное — солнечный блеск, какие-то птицы, носившиеся над рекой... Мы стояли и смотрели. А на том берегу тоже стояли и смотрели какие-то люди. И вдруг этот парень, Шульга, толкнул меня локтем в бок и сказал: «Ну что задумался? Небось слабо́ перейти?» Я посмотрел на него и стал спускаться на лед.

Мы шли. Володя говорил, я слушала и волновалась. Уже довольно давно, с полгода, как в Москве зажглись маленькие фонари, и казалось, что в переулках, слабо освещенных этим расплывающимся, падающим вниз голубоватым светом, война уже кончилась и началась мирная, полузабытая жизнь. Но война продолжалась. Часовой расхаживал у зениток, спрятанных в деревьях сквера. На улицах белели свеженаведенные линии переходов, и край панели был обведен белым — это стали делать только в годы войны. Дежурные в огромных шубах неподвижно сидели у ворот.

— У берега лед был еще нетронутый, крепкий, с темной тропинкой, по которой переходили Оку,— продолжал все с большим волнением Володя.— Я выбежал на эту тропинку, но она сразу пропала, а впереди открылась большая полынья,— наверно, в этом месте зимой выпиливали лед для складов. Ребята закричали, но голоса донеслись чуть слышно, да и не до них мне было теперь. Мне казалось, что я один на один схватился с этими льдинами. Я прыг-

нул и провалился, вылез и опять побежал, и нужно было сразу решать, куда броситься снова.

Мы были уже недалеко от Серебряного переулка. Патрульные встретились на Арбате, приостановились, хотели проверить документы, да, видно, раздумали, двинулись дальше. Синие лампочки горели под уличными часами.

— Берег был теперь близко, но до него не дойти, только доплыть. Вдруг стало тихо, и я увидел, что стою на огромной льдине, у которой чуть слышно плескалась вода — совсем другая, прозрачная, пронизанная светом. И в глубине мелькнуло дно, песчаное, плотное! Дно, по которому можно добраться до берега — недалеко, только двадцать или тридцать шагов, а там — люди, которые что-то кричали, бежали...

Пора было прощаться, потому что мы стояли у подъезда, и этот вечер, так не похожий на другие вечера, в моей — и Володиной? — жизни, кончился вместе с его рассказом. Я протянула ему руку. Он поцеловал ее задумчиво и тоже как-то на память.

— Вот так-то,— сказал он грустно.— И ты знаешь, мне часто кажется, что я все еще иду к тебе среди этих сталкивающихся льдин.

Мы простились, условившись встретиться завтра — на площади Пушкина, в половине седьмого.

И Володя ушел, а я осталась одна. Дежурный узнал меня, поздоровался и пошутил что-то насчет подозрительных ночных возвращений. И я пошутила и засмеялась, и не было ничего особенного в том, что мы условились встретиться завтра, и нечего было, поднимаясь по лестнице, трогать ладонями горящие щеки.

У меня был свой ключ, я открыла, зажгла свет в столовой — и сразу же погасила: на окнах были почему-то не опущены шторы, но в комнате светло от луны. Отец сидел на диване, опустив голову в руки, и плакал.

— Что с тобой? Что случилось?

Он вскочил испуганный, дрожащий.

— Ничего, ничего. Тут звонили... Тут тебе звонили...

— Кто звонил? Да говори же, папа!

— Он хотел приехать... Он... он приедет. Он сказал, что хорошо, что тебя нет дома, потому что я могу... я должен... Но что я могу? Что же я могу, боже мой!

— Кто сказал? О ком ты говоришь?

— Не... не помню. Он, он!

Слезы душили его.

— Он сказал, что Андрей... Андрей...

— Убит?

Отец подошел ко мне, обхватил и замер, крепко сжимая мою голову руками.

— Нет, нет, нет!

Шум подъехавшей машины послышался в переулке. Это был Малышев. Он прошел несколько шагов и остановился, неподвижный, прямой, в шинели с высокими плечами, отчетливый, как тень, на пустом тротуаре. Потом, опустив голову и тяжело вздохнув, направился к подъезду.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ЭТО БЫЛО ВЧЕРА

Это было вчера

Андрей был арестован на фронте и привезен в Москву — это было все, что сказал мне Малышев, и, глядя на его расстроенное лицо с жестко поджатыми губами, я поняла, что больше ничего от него не услышу.

— Михаил Алексеевич, мы столько лет знакомы, и вы, я знаю, любите Андрея. Вы работали вместе, и кто же настоял, чтобы он вернулся в Наркомздрав, если не вы? Скажите мне все. Ведь нужно же действовать, хлопотать, доказывать, что он не виновен. Я знаю, что вы связаны, вы не имеете права... Но ведь не государственная же тайна то, что вы думаете об этой нелепости, потому что я ни одной минуты не сомневаюсь, что это нелепость.

Он сидел, выпрямившись, опустив глаза.

— Не скрывайте от меня того, что может помочь ему.

— Татьяна Петровна, поверьте мне, я ничего не знаю. Андрей Дмитриевич не мог сознательно совершить преступления. В этом для меня нет ни малейших сомнений. Но с другой стороны... его могли арестовать только по серьезной причине.

— Вы его начальство, и если он арестован в связи с какими-то служебными делами, вас должны были известить об этом... Вы согласились на его арест, да? Скажите мне, дорогой Михаил Алексеевич! Мы одни, отец за сте-

ной, он плохо слышит. Я не стану упрекать вас, если нельзя было поступить иначе.

Малышев вздохнул.

— Не знаю я ничего,— с тоской сказал он.— Мне самому так тяжело, что я вам и передать не могу. Никто у меня ничего не спрашивал. Да и о чем? О таких вещах не советуются с начальством. Отвечать придется, это так. Уже и то, что я приехал к вам, да еще ночью...— Он замолчал.

Отец чуть слышно постучался в двери. Я вышла и сказала ему, что ничего не случилось,— глупое недоразумение, которое разъяснится через несколько дней.

Ничего не разъяснится через несколько дней. Я разделась и легла, не закрывая окна. Ветер качнул бумажной шторой.

...Он не мог потерять секретных бумаг, хотя бы потому, что у него не было с собой никаких секретных бумаг. Нет, другое. Скрыпаченко?

И бледное лицо подлеца появилось передо мной — прислушивающееся, с неопределенно осторожной улыбкой на тонких губах. Но Скрыпаченко — доносчик патологический, профессиональный, неужели кому-нибудь пришло в голову поверить ему? Это было безумием, что Андрей чуть не убил его... «А надо было убить»,— подумала я и, задохнувшись, вскочила с постели. Патруль прошел под окном, стук каблуков приблизился, потом удалился. Вот так же и он лежит, прислушиваясь — гулко стучат каблуки по асфальту двора в тишине. Только несколько улиц, мы ведь недалеко друг от друга!

Неужели еще не кончилась эта ночь? Нет, и до утра далеко. Кому писать? Наркому? Нужно было не ложиться, а сразу засесть за письмо, тем более что я уже сочинила его в уме и забыла.

Я встала, снова легла, и две перекрещенные полоски появились где-то высоко надо мной — смутные, светло-серые, но темнее, чем пространство, в котором тонули, невольно закрываясь, глаза. Что значит этот крест над моей головой? Кончено, кончено — вот что он значит! Андрей не вернется. Что смерть? Для него это хуже, чем смерть.

Что за вздор лезет мне в голову, боже мой! Это не крест, а переплет окна. Скоро утро, и тень переплета на потолке с каждой минутой становится все светлее.

Я давно не видела Никольского и поразилась тому, как он постарел за эти два промелькнувших года. Он обрадовался мне, пошел навстречу, но сразу же сел, и мертвенно-холодной показалась мне большая темная рука, которой он слабо пожал мою руку.

— Николай Львович, мы давно не виделись — по моей вине,— а вот теперь я пришла к вам по делу, да еще по какому трудному делу.

— Ну вот еще! А кто это видится? Все заняты, и хорошо, что заняты. Время такое.

Он говорил медленно, подолгу останавливался после каждого слова.

— Да и что за извиненье! Вы дама,— вдруг сказал он по-французски,— и ваше извинение — укор для меня. Я первый должен был пожаловаться на судьбу, помешавшую мне часто видеть такую милую женщину, как вы.

— Спасибо. Николай Львович, у меня несчастье. У меня страшное, неожиданное несчастье, и если мне не помогут друзья, я не знаю, как я справлюсь с этим несчастьем.

— Что случилось?

Он выслушал меня насупясь, отогнув рукой сморщенное восковое ухо.

— Как это посадили? — с недоумением спросил он.— Он человек известный. Что за порядок — не выслушав, без объяснений. Ведь чтобы так поступить, нужны причины, улики.

— Мне кажется, да.

— Где ваше письмо?

— Может быть, это не то, что нужно.— Я достала из сумки письмо.— Тогда исправьте. Дорогой Николай Львович, если бы вы знали, как я счастлива, что вы встретили меня так сердечно. К вам прислушиваются, вас знает весь мир.

Сердито посапывая, дед подписал письмо и, слегка пошатываясь на длинных ногах, прошелся из угла в угол. Он был взволнован.

— Черт знает что такое,— сказал он.— Я буду счастлив, если это письмо поможет Андрею Дмитриевичу. Да. Но следует, мне кажется, действовать иначе.

— А именно?

— Обратиться в правительство,— грозно нахмурившись, сказал дед.— Поехать и объяснить. И, в свою очередь, потребовать объяснений.

— Николай Львович, дорогой...

— И, в свою очередь, потребовать объяснений,— не слушая и сильно взмахнув рукой, сказал дед.— Личность заметная, с заслугами. Как же так? Воевал?

— Да, то есть не участвовал в боях, но полгода провел в Сталинграде, и еще в феврале...

— Все равно воевал,— утвердительно сказал дед.— Работник первоклассный. Человек дела. Кто же у нас лучше, чем он, разбирается в практической эпидемиологии? И такого человека сажать! Да я только что в «Правде» прочел, что наши войска на Калининском фронте за три месяца подобрали более двенадцати тысяч сыпнотифозных, освобожденных из плена. В Смоленской области натуральная оспа. Дизентерия поголовная. В городах освобожденных ни воды, ни света, воздух отравлен.

Немного дрожащими руками Никольский стал шарить на столе — должно быть, искал газету. Он побагровел, и я испугалась, что ему может сделаться дурно.

— Николай Львович, садитесь, дорогой, поговорим спокойно. Вы сказали — обратиться в правительство. Но как это сделать?

Он сел, вытянув длинные ноги, и принялся сердито стучать пальцами по ручке кресла.

— Вот теперь давайте подумаем, как это сделать.

И дед замолчал. Я подождала минуту, другую. Ровное дыхание послышалось. Темная сморщенная рука упала на колени. Большое веко поднялось, потом опустилось. Дед спал, склонив на грудь большую голову с пергаментными мешочками у глаз и старческими меловыми висками.

Белянин — разахавшийся, растерявшийся, дважды проверивший, плотно ли закрыта дверь его кабинета, с испуганными глазами на красном мясистом лице. Знаком ли он с Рудиным? Разумеется. Более того, у них превосходные отношения. Но захочет ли Рудин подписать это письмо — кто знает? Он, Белянин, думает, что едва ли. Рудин человек неожиданный, со странностями, проще говоря, взбалмошный, и что ему взбредет в голову, вообразить невозможно. Кроме того, вы знаете, какое он сейчас получил назначение? Конечно, он, Белянин, пойдет к нему. Да что пойдет! Сегодня вечером они условились встретиться за

преферансом. И, конечно, если это будет удобно, он заговорит об Андрее. Да, он заговорит — сперва издалека, а потом... а потом, если это будет удобно...

— Но откуда эта напа́сть? Откуда? — Он раскачивался, с отчаянием взявшись за голову и глядя на меня круглыми от ужаса глазами.— Андрей Дмитриевич, боже мой! Нет, тут что-то есть, иначе быть не может.

Мне не хотелось выяснять, что он подразумевает под этим «что-то», и я ушла, поблагодарив его и условившись, что он немедленно позвонит мне — все равно, откажется Рудин или согласится.

Кипарский — генерал-полковник медицинской службы — грузный, коротконогий, глухой, со слуховым аппаратом, в котором ежеминутно что-то ворчит и который он настраивает, подкручивает, подправляет.

К сожалению, он не был знаком с Андреем Дмитриевичем, хотя, разумеется, знает его по литературе.

— Вот за вас я, матушка моя, действительно могу заступиться, если с вами не дай бог что-нибудь произойдет в этом роде. Вообще-то история бессмысленная, нелепая и, к сожалению, далеко не единственная. Да-с. Так что, если бы даже я и подписал это письмо, которое, по-моему, составлено несколько экспансивно,— ничего бы из этого не получилось, матушка моя, ничего. И вам, мне кажется, нужно не торопиться, а переждать недели две-три.

Аппарат ворчит, и, подкрутив какой-то упрямый винтик, Кипарский начинает водить микрофоном по воздуху перед моими губами.

— И не сидеть сложа руки, да-с, а поехать на фронт и доказать, что представляет собой ваш препарат в полевых условиях.

— Препарат?

— Вот именно. В чем дело с Андреем Дмитриевичем — это, по-видимому... станет известно впоследствии, но что подобная история может отразиться на вас, а следовательно, и на вашем препарате, это для меня уже и сейчас совершенно ясно.

И, склонив красную апоплексическую шею, Кипарский поглядывает на меня маленькими умными глазками из-под нависших бровей.

— Вам известно, что скоро на Первый Прибалтийский фронт отправляется под моим руководством бригада? Вот

и присоединяйтесь. Испытаем пенициллин в полевых условиях — вот тогда, надо полагать, крыть действительно будет нечем.

Я слушаю его и ничего не понимаю. Почему Кипарский вдруг заговорил о моем препарате? Зачем снова испытывать его, да еще на фронте? Разве могу я сейчас уехать из Москвы?

— Хорошо, я подумаю, Иван Аникиныч.

— Что? Не слышу. Вот проклятая машина!

Подкручивает, настраивает, подправляет.

— Матушка моя, скажите-ка что-нибудь, скажите хоть — так.

— Так.

— Еще раз.

Я повторяю:

— Так.— Слезы душат меня, но я повторяю: — Так. Теперь хорошо?

— Так. Теперь превосходно.

Еще две-три-четыре встречи. Кипарский отказался. Подпишет ли Крамаренко? Холодные, внимательные, равнодушные лица. Лица приветливые и мгновенно меняющиеся, когда речь заходит о том, что... И речь заходит совсем о другом. Лица испуганные, с ускользающим выражением.

Приемная Министерства внутренних дел. Долгое ожидание. Женщины, ничем не похожие друг на друга — и удивительно, необычайно похожие. Молчаливые, но понимающие с полуслова, озабоченные, надеющиеся, усталые, взволнованные. Вот эта, совсем молодая, с усталым лицом — если бы она вчера заговорила со мной о ее муже, отце или брате... Ведь я бы не поверила, что он так же не виноват, как Андрей.

И весь этот, как во сне промелькнувший, мучительный день, весь этот день, которого не хватило даже на то, чтобы повидаться с Рубакиным, приехавшим из Казани, я старательно вспоминала что-то, казавшееся мне очень важным! Это было необходимо, то, что мне не удавалось вспомнить и касалось не только меня — вот в чем я не сомневалась ни единой минуты.

Знают ли уже о том, что произошло, в институте? Должно быть. Иначе Коломнин не спрашивал бы так настойчиво о моем здоровье.

Да. Вот это. Но и что-то еще. То, что должно было случиться сегодня. Где и когда? В котором часу? И вдруг я вспомнила: Володя Лукашевич будет меня ждать на площади Пушкина в половине седьмого. Мы назначили друг другу свидание. Он придет. Он будет ждать меня, волнуясь, считая минуты.

Может быть, нужно пойти вот такой, какой я стала за сегодняшний день, едва держащейся на ногах, подурневшей, неузнаваемой? Все-таки друг. Ведь это немало! И даже не все-таки, а близкий, любящий друг. А друзьями надо дорожить, особенно, когда стареешь за один день и, дойдя домой, не можешь есть от усталости, и голова раскалывается от боли, и нет лекарства, от которого могла бы пройти эта боль.

Неужели все это было вчера — консерватория, серебряные трубы, осторожно вторившие чистому голосу Нины? Спящий переулок, освещенный луной, синие лампочки под уличными часами. Юноша переходит Оку среди сталкивающихся, кружащихся льдин. Кого он видит на том берегу? Не помню. Не знаю.

Ни одной минуты не сомневалась я, что Володя ждет меня, хотя было уже около девяти и над городом скользили прозрачные вечерние тени. Я не ошиблась. Там, где садик у памятника Пушкину переходит в бульвар, Володя стоял, подтянутый, взволнованный, бледный — такой, что каждый скользнувший по нему взгляд мог прочитать: «Не пришла». Вокруг гуляли, громко разговаривали люди, на скамейках было тесно, цветочницы продавали букеты первых фиалок. Но у него было свое место в этом мире — то, где мы условились встретиться и где мимо него проходили женщины, ничем не отличавшиеся друг от друга, потому что ничем не напоминали меня.

— Таня! Ты пришла? Родная моя, а я уже думал...

Он бросился ко мне, и это было единственное мгновенье, когда, как в зеркале, я увидела себя — некрасивую, с ненакрашенными губами, в ненарядном, обыкновенном платье, не в том, которое я надела бы, если бы все было иначе. Но это чувство только мелькнуло в сознании, как

слабый отсвет ушедшей жизни — той, которою я жила до вчерашнего дня. Все стало другим. Все стало горестным, безнадежно другим. Я остановилась перед Володей, не говоря ни слова и стараясь унять онемевшее сердце.

— Что с тобой? Ты больна? Что случилось?

Я сказала только два слова — и это были две черты, крест-накрест перечеркнувшие все, что могло произойти между нами.

Он ничем не мог мне помочь, хотя бы потому, что уже получил назначение и через несколько дней должен был отправиться на Северный флот. Но мне помогло уже то, что в эти дни он оказался рядом со мной. Мы вместе ходили к Малышеву, вместе перебирали бумаги Андрея, пытаясь найти среди них объяснение, хотя бы самое отдаленное, тому, что случилось,— и Володя держался по-товарищески просто, с прямотой, в которой я одна могла угадать безнадежность.

Из дневника
Дмитрия Львова

14 января.

...Накануне отъезда Лиза достала Handbuch по чуме, и я читал его всю дорогу. Время от времени это занятие чередовалось с чтением «Войны и мира». Диспозиция генерала Вейротера с его «первая колонна марширует... Вторая колонна марширует...» Она помогла ему, так помог нам сей Handbuch, когда мы принялись за дело.

19 января.

Дома ворчишь, ругаешься, даже плюешься, в лучшем случае работаешь машинально, видя лишь небольшую частицу огромной и в общем необыкновенно человечной системы нашего здравоохранения. Издалека, в чужой стране, где сталкиваешься с чудовищными пережитками, которым нечего противопоставить, видишь целое и понимаешь, что значит работать среди людей, выросших в сознании общих интересов.

21 января.

Причина вспышки все-таки остается неясной. Миграция мышей-полевок из чумного очага? Случай, о котором

сообщил мне врач из погранохраны, по-моему, не имеет отношения к чуме. Карантин был наложен для успокоения начальства.

14 марта.

Ни одного нового случая за полтора месяца. Стало быть, вскоре можно будет снять карантин и убираться отсюда восвояси. Пора.

19 марта.

Все хорошо. Завтра собираюсь с Лизой в город — посмотреть базар, который, говорят, не уступает столичному.

20 марта.

Лабиринт полутемных коридоров. Шум оглушительный, непрерывный, от которого сразу начинает болеть голова. Стучат медники, делающие подносы, котлы, кувшины из толстых листов красной меди, визжат подпилки оружейников, шипит расплавленная бронза, сопят кузнечные мехи, монотонно гудят струны лучков, на которых работают шерстобиты. Пыль, дым, чад, отвратительный, тошнотворный запах бараньего жира. И вдруг — лабиринт раскидывается веером душистых фруктовых лавок. Прохладный полумрак, запах пряностей, тишина — впрочем, относительная, потому что продавцы, увидев нас, оглушительно закричали, расхваливая свои товары.

3 апреля.

Я знал, что к нам привыкли в здешних местах, может быть, даже полюбили, хотя за традиционной высокопарностью подчас трудно было разглядеть искреннее чувство. Но мне, конечно, и в голову не могло прийти, что крестьяне окрестных сел с самого раннего утра начнут собираться вокруг нашей базы, что женщины будут выть, а мужчины — стоять потупившись, с такими лицами, как будто у них отнимают самое дорогое в жизни. Сейчас я спокоен, даже посмеиваюсь над Лизой, которая не удержалась и немного всплакнула, а ведь вчера сам с трудом удержался от слез.

5 апреля. Ночь.

Не подозревал, что можно так соскучиться по вагону. Все на месте, хотя и нет, к сожалению, уверенности в том, что чужие руки не перелистали рукописи, не прошлись по книжным полкам и т. д. У Лизы разболелась голова, и она

ушла к себе очень рано, а я уселся за стол, который из фанерного листа соорудили мне санитары, вынул чистый лист бумаги и написал: «Вирусная теория происхождения рака».

6 апреля. Утро.

За одну ночь написать то, что в течение многих лет исподволь выстраивалось в сознании,— не могу поверить, что со мной произошло это чудо! Многое еще приблизительно, неточно, все здание в лесах, но я уже вижу его от фундамента до флюгера на крыше. Если я не прав — отдаю сатане мою грешную душу.

6 апреля. Вечер.

Лиза больна. Температура около сорока, кашель, острая боль в груди. Неужели?..

7 апреля.

«Дорогой Андрей! Пишу тебе, к сожалению, без всякой уверенности, что ты получишь это письмо. Лиза заболела вчера, а сегодня положение настолько определилось, что диагноз почти не вызывает сомнений. Боюсь, что завтра придет и моя очередь,— мы не разлучались последние дни. Как видишь, все сложилось далеко не так удачно, как хотелось бы, и виноват в этом я и никто другой. Не следовало брать ее с собой в такую опасную экспедицию — не потому, что она моя жена, а потому, что она совершенно лишена осторожности. Поздно теперь сожалеть об этом. Не хочется, чтобы ты думал, что эту грустную, но, по-видимому, неизбежную развязку я встречаю подавленный, измученный страхом. Я никогда не боялся смерти, может быть, потому, что никогда и не думал о ней. Но умереть в полной уверенности, что самое главное впереди, примириться с этим все-таки трудно. Жаль, что мы с тобой больше не увидимся и что я не смогу порадоваться той завидной ясности твоей жизни, до которой мне всегда было далеко. Что делать! Не уверен даже, что до тебя дойдет этот дневник,— вероятнее всего, мои бумаги будут сожжены вместе с вагоном. Но если они сохранятся, прошу тебя, прочти внимательно, и непременно вместе с Таней, статью, которую я набросал прошлой ночью и вкладываю среди этих страниц. Это беглые, приближенные соображения, и, на первый взгляд, они, вероятно, покажутся парадоксальными. И все-таки я буду благодарен, если вы займе-

тесь этим вопросом и попытаетесь проверить мою догадку. Это потребует известной подготовки, и если ты занят, пусть это сделает Таня на память о безрассудном, но искренне любившем ее старшем брате. Может быть, ей поможет план опытов, вы найдете его в моем наброске.

Мне кажется, что маме нужно сообщить, что я остался здесь на неопределенное время, во всяком случае, до окончания войны. Может быть, упомянуть мельком, что я на секретной работе? Тебе видней. Бедная, она привыкла беспокоиться обо мне.

Обнимаю тебя и Таню, и всех друзей, помнящих меня.

Твой *Дмитрий*».

Это было вчера

(Продолжение)

Не знаю почему, но именно с Рубакиным я особенно боялась встретиться после того, что случилось. Мы всегда были очень дружны, но мне казалось, что в предвоенные годы в его характере появилась неприятная сухость. «Стальной и немигающий» — так подшучивали над холодными догматиками, свято верящими лишь в непререкаемость своего безупречного, на первый взгляд, мышления. Оттенок этого слепого догматизма, этой раздражавшей меня «святой принципиальности», подчас мелькал в Петре Николаевиче. Он больше нравился мне в молодости, когда, похожий чем-то на доброго лохматого пса, он врывался, как буря, в чужие лаборатории со своей иронией, со своими сомнениями, в которых всегда было что-то живое.

...Мы встретились в институте, на людях, и нечего было рассчитывать, что он попытается хоть намекнуть, что сочувствует мне, взволнован, расстроен. Но я все-таки ждала. Нет и нет! Ни слова, ни взгляда. «Мы на работе, и самое важное сейчас — разместить лаборатории так, чтобы плесневой грибок не заразил фаги. И не ждите от меня, пожалуйста, ничего другого».

Холодно поблескивали белые нити в поредевших волосах, и маленький чужой человек в туго подпоясанной гимнастерке был так же вежлив и сдержан со мной, как с другими.

Правда, прощаясь, он задержал мою руку в своей, и лицо — все еще круглое, румяное, но уже с большими мягкими складками у рта — потеплело. Но, может быть, мне это лишь показалось?

Лена Быстрова вернулась в Москву через несколько дней и бросилась ко мне прямо с вокзала, без звонка, не заезжая домой. Это было в воскресенье; я была еще в постели, и отец, с пышными, расчесанными усами, жалкими на похудевшем лице, только что изложил мне свои соображения, в которых главную роль играл все тот же Петька Строгов, вырастивший на Амуре быка симментальской породы, а ныне занимающий весьма влиятельную должность в Москве...

Раздался звонок. Лена вошла на цыпочках, как входят к больному. Я уже почти не плакала последнее время, но увидев ее — милую, взволнованную, бледную, с большой седой прядью над чистым высоким лбом,— не удержалась, заплакала. И Лена, обняв меня и бессвязно утешая, тоже не могла удержаться от слез.

— Нет, нет, это я просто так. Давно не виделись,— говорила она, вытирая глаза.— Я уверена, уверена, что все обойдется.

— Ты думаешь?

— Да, да. И Петя думает так же. Бог с тобой, да он места себе не находит,— испуганно сказала она, поняв по моему выражению, что я расстроена холодностью, с которой Петр Николаевич отнесся к моему несчастью.— Он в бешенстве. Я его таким еще в жизни никогда не видела. Он потрясен и не только не отказывается, а, наоборот, ищет выход и найдет, вот увидишь! Найдет непременно. Он скоро приедет, он знает, что я у тебя. Ты побледнела? — спросила она, с удивлением глядя на меня своими широко расставленными глазами.— Ты не хочешь, чтобы он приезжал?

— Да что ты!

Лена поцеловала меня.

— Бедная, родная... Все будет хорошо,— быстро сказала она.— Или мы пойдем и скажем, чтобы нас тоже посадили, потому что мы так же виноваты, как и он. Да не смотри ты на меня такими глазами!

Рубакин приехал и потребовал, чтобы Лена немедлен-

но отправлялась домой, потому что Катенька сидит на вещах и не знает, что делать. Потом проводил жену до машины и вернулся ко мне.

Это был разговор, после которого, как после шока, ко мне стало постепенно возвращаться сознание. И не в утешениях тут было дело — на утешения Петр Николаевич был как раз скуповат. Впервые за эти дни я услышала уверенный голос человека, который ни одной минуты не сомневался, что Андрей не совершил никакого, даже невольного, преступления.

— А если так,— сказал, жестко поджав губы, Рубакин,— следовательно, он должен быть и будет оправдан. Какие бы мы с вами предположения ни строили, для меня ясно, что это ложный донос и что следствие введено в заблуждение. Кем — не знаю, может быть, Скрыпаченко. Как-никак Андрей, и никто другой, заставил его пересчитать ступени. Ах, все-таки это было безумием,— с досадой, в которой сквозило невольное восхищение, сказал Петр Николаевич,— спустить с лестницы такого прохвоста, такую злопамятную скотину! И вы знаете, Татьяна, я думаю, что Кипарский прав.

— То есть?

— Ничего бестактного не было в том, что он предложил вам присоединиться к бригаде. И о вашем препарате он упомянул не случайно. Вы думаете, что это положение упростилось после вашей победы над Норкроссом? Наоборот. Так что это вовсе не так глупо, что Кипарский предложил вам поехать на фронт.

— Ничего не понимаю.

Петр Николаевич посмотрел на меня и, как маленькую, погладил по голове с доброй улыбкой.

— Ну хорошо, откинем догадки,— сказал он,— тем более что пока еще все это действительно только догадки. Давайте рассуждать от обратного: почему бы вам не поехать на фронт? Поездка займет не больше месяца. Что произойдет за это время в Москве? Передачи еще не разрешены, так?

— Да.

— Справки? Даю вам честное слово, что мы с Еленой будем звонить туда каждый день. И не только звонить, а надоедать, лезть к следователям, обивать пороги. Вы верите мне?

Взволнованный, решительный, маленький, лохматый, он метался из угла в угол, накручивая на палец клок седеющих волос и дергая их с такой силой, как будто он, и никто другой, был виноват в том, что случилось с Андреем.

Конечно, при других обстоятельствах я бы не уехала из Москвы, а послала бы с Кипарским Виктора или Лену Быстрову. Институт только что вернулся из Казани, наш «филиал» необходимо было полностью перевести во флигель, пенициллиновый завод, несмотря на все мои требования, плохо снабжался сахаром — словом, дело требовало неустанного наблюдения.

Несмотря на клиническое признание, несмотря на дуэль с Норкроссом (о котором только мельком упомянул «Медицинский работник»), тень недоверия по-прежнему лежала на пенициллине-крустозине. Забавно, что это недоверие сказывалось не только в наркомздравовских кругах, но и на черном рынке, где канадский пенициллин стоил вдвое дороже.

Мы едем в автобусе по дорогам Литвы мимо светлых озер. Мы — это я и Селезнев, старый хирург с длинными казацкими усами. Круглолицые румяные женщины, под которыми слишком хрупкими кажутся велосипеды, то и дело попадаются нам навстречу. Высокие распятия на въездах в маленькие чистые города. На улицах Паневежиса молодые ксендзы в изящных сутанах, в начищенных черных ботинках, улыбающиеся, окруженные нарядными дамами. Селезнев серьезно утверждает, что это «интересантки» и что так называются женщины, которых ксендзы готовят к религиозному испытанию. Чужой мир, где очень странными, должно быть, кажутся запыленные, усталые люди в автобусе, несомненно штатские, впервые надевшие военную форму. Пенициллин — с нами, и время от времени Селезнев поглядывает на него как на живое существо — неуверенно, но с надеждой.

Приходится торопиться

Большой сортировочный госпиталь, расположенный в старинном рыцарском замке, был переполнен, и я сразу же стала помогать товарищам: просматривать истории бо-

лезней и отбирать среди них те, на которых стоял наш сигнальный «пенициллиновый» знак. Меня вызвали в палату — случай был интересный: лейтенант, у которого осколком поранило палец, заболел столбняком, и теперь каждые три часа ему вводили пенициллин почти без всякой надежды на спасение.

Столбнячные больные — самые тяжелые. Непроизвольные судороги выбрасывают в стороны то руки, то ноги, перекошенное лицо мелко дрожит и вдруг начинает мучительно гримасничать и кривляться. От человека остаются только глаза — усталые, застывающие, молящие о спасении.

Расстроенная, вернулась я к дежурному врачу, у которого просматривала сигнальные карты. Только что привезли новую партию раненых, машина с ревом ворвалась во двор, и слышно было, как глухо чавкала под колесами грязь. Невзорвавшаяся бомба лежала недалеко от крыльца. Разворачиваться было неудобно, и шофер ругал эту бомбу, и дождь, зарядивший с утра, и каких-то бандитов, обстрелявших под самым Шиловом санитарные машины.

...Может быть, я уснула на минуту, потому что пришлось сделать усилие, чтобы вернуться к себе, к этому закутку, отгороженному от большого, с узкими окнами, каменного зала. «Летучая мышь» освещала маленький колченогий стол, на котором я листала истории болезни. Одна из них, ничем не отличавшаяся от прочих, была в моих руках, и я, еще не совсем проснувшись, смотрела на нее, ничего не понимая. Фамилия раненого была Репнин, имя — Данила Степаныч. Ничего особенного не было в этом совпадении. Но так же, как Репнин, он был майором танковых войск.

Я встала и вышла на двор — темный, огороженный каменной стеной, заросший редкими деревцами. Санитары несли раненого по дощечкам, проложенным от грузовика к сараю, в котором был устроен приемный покой. Времянка жарко топилась в сарае, и молодая женщина — врач, сопровождавший раненых,— сушила шинель над огнем. Я показала ей историю болезни: она сказала, что да, помнит, это из разбившихся, и что его еще привезут, если станет спокойнее на дороге.

— Как из разбившихся?

— А вы разве не слышали? Под Клайпедой разбился

наш самолет, человек пятнадцать погибли, все офицеры. Вы из группы Кипарского? — вдруг спросила она с любопытством.

— Да. Вы привезли Репнина?

— Нет. Дорога простреливается, а ведь тяжело раненных быстро не повезешь. Говорят, какие-то бандиты засели, немцев-то здесь уже нет. Ну и пришлось повернуть! А истории болезней я захватила с собой.

— Вы смотрели его?

— Нет.

Я поблагодарила и пошла искать своего шофера.

Прошел час, прежде чем мы тронулись в путь,— и это был бесконечно тянувшийся час, потому что с тех пор, как я поняла, что должна, не теряя ни одной минуты, ехать к Репнину, все стало происходить в тысячу раз медленнее, чем прежде. Медленно делал что-то с машиной шофер на дворе, ушла за инструментами и тысячу лет не возвращалась сестра. Среди только что привезенных раненых нашелся офицер, летевший вместе с Данилой Степанычем, меня провели к нему, и он долго рассказывал о том, как произошла катастрофа.

— Очнулся — лежу грудью на спинке сиденья, повезло: смягчила удар. Земля рядом, и, вы не поверите, вижу, как по травинке букашка ползет. Поднял голову,— самолет горит, людей выбросило, только один, вижу, идет весь в крови. Я ему кричу: Репнин, ложись! Не слышит. Я снова: ложись, я тебе говорю! Послушался, лег... Притащили нас потом в избу и давай, представьте себе, обливать прямо из шлангов. Боль невыносимая, все ругаются, стонут, грозят. Сосчитал я людей,— нет Репнина. Спросил у доктора, он вынул из кармана ордена, партбилет и положил на стол, так бережно, осторожно. Ну, думаю, все. И вдруг вижу — несут.

Он рассказывал неторопливо, подробно, радуясь, что все так прекрасно обошлось для него, и не замечая, что мне тяжело его слушать.

Это был почерневший от дыма бревенчатый дом с выбитыми окнами, выходившими в старый яблоневый сад. «Белегт» (занято) было написано на двери; женщина в

подоткнутой юбке, стоя на крыльце, старательно смывала мокрой тряпкой острые буквы, и я вспомнила, что на всех домах, мимо которых мы проезжали, было написано «Белегт», «Белегт». Должно быть, немцы недавно ушли из этой деревни.

Забора не было, мы въехали прямо в сад, переломанный, с жалкими торчащими ветвями. Водитель сказал: «Кажется, здесь», и толстый военврач выбежал на крыльцо и вытянулся, приняв меня за начальство.

— Майор Репнин? Да, у нас,— сказал он.

За дверью слышались голоса, но все смолкло, когда я вошла и, ища Данилу Степаныча глазами, остановилась у порога. Он полусидел, откинувшись на подушку, бледный, с забинтованной головой и не очень удивился, увидев меня, хотя узнал с первого взгляда.

— Татьяна? — слабым голосом спросил он.— Может ли быть?

Я подсела к нему.

— Она самая, Данила Степаныч.

— Вот видите, я же говорил, что мы еще встретимся. Помните, когда заходил к вам в Москве?

— Помню, Данила Степаныч. Ну, как вы?

— Хорошо. А теперь, когда вы приехали,— еще лучше. Татьяна, а может быть, это не вы?

— Я.

— Ну, тогда еще повоюем. А то лежишь и все думается: что, брат, кажется, худо? Гоняется костлявая и, кажется, догнала.

В комнате было душно, солнце ярко светило сквозь разбитые окна, и над Данилой Степанычем жужжали блестящие черные мухи. Я прогнала их, но они снова вернулись.

Раненые давно не смотрели на нас, а давешний толстый врач деликатно отвернулся, хотя ему хотелось — я это видела — поговорить со мной.

— Вот странно, Татьяна, вы явились, и я сразу почувствовал себя виноватым — не перед вами, конечно, а перед Машей. Но я, честное слово, не виноват. Если бы это зависело от меня, я бы ни за что не разбился. Тем более что это мне и не положено. Ведь я как-никак танкист, а не летчик.

Лучше бы он не шутил, лучше бы не улыбался так робко! Я тоже улыбнулась и встала, чтобы поговорить с врачом.

Данила Степаныч не вскрикнул, не застонал, когда солдаты переносили его в машину — не санитарную, а обыкновенную грузовую, покрытую натянутым на каркас полотном, в котором было слюдяное окошко. И потом, когда мы выехали и машину стало подбрасывать на неровных, уложенных из хвороста гатях, он молчал и только крепко сжимал мою руку.

— Вы расскажете ей, Татьяна? — Он сказал это громко и повторил, чтобы я не подумала, что он бредит.

— Кому?

— Машеньке.

— Вы ей сами расскажете.

— Хорошо, я сам. Но и вы.

— Непременно. Вы увидите ее прежде меня.

— Конечно. Но все-таки. Вы поможете ей?

— Полно, Данила Степаныч.

— И детям. Боже мой, детям.

Он сжал зубы, но не заплакал, а только скорбно покачал головой.

— Ладно. Где Андрей Дмитрич? На фронте?

Я ответила:

— Да.

— Я тогда в Москве его статью прочитал и потом все перелистывал газеты — не встречу ли снова?

— Он не писал последнее время.

— Не писал? Что вы так пригорюнились, Татьяна? Расскажите мне что-нибудь.

— Хорошо, Данила Степаныч.

Я сидела подле него на каких-то узлах, которые врач просил передать в санпоезд, и говорила, говорила без конца,— лишь бы он слушал меня, лишь бы не искажалось от боли белое, в наступившем полумраке, лицо.

Все темнее становилось в машине, должно быть, мы въехали в лес или наступил вечер, хотя трудно было представить, что стемнело так быстро. Наверное, я задремала, потому что равномерный грохот мотора превратился в шум воды, которая свивалась в закипающие белые бревна и катила их на скалы одно за другим. Это была Анзерка, Крутицкий порог, и Андрей, расстроенный, усталый, шел по высокому берегу, а я бежала за ним. «Андрей, подожди!» Но он уходил, не оборачиваясь, опустив голову, по каменистой тропинке, к варницам, где виднелся навес на столбах и под навесом вспыхивало дымное пламя. Потом все смешалось, и уже не Андрей, а молодой казах смотрел на

меня, сжимая побелевшую челюсть. И другие раненые, поднимаясь на койках, смотрели мне вслед — не было ни одного, который не проводил бы меня укоризненным взглядом. И я шла все быстрее, потом побежала, схватившись руками за голову, и снова увидела вдалеке между коек Андрея, который наконец обернулся ко мне.

Нужно было проснуться немедля, сию же минуту, чтобы не услышать от него что-то страшное, непоправимое — то, что уже начали выговаривать дрогнувшие губы,— и я заставила себя открыть глаза, унимая сердце, вся в холодном поту.

Репнин лежал, закинув голову, и сразу открыл заблестевшие глаза, точно ждал моего пробуждения.

— Проснулись, Татьяна? Я не хотел будить вас.

— Я долго спала?

— Не знаю, кажется, долго.

— Ну, как вы, Данила Степаныч?

— Хорошо.— Он улыбнулся. Машину подбросило, и он прикусил губу.

— Очень больно?

— Нет. Вы говорите, ладно? Возьмите опять мою руку. Ох, сколько я вам наделал хлопот!

И я снова начала говорить, не знаю о чем, все равно о чем, лишь бы кончилась наконец эта ночь, этот сумрак машины с убегающим, качающимся в мутном окошечке лесом. Ветки стали хлестать по кузову, как будто кто-то хотел остановить нас длинными зелеными руками; и я говорила теперь, стараясь заглушить эти хлещущие, рвущиеся и трепещущие звуки.

Слабый свет окрасил слюдяное окошечко. Это значит, что светает? Или мы проехали через лес? Машина остановилась, водитель соскочил и, подойдя к кузову, поднял полотнище.

— Ну, как вы там?

Я спросила, почему мы остановились, и он ответил с мягким сожалением:

— Придется подождать.

Была еще ночь, но как бы дрогнувшая, отступившая перед возникающим откуда-то издалека светом зари. Мы выехали из лесу, но впереди снова синел лес, и на дороге, уходящей в этот лес, окутанный пеленою тумана, в два и три ряда стояли машины; их было много, и они стояли так неподвижно-мертво, точно на свете не было силы, ко-

торая заставила бы их тронуться с места. Не знаю, что это была за часть — танки, но и обыкновенные грузовики, на которых, прикрытые брезентом, стояли какие-то странные орудия, похожие на опрокинутые книжные полки. Людей не было видно, но когда я подошла поближе, на обочинах, поросших травой, показались смутные, неотчетливые фигуры танкистов; они лежали и сидели в траве, и у них был ужаснувший меня, ничего не ожидающий вид.

Я вернулась к Репнину, сказала, что водитель хотел объехать военную часть, стоявшую на дороге, но я не позволила,— боюсь, растрясет. До Шилова уже недалеко, так я сказала ему. Мы, конечно, поспеем к утру, и даже лучше, если придется постоять, потому что можно впрыснуть камфору и вообще отдохнуть от тряской дороги.

Это было странно, но никто не удивился, не принял меня за сумасшедшую, когда я спросила, скоро ли часть отправится дальше и нельзя ли, чтобы она отправилась скоро. Коротенький загорелый танкист сказал:

— А вы сами кто будете?

Я объяснила, что врач и везу в грузовике раненого офицера. Он в тяжелом состоянии, нуждается в срочной операции — нельзя ли поэтому как-нибудь пропустить нашу машину? Или, может быть, можно разрешить перенести его в головную машину и на ней доставить до станции Шилово, через которую в восьмом часу утра пройдет санитарный поезд?

Танкист покачал головой, и те, что лежали в траве и поднялись, когда я подошла, тоже покачали, как люди, которые, если бы даже и очень хотели, все равно ничем не могли мне помочь.

— Конечно, возможно, что двинемся вскоре, да ведь кто ж его знает. А перенести — что за толк? Если головная пройдет — и мы за ней. Там с мостом катавасия.

Подошли другие солдаты, и я снова объяснила, почему к утру нам нужно поспеть в Шилово, и коротенький танкист помогал мне рассказывать и даже кое-что рассказал за меня.

— Подполковник спит? — спросил он, оглянувшись и найдя в толпе того, кто мог ответить на этот вопрос. Из толпы, сказали, что нет.— Тогда проводи ее, Пчельников, может, он и придумает что-нибудь. Едва ли, конечно.

Смуглый, широкоскулый офицер в фуражке, сдвинутой на затылок, встал и широко шагнул мне навстречу. Он выслушал меня внимательно, но с каким-то недоуменным выражением, всматриваясь и, кажется, сомневаясь, верить глазам или нет.

— Татьяна Петровна? — вдруг спросил он.

— Вы знаете меня?

— Конечно же, боже мой! Я в госпитале на Беговой лежал, но вы меня, без сомнения, не помните. Баруздин. Вы меня лечили.

Нужно было хоть из вежливости сказать, что я помню его, хотя на Беговой под моим наблюдением было по меньшей мере пятьдесят человек. И я сказала, хотя не было сил притворяться:

— Конечно, помню. Как хорошо, что я встретила вас, если бы вы только знали!

Я обеими руками взяла и крепко прижала к груди его руку.

— Успокойтесь, Татьяна Петровна. Куда вы едете и чем я могу вам помочь?

— Я везу раненого. Он танкист, как и вы, он майор, фамилия Репнин. Не обращайте внимания, что я плачу, это скоро пройдет. Вы понимаете, он разбился и мало надежды, потому что сердце и сейчас уже работает плохо.

У меня язык почему-то ворочался с трудом, и раза два захотелось засмеяться, что было уже совсем плохо, потому что я помнила еще со студенческих лет, что смех пополам со слезами называется истерией.

— Нужно доставить его в Шилово.— Это, кажется, было сказано твердо.— В восьмом часу через Шилово пройдет санитарный поезд. Мы могли бы успеть, если бы не ваши машины. Ждать нельзя, может быть, и теперь уже поздно! Это счастье, что я встретила вас.

Забыла сказать, что, когда я уходила, Репнин попросил меня вынести его из машины.

— Ведь неизвестно же, правда, сколько мы простоим?

Это было сложно, потому что еще в селе койку прочно прикрепили к кузову, и пришлось терпеливо развязывать затянувшиеся в дороге узлы. Но, должно быть, Даниле Степанычу очень хотелось полежать на поляне, потому

что, когда мы вынесли его и я хотела отстранить коснувшиеся его лица травинки, он покачал головой и сказал чуть слышно:

— Не надо.

...Солнце, поднимавшееся за лесом, нежно скользнуло по заблестевшей поляне, и я издалека показала подполковнику койку, чуть заметную среди высокой травы.

— Вижу, вижу.— Я не поспевала за ним.— Ничего, обойдется. А насчет дороги — будьте покойны! До Шилова через лес не более пяти километров. В крайнем случае мои ребята перетащат вашего раненого на руках, вот и вся недолга.

Мы подошли, и он вдруг замолчал, остановившись в двух шагах от Данилы Степаныча.

— Ничего, он не спит. Данила Степаныч, посмотрите, кого я привела к вам. Это подполковник Баруздин, мой пациент, я его лечила.

Репнин лежал вытянувшись, закинув под голову здоровую руку.

— Это чудо, что мы встретились, настоящее чудо. Рано утром мы будем в Шилове, а там — в санитарный поезд... Почему вы молчите?

Опять не ответил. Улыбка чуть тронула губы, и спокойное, усталое выражение остановилось на тонком лице.

— Татьяна Петровна,— негромко сказал подполковник. Он опустил голову. Водитель, подойдя, тоже опустил голову, и оба почему-то сняли фуражки.

— Да что вы! Нет, нет. Это просто обморок. Данила Степаныч, не пугайте меня. Почему вы молчите?

А утром дорога свободна, и я везу его в Шилово. Приходят солдаты с носилками, и раненые, лежащие на дворе, провожают носилки тревожным и сочувственным взглядом. Идти недалеко — два шага, и уже видны невысокие могильные холмики среди расщепленных сосен в черном обожженном лесу. Военком идет за покойником да старый друг — который принял его последний вздох, закрыл глаза, сложил остывшие руки. Это все, что подарила ему судьба. Могила готова. Опущен, зарыт. Зеленая ветка воткнута в маленький холм — быть может, последняя в этом черном, обугленном, мертвом лесу.

Через несколько дней после возвращения в Москву мне удалось попасть к следователю, которому было поручено дело Андрея, и он сказал, что письмо академика Никольского и других, «о котором вы, без сомнения, знаете», получено и будет принято во внимание.

— Я рад,— он был очень вежлив,— что работа Андрея Дмитриевича получила столь высокую оценку со стороны видных ученых.— Он предложил мне папиросу, и, когда я отказалась, сам неторопливо закурил.— Правда, это обстоятельство не имеет никакого отношения к его делу, но тем не менее...

Я спросила, когда будет кончено следствие, и он ответил, тоже очень вежливо, что нет оснований полагать, что следствие не уложится в срок, установленный законом.

— Передачи разрешены?

— Да.

— Переписка?

— Тоже.

Я спросила: можно ли в ближайшее время рассчитывать на свидание, и он ответил, что «ближайшее время — понятие неопределенное», но что если следствие закончится в так называемое «ближайшее время», то вскоре последует и свидание... Злая ирония промелькнула в последних словах, и мне на мгновение стало страшно, что эта встреча со следователем, добиться которой было так тяжело, даже самым отдаленным образом не коснулась того, что произошло с Андреем, и представляет собою, в сущности, просто какую-то постыдную пустую игру. Я ушла подавленная, с испуганно сжавшимся сердцем.

Меня радостно встретили в институте, точнее сказать, в лаборатории, потому что в институте за годы эвакуации появилось немало новых сотрудников, и почему они, собственно говоря, стали бы приветливо встречать человека, которого совершенно не знали? Что касается старых... Какая-то неуловимая неловкость теперь мелькала в наших отношениях — то принужденное желание подбодрить, то

обижавшая меня сдержанность — совершенно напрасная, потому что я ни у кого не искала утешения. Так было первые два месяца после возвращения с фронта, когда ощущение бесспорной удачи было еще свежо и чувствовалось всеми. Ученый совет Наркомздрава выслушал и одобрил наши отчеты. В «Медработнике» появилась большая статья, и хотя вся заслуга в распространении нового средства приписывалась академику Кипарскому, однако и наша лаборатория упоминалась в уважительном тоне. Рубакин сказал, что «все идет нормально» и что было бы даже «замечательно нормально», как говорит наш воинственный завхоз Кочергин, если бы с отчетом о поездке выступил в печати сам главный хирург.

Желание его исполнилось: не прошло и двух-трех недель, как Кипарский выпустил свои «Письма о пенициллине»...

Но вот потускнели первые впечатления удачи, и в один далеко не прекрасный день на меня пахнуло, не скажу — холодом, но тем чувством пустоты, с которым я познакомилась, когда мне впервые пришлось задуматься над общественным значением телефонного аппарата. Правда, кое-кто еще продолжал звонить из Наркомздрава, из Фармакологического комитета, но из института, кроме самых ближайших сотрудников, мне больше никто не звонил. Чувство пустоты шло оттуда, из этого дома, в котором я проработала двадцать лет и в котором всегда была сама собой, без искусственности, без напряжения. Теперь наступила пора этой искусственности, этого напряжения. Что вдруг заставило нашего Кочергина, всегда относившегося ко мне с нескрываемым и даже немного глуповатым почтением, пробормотать что-то невнятное и торопливо пройти мимо меня с опущенной головой? Что принудило Зубкова, умного, острого и, в общем, вполне порядочного человека, любившего рассказывать о том, как ему с моей помощью удалось «найти себя» в биохимии (он был паразитологом), без всякого повода, грубо отказаться от работы, которую я поручила ему неделю назад? Точно надо мною возник невидимый знак, заставлявший одних обходить меня на почтительном расстоянии, а других — относиться ко мне с необъяснимым предубеждением и даже, может быть, страхом.

Глухая борьба шла в институте, доносясь до меня то знаменательным отсутствием моего имени в официальных отчетах, то обидами, которые терпели из-за меня Володя

Мерзляков, Коломнин, Катя Димант — сотрудники, давно ставшие моими друзьями. Рубакин вдруг появился с забинтованной правой рукой, и Катя шепнула мне, что он разбил руку, ударив ею по столу на заседании парткома. Как случилось, что Петр Николаевич, никогда не повышавший голоса, вышел из себя и потерял прославившее его равновесие? Не знаю. Он и сам не говорил и запретил Лене говорить об этом со мной. Но разговор на парткоме шел обо мне.

Было уже поздно, и, когда раздался звонок, я подумала, что это кто-нибудь из соседей, хотя соседи в последнее время заходили все реже. Отец открыл дверь, в передней послышался женский голос. Я вышла и увидела Глафиру Сергеевну, очень располневшую, в темном платье, без шляпы. Она держала какой-то сверток, перевязанный ленточкой, должно быть из магазина, и, точно испугавшись меня, поспешно положила его на подзеркальник.

— Не нужно смотреть на меня такими глазами, а то я могу уйти,— быстро сказала она.— И будет жалко и вам и мне. Мне — потому что надо же хоть раз в жизни сделать доброе дело, а вам... Ну, это неизвестно, может быть, я еще ничего не скажу.

Я пригласила ее зайти. Мы сели в столовой, и, должно быть, я все еще продолжала смотреть на нее с изумлением, потому что она сама вдруг взглянула мне прямо в лицо. У нее в глазах всегда было что-то неподвижное, мрачное, но теперь этим мрачным огнем было озарено все погрубевшее лицо с тяжелыми складками на подбородке, с опустившимися углами губ, как у человека, привыкшего плакать.

— Это ваш отец? — вдруг спросила она. (Отец вошел и вышел.) — Я помню его еще по Лопахину. У нас ведь в Лопахине лавка была, и он одно время служил в этой лавке. Моей мачехе — она вела дело — пришло в голову, чтобы в нашей лавке, как в Москве у Мюра, швейцар открывал покупателям двери. И вот ваш отец, на удивление лопахинцам, одно время стоял у дверей и, кажется, был очень доволен. А потом он, помнится, что-то сделал... Да, вспомнила: пропил ливрею,— сказала она со смехом.— И бесследно пропал.

— Глафира Сергеевна, простите, я устала, у меня был очень тяжелый день. И если вы пришли для того, чтобы...

Она перебила меня:

— Нет, нет. Я знаю, вы думаете, что я плохой человек. Это верно. Но мне, видите ли, было трудно понять, что я плохой человек, а ведь это само по себе доказывает... Татьяна Петровна, дайте мне чашку чаю,— вдруг попросила она,— а то я сегодня с утра хожу по Москве. Вот в лимитном, например, купила шелку на платье, думала, станет легче, это у меня прежде бывало. Нет, не стало.

Я пошла за чаем и, вернувшись, увидела, что она сидит, подняв голову, с закрытыми глазами.

— Да, чтобы не забыть! У вас давно не было писем от Мити?

— Вовсе не было, только с дороги.

— Тогда нужно узнать, вот только не знаю, где. С ним что-то неладно.

— Как неладно? Что вы хотите сказать?

— Бог с вами,— испуганно сказала Глафира Сергеевна,— вы побледнели. Ничего особенного. Просто как-то между прочим *он*...— это «он» было произнесено с ударением, и я поняла, что она говорит о Крамове,— *он* сказал, правда, неопределенно, что там, в Митиной экспедиции, что-то случилось. Я тогда же решила непременно вам сообщить, чтобы вы разузнали. Я беспокоюсь,— прибавила она просто.— Я ведь все-таки привязана к вашей семье.

Глафира Сергеевна выпила чай и с сомнением поглядела на хлеб. Потом взяла ломтик и на него тоже посмотрела с сомнением, точно не знала, сумеет одолеть его или нет.

— Но я почему-то думаю, что с Митей все будет прекрасно. Он любит жизнь, он счастливец, и, в сущности, ему не повезло только со мной. Правда, крупно. Но он справился. А *новая* его — он мне рассказывал — совсем другая. Ей, кроме любви, ничего не надо. Простите, что я так много болтаю,— прибавила она с изяществом, напомнившим мне былую Глафиру.— Я ведь всегда одна и всегда молчу, *с моим* не наговоришься. Да, вот теперь о нем. Я уж не знаю, чего вы там не поладили,— сказала она, небрежно оглянувшись, но в самой этой небрежности было что-то осторожное, страшное, точно она думала, что еще кто-то слышит ее и следит за каждым ее движением,— но он вас ненавидит. Вот говорят, что нужно уметь любить,— я-то никогда не умела,— добавила она,— но по нему видно, что нужно уметь и ненавидеть. И что ни год,

то пуще, особенно после того, как вы над ним посмеялись.

— Когда?

— Да вот, когда приезжал к нам этот, не помню фамилии, английский ученый. Он ведь был у нас, да какой-то оказался чудак, то есть с точки зрения Валентина Сергеича. А может быть, просто хороший? Это ведь карта была — англичанин-то, и козырная, а вот поди ж ты, вы ее побили. На всякого мудреца довольно простоты,— сказала она, улыбнувшись.— Мне иногда даже приходило в голову, что вы и вовсе не подозреваете обо всей этой игре. Вы подозревали?

— Не подозревала, а прекрасно знала и боролась, сколько могла. И не без успеха.

— Нет, без успеха,— сказала Глафира Сергеевна.— Вы его еще не знаете. Вам только одно может помочь — его смерть, а иначе он все равно добьется, уж не знаю чего — унижения, уничтожения, а только тоже смерти, не физической, так душевной.

Я посмотрела на нее, и мне стало страшно: так равнодушно говорила она о человеке, который был ее мужем, то есть самым близким человеком на свете.

— Я ведь к вам не просто так пришла, а по делу. Постойте, у меня записано.— Она расстегнула сумочку и достала блокнот.— Первое — Митя. Теперь второе. Вы думаете, может быть, что этот удар — я имею в виду арест Андрея — направлен против него, то есть что хотят *его* уничтожить? Нет, вас. То есть, разумеется, и его, но это попутно. Что вы смотрите на меня? Я в здравом уме и твердой памяти. И все, что я говорю, хотя на первый взгляд и бессвязно, но на самом деле обдумано. Тщательно и давным-давно, еще в тот день, когда я узнала, что его посадили. Ох, я взвилась в этот день! — сказала она, подняв брови с печальным и удивленным выражением.— Сама не ожидала, честное слово. Вы знаете, Татьяна Петровна, живого во мне немного осталось, но это взяло меня за живое. Правда, в прошлом году, когда у него в институте была эта история с сыпным тифом, я еще тогда подумала, что едва ли они не воспользуются этой историей.

— Кто они?

— Ну, кто? Скрыпаченко, конечно,— сказала Глафира Сергеевна на этот раз торопливо, точно боясь, что кто-то помешает ей договорить до конца,— и Крупенский, и

Мелкова. Но тогда, по-видимому, материала было маловато.

— Какого материала?

Она улыбнулась, но глаза остались неподвижно-мрачными на желтом, отекшем лице.

— Материала для следствия,— сказала она.— И вся эта банда, я уверена, сегодня сидит у нас и торжествует.

— Почему торжествует?

— А потому, что дела идут и даже очень. Вы смотрите с удивлением, вам трудно поверить?

— Да нет, не трудно, но когда я думаю о Валентине Сергеевиче...

— Представьте себе, да,— живо отозвалась Глафира Сергеевна.— Причем очень характерно, что даже вам это кажется странным. Уж кто, кто, а вы, кажется, должны были бы... Вы думаете, он не может зарезать?

— Как зарезать?

— Очень просто. И знаете ли, что я вам скажу,— помолчав, продолжала Глафира Сергеевна,— таких, как он, сотни. Куда там,— тысячи! И они держатся друг за друга. Боятся и ненавидят и все-таки ох как держатся, как старательно прикрывают друг друга!

Она помолчала. Она была в платье с короткими рукавами, и полные, еще красивые руки были открыты почти до плеч.

— И его зарежут.

— Кого?

— А Валентина Сергеича! Ведь это только кажется, что он в этой компании главный. Командуют-то они, а он только делает вид, что главный. Он им надоел.

— Как надоел?

— Очень просто. Он все-таки вежливый и действует не торопясь, старомодно, и с ним нужно долго разговаривать и поддерживать эту игру. А они торопятся. Им, в сущности, только его слава нужна, а его самого они хоть сейчас выбросили бы на помойку. И еще выбросят. Я, впрочем, этого уже не увижу.

Мне вспомнился разговор с Рубакиным прошлой зимой, когда я жаловалась ему на «слухи», мешавшие нам работать над крустозином.

— Вот. Теперь слушайте.— И Глафира Сергеевна нервно расстегнула и застегнула сумку (она пришла с большой, изрядно поношенной сумкой и во время нашего раз-

говора не выпускала ее из рук).— Самого главного я вам еще не сказала. Они сделали так, что Андрея не могли не арестовать. Это было бы чудо.

— Как не могли?

— Подумайте сами: если, по крайней мере, три свидетеля, да еще всеми уважаемых, известных в науке, в один голос утверждают, что он совершил преступление,— у кого же хватит смелости не посадить его? Тем более что для того, чтобы посадить, никакой смелости не надо! Я сама все это раскумекала,— с оттенком трогательной гордости сказала Глафира Сергеевна.— Правда, не сразу, а постепенно, потому что сразу мне было бы не под силу. Сперва разговоры подслушивала, хотя и с трепетом, потому что я ведь его очень боюсь. Ах, если б вы знали, как я его боюсь,— сказала она, крепко прижав к груди полные руки.— Бывало, он спит — маленький, крепенький, бледный, головка торчит из-под одеяла, а я смотрю и не могу уснуть от страха, от отвращения. Конечно, можно бы и не подслушивать — другая жена, пожалуй, была бы и так в курсе дела,— но ведь он сразу же меня за дверь выставлял, когда к нему эти скоты приходили. Вы знаете, что я сделала сегодня, когда уходила? Все его бумаги — а они у него всегда так аккуратно, листик к листику уложены — перепутала и перемешала. А по большому стеклу на столе, которым он почему-то очень дорожит, ударила пресс-папье и разбила.— Она коротко засмеялась.— Да, вот так. Только вы не подумайте, что это были откровенные разговоры, то есть что Скрыпаченко или кто-нибудь другой приходил и спрашивал: «А что, не посадить ли нам некоего доктора Львова?» Это были разговоры обходительные, дальновидные, так что даже трудно было, собственно, понять, о чем идет речь. Правда, подчас прорывалось нечто профессиональное, но редко. Например, этот Скрыпаченко однажды так и сказал об Андрее: «на него есть материал». Вот этот материал они и подбирали, да не просто подбирали, а притворяясь перед собой, что они оказывают государству большую услугу. Но кончалось всегда непременно тем, что кто-нибудь — только не Валентин Сергеевич — брал перо и бумагу и писал. А если не получалось что-нибудь, комкал и бросал в корзину. Кто это у вас за дверью стоит?

— Никто не стоит.

— Нет, стоит, я слышу.

За дверью стоял отец, и, выйдя к нему, я сказала гром-

ко, чтобы он ложился спать, а потом тихо, чтобы он позвонил Рубакину и сказал, что я прошу его немедленно приехать.

Вероятно, он позвонил не сразу или Рубакина не было дома, потому что прошел добрый час, а мы с Глафирой Сергеевной все еще оставались одни. И мне даже несколько раз померещилось, что она не уходит так долго потому, что ей некуда уйти от меня. Разговаривая со мной, она спросила, где телефон. Я показала и предложила проводить, но она качнула головой и пробормотала: «Потом», а потом как будто забыла. Она была очень подавлена, и по глазам с распухшими, покрасневшими веками видно было, что она плакала или, может быть, несколько ночей не спала. Ей нездоровилось, она часто прижимала руки к груди, как будто хотела успокоить сердцебиение, и странное выражение скользило в эти минуты по ее одутловатому лицу с глубокой складкой на обвисающей шее. Она старалась справиться с болью в сердце, и в том, как она это делала, видна была гордость униженного, но не потерявшего достоинства человека. Она говорила о себе, и я не понимала, поражалась, почему эти глубоко личные обстоятельства жизни, которые всегда остаются неизвестными, потому что они касаются мужа и жены,— почему все это было рассказано мне, человеку постороннему, чужому и не любящему — она это знала — Глафиру Сергеевну?

Потом я поняла: у нее никого не было — ни друзей, ни знакомых. Она была одна, как бывает один-одинешенек человек в пустыне, раскинувшейся вокруг него на тысячи километров. Она была одна, живя в центре Москвы, на прекрасной улице, где кипела, не унимаясь ни на мгновенье, сложная, многосторонняя жизнь. Она была одна в огромном доме, где росли дети, работали люди, где тысячи мужчин и женщин были заняты своими мыслями, заботами, делами. Она сама сказала мне об этом: «Я ведь одна» — и прибавила с горькой улыбкой: «Ко мне иногда только Раевский заходил, знаете, был такой человечек? Но Валентин Сергеич запретил, и он перестал, а потом, кажется, умер».

Это было не просто грустно — то, что я услышала от Глафиры Сергеевны. Это было так, как будто мне сказали, что рядом со мной, под боком, идет совсем другая жизнь — другая не потому, что она чем-то отличалась от той, которой жила я и сотни тысяч обыкновенных людей, а потому,

что она *ничем* не походила на нашу жизнь, точно происходила в другое время, в другой стране, в древнем Китае, например, где били палками по пяткам за неповиновение богдыхану.

Никого, разумеется, не били в почтеннейшем доме Валентина Сергеевича Крамова, и даже представить это себе было как раз невозможно. Все совершалось неторопливо, с предупредительностью людей, глубоко уважающих друг друга. «Брак основан на вежливости»,— сказал однажды Валентин Сергеевич. Но вежливость эта была хватающей за горло, а точность — все в доме происходило в один и тот же навсегда назначенный час,— точность эта напоминала Глафире Сергеевне один рассказ (название она забыла), в котором над горлом осужденного ходит маятник-нож, с каждой минутой опускаясь все ниже. Несколько раз она пробовала стряхнуть с себя этот мираж, выйти из этого заколдованного круга. Куда там! Дважды она принималась пить, и во второй раз, в общем, пошло, хотя водка всегда вызывала у нее отвращение. Но пить незаметно, то есть скрываясь от Валентина Сергеевича, было немыслимо, невозможно. А пить при нем... ну, разве мог он допустить, чтобы на его кристальное имя упала хотя бы легкая прозрачная тень? По той же причине он раз и навсегда запретил ей ходить в церковь — «а ведь это для многих женщин, особенно одиноких,— с глубокой уверенностью сказала Глафира Сергеевна,— все-таки облегчение, утешение». Валентин Сергеевич был безгрешен и настоятельно требовал такой же безгрешности от жены. А то, что вся его, на первый взгляд, содержательная, общественно-полезная жизнь была, в сущности, жизнью разбойника на большой дороге,— это нисколько не мешало благополучной чистоте его уютно-размеренного существования.

— Вот теперь, я знаю, вы хотите спросить, почему я вдруг все это именно вам рассказала? Почему молчала столько лет, а тут вдруг взяла да и выложила? А потому, что хотя эта двойная жизнь, в общем-то, уже давно началась — а все же не всегда было так. Он был все-таки другой, когда я за него выходила. Тогда не было страха, не было предчувствия, что все может рухнуть, и — боже сохрани — не придется ли расплатиться?

Она оглянулась, точно ища кого-то глазами, потом быстро открыла сумку и достала какие-то исписанные вдоль и поперек листы измятой бумаги.

— Вот это из корзины,— шепотом объяснила она.

Ей было трудно, руки дрожали. Потемневшее лицо на мгновенье стало властным, с крепко сжатым решительным ртом. Но тут же она снова оглянулась и с просящим, робким выражением протянула ко мне дрожащие руки.

— Только вы... я хочу сказать, вы не должны... Впрочем, теперь это уже безразлично.— Она положила листки на стол передо мною.— Это то, что они писали об Андрее, конечно, черновики и далеко не все, но, как видите, немало. Вы потом прочтете, когда я уйду. В общем, я подумала, что если вы будете знать, в чем его обвиняют, может быть, вы как-нибудь...— Она закрыла сумку и сразу же снова нервно открыла.— Да, вот еще. Вас могут спросить, откуда вы все это знаете? Тогда просто скажите... тогда прямо назовите меня.

Я молчала до сих пор — не потому, что мне нечего было сказать, а потому, что Глафира Сергеевна говорила, почти не переводя дыхания. Теперь я встала и молча поцеловала ее. Она не ответила, и мертвенно-неподвижно было ее лицо, сурово очерченное тенью под глазами и на впадинах щек.

— Надо идти.— И она снова открыла сумку.— Вот тут у меня письма неотправленные,— сказала она как будто самой себе, но, кажется, для того, чтобы и я знала, где у нее лежат неотправленные письма.— Бог даст, все еще будет хорошо. Андрей ваш вернется. Он меня никогда не любил — и поделом. А теперь вот вы расскажите ему, как я для него постаралась. Может быть, я ему покажусь уж не так и плоха! — Она улыбнулась простодушной, осветившей лицо улыбкой, и это было мгновенье, когда ее красота сверкнула в последний раз и погасла.— А Мите передайте...

— Да что вы так говорите, Глафира Сергеевна? Вы же сами сказали, что все еще будет хорошо. Я верю, мы все еще придем к вам. И Андрей и Митя.

— Милости просим. Нет, я просто так. Не на память. У меня ведь детей нет, а жалеть кого-нибудь надо. Я и Митю очень жалела потом, когда мы уже разошлись, и раскаивалась, что так долго мучила его и терзала. А потом стала думать, что все к лучшему, потому что он ведь все равно бросил бы меня, когда я стала так безобразна. Вы скажите ему, что если я любила кого-нибудь в жизни, так

его,— сказала она, подумав и грустно улыбнувшись, как будто и теперь еще не была уверена в том, что любила Митю.— Да, его.

— Глафира Сергеевна, останьтесь у меня. Вы расстроены, устали. Побудьте со мной. Я не говорю,.. не могу сейчас говорить о том, как я вам благодарна. Я ваш друг теперь и очень, очень прошу — останьтесь.

Она покачала головой.

— Не могу.

— Я не отпущу вас.

— Нет, надо идти. Ваш отец спит? Пожалуйста, извинитесь за меня перед ним. Я неловко о нем рассказала.

Я закрыла за ней и не сразу вернулась, немного постояла в передней. Было уже поздно. В нашем доме сквозь тонкие стены всегда доносились какие-то звуки — то радио из соседней квартиры, то голос с лестницы, то хлопанье двери в подъезде, а сейчас все было тихо, и я стояла в передней, прислушиваясь к этой непривычной тишине, от которой стало тревожно на сердце. Отец позвал меня, я зашла к нему, но ничего не стала рассказывать и только спросила, точно ли, что он позвонил Рубакиным. Это было странно, что они не пришли. Потом вернулась в переднюю и с трудом удержалась, чтобы не открыть входную дверь — мне почему-то почудилось, что Глафира Сергеевна еще не ушла, а стоит на площадке, облокотившись о перила и беспомощно глядя в темный провал лестничной клетки. Может быть, не следовало оставлять ее одну? Но, кажется, ей не хотелось, чтобы я знала, куда она пойдет от меня. И, упрекая себя, что я все-таки не предложила ее проводить, я вдруг увидела лежавший на подзеркальнике сверток из магазина, который забыла у меня Глафира Сергеевна.

Это были немногие мгновенья, промелькнувшие в тысячу раз быстрее, чем я о них сейчас рассказала, и когда, схватив сверток, я крикнула с площадки: «Глафира Сергеевна!», у меня не было ни малейших сомнений в том, что она отзовется. Но очень тихо было на лестнице, еле освещенной синей лампочкой, горевшей на втором этаже, и только мягко и страшно темнел глубокий колодец лестничной клетки.

— Глафира Сергеевна!

Я побежала вниз и остановилась. Мне померещился стон, далекий, еле слышный.

— Глафира Сергеевна!

Тишина. Я перевела дыхание. Внизу хлопнула парадная дверь. «Ушла?» — подумала я и стала торопливо спускаться. Какие-то люди шли мне навстречу, переговариваясь взволнованными голосами. И вдруг уже не стон, а дикий, бессознательный, мгновенно оборвавшийся крик раздался в подъезде. И, схватившись за перила, я замерла с обомлевшим, затрепетавшим сердцем. Люди, которые поднимались по лестнице и были уже в двух шагах от меня, повернулись и побежали вниз, а я опрометью бросилась вслед за ними.

Она лежала в нише, устроенной, должно быть, для лифта, который в нашем доме начали строить перед войной. Рубакины (это были они) прошли, не заметив ее потому, что ниша была в тени под лестницей, и еще потому, что в слабом синеватом свете видны были только неестественно раскинувшиеся полные руки. Она лежала, точно пытаясь встать, точно рванувшись куда-то, и ее можно было узнать только по этим красивым рукам, на которые я все смотрела во время нашего разговора.

Верное дело

Опущу другие события этой ночи. Спор с врачом неотложной помощи, бесконечное, до поздней ночи, составление протокола... Отец испугался, что меня хотят арестовать, и набросился на милиционера, который сам испугался, когда маленький взъерошенный человечек в халате, багровый, с измятыми усами, влетел в переднюю, крича, что он не допустит беззакония и что его знает весь Советский Союз.

— Да что вы, папаша,— убеждал его добродушный милиционер,— да бог с вами, папаша!

А я пока прятала от посторонних глаз бумаги, которые оставила у меня Глафира Сергеевна.

Рубакины отвезли ее домой. Лена осталась подле умирающей, Петр Николаевич поднялся, чтобы предупредить Крамова, и вернулся потрясенный — с таким самообладанием выслушал его Валентин Сергеевич. Он только болезненно сморщился и сделал несколько падающих шагов, схватившись за сердце. Рубакин подхватил его, подвел к стулу, и он посидел несколько секунд, согнувшись и втянув голову в плечи. Это было все — одна минута слабости,

только одна! И вот он уже встал и, крепко ставя ноги, пошел навстречу санитарам, осторожно поднимавшим по лестнице свою страшную ношу.

Розовая девушка-лейтенант в отделении милиции, задумчиво напевавшая что-то во время допроса и, видимо, куда больше занятая событиями личной жизни, чем событием, «имевшим место ночью 15 июля в доме № 6 по Серебряному переулку», сказала, что я могу не беспокоиться, поскольку факт самоубийства подтвержден письмами, найденными в сумке покойной.

— Покойной? Она умерла?

— Скончалась в пятом часу утра,— осторожно сказала девушка-лейтенант, видимо не зная, как я отнесусь к этому сообщению.— Супруг звонил и, между прочим, просил освободить вас от формальностей. Но мы, конечно, не можем освободить, хотя и не сомневаемся в вашей непричастности к делу.

И формальности заняли еще добрых часа два с половиной.

Весь следующий день мы провели за чтением — точнее сказать, за изучением — тех скомканных, видимо вырванных из большого настольного блокнота, листов бумаги, которые передала мне Глафира Сергеевна. Это были черновики какого-то, я бы сказала, доноса, если бы в каждой фразе не было сделано решительно все, чтобы в голову не пришло это слишком откровенное слово. Со всей видимостью строгой научной логики черное определялось как белое и белое как черное в этой безыменной записке, направленной неизвестно куда. Не личная, нет, государственная заинтересованность была видна в каждой строке, на каждой странице! Это был донос-шедевр, составленный в такой искренней, осторожной, тщательно обдуманной форме, что, только читая заключительные фразы, вы начинали ясно понимать, что перед вами не что иное, как беспощадный обвинительный акт.

В чем же эти люди обвиняли Андрея? Почему они сочли своим общественным и политическим долгом обратить внимание соответствующих органов на деятельность А. Д. Львова, давно внушавшего им сомнения, а в последние годы и подозрения? Под номерами следовали один за

другим преступные факты. И самое поразительное, что это были подлинные факты, оставившие отчетливый след если не в истории советской эпидемиологии, так в официальной переписке Санитарно-эпидемического управления.

В 1937 году под Рязанью на химическом заводе внезапно вспыхнула и с опасной быстротой распространилась эпидемия брюшного тифа. Как это всегда бывало в трудных случаях, Малышев послал Андрея.

Первый же взгляд на карту убедил Андрея в том, что злокозненная речка, вливавшаяся в заводской водоем, не имеет никакого отношения к вспышке брюшного тифа. Нужно было опросить заболевших: что они едят, что пьют, где работают, бывают ли друг у друга?

Таким образом он установил, что почти все заболевшие работали во вредных цехах и что они, все без исключения, пили молоко, которое полагалось им как работникам вредных цехов.

Андрей поехал на ферму: белые халаты, сверкающие окна, стены, в которые можно смотреться, как в зеркало. Ни пылинки на сепараторах, холодильниках, лабораторных столах! Можно было, конечно, проверить, нет ли среди работников бациллоносителей — так называются люди здоровые, но выделяющие болезнетворные бактерии. Он сделал это, что называется, для очистки совести — и обнаружил, что бациллоносительницей была женщина, разливавшая стерилизованное молоко, которое отправлялось в столовую завода.

Вот какова была эта история, которой в свое время справедливо гордился Андрей. Как же она была рассказана в черновике доноса?

Старая, еще с институтских времен, дружба связывала Андрея с группой санитарных врачей, работавших в заводском поселке, в особенности с неким Горяиновым, шпионом и вредителем, арестованным в 1938 году, так писал Скрыпаченко. Я не сомневаюсь в том, что именно Скрыпаченко. Этот-то Горяинов и настоял на том, чтобы в заводское водохранилище была спущена речка, что само по себе было крупнейшим санитарным упущением. Знал ли доктор А. Д. Львов, что это упущение повлекло за собой человеческие жертвы, панику в заводском поселке, бегство рабочих из вредных цехов, где было особенно много заболевших? Разумеется, знал. Но, вместо того чтобы честно установить причины эпидемии, он стал «заметать следы», высказывая невероятные, сбивающие с толку предположе-

ния, и в конце концов выгородил виновных, обнаружив какое-то фантастическое «бациллоносительство» среди работников опытно-показательной фермы, известной в области своими блестящими достижениями и награжденной орденом «Знак почета».

Не стану приводить других примеров. В Пятигорске он будто бы нарочно исказил картину холерной эпидемии, утверждая, что выделенный местными эпидемиологами эмбрион является не холерным, а холероподобным. Он настоял на отмене карантина, и, если бы не энергичные меры, предпринятые органами Наркомата внутренних дел, холерная пандемия распространилась бы по Северному Кавказу.

Особое место в доносе занимала недавняя, прошлогодняя, история, после которой Андрей ушел из Института профилактики. И как же отчетливо, как ясно была видна рука Скрыпаченко в любовной отделке деталей. Казалось бы, именно на этом «материале» проще всего было обвинить Андрея во вредительстве. Подумать только — сыпной тиф в институте, занимавшемся изготовлением сыпнотифозной вакцины! Страшная, заразная, эпидемическая болезнь в центре Москвы! Конечно, вредительство? Ничуть не бывало! Очень тонко, ни на чем не настаивая, авторы записки упрекали Андрея не во вредительстве — в невежестве. И, может быть, это было одно из самых опасных для него обвинений! В самом деле, если ученый, о котором идет речь, не только ничего не сделал в науке, но мгновенно обнаружил свою полную беспомощность, едва лишь перешел в исследовательский институт,— какова же цена всей его деятельности, которой он занимается чуть ли не четверть века? Все попытки убедить следствие, что Андрей самостоятельный, крупный работник (в том числе, разумеется, письмо Никольского и других), были заранее опровергнуты этим примером.

Не стану... Но уже не впервые останавливаю я себя, пересказывая эту хладнокровную, обдуманную клевету, разбитую на главы и подтвержденную множеством ссылок на авторитеты. Здесь было все — и расчет на невежество в сложных научных вопросах, и мнимая правдивость подробностей, и страшная логика кривды, почти непонятная, но бьющая в самую цель, в самое сердце. О необходимости ареста Андрея, разумеется, не говорилось ни слова. Но разве можно оставить на свободе чудовище, размахивающее оружием эпидемий? Разве можно пройти мимо пора-

зительного факта тончайшей маскировки этого злодея под честного советского гражданина, якобы отдающего все свои силы строительству социализма?

Такого-то числа в таком-то часу

Ученый совет Наркомздрава выражает свое глубокое сочувствие профессору, доктору наук Валентину Сергеевичу Крамову по поводу безвременной кончины его жены Глафиры Сергеевны Рыбаковой-Крамовой...

Дирекция и местком Мечниковского института глубоко скорбят по поводу смерти жены и друга профессора В. С. Крамова, последовавшей...

Партком, местком, дирекция Института имени Гамалея выражают искреннее сочувствие заместителю директора института по научной части профессору Валентину Сергеевичу Крамову в связи с кончиной...

Дирекция и местком Мечниковского института сообщают, что гражданская панихида по скончавшейся 15 июля Глафире Сергеевне Рыбаковой-Крамовой состоится на квартире покойной такого-то числа в таком-то часу...

Парадная дверь старинного дома в Федотовском переулке распахнута настежь. На лестнице в прохладной полутьме пахнет духами, должно быть от женщин, только что поднявшихся наверх, чтобы проститься с покойной. Похоронный автобус уже тут, у подъезда. Небольшая толпа любопытных ожидает выноса, прячась в тени лип от жаркого июльского солнца. Липы цветут буйно, свободно, могущественно, занятые только собой.

Женщина с усталым лицом лежит в просторной комнате с высокими овальными окнами, залитыми солнцем. Закрыты большие глаза, тени лежат на полном лице с белой повязкой, закрывшей рассеченный лоб, горькая складка у рта, как у людей, много плакавших трудными, не облегчающими сердце слезами. Не поднимет веки, не взглянет, не встанет. В молчаливом ожидании стоят вдоль стен те, кто пришел, чтобы проводить ее, и солнце медленно скользит по комнате, по цветам, установленным вдоль гроба, по сложенным крест-накрест рукам, по груди и лицу.

Маленький, в черном длинном пиджаке, с надменно

поднятой лысой головкой, Валентин Сергеевич стоит у изголовья усопшей и смотрит в ее лицо не отрываясь, сосредоточенно, бесконечно долго. Заплаканная, запудренная, с измятым, накрашенным бабьим лицом, Мелкова смотрит на него скорбными обожающими глазами — любопытно, принимала ли она участие в доносе-убийстве? Другие разбойники тоже, разумеется, здесь. Изредка проводя рукой по романтической седой шевелюре, стоит у стены Крупенский, выкатив свои сумасшедшие глаза и не чувствуя ничего,— это почти написано на его худощавом лице,— кроме скуки затянувшегося ожидания. Стоит высокий, небрежно одетый, в засыпанном пеплом и перхотью пиджаке Скрыпаченко, поджав свои тонкие губы и как бы беспомощно опустив вдоль нескладного тела длинные слабые руки.

Цветов так много, что некуда положить те, которые я принесла Глафире Сергеевне. И в ту минуту, когда мне все-таки удается найти место в ногах покойницы, чтобы положить свои розы, я ловлю, поднимая глаза, быстрый, настороженный, обеспокоенный взгляд, которым обмениваются Скрыпаченко и Крупенский. В самом деле, как случилось, что Власенкова пришла на похороны Глафиры Сергеевны? Что это значит? И если это действительно самоубийство,— о чем она говорила с Власенковой, прежде чем покончить с собой? Вздор, чепуха, неосновательные предположения! Пришла, потому что ничего не знает. Пришла, потому что даже не подозревает, что это мы сделали то, что ее муж сидит в тюрьме и будет приговорен — непременно, мы надеемся, мы уверены — к расстрелу. Пришла, потому что не имеет понятия, что это мы — мы и Крамов, который нам еще нужен,— заставили ее измучиться и выбиться из сил и трепетать ежеминутно. Пришла, потому что Глафира Сергеевна была замужем за Дмитрием Львовым, и нет ничего особенного в том, что ей захотелось отдать последний долг человеку, с которым она когда-то была близко знакома. Пришла, потому что не догадывается и не догадается никогда, что мы затеяли против нее. А мы на этот раз затеяли верное дело! Мы такие, мы умные, дельные, нам много надо, мы многое можем. Мы сотрем в порошок того, кто осмелится предположить, что для нас нет ничего святого.

Долгое ожидание, неподвижность, тишина, склоненные головы, негромкие голоса. Наконец движение сперва в толпе, истомившейся от жары и все-таки ожидающей у

подъезда, потом на лестнице, наконец, наверху, в доме, который постигло несчастье. Проходят за венками, скользят на ельнике, разбросанном вдоль ступеней. Пора в дорогу. Проносят цветы. Устроитель, толстый, седой, почтенный — каким и должен быть устроитель похорон супруги профессора, доктора наук, директора института и т. д. и т. п.— подкатывает на легковой машине и, устремившись наверх, на мгновенье останавливается в подъезде: пройдет ли великолепный глазетовый гроб через довольно узкие двери? Пройдет. И вот спускаются с цветами в руках друзья и знакомые — известные люди, видные деятели науки. С приличным кряхтеньем тащат тяжелый гроб друзья и знакомые покойной, а так как это люди в годах, а гроб тяжелый и взялись они за него неудобно, на помощь бросаются рабочие похоронного бюро, взявшего на себя почетную обязанность предать земле тело покойной супруги профессора, доктора наук, директора института и члена многих советских и иностранных научных обществ.

Двери автобуса распахнуты настежь, и устроитель предлагает всем желающим занять места на скамейках вдоль гроба. И находится много желающих, так что мест не хватает, и некоторым друзьям и знакомым приходится садиться в такси. Дверь захлопывается, и автобус медленно трогается с места. Медленно трогается вслед за ним траурная вереница машин. Прощальным взглядом я провожаю бедную женщину, которая прожила жизнь ложную, несвершившуюся, выпавшую из времени, не понятую ею самой.

Нужно лгать

Не знаю, мучился ли так еще кто-нибудь из людей, сидящих с пером в руке над чистым листом бумаги, как мучились мы, составляя письмо Генеральному Прокурору Союза. Это письмо, в котором нужно было доказать, что виновен не Андрей, а те, кто обвинил его, не должно было походить на письмо, под которым подписались Никольский и другие. Старик Кипарский был прав, утверждая, что первое письмо было рассчитано скорее на чувство, чем на логику. «Я очень рад,— сказал мне следователь,— что Андрея Дмитриевича так ценят видные деятели науки, но ведь это, в сущности, не имеет отношения к делу».

Как же писать теперь, когда в наших руках оказались неоценимые материалы, когда мы могли проделать ту же работу, которой занималось следствие, когда ложная картина, возникающая в сознании при чтении доноса, стояла теперь перед нами, и мы могли просто указать пальцем на клевету в одном месте, на тонкое, преднамеренное искажение — в другом? Но это была одна сторона дела. Была и другая: как попали к нам эти, никому, кроме следственных органов, не известные материалы? Могли ли мы откровенно сказать, что их принесла Глафира Сергеевна? И, наконец, самое сложное: черновики не подписаны. Откуда мы знаем имена авторов этого безыменного послания? Ведь стоит только обойти эти имена, и наши доказательства сразу окажутся «взятыми с потолка», приблизительными, неопределенными. Стало быть, что же? Идти напролом? Страшно — особенно, если вспомнить, куда могут кинуться эти люди! И если все-таки идти напролом, упоминать ли о Крамове, с которым — это широко известно — мы уже много лет сражаемся в науке? Не придаст ли это нашему письму оттенок, который заставит Генерального Прокурора задуматься о личных счетах, и тогда письмо может обернуться против нас, а следовательно, и Андрея?

Не помню, кому в конце концов пришла в голову догадка, показавшаяся на взгляд почти невероятной: что, если написать всю правду, ничего не скрывая? Без дипломатии, без маневров. «Не в силе правда, а в правде сила»,— вспомнил и много раз повторил эту мудрую поговорку Рубакин.

И мы поступили именно так: рассказали о том, как нежданно-негаданно ко мне явилась Глафира Сергеевна (потому что иначе невозможно было объяснить, каким образом оказался в наших руках черновик доноса), а потом разобрали самый донос — тщательно, последовательно, подробно. Мы не только опрокинули клеветническое толкование того, что было сделано Андреем в Рязани, Пятигорске, Кисловодске — всюду, где возникали вспышки заразных болезней и где под его руководством приходила в движение противоэпидемическая защита. Мы приложили данные, извлеченные из архива Санэпидуправления и, без сомнения, неизвестные следователю потому, что, по словам заведующего архивом, до нас никто не заглядывал в эти пыльные, давно забытые документы. Мы не защищали Андрея, не порочили его врагов, не утверждали, что

удар направлен против меня. Но мы постарались объяснить, что этот удар является новой — и чудовищной — формой той борьбы, которая уже не первый год ведется в науке.

Как в кино, где голос лжеца рассказывает одно, а на экране перед глазами зрителей происходит другое, мы неторопливо рассказали правду, только правду, скупую правду, подтверждая ее, когда это было необходимо, официальной перепиской, сохранившейся в Санэпидуправлении. И равнодушные канцелярские справки ожили, рисуя жизнь неяркую, лишенную того пламени, которое озаряет деятельность большого таланта, но полную твердого разума, который в любое, самое запутанное дело вносил стройность логики — человеческой и неотразимой.

Письмо со всеми приложениями, которых, на мой взгляд, было слишком много, подходило к концу, и мы с Петром Николаевичем, раз десять перепечатав его на машинке, уже сочиняли последние, оказавшиеся самыми трудными, фразы, когда произошло то, что я давно ждала: ко мне позвонил и попросил зайти Валентин Сергеевич.

Он тяжело заболел вскоре после похорон Глафиры Сергеевны — должно быть, дорого далось ему самообладание, которое так поразило Рубакина! Да и не только его: о необыкновенной выдержке Валентина Сергеевича на кладбище, на гражданской панихиде, а потом на поминальном обеде много говорили в научных кругах.

Он лежал на диване, прикрытый толстым клетчатым пледом, и тотчас же, едва я вошла, извинился, что вынужден принять меня, будучи «далеко не в форме».

— Но если бы я стал дожидаться выздоровления,— бледно улыбнувшись, сказал он,— боюсь, что мы встретились бы не скоро.

Я что-то ответила вежливо, но сдержанно и, кажется, более сдержанно, чем нужно. Мне трудно было пересилить себя, и я не пошла бы к нему, если бы на этом не настоял Рубакин. Мне было трудно смотреть на него, притворяясь, что я ничего не знаю, и говорить и даже просто быть в одной комнате с ним — в этой холодной комнате, где стояла черная высокая мебель и где в тяжелых рамах висели картины, казавшиеся мне — что бы там ни было

изображено на них — бесстрастными зеркалами, отражавшими бесстрастную, темную, уходящую жизнь. Мне было трудно и страшно, потому что прежде, когда мы встречались — всегда враждебно, всегда в борьбе, грозившей ему или мне чувствительными поражениями,— меня никогда не оставляло уважение к нему, правда, уменьшавшееся с годами. Не все средства были тогда хороши для него, и этот оттенок уважения даже помогал мне бороться с тем Крамовым, который, несмотря ни на что, оставался человеком науки. Теперь я видела перед собой человека, дошедшего до распада души, до глубокого, безвозвратного падения. И не уважение — куда уж там! — а отвращение чувствовала я, сидя подле него в мягком, удобном кресле и глядя на это замкнутое лицо с высоким лысым лбом, с иссиня-бледными щеками, лицо, напомнившее мне заспиртованного печального урода-младенца.

— Вам не кажется странным, что мне захотелось встретиться с вами, Татьяна Петровна?

— Нет, конечно. Я ожидала вашего звонка, Валентин Сергеевич.

Он вздохнул. Настольная лампа с низким абажуром стояла на круглом столике у дивана. Он переставил ее маленькой слабой рукой. Теперь мое лицо было освещено, его — в тени, и он смотрел на меня внимательно, пристально, точно надеясь прочесть в моих глазах то, что я собиралась утаить от него. Но я знала, что то, что я утаю, прочесть в моих глазах ему не удастся.

— Я не сомневаюсь, что вам было трудно заставить себя приехать ко мне, и прежде всего позвольте мне сердечно, от всей души поблагодарить вас, Татьяна Петровна.

Я молча наклонила голову. Он помолчал.

— Мне не удалось, к сожалению, встретиться с вами после того, что случилось с Андреем Дмитриевичем. Я звонил, вы были в отъезде. Хотелось сказать, что ни одной минуты я не сомневаюсь в полной его невиновности. Мы были мало знакомы, но то немногое, что я знал о нем...

Не останавливается, не запинается, не опускает взгляда.

— Я убежден, что это недоразумение. Нашлись люди, которым он мешал, оклеветали, очернили, поставили следствие перед необходимостью ареста. И вот... Словом, я не сомневаюсь, что справедливость восторжествует. Иначе не

может быть, хотя бы потому, что сам Андрей Дмитриевич — кто же этого не знает? — воплощенная справедливость.

Он говорит не останавливаясь, не запинаясь, почти не задумываясь, глядя мне прямо в глаза.

— Татьяна Петровна, вы, без сомнения, давно догадались... Я осмелился пригласить вас к себе потому, что вы последний человек, видевший Глафиру Сергеевну. Я не спрашивал себя, почему она поехала к вам, несмотря на то, что последние годы вы с нею были очень далеки. Это ее право, и святотатством было бы с моей стороны... ну, что ли, недоумевать, что она не пожелала проститься со мной,— он выговорил это с трудом, и пухлые губы дрогнули, как у собравшегося заплакать ребенка.— Дело не в этом. Но хотелось бы знать подробности. Как произошло, что она поехала именно к вам? Она звонила, вы условились? Долго ли она пробыла у вас? О чем вы говорили? Не посетуйте на меня, ради бога, что я...— Он тяжело вздохнул, помолчал, заговорил снова и должен был откашляться, чтобы справиться с подступившими к горлу слезами.— Мне нужно знать, мне необходимо знать, потому что я... я страшно виноват перед нею.

С изумлением, почти с ужасом смотрела я на это порозовевшее от напряжения лицо с крепко сжатыми, чтобы не расплакаться, губами. Он не лгал. Невозможно было представить себе, что он лжет. Но только ли потому ему нужно было знать, о чем говорила со мной Глафира Сергеевна, что он был «страшно виноват перед нею»? Не потому ли еще, что он подозревал, что Глафира Сергеевна говорила со мной о другом?

— Что же удивительного, Валентин Сергеевич, что вам захотелось увидеть меня? Я бы сама давным-давно приехала, если бы не боялась вас потревожить. Я знала, что вы нездоровы.

Я говорю спокойно, неторопливо, сочувственно — не очень, но в меру. «Хорошо ли вы взвесили свои силы?» — спросил он однажды, предлагая союз, от которого я отказалась. И я ответила: «Думаю, что да. Ведь я училась этому у вас, Валентин Сергеевич».

— Вы хотите услышать, как случилось, что Глафире Сергеевне в тот вечер захотелось увидеть меня? Не знаю. Должно быть, ей вспомнилась юность, Лопахин. Условились ли мы о встрече? Нет. Она приехала без звонка, вошла, извинилась и сказала, что ей давно хотелось пови-

даться со мной... Она сказала: «Я все-таки привязана к вашей семье, ведь ничто не проходит даром». А говорили мы... Сперва, как это ни странно, о каком-то шелке, который она купила, потом о Дмитрии Дмитриевиче — она интересовалась его здоровьем, делами. Кстати, она упомянула, с ваших слов, что у него в экспедиции что-то неладно. Я справлялась в Наркомздраве и не поняла — отмалчиваются или не знают?

Крамов устало покачал головой.

— И то и другое. Да, кажется, что-то было. Заболела одна из сотрудниц.

— Чумой?

Он кивнул.

— Впрочем, все это слухи. Беспокоиться за него нет оснований.

— Вы в этом уверены?

— Да.

Мы помолчали. Он выжидательно поднял глаза.

— О чем же еще вы говорили с Глафирой Сергеевной?

— О вас.

— Обо мне?

— Да. О том, что вы работаете не по годам, через силу, что вы вечно возитесь с чужими делами, что к вам обращаются полузнакомые люди. Я познакомила ее с отцом, и она пожалела, что давно не поддерживает никакой связи с родными. Потом она вдруг сказала: «Но не нужно все-таки думать, что я очень плохой человек» — и это была единственная фраза, по которой можно было судить, что она недовольна собой. Конечно, я ответила, что «очень плохой человек» не пришел бы навестить меня в эти трудные дни, когда даже близкие друзья бывают не часто. Она улыбнулась и попросила у меня чашку чаю.

Я говорила быстро, почти не задумываясь и заботясь только о том, как бы увереннее, точнее солгать. Впервые в жизни я лгала с чистой совестью, потому что только так можно было победить другую ложь, против которой не было иного оружия.

Больше я не сомневалась в том, что Крамов пригласил меня потому, что боялся, что Глафира Сергеевна знала то, что ей не полагалось знать, и поехала ко мне, чтобы рассказать о доносе. Но у него была и другая цель. Расспрашивая, испытывая меня, он постепенно стал успокаи-

ваться. Он поверил, что мы с Глафирой Сергеевной разговаривали о пустяках и что я поражена тем, что, решившись покончить с собой, она с такой настойчивостью возвращалась к мелочам обыденной ежедневной жизни. Он поверил мне и тогда исподволь, осторожно стал подходить к своей главной цели.

— Татьяна Петровна, Кипарский мне говорил, что вы просили его подписаться под поручительством... Почему вы не обратились ко мне? Неужели вы думаете, что наши отношения, каковы бы они ни были, помешали бы мне засвидетельствовать, что Андрей Дмитриевич человек безупречный?

Я промолчала.

— Представить себе, что несходство научных взглядов может заставить меня отвернуться,— дурно же вы думаете обо мне, милая Татьяна Петровна!

Я ответила:

— Да, я пожалела, что не обратилась к вам, Валентин Сергеевич. Тем более что я даже не получила ответа.

— Вот видите.— Слабая тень оживления прошла по его бледному лицу с высоким, лысым, вдруг разгладившимся лбом.— А между тем, знаете ли вы, как нужно было действовать, дорогая Татьяна Петровна? Подписать-то подписать, но это еще полдела. Нужно было с этим поручительством поехать к Л.— Он назвал имя очень крупного политического деятеля, одного слова которого было бы достаточно, чтобы Андрей оказался дома.— Да. Именно так, поехать к Л., который знает меня, и добиться, чтобы он лично занялся этим делом.

Как на картине Гойи, два лица были обращены ко мне — одно улыбающееся с искренностью, которой трудно не поверить, другое — мрачное, с неподвижно сжатым ртом, с полуприкрытыми глазами убийцы. Потому ли, что за долгие годы я научилась разгадывать Крамова, или потому, что я так искусно обманула его, но мне вдруг стало ясно все,— даже то, о чем он еще не сказал ни слова. Я поняла, во-первых, что он предлагает *товар,* состоящий в том, что он, Крамов, поедет к Л., и тогда Андрей вернется ко мне, может быть, через несколько дней. А во-вторых, что за *товаром* вскоре последует цена, причем представить себе размер этой *цены* было нетрудно.

— Татьяна Петровна, я бесконечно сожалею о том, что жизнь увела нас так далеко друг от друга за послед-

ние годы. Вот и этой ошибки не произошло бы,— я имею в виду мою подпись,— если бы мы были хоть чуточку ближе. Но будем считать, что все исправимо. Дайте срок, я поправлюсь, возьмусь за дела, и первое, внеочередное, дело — встреча с Л. и разговор насчет Андрея Дмитриевича. Ручаюсь за успех, а ведь я редко ручаюсь.

Я благодарю его со всей сердечностью, на какую только способна. Вот только очень трудно пожать протянутую решительным движением маленькую слабую руку. Но сходит и это. Нужно лгать. Пожимаю — и крепко.

— А теперь о другом. Я слышал, что ваша поездка на фронт удалась, Кипарский на всех заседаниях кричит, что он очень доволен. Поздравляю вас. Это был умный шаг, и теперь можно не сомневаться, что для вашего препарата, а значит, и для вас, открыта дорога. Но знаете ли вы, что именно теперь стало ясно, что ваш препарат — это только начало. Наступает эра антибиотиков — не будем бояться этого слова,— и эта новая эра потребует не только координации сил, она приведет к теоретическому перевооружению. Вот тут-то и окажется, что нам не только нужен, но крайне необходим небольшой на первых порах, но хорошо вооруженный теоретический центр.

С чувством какой-то тайной власти над ним я прислушиваюсь к этим словам, на которые нечего возразить, но которые не значат ровно ничего, потому что они принадлежат человеку, который давным-давно ничего не значит в науке. Да, новая эра. А каково будет ему в этой новой эре? Вот что, в сущности, означают эти слова. Что удастся захватить, а что не удастся?

Он говорит внятно, естественно, свободно. Сейчас он скажет, что Институт биохимии, который (это на днях решено) будет заниматься главным образом антибиотиками, должен стать производственным, а не теоретическим институтом. Сейчас он предложит мне свой проект института антибиотиков, который возглавит, разумеется, он и в котором я буду работать на него — покорно, безмолвно подчиняясь каждому его слову. Большая цена! За Андрея? Не очень.

С холодным изумлением смотрю я на этого человека, полумертвого, одинокого, старого — к его семидесятилетию уже готовились в Мечниковском институте — и все еще

упорно цепляющегося за свое разбойничье право, которое было дано ему неведомо когда и неведомо кем.

Я ответила, что еще не думала о теоретическом центре. Я поблагодарила его за участие и сказала, что не теряю надежды — следствие покажет всю необоснованность обвинения, в чем бы ни обвиняли Андрея. Я снова выразила искреннее сочувствие по поводу смерти Глафиры Сергеевны и от всей души пожелала Валентину Сергеевичу мужественно перенести утрату. Вошла Мелкова, толстая, запудренная, нарумяненная, в черном шелковом, траурном платье, и я подумала, не просидела ли она все время, пока мы разговаривали с Валентином Сергеевичем, на корточках у замочной скважины под дверью его кабинета. Впрочем, и Мелковой, глядевшей на своего шефа со скорбным обожанием (и, кажется, с надеждой, что ей удастся занять в этом доме вакантное место), я сказала несколько вежливых фраз.

Сын

Это было решено еще до того, как арестовали Андрея,— поехать в Лопахин и привезти Павлика и бабушку в Москву. Теперь все изменилось, и Лена Быстрова, например, с которой я посоветовалась, сказала, что мне будет гораздо труднее, если они вернутся домой, хотя бы потому, что Агния Петровна, которая едва справляется с Павликом, не сможет вести мое неустроенное хозяйство. Она была не права. Со всеми новыми заботами жить станет — я знала это — не труднее, а легче, когда Павлик вернется в Москву. Больше я не могла жить без сына.

Мне давно уже казалось странным, что до войны я видела его каждый день. Теперь он рос без меня, и я могла лишь догадываться о том, каким он стал, по письмам бабушки и по отрывкам из дневника, которые она мне иногда присылала. Этот дневник был придуманный самим Павликом способ выполнять очередное задание, одновременно излагая свои, в общем оптимистические, взгляды на жизнь.

Жизнь в Лопахине, в одной маленькой тесной комнатке с бабушкой, надоедавшей ему своими наставлениями, и Агашей, которая под старость впала в религиозность и занималась только тем, что ходила в церковь да переписывала священные книги, нисколько не тяготила его.

У него были друзья, и одному из них, проявившему редкое мужество в битве с какими-то мальчишками, он, по-видимому, старался подражать — к ужасу бабки, считавшей этого храбреца отъявленным хулиганом. Вопрос о храбрости в особенности беспокоил его — об этом я знала и прежде. Он боялся, что вдруг может оказаться трусом! Недаром же еще до войны, когда ему было шесть лет, я нашла в его тетради записку: «Гулька был трус. Алеша был храбрый. Павлик был не храбрый и не трус. Павлик был я». Он читал все, что попадалось под руку, и с наибольшим удовольствием почему-то разные эпосы, в том числе огромный, неуклюже переведенный армянский эпос «Давид Сасунский». Я знала, что уже в семь лет он строго соблюдал неписаные товарищеские законы, сильно отличавшиеся от законов, которыми жили взрослые люди. Однажды, рассердившись на возню в коридоре,— это было еще когда мы жили во флигеле на институтском дворе,— я выскочила и, не разобравшись, в чем дело, шлепнула какого-то паренька, который беспощадно лупил Павлика, зажав его в угол. Уж не знаю, в какой уговор я вмешалась без спросу, но Павлик с таким ужасом закричал: «Что ты делаешь, мама!», так разрыдался, бросившись на пол, что я растерялась. В таком отчаянии я его еще не видела! Расспрашивать, по какому поводу была драка, кто начал первый, кто виноват, было бесполезно. В таких случаях он отвечал только одно: «Я не ябеда», и больше от него нельзя было добиться ни слова.

Но все это было, было! Скоро три года, как я рассталась с ним. Нельзя же считать короткую промелькнувшую встречу летом сорок третьего года, когда мне удалось вырваться в Лопахин и провести с Павликом несколько дней. Он — тоненький, чистый, честный. Он мужественный, справедливый. Как объяснить десятилетнему мальчику, который свято верит, что в нашей стране не может произойти ничего несправедливого и жестокого,— верит, потому что мы его этому научили,— как объяснить ему, что это несправедливое случилось именно с его отцом? Как я скажу ему, что арестован отец, который всегда был для него образцом благородства и чести?

До Петрова я ехала в санитарном поезде, который вез раненых с Первого Белорусского фронта. Врачи знали о пенициллине, я взяла его с собой — и была рада, что рабо-

та мешала мне думать о надвигающейся самой трудной в жизни минуте.

Поезд был превосходный, блистающий чистотой, с собственной операционной, хорошей библиотекой и даже с особым, еще не виданным мною устройством, позволявшим вносить раненых через откидывающийся угол вагона. «Только что победили в соревновании на обслуживание раненых»,— с гордостью сообщил мне комиссар. В коридорах висели репродукции Рубенса, а в столовой — переносная выставка «Отечественная война 1812 года», похожая на складную детскую книжку-картинку. Черта, которую нельзя было не заметить, чувствовалась в каждом пункте «расписания дня» — близость победы. Никто не говорил об этом ощущении, оно существовало как бы само по себе, исподволь перестраивая жизнь. Разве можно было сравнить бедные санпоезда первых лет войны с этими двигающимися палатами, ничем, в сущности не отличавшимися от первоклассного стационара? Этот поезд, который вез более тысячи раненых, был поездом победы. Раненые долго обсуждали меню, споря о сравнительных достоинствах щей и супа. Плотник-санитар придумал какую-то стойку, чтобы быстрее разносить горячие первые блюда. Подъезжая к станции, расходясь с встречными поездами, паровозный гудок кричал долго, радостно, празднично — победа!

Но вот умчался этот поезд, и я осталась одна на той самой станции Петров, куда в былые времена ездили кутить лопахинские купцы и куда — да было ли это? — полный, неприятный гимназист увез на тройке девушку в беленьком полушубке, с мрачными глазами.

Долго, часа четыре, ждала я рабочий поезд, который должен был доставить меня в Лопахин. День был душный. Со всех сторон, куда ни взглянешь, был виден обугленный еловый лес, и казалось, что горьковатый запах гари, от которого некуда деться, еще стоит в неподвижном воздухе. Баба продавала пирожки бог знает с чем, я купила и съела, потому что надо же было съесть что-нибудь. «Ведь отец невиновен, да, мама?» — «Конечно».— «И он объяснил им, что невиновен?» — «Да».— «Почему же они ему не поверили? Как они смели ему не поверить!» Я ходила по раскаленной маленькой станции — пустой, хоть покати

шаром, и думала, думала... «Сказать Павлику правду? Нет, не могу».

Начальник станции — рыжая девушка в шапке с красным околышем вышла из будки, собралась о чем-то спросить у меня и не спросила — только постояла немного, следя за мной сочувственным взглядом. Так было и в поезде. Меня не спрашивали. Должно быть, у меня на лице было написано горе.

Рабочий поезд пришел наконец, и еще два часа я тащилась в Лопахин вдоль неубранных, одичавших полей и пустых перелесков. Сказать? Мост через Тесьму промелькнул за окном; на низком берегу часовой, поставив винтовку между колен, сворачивал папироску. Сказать? Вот и дорога в Замостье, и пожарная каланча, и «Утюг» — самое высокое место на набережной, где река огибала ее под углом. Ласточки вились вокруг купола монастырской церкви. Сказать?

Ночные голоса

...Едва ли можно назвать затишьем то, что я нахожу, возвращаясь в Москву. И все-таки для меня это промежуток, ожидание, затишье. С осени я впервые в жизни начинаю вести курс в Институте усовершенствования врачей, волнуюсь, готовлюсь к лекциям и даже, по неопытности, зазубриваю их наизусть. Агнию Петровну, после долгих размышлений, я решила оставить в Лопахине, а вместо нее привезла Агашу. Увы, в рыхлой, желтой, помешанной на святых книгах старухе трудно узнать прежнюю энергичную, быстроногую Агашу. И домашние дела, которые и всегда-то не ладились в моих руках, в конце концов все-таки попадают в мои неумелые руки.

В эти дни ранней осени 1944 года я затеваю работу над новым препаратом, любопытным даже не столько по своим практическим свойствам (о которых я, впрочем, тогда еще почти ничего не знала), сколько с теоретической стороны. При этом, как ни странно, я обхожусь без «теоретического центра», о котором так убедительно говорил Валентин Сергеевич Крамов.

В Институте биохимии — кипение работы. Едва вернувшись из эвакуации, институт получает знамя социали-

стического соревнования. Прекрасно одетый молодой человек, тот самый, который говорит с длинными паузами, долженствующими показать, что хотя он и молодой человек, однако не бросает на ветер ни единого слова,— этот вежливый, с красивыми зубами молодой человек от всей души (и от Наркомздрава) поздравляет Рубакина, впрочем, тут же отмечая, что победителю не мешало бы с большей тщательностью выполнять программу по номенклатуре. Студия научно-популярных фильмов затевает картину «Пенициллин-крустозин ВИЭМ», и это оказывается необычайно хлопотливым делом не столько для студии, сколько для нас. Оно начинается с того, что люди в грязных белых блузах, быстрые, дельные, говорящие отрывисто, кратко, втаскивают в нашу скромную лабораторию свои аппараты с толстыми, как змеи, проводами, о которые все спотыкаются и к которым тем не менее относятся с уважением. Потом сценарист, поражающий меня полным отсутствием каких бы то ни было представлений о микробиологии, просит, чтобы я отредактировала его сценарий, и я работаю с ним чуть ли не каждый день. Потом начинаются съемки, и уж тут надолго исчезают из глаз антибиотики, новые и старые, и все мы, оказывается, существуем только для того, чтобы позировать с мнимо значительными лицами перед съемочным аппаратом.

Все это — промежуток, все это кажущееся затишье, когда не позволяешь себе даже думать о том, что «не имело права случиться». Все это лишь нетерпеливое ожидание Андрея.

Указ об учреждении Академии медицинских наук опубликован в газетах, и, боже мой, какую бурю производит этот указ среди людей, никогда до сих пор не думавших о том, что придет время, когда они упрямо, деятельно, энергично будут стремиться к высокому званию действительного члена или, на худой конец, члена-корреспондента этого почтенного учреждения! Сколько волнений, интриг, фальшивых улыбок, передернутых карт! Сколько забот, с которыми нельзя сравнить заботы о самой медицинской науке, во имя которой принято решение и опубликован указ.

В числе других деятелей медицинской науки и я получаю звание члена-корреспондента Академии медицинских наук. Это очень хорошо. И вовсе не потому, что моя довольно скромная зарплата увеличивается едва ли не вдвое,

и не потому, что эти деньги я, в сущности, буду получать ни за что. Это хорошо потому, что, несмотря на вольные и невольные, предусмотренные и непредусмотренные попытки расшатать мое «положение», несмотря на то, что некоторые сотрудники Института биохомии еще огибают меня, как будто встречаясь с невидимым препятствием,— несмотря на все эти обстоятельства, со всех сторон обступившие супругу некоего А. Д. Львова, арестованного за свои весьма серьезные преступления, эта супруга получает признание как полезный — что там ни говори — работник медицинской науки.

И все это лишь промежуток, затянувшийся, как затянувшаяся бессонная бесконечная ночь. Но ночь никогда не переходит в ночь. Ночь кончается, и наступает утро.

Павлик играл в шахматы с Рамазановым, отец — чистенький, аккуратный, с расчесанными пушистыми усами — сидел в кресле, следя за игрой с добродушно-снисходительным видом, Агаша гремела посудой на кухне — словом, когда я пришла, все было так, как будто ничего не случилось. Так, без уговора, без единого слова повелось с того времени, когда Павлик приехал в Москву: ничего не случилось! Рамазанов приходил почти каждый вечер, сперва подыскивая предлог, что было вовсе не трудно, потому что на пенициллиновом заводе дела шли далеко не так, как бы хотелось, потом без предлогов,— и не могу передать, как это было мне дорого в ту тяжелую пору. Он был из тех людей, которые во время потрясений, переполоха, внезапного несчастья начинают действовать размеренно, неторопливо, прекрасно зная, что это незаметно поддерживает мужество, внушает уважение к себе. Отцу он «выдавал» необыкновенные истории из далекого прошлого, а с Павликом играл в шахматы и спорил о сравнительных шансах Ботвинника и Алехина в случае возможного матча на первенство мира.

И в этот вечер, играя с Павликом, он рассказывал очередную историю, относившуюся к тем временам, когда Григорий Григорьевич был военным врачом.

— Приказано было вывезти наш корпус в Березовский лагерь, а прежде чем вывезти, восстановить, поскольку в этом лагере войска стояли еще в царские времена, а с тех пор он был забыт и заброшен.

Мы сидели в столовой — просторной и все еще нарядной, хотя обои, из-за которых мы с Андреем когда-то чуть не поссорились, выгорели и потускнели. Фигурки из моржовой кости, которые Андрей некогда привез из Анзерского посада, стояли на книжном шкафу. Какую коллекцию кустарных изделий собрал он тогда — полотенца, вышивки, прялки! Он любил собирать, да все не доходили руки! Работая в метро, он вдруг заинтересовался археологией, и странные предметы появились у нас — печные изразцы, старинные аптекарские пузырьки с узкими горлышками. А однажды он притащил домой страшную ржавую рукоятку меча и целый час доказывал, что этот меч принадлежал польскому офицеру, сражавшемуся против Шуйского в начале семнадцатого века.

— И посылает меня начсандив,— неторопливо продолжал Григорий Григорьевич,— выяснить, каковы там условия. Ну-с, поехал и вижу: лагерь прекрасный. Местность пересеченная, полигон такой, что только во сне может присниться. Но что-то не понравилось мне в этой местности: болот много. И стоит оглушительный комариный звон. А кто не знает, какая болезнь прилетает на комариных крыльях?

Павлик играл, и в том, как он, слушая, поднимал руку и долго держал ее над шахматной фигурой, было что-то от Андрея, но не взрослого, а лопахинского, когда он еще ходил в серой гимназической курточке и не смотрел, а всматривался своими серьезными серыми глазами.

Давно пора было идти в свою комнату и приниматься за план подготовки института к зиме — в прошлом году холода застали нас врасплох,— но я все не шла, а смотрела на Павлика, серьезного, бледного, погруженного в обдумывание очередного хода. Как он переменился, как вырос! Он стал высокий, с худыми прямыми плечами, а светлые доверчивые глаза глядели рассеянно-пристально, как у близоруких, когда они снимают очки. Но у него — я проверила — было нормальное зрение.

— И вот взялись мы за малярию,— продолжал Рамазанов.— Старые землянки засыпали — это прежде всего, нефтевальщиков двинули вперед, палатки при распланировании подняли в здоровые места, подальше от «стариц» — так называются тихие заводи, остающиеся после половодья. Людей хинизировали, но как! Каждое утро вы-

страивались полки, гремели оркестры и каждый красноармеец получал по стаканчику спиртного раствора хины. Та же водка, а какой русский человек откажется от стопки водки перед завтраком? Это вам не таблетка какая-нибудь, тем более горькая, которую и выбросить недолго. Вот тут дело, между прочим, пошло.

— Григорий Григорьевич, а в Сталинграде, когда вы с папой работали, была малярия? — спросил Павлик.

— Нет.

— Григорий Григорьевич, а что он сейчас делает в Сталинграде?

— Фью, что делает! Там, брат, хватает работы.

— А почему же он не может приехать хоть на несколько дней?

— Ну, как же он приедет, голубчик,— мягко сказал Григорий Григорьевич,— если без него там сразу все вверх ногами пойдет? Тебе шах, между прочим.

— Я вижу.

«Догадывается. Смутно чувствует, что от него что-то скрывают,— продолжала я думать.— Почти не спрашивает меня об отце — как будто понимает, что мне особенно трудно сказать ему правду».

Позвонил телефон, я сняла трубку и не сразу узнала Коломнина: у него был непривычно бодрый и даже легкомысленный голос.

— Дела на ять,— весело сказал он.— И, кроме того, не все же заниматься делами!

— Иван Петрович, что случилось? — Признаться, мне пришло в голову, что наш вечно хмурый, сумрачный Коломнин хватил лишнего. Это случалось с ним последнее время.

— Со мной? Решительно ничего, дорогая Татьяна Петровна. Вы лучше спросите, что с так называемым Скрыпаченко!

— А что с Скрыпаченко?

— То самое.

— Арестован?!

— Нет еще, к сожалению, но вроде. Исключен из партии — это во-первых. Уже не директор Института профилактики — это во-вторых.

— Быть не может!

Григорий Григорьевич вскочил, подбежал ко мне, и, прикрыв трубку ладонью, я торопливо сообщила ему необычайную новость.

— Это верно?

— Как пуля. Я хочу сказать, он вылетел, как пуля. Вам это нравится?

— Очень.

— Вот видите, есть, оказывается, правда на земле. И даже, может быть, выше. Не сердитесь на меня, это я на радостях хлопнул. Я, между прочим, вас люблю, честное слово.

Это было невероятно — услышать от Коломнина подобное признание. Я тоже сказала, что очень люблю и уважаю его. И мы простились, пожелав друг другу доброй ночи.

— Лю-бо-пыт-но,— значительно подняв брови, сказал по слогам Рамазанов. Он ничего не знал о письме, которое мы с Рубакиным послали Генеральному Прокурору, но он, разумеется, прекрасно знал о непреодолимой склонности Скрыпаченко к «анонимной литературе» и, вероятно, не раз подумывал о том, что эта склонность сыграла заметную роль в аресте Андрея.

— Да, любопытно.

Отец вопросительно посмотрел на меня, должно быть, надеясь на пространный объяснительный комментарий, но я только прибавила:

— И очень.

— Григорий Григорьевич, кто это Скрыпаченко? — негромко спросил Павлик, когда Рамазанов вернулся к шахматам и вечер пошел своим чередом.

— Это, брат, очень плохой человек.

— А плохой человек ведь не должен быть членом партии, верно?

— Еще бы. Твой ход.

«Ох, какой сегодня, должно быть, переполох среди разбойников, какое смятение! Крупенский уже, без сомнения, бросился к шефу, а шеф не в форме, шеф болен. Одно огорчение за другим. Жена есть жена, и все-таки неприятно, когда жена, какова бы она ни была, бросается в пролет лестницы и разбивается насмерть. Теперь Скрыпаченко. Что значит это крушение? В чем он промахнулся, с кем не поладил? А впрочем, шеф не особенно удивлен, что этот сомнительный и всегда производивший какое-то неприятное впечатление субъект исключен из партии и снят с поста директора института. Скрыпаченкам не место в науке. И Крупенский, нервно сощурившись, зажи-

гая папиросу от папиросы, смотрит на шефа: «Что ты сделаешь, если надо мной разразится гроза? Тоже продашь? Попробуй! Обойдется дороже».

«Да, это внушает надежду — то, что мне сообщил Коломнин. Лиха беда начало, как говорится. Взялись за Скрыпаченко, доберутся и до других. Ох, поскорей бы! А что, если его исключили из партии в связи с делом Андрея? Здесь нет ничего невозможного. Прокурор мог переслать наше письмо в ЦК, и не то что мог, а был обязан, потому что мы опирались на проверенные, неопровержимые факты».

Совершенно забыв о плане подготовки института к зиме, я принялась шагать из угла в угол, крепко сжимая виски. «Но почему, собственно говоря, я думаю, что это так? Разве мало было за Скрыпаченко и других преступлений?»

Нужно было ложиться, Павлик учился в первой смене, и ему нравилось — я это знала,— когда не дед, а я провожала его.

Я умылась, надела халатик и пошла к нему — взглянуть и поцеловать, если он еще не уснул. В комнате было не очень темно. Дед с внуком спали при открытой форточке, и на ночь приходилось поднимать бумажную штору. Мне показалось, что у Павлика чуть-чуть дрогнули веки, когда я наклонилась над ним — не спит? Но он ровно дышал, и я подумала, что ошиблась.

Вот и ночь! Я лежала с закрытыми глазами и уговаривала себя не принимать снотворного: «Ну, еще хоть час. Лучше помучиться, чем проснуться с туманной, тупой головой».

И я помучилась, а потом, должно быть, все же уснула, потому что мне почудился легкий звон — такой легкий и нежный, как это бывает только во сне. Он был нисколько не похож на звонок у парадной, и мне стало смешно, потому что это был не звонок у парадной, а родник, бьющийся в зеленой ложбине. Но он повторился, и как ни жаль было расставаться со сном, а приходилось, потому что отец проснулся и стоял в дверях моей комнаты, испуганный, в большом, запахнутом вдвое халате Андрея.

— Открыть?

— Подожди, я сама.

Руки немного дрожали, когда я одевалась. Три часа ночи! Что за поздний визит? Отец хотел зажечь свет в передней, я остановила его и, прислушиваясь, постояла у двери. Тишина. Нет, шепот. Кто-то негромко разговаривал на площадке, и мне, быть может, удалось бы расслышать — дверь была тонкая,— если бы сердце не билось так непростительно громко. Тишина. Потом снова звонок. Голоса.

Женский. Никого.

Мужской. Ох, не пугай!

Женский. Вот видишь, нужно было дать телеграмму.

Мужской. Если спросят, ответишь ты. Хорошо?

Митя? Или все это снится мне — взволнованные голоса на площадке и то, что я стою босиком, прислушиваясь и стараясь унять стучавшее, как колокол, сердце.

— Кто там?

— Ох, слава богу! Таня, это мы, мы!

— Митя?

— Да, да, это я, это мы. Откройте же. Мы напугали вас? Я говорил Лизе, что нужно было подождать до утра.

Они вошли на цыпочках, встревоженные, загорелые, большие — я забыла, какие они большие — и, едва войдя, стали, перебивая друг друга, расспрашивать об Андрее.

— Неужели это правда? Нам в самолете сказал один врач. Когда? Почему вы не написали нам? Лиза приехала бы, она давно освободилась, в июне!

— Все расскажу. Ох, как хорошо, что вы приехали! Как хорошо, если б вы только знали!

Я обнимала их, милых, загорелых, обветренных, точно прилетевших на крыльях, чтобы помочь мне, и теперь тревожно хлопотавших вокруг меня, потому что я все-таки не удержалась и немного всплакнула.

— Ничего, будем надеяться, что все обойдется. Я надеюсь, и очень. Что же вы стоите, раздевайтесь, идите сюда, скорее, скорее!

В столовой стояли открытые чемоданы; на диване, на стульях — повсюду было что-то набросано, и уже невозможно было вообразить, что только что была ночь и все в доме спали. Правда, ночь еще продолжалась, и нужно было прежде всего устроить гостей, тем более что Елизавета Сергеевна проговорилась, что ей было нехорошо в самолете. Но это была уже совсем другая ночь и другой

дом — дом с Митей и Елизаветой Сергеевной. Я выпроводила Агашу на кухню, уложила отца, и мы, наконец, остались втроем — я и милые нежданные гости, на которых я не могла наглядеться.

Целой ночи не хватило бы, чтобы рассказать все, что случилось, и я начала с конца, потому что это было, без сомнения, важнее всего. Мне хотелось, чтобы Митя и Елизавета Сергеевна поняли и оценили все предположения, мелькнувшие передо мной, когда позвонил Коломнин.

— Нет, все-таки с начала. Хоть самое главное! — взмолился Митя.

И я стала рассказывать самое главное. Но что же не было главным в том, что касалось судьбы самого близкого на земле человека? Все было связано, переплетено — вольно или невольно — и, упомянув, что Рубакин две недели ходил с перевязанной правой рукой, я должна была подробно рассказать о том, что произошло в институте. Но о чем бы я ни рассказывала, как в стену, упиралась я в ту ночь, когда ко мне приехала Глафира Сергеевна. Может быть, лучше было не говорить Мите о том, что случилось в ту ночь, или сказать в другой раз? Должно быть, Елизавета Сергеевна почувствовала, что нам нужно остаться наедине, потому что вдруг ушла — сперва в ванную, а потом, вернувшись, не дала мне хозяйничать и сама принялась устраивать постель на диване в столовой. Она хотела поднять чемодан, Митя шумно сорвался со стула, отнял, отнес — и я поняла, почему она так смутилась, упомянув, что ей было дурно в дороге. Елизавета Сергеевна ждала ребенка.

Митя слушал, не шевелясь, прикусив губу, и у него было усталое лицо, энергично-хмурое, со сдвинутыми бровями.

— Умерла? — немного побледнев, спросил он.

Я кивнула. Мы помолчали.

— Да, Танечка, я слушаю.— Митя сказал это так же строго, как покойная Глафира Сергеевна говорила о нем.— Когда я был у нее перед отъездом, у меня мелькнула мысль, что все это кончится плохо. Это был пустой дом, и пустота была угнетающей, безнадежной. Тогда она сказала мне, что прочитала рассказ, не помню чей, в котором мордвин, чтобы отомстить обидчику, вешается у

него на воротах. И прибавила, что ведь, в сущности, это только кажется, что нужно жить во что бы то ни стало.

«Вы передайте Мите, что если я любила кого-нибудь в жизни, так его,— припомнилось мне,— насколько, впрочем, была способна любить». Сказать? Но дверь в столовую была открыта, и, взглянув на Елизавету Сергеевну, которая, постелив на диване, прошлась по комнате еще по-прежнему плавной, но потяжелевшей походкой, я промолчала.

— Ну, ложитесь, завтра доскажу, вы устали с дороги. Мы будем говорить еще много. Митя, я совсем забыла. Что случилось у вас в экспедиции? Очень странные слухи донеслись до Москвы. Мне даже казалось одно время, что все вокруг знают что-то о вас, а мне не хотят говорить. Что это было?

Он рассеянно смотрел на меня, думая о другом. Потом пробормотал:

— А, вздор!

— У вас среди сотрудников был случай чумы?

— Да, заболела одна сотрудница,— ответил он и засмеялся.— К счастью, оказалось, что это была не чума, а туляремия. Напугала до смерти.— Он глазами показал на жену.

Я уложила гостей, потому что все еще была ночь, и легла сама, не надеясь больше уснуть, а только дожидаясь уже недалекого утра. И нежданно-негаданно поплыли сонные, неторопливые мысли. Я не одна. Приехал Митя с женой, такие хорошие, загорелые, большие. Удобно ли им вдвоем на диване? Ждут ребеночка, как хорошо. Я не одна. Что они будут делать теперь? Оба в армии, и ничего за душой. Митя поседел, оба черные, как индусы. Ну да, ведь там очень жарко, наверное. Как обрадовался бы ему Андрей! Еще обрадуется, я надеюсь, надеюсь. Может быть, они долго пробудут в Москве? Едва ли. Митя уедет, а Елизавета Сергеевна останется у меня. Она милая, гордая, я ее люблю, останется непременно. У Мити не было детей, а как у него всегда светлело лицо, когда он говорил о детях!

Уже подумалось о чем-то другом, вдруг о летней даче, сухой, пронизанной солнцем, с чьими-то быстрыми детскими шажками на открытой террасе. И в подступающем сне я уже радостно, раскинув руки, бежала навстречу этим милым стучащим шажкам, когда точно что-то толк-

нуло меня, и я с ужасом, с трепетом открыла глаза: Павлик слышал наш разговор! Он не спал. Не может быть, чтобы он не проснулся!

И, сдерживая дыхание, я прошла к нему, стараясь осторожно ступать босыми ногами.

В комнате был уже слабый утренний свет. Дед похрапывал, лежа на спине. С каждым вздохом его седые усы поднимались и опускались. И Павлик спал так бесшумно, что мне, как всегда, стало немного страшно, и я наклонилась к его лицу, чтобы послушать дыхание. Я наклонилась, чтобы быть поближе к нему, и снова, как тогда, мне почудилось, что у него дрогнули веки. Осторожно, чтобы не разбудить, если он все-таки спал, я встала подле него на колени. Он не спал. Веки дрожали. Он чувствовал меня рядом с собой. И со слезами, с гордостью, от которой сердце сжалось больно и сладко, я поняла, что он слышал наш разговор и теперь не хочет, чтобы я догадалась об этом. Не хочет, потому что ему кажется, что мне станет еще тяжелее, если я догадаюсь. Потому что для меня лучше так: лучше думать, что он ничего не знает.

Я вернулась в свою комнату, и снова пошли чередой ночные беспокойные мысли и чувства. Все те же, но и еще одно: гордость за сына. И не ради себя, нет, ради него я вдруг потребовала — сама не знаю у кого, у судьбы,— чтобы дверь распахнулась и вошел Андрей, такой же, как всегда, с плащом, переброшенным через плечо, в старом сером костюме, который, казалось, сейчас треснет на его сильных плечах, в кепке, из-под которой виднелось его доброе лицо, с твердыми, соскучившимися глазами. Пусть он войдет, если есть на свете справедливость и честь! Пусть он войдет, или дайте мне умереть, потому что я не хочу больше жить, обманываясь и теряясь и трепеща от страха, что может победить подлость — подлость и ложь.

ЭПИЛОГ.

ИЗ ДНЕВНИКА ПОСЛЕВОЕННЫХ ЛЕТ

Могильная тишина стояла в погибших городах, страшные, почерневшие поднимались к небу остовы разрушенных зданий. Запах тления стоял над землей, и в сердцах людей, вернувшихся в родные места и ютившихся в жалких бараках, становилось пусто и холодно, когда

ветер доносил до них сладкий, тошнотворный запах беды.

Полстраны нужно было поднять из развалин, и, так же как сотни тысяч других, я упорно работала в эти тяжкие годы, отгоняя от себя горькие мысли и стараясь обойти все, что мешало работе. Пенициллин с каждым годом становился все совершеннее, и среди множества усилий, которые отдавали ему ученые всего мира, свое место заняли наши усилия. Из института он ушел на заводы, и новые препараты заняли его место на лабораторных столах.

Перед странной задачей остановились мы в послевоенные годы — доказать, что наша медицинская наука развивается с необычайной быстротой или, по меньшей мере, быстрее, чем наука других стран или всего мира. Нам, и никому другому, принадлежали все медицинские открытия XIX и XX веков — это утверждалось в книгах и статьях, в кино и театре. И никто не замечал, что наряду с защитой придуманного, мнимого первенства мы теряли подлинное, добытое в мучительных трудах и исканиях. Существовали десятки причин, по которым мы теряли это реальное первенство, но самая главная из них заключалась в том, что никто из нас не имел права делиться своими открытиями даже с лабораторией соседа.

О, эта мнимая тайна, этот сумрак, в котором мы едва различали друг друга. Еще и сейчас — я пишу это в 1956 году — не расквитались мы с тем невежественным вздором, с той таинственной чепухой, вокруг которой городились опутанные колючей проволокой заборы и которые после рабочего дня хранились в запечатанных сейфах! Сколько ловких людей, не имеющих никакого отношения к науке, получили высокие звания под покровом этой искусственной тайны, без которой почему-то невозможно было ни работать, ни жить.

Мнимая, выдуманная наука нуждалась в мнимом оживлении — и широкие дискуссии были организованы, чтобы показать всему миру блеск творчества, столкновения мнений. Но под этим искусственным светом становились видны лишь потрепанные декорации готовых представлений, подсказанных мыслей.

Конечно, это была победа Крамова — победа, всего страшного значения которой он, может быть, и сам не предвидел.

Я жила в кабинете Андрея, почти пустом; война помешала нам купить мебель для новой квартиры. Но письменный стол мы все же купили, и теперь он очень пригодился мне — этот прекрасный, покрытый зеленым сукном вместительный стол. Три ящика были набиты бумагами, и все это были бумаги, прямо или косвенно связанные с «делом» Андрея. Здесь хранились копии заявлений, которые я посылала в Комиссариат внутренних дел, доказательства невиновности Андрея, свидетельства его порядочности и нравственной чистоты. Здесь были акты, протоколы, доклады, выступления — все, что касалось его работы в Анзерском посаде, в Сталинграде, в Москве, все отчеты о его бесчисленных поездках в Среднюю Азию и на Дальний Восток, все черновики его книги, все письма, проекты — осуществленные и неосуществленные, все, что он думал о своем тяжелом и незаметном деле,— словом, вся его жизнь. Нетрудно было изучить ее — день за днем, год за годом, и если бы следователю пришла в голову эта мысль, он легко убедился бы в том, что в этом тесном ряду дней и лет, полных труда, просто некуда поместить преступления, которые тоже требуют работы и мысли. Но в те годы следователь не был обязан и не хотел листать какие-то бумаги, на которых не было даже входящего номера, не говоря уже о подписи и печати. Это было опасно — ведь за бумагами он мог, чего доброго, рассмотреть человека. А что может быть опаснее человека? С упорством, почти маниакальным, в сотнях писем и заявлений я доказывала, что Андрей не участвовал в контрреволюционных заговорах, не способствовал эпидемиям, не вербовал шпионов, не занимался вредительством и не писал книг, подрывающих основы советского строя. Это была работа неустанная, непрерывная и казавшаяся решительно всем, кроме меня, безнадежной. Но она продолжалась.

Весной 1951 года я поехала в Сталинград на сессию Академии медицинских наук, и Митя присоединился ко мне, хотя то, что должно было произойти на этой санитарно-эпидемиологической сессии, не имело к нему ни малейшего отношения. Впрочем, у него, как это выяснилось по дороге, была совсем особая, важная цель: в Сталинграде жил Алфеевский, мировой специалист по культуре тканей, и он надеялся уговорить его переехать в Москву — иными словами, встать под знамя, на котором было на-

писано «вирусная теория» и которое поднималось все выше. Этим он и занялся, пропадая в лаборатории Алфеевского дни и ночи, а я, заглянув на сессию (мой доклад был назначен на последние дни), принялась бродить по Сталинграду, разыскивая места, памятные по грозному лету 1942 года.

Покровский, так и оставшийся заместителем председателя Сталинградского исполкома, предложил мне посетить Горную Поляну. Именно там производился бактериофаг, которым мы усердно поили сталинградцев. Мы отправились, и Покровский остановил машину на высоком холме, с которого открывался широкий поворот Волги к Каспийскому морю. Горьковатый запах полыни неподвижно стоял в нагретом воздухе; я нагнулась, чтобы сорвать скромный серо-зеленый пучок, и увидела в траве незаметные на первый взгляд осколки снарядов. Они лежали повсюду, куда ни взглянешь, ржавые, полуприкрытые землей, большие и маленькие, острые и тупые. Ими был усеян каждый шаг — можно было подумать, что железный дождь сутками, без устали, лил на этот затерянный в степи невысокий холмик.

Постепенно я стала различать заросшие, почти сровнявшиеся с землей маленькие рвы, за которыми лежали бойцы. Покровский поднял обрывок пулеметной ленты, сломанный штык — и безыменный уголок Сталинградской обороны стал оживать перед нами. Здесь был передний край. Отсюда началось наступление, перешедшее в общее великое наступление, освободившее Кавказ, разгромившее фашистские армии под Воронежем, Курском. Отсюда пошел на запад русский солдат — по дорогам и бездорожью, под палящим солнцем и в зимнюю стужу,— вперед, пока твердой рукой не вывел на почерневшей стене рейхстага: «Мы пришли из Сталинграда».

Каждый вечер, сбежав с заседания, я шла вдоль набережной и подолгу сидела на скамейке у памятника Хользунову. Здесь было место особенное, и когда ко мне присоединялся кто-нибудь из товарищей, я старалась уйти от него под любым предлогом, чтобы наедине с собой посидеть на этой скамейке. Отсюда видны заводы — новые, построенные после войны, и старые, которые стали богаче, чем прежде; караваны с грузами шли по реке; рыбаки тащили сети, и, как осколки стекла, блестела рыба в лучах

вечернего солнца. Здесь мы с Володей Лукашевичем встретились после долгой разлуки. Тогда тихо и пусто было на набережной, только девушка с красной повязкой на рукаве и солдат прошли мимо нас с серьезными счастливыми лицами. Началась тревога, но мы не ушли.

Перед отъездом в Сталинград я получила от Володи нежное, дружеское письмо. Он по-прежнему служил на Северном флоте, женился и был, кажется, счастлив.

Четыре дня продолжается сессия. Говорят о том, как предохранить строителей Волго-Донского канала от эпидемий, которые всегда могут возникнуть в тех местах, где на новые земли приходят одновременно десятки тысяч рабочих,— и ни слова о том, кто всю жизнь сражался против эпидемий. Рассказывают о том, как поставлена медико-санитарная служба на других гидроузлах,— и ни слова о том, кто лучше всех в Советском Союзе мог бы поставить эту медико-санитарную службу. Спорят о том, как наилучшим образом предупредить малярию и дизентерию,— и не слышат того, чей голос был бы самым веским в затянувшемся споре.

«Что ты сделал для фронта?» — гласит полустершаяся надпись на стене одного из немногих уцелевших домов довоенного Сталинграда. «Неужели напрасен наш труд, наши жертвы, наш подвиг?» — вот о чем спрашивала теперь эта надпись.

Не напрасен. Никто не говорит со мной об Андрее. Он вычеркнут из мира действующих, думающих, живущих. Он — никто, человек без имени. Но я слышу его голос в шуме молодых листьев на будущей Аллее Героев. В стуке молотка плотника. В шуршании лопатки, которой проводит по кирпичу штукатур. В смехе детей, играющих в Пионерском саду.

ЭПИЛОГ.

ВЕСТИ НИОТКУДА

«Глубокоуважаемая Татьяна Петровна!

Это пишет вам человек незнакомый, хотя и не совсем, поскольку Андрей Дмитрич не однажды рассказывал мне о вас. Мне 60 лет, я по профессии слесарь-инструменталь-

щик и недавно вернулся с Печоры, где мы с Андреем Дмитриевичем встретились и провели около трех лет. Считаю своим долгом написать вам о нем, поскольку он вам, возможно, не сообщает того, что я намереваюсь вам сообщить. Вам, безусловно, известно, что он работает врачом в больнице, но вы, наверно, не знаете, как много несчастных, находящихся в безвыходном положении людей обязано ему своей жизнью. Как врач — это одна сторона. Но он изобрел такой способ разводить дрожжи в огромных количествах, о котором на Печоре до сей поры не имели даже представления. Между тем в местных условиях — это все, потому что его дрожжи спасли и продолжают спасать буквально сотни людей, тяжело страдающих от цинги и пеллагры. Я лично находился в настолько безнадежном положении, что окружающие уже махнули на меня рукой, но Андрей Дмитрич поил меня из собственных рук и выходил, как ребенка.

Теперь подробности, касающиеся его здоровья и внешнего вида. Он здоров, хотя иногда мучается головными болями, впрочем привязавшимися к нему, по его словам, еще на воле. Одет он аккуратно, чисто, рваного ничего нет. Валенки я ему самолично подшил, а на минувших праздниках нам выдали теплое обмундирование, то есть бушлат, рукавицы, шапку и ватные брюки. Андрей Дмитрич не пал духом, спокоен, много читает, то есть насколько это возможно, и если в чем и нуждается, так разве только в махорке, которой у нас была постоянная недостача.

Вот я пишу «была», дорогая Татьяна Петровна, и твердо надеюсь, что и вы с мужем вскоре станете вспоминать об этой печальной жизни врозь, как о прошлом. Не горюйте и не отчаивайтесь. Желаю вам здоровья и скорого оправдания Андрея Дмитрича, а следовательно, счастья.

Остаюсь всецело ваш

Алексей Морозов».

ЭПИЛОГ. 1956.

Прошло около трех лет с того раннего июньского утра 1953 года, когда вернулся Андрей. Он написал мне, что дело пересматривается, я ждала его каждый день, а когда он наконец приехал, вышло так, что мы его не хо-

тели пускать и ему, как он потом говорил, пришлось брать приступом собственную квартиру.

...Первая вскочила Агаша — должно быть, не спала, размышляя о мирской суете и предаваясь благочестивым размышлениям. Толстая, простоволосая, в каком-то страшном капоте, она вышла в переднюю и застыла, выкатив глаза и расставив руки и ноги. Звонок повторился. Это была, очевидно, молочница, которая иногда приносила молоко очень рано.

Я спросила:

— Кто там?

— Откройте, пожалуйста,— отвечал мужской незнакомый голос.

Нет, не молочница! Я хотела открыть, но Агаша, бессвязно причитая, вцепилась в меня и не пустила. Теперь вскочили все: отец, Митя — он ночевал у нас,— и в маленькой передней сразу стало тесно. Митя, босой, сонный, в пижаме, вышел с бешеным лицом, точно решив наконец рассчитаться за все, что произошло в этом доме.

— Кто там? — спросил он сквозь зубы.

— Откройте, будьте добры. Я приехал с Андреем Дмитриевичем.

— С каким Андреем Дмитриевичем? — прорычал Митя, как будто впервые в жизни услышал это имя.

— Он сейчас поднимется. Возьмите, пожалуйста, его чемодан.

— Вот когда поднимется, тогда и возьмем.

За дверью засмеялись.

— Можно и так.

Послышались удаляющиеся шаги, очевидно вниз по лестнице, и все утихло.

— Это очень странно,— прошептал Митя.

— Митя, откройте. Это Андрей, кто-то приехал с ним. Он вернулся! Я знаю, что это он. Почему странно?

— Ш-ш-ш...

Агаша снова начала причитать, но Митя слегка двинул ее, и она затихла. Все стояли взволнованные, растрепанные, полуодетые и прислушивались. Опять шаги, на этот раз торопливые, легкие. Кто-то не шел, а летел вверх по лестнице, прыгая через ступеньку. Звонок, стук в дверь, голос — на этот раз можно было не сомневаться, что именно Андрей стоит за дверью и требует, чтобы его впустили.

— Татьянушка, это я. Не веришь? Честное слово.

Он остолбенел, увидев в передней толпу полуодетых людей, и сержант, которому, по-видимому, было поручено помочь Андрею добраться до дому, тоже удивленно остановился на пороге с чемоданом в руках.

— Милый мой, дорогой! — Я бросилась к нему, обняла. Сердце замерло, потом покатилось куда-то и на мгновенье стало страшно, что сейчас я умру... Сейчас, когда он держит меня в своих объятиях и, не отпуская меня, с изумленным сияющим взглядом протягивает руку Мите и видит показавшегося на пороге сына — дрожащего, в ночной рубашке, с вдруг вспыхнувшим, потрясенным лицом...

Андрей вернулся таким, как будто гроза, или половодье, или другое явление природы заставило его терпеливо, на том берегу реки, дожидаться возможности переехать на этот, где его ждала семья, жизнь, работа. С поразившей меня сумрачной силой он постарался отстранить все, что мешало ему остаться самим собою. Но все-таки что-то мешало. Он был оскорблен болезненно, остро, и хотя никто не услышал от него ни жалобы, ни упрека, я знала, что он оскорблен и что ему мешает жить это чувство. Ни я, ни Рубакин, который часто подолгу разговаривал с ним, не сумели возвратить ему подлинную душевную бодрость.

Это сделала старая и новая дружба с братом.

Митя приехал на родину с мыслью, которая никогда не оставляла его — читал ли он лекции в Ростовском медицинском институте или боролся с чумой на Ближнем Востоке. Но до сих пор он распоряжался этой мыслью, а теперь она стала властвовать над его умом и душой.

Не буду рассказывать эту длинную историю — одну из тех, в которой всегда выигрывают щедрые и проигрывают скупые, потому что в науке ничего нельзя совершить, расплатившись меньшим, чем труд целой жизни. Скажу только, что эта история началась в тот день, когда над идеей вирусного происхождения рака от души смеялись — я это видела и слышала — полторы тысячи научных работников, приехавших в 1927 году на съезд в Ленинграде. Потом она притаилась в стороне от поля сражения. И, быть может, один только Митя продолжал думать о ней, ошибаясь чаще, чем многие, в науке и в жизни. Так было до его возвращения с Ближнего Востока, когда он привез новую,

действительно необычайную догадку и когда доказательства — сперва приблизительные, а потом все более точные — стали сбегаться к нему со всех сторон. Теперь нужно было только одно — собрать сторонников, с которыми Митя собрался в далекий, не обещавший легкой жизни путь. И с энергией, которую даже от него ожидать было трудно, он набросился на брата, доказывая, что именно Андрей должен бросить все начатые работы и отдать ему, Дмитрию, свой опыт. Понимал ли он, что это было необходимо не только ему, но и Андрею? Вероятно, да, потому что это были уже не споры, сопровождавшие братьев всю жизнь, а бешеные схватки, в которых Митя доказывал, что нашу медицинскую науку следует перестроить уже потому, что при данном состоянии она не помогает, а мешает подтвердить опытами его теорию. Эти схватки кончились победой старшего брата, и наступила та полоса, когда впервые в жизни они почувствовали, что очень нужны друг другу. Они всегда любили друг друга, но теперь к этому чувству присоединилось что-то новое и это новое сразу осветило всю глубину привычных, почти не замечавшихся отношений.

...Кончаются тосты в стихах и в прозе, прочтены новогодние пожелания каждому из гостей. Звонок у парадной двери — это поздравительные телеграммы, за которыми бегает Петя, впервые встречающий Новый год вместе со старшими, за общим столом. Телеграммы совсем как настоящие, на бланках с наклеенными полосками бумаги. Исполнены заранее приготовленные номера и среди них — шарады в костюмах, доставляющие наибольшее удовольствие тому же Пете, который следит за исполнителями горящими глазами. Обеденный стол задвинут в угол — нужно освободить место для танцев, и нетанцующие уже стоят в коридорах, а танцующие, среди которых, как всегда, отличается Митя, стараются показать, что годы не так уж властны над ними, как это, может быть, кажется родственникам и знакомым. Елизавета Сергеевна, потяжелевшая, но еще красивая, сохранившая свою неторопливую плавность, приглашает к чаю. И тут внезапно оказывается, что кто-то уехал — артисты, встречающие Новый год еще в одном доме, а кто-то спит в комнате мальчиков на полу. После новых, уже в связи с разъездом, жалоб на то, что Львовы живут чертовски далеко, новых, еще бо-

лее убедительных опровержений Мити, новых — в десятый раз — пожеланий счастья в наступившем году остаются только самые близкие: мы с Андреем, Рубакины, Коломнин и Виктор Мерзляков, давным-давно заменивший покойного Крамова в Мечниковском институте.

Четвертый час, все устали, и больше всех, без сомнения хозяйка, только что пожаловавшаяся, что у нее онемели ноги, только что ласково спросившая меня, почему я весь вечер скучала, только что пристроившаяся за моей спиной в уголке дивана и уже снова убегающая на кухню, где стоят горы грязной посуды и две розовощекие девицы делают не то, что надо.

Митя тоже спрашивает меня, почему я скучаю, и я отнекиваюсь: ничего подобного, и не думаю, с чего вы взяли? А если задумываюсь иногда, так это даже хорошо, если я одна за всех по временам задумываюсь в последний вечер года. Общий возглас:

— О чем?

Андрей: О вреде обязательного посещения лекций.

Смех.

Но на самом деле в его догадке нет ничего смешного! Всю зиму мы с Андреем обсуждаем этот на первый взгляд простой, а на деле очень сложный вопрос. И наш интерес к нему вызван вовсе не тем, что я читаю лекции в ЦИУ. Интерес семейный, и касается он Павлика, который вот уже третий год работает в лаборатории научно-исследовательского института и которому деканат фактически запрещает заниматься наукой, потому что часы лекций совпадают с часами лабораторной работы. Это было бы логично, если бы он плохо учился, но он отличник и, стало быть, не так уж нуждается в обязательном посещении лекций! Андрей посмеивается, а меня возмущает нелепость, заставляющая способных студентов терять неоценимое время на лекциях, которые читаются подчас бездарно и скучно.

— Не угадал.

Коломнин. О перекрестной устойчивости к антибиотикам.

Снова смех. Последнее время я действительно немного сошла с ума на перекрестной устойчивости, и было бы забавно, если бы я переехала в новый год, думая над этим вопросом.

Митя. О любви.

— Сдаюсь, Митя. И мысленно я прибавила: «Вы угадали. Впрочем, кому же и угадать, если не вам. Я любила вас всю жизнь...»

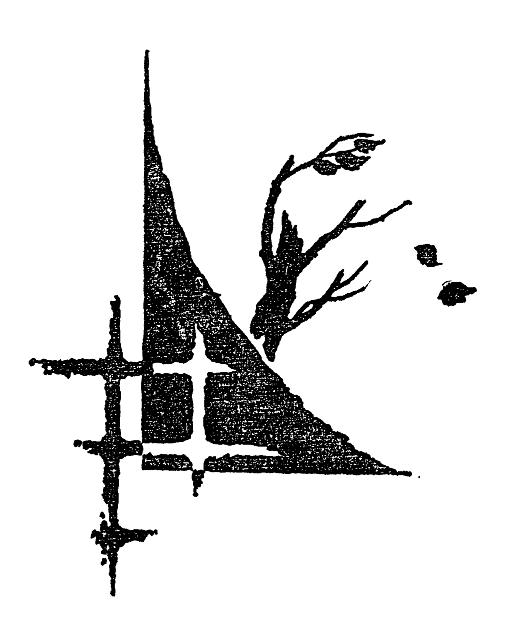
Здесь обрываются записки Татьяны Петровны Власенковой ранним утром первого января 1956 года.

По-видимому, нам обоим пора отдохнуть — Татьяне Петровне от моих настояний, от беспрестанных расспросов, от блокнотов, с которыми я ходил за ней по пятам, а мне — от этого романа, который я пишу вот уже десять лет и в котором вы найдете правдивую историю одной обыкновенной и необыкновенной жизни.

1946—1956—1964—1980

СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ

ПОВЕСТЬ



Поворот все вдруг.

Морская команда

1

Сбоев сломал нос, слетев с параллельных брусьев. Горбинка придавала его доброму лицу надменное и даже хищное выражение. Он поступил в Училище имени Фрунзе, с трудом вытянув на первый специальный курс, и привык к дисциплине, хотя должен был считать до пятидесяти, когда ему хотелось возразить преподавателю или «уволиться в окно», вместо того чтобы лечь спать в положенное время. С годами ему удалось довести счет до двадцати пяти. Еще и теперь в минуты раздражения он начинал считать, белея, с медленно бьющимся сердцем.

После трех лет службы на флоте все в нем еще бродило и кипело. Вдруг он начинал вдохновенно врать. Он был прост, прямодушен, а казался себе холодным, расчетливым, дальновидным.

В другое время он с легким сердцем встретил бы необходимость потерять два-три дня на скучную командировку. Но катер отходил в тот вечер, когда оперный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко показывал в Полярном премьеру. Московский театр на Северном флоте — само по себе это было событие! Сбоев собирался на спектакль с Катенькой Арсеньевой — это было событие в квадрате.

Года два-три тому назад он относился к женщинам пренебрежительно, как бы допуская неизбежность, без которой, к сожалению, нельзя обойтись. Теперь он любил их всех или почти всех и, сердясь на себя, думал о них постоянно. В Катеньку он влюбился на днях, и, хотя го-

ворил с нею главным образом о знаменитом путешественнике и писателе Арсеньеве, который приходился ей дальним родственником, она в воображении давно принадлежала ему.

Он стоял на палубе, думая о ней, когда показался Мурманск. Высокая стенка шведского парохода медленно прошла по левому борту. Он взглянул на часы. Восемнадцать тридцать. В Полярном, в Доме флота, оркестр сыграл увертюру, занавес поднимается. Катенька сидит в первом ряду с Шуркой Барвенковым. Этот не станет тратить время на Арсеньева с его «Дерсу Узала»! От пробора до новых ботинок все продумано, приглажено, сияет. «И я знаю этот подлый маневр — весь вечер смотреть на девушку, отвернувшись от сцены».

В Управлении тыла Сбоев узнал, что он командируется на грузовой пароход «Онега» сопровождать оружие для строившегося в районе Западной Лицы аэродрома. Его команда — два матроса — уже ждала его на пятнадцатом причале, оружие грузилось, и дежурный командир посоветовал Сбоеву поужинать в «Арктике».

— Еще успеете,— любезно сказал он.

В ресторане не было мест, и Сбоев мрачно выпил у стойки рюмку коньяку, закусив ее маленьким дорогим бутербродом. Больше он не думал о Катеньке. Матросы встретили его на причале. Он явился на «Онегу» и представился капитану Миронову, грузному красному человеку в потрепанном кителе с несвежим подворотничком.

— Очень рад. Добро ваше погружено. Опаздываем.

— Почему?

— Пассажиры еще не прибыли,— лениво усмехнувшись, сказал капитан.— Впрочем, вот они.

Сбоев взглянул вслед за ним в иллюминатор, из которого открывалась часть причала, свободная от груза. Там вдоль рельсов выстраивались какие-то плохо одетые люди. Охрана покрикивала на них. В грустном свете незаходящего солнца у них были бледные, усталые лица. Старший охранник в подвязанной куртке, со свистком и пистолетом за поясом скомандовал, и они быстро и, как показалось Сбоеву, ловко опустились на одно колено. Сторожевые собаки, большие овчарки, сидели смирно по сторонам колонны. Старший сосчитал людей, они встали и по мосткам, переброшенным с пирса, разговаривая и толкаясь, пошли на «Онегу».

2

«Онега» был старый пароход, принадлежавший когда-то Соловецкому монастырю. У монастыря был сухой док в бухте Благополучия, рыболовецкие суда и три парохода — «Вера», «Надежда», «Любовь». Бывшая «Любовь», а ныне «Онега» была пароходом английской постройки 1910 года. Прежде на нем ходили монахи, и, хотя теперь уже трудно было поверить, что на мачтах парохода некогда сверкали кресты, в его крепеньком облике, как это ни странно, сохранилось нечто духовное. Он был флагманом монастырского, приносившего большие выгоды флота.

3

Сбоев был вынужден пропустить спектакль в Полярном и сопровождать оружие по той же причине, которая привела на борт «Онеги» команду заключенных, отправлявшихся на строительство аэродрома.

Это произошло потому, что была уже создана и энергично действовала военно-морская группа «Норд» под командованием генерал-адмирала Бёма. Норвежцы, беженцы из Финмарка, рассказывали, что новые самолеты ежедневно прибывают на немецкие аэродромы, а корабли — в базы, находившиеся недалеко от границы. Наши береговые посты и корабли все чаще отмечали перископы неизвестных подводных лодок, и пущенное кем-то словечко «перископомания» уже ходило па Северном флоте.

Многие обо всем этом догадывались, некоторые знали. Догадывался Миронов, знал Сбоев. Но относились они к предстоящей и, по-видимому, неизбежной войне по-разному. Сбоев — с хладнокровной лихостью молодого человека, блестяще решившего на выпускных экзаменах тактическую задачу, с честолюбивым предчувствием перемен, которые, может быть, поставят его в один ряд с Нельсоном и Ушаковым. Ничего, кроме потерь, не ждал от войны капитан Миронов. Он вообще уже почти ничего не ждал. Более того — ему не мешало жить это полное отсутствие ожидания.

Были недели и даже месяцы, когда он не пил; он вспоминал о них с отвращением. За вином он оживлялся, становился очарователен, легок, любезен. Это не было покло-

нением божеству, нашептывающему темные мысли. Вино было для него принадлежностью спокойствия, веселого настроения, счастья. Он удобно устраивался за столом, смеялся, вкусно рассказывал. И все вокруг становилось неторопливым и вкусным.

Война угрожала этим любимым часам за столом. Конечно, и на войне можно было пить, а иногда даже необходимо. Но это было уже не вино, а лекарство.

Он понимал, что его жизнь катится вниз, и старался, более или менее успешно, не думать об этом. Она долго шла вверх — от кока на парусном судне «Серафина» до капитана дальнего плавания, побывавшего во всех цветных морях: Черном, Желтом, Красном и Белом. По-видимому, это был апогей, которого он не заметил. Теперь жизнь двинулась в обратном направлении и хотя еще не вернула его в камбуз, но уже привела на эту «божественную» «Онегу».

Он был слегка навеселе, когда явился Сбоев, и, хотя время было уже позднее, приказал накрыть в «трапезной» — так он называл салон. Сбоев отказался, попросив лишь накормить матросов. Он не думал обидеть Миронова, хотя этот моряк с выпирающим под кителем животом не понравился ему с первого взгляда. Но, не желая, он как раз обидел его, и не только потому, что отказался сухо. Миронов на «Онеге» чувствовал себя хозяином дома, и просьба о матросах была, с его точки зрения, бестактностью.

Они пожелали друг другу доброй ночи, и Сбоев ушел наверх, в отведенную ему лоцманскую каюту. Он заснул быстро, едва успев подумать о неприятном капитане, с которым ему, слава богу, придется провести только два дня. К утру он будет в Западной Лице, а вечером — обратно.

Но Миронов долго не мог уснуть после его ухода. Сбоев напомнил ему сына, директора консервной фабрики, расчетливого дельца, корректного, скучного карьериста. Миронов всегда думал, что жизнь хороша, если ей не мешать. Ему мешала мысль о сыне: «Что за поколение, больше всего на свете уважающее тот факт, что оно соблаговолило появиться на свет? Откуда взялись эти сухие лица, это немногословие, честолюбие, хладнокровное сталкивание товарища в пропасть? Но, может быть, не они, а мы виноваты? Мы ошибались, запутались, перестали доверять друг другу. Ничто не проходит даром».

4

Среди заключенных, расположившихся в трюме, было много так называемых «указников», то есть людей, осужденных за прогул или даже только за то, что они опоздали на работу. Но были и настоящие уголовники, приговоренные к длительным срокам заключения. Почти все они, кроме восьми-девяти, сидевших в мурманской тюрьме, встретились впервые в порту. Но отношения, как всегда бывает в таких обстоятельствах, сложились быстро. Первое место среди заключенных занял Иван Аламасов, сильный усатый человек с толстыми плечами. Он был выбран старостой, но не потому, что заключенные почувствовали к нему доверие, а потому, что ему этого хотелось. За краткие часы погрузки он сумел устроить так, что был выбран именно он. Раздавая кашу на причале, он положил себе вдвое больше. Все это видели, но никто не посмел возразить. Когда располагались на ночь в трюме, кое-кто уже лебезил перед ним.

Иерархия, которая сразу же выстроилась в трюме, была основана на том, что, как бы ни относились заключенные друг к другу, с полной определенностью подчинения они должны были относиться только к нему. С меньшей — к его помощнику Будкову, с еще меньшей — к тем, кому по разным причинам покровительствовали староста и Будков.

Все это образовалось с необыкновенной быстротой, как будто большая группа заключенных только и ждала минуты, когда можно будет подчиниться старосте и Будкову. И действительно, этот порядок был психологически подготовлен, соответствуя неписаным законам тюрьмы.

Аламасов стал старостой не только потому, что мог взвалить на свои могучие плечи вдвое больше, чем любой заключенный; он был силен тем, что мог легко переступить границу обыкновенных отношений людей друг к другу и вступить с любым из них в нечеловеческие, зверские отношения — ударить, избить и даже убить. Он не боялся того, чего боялись они. Это была одна из причин, по которой почти все заключенные сразу же, еще в порту, стали остерегаться его. Он был осужден за двойное убийство на зимовке, и, когда об этом узнали, исключительность и прочность его положения еще возросли в плавучей камере, которая с минуты на минуту должна была тронуться в путь.

5

«Онега» не ушла в эту ночь, потому что артотдел флота вдруг спохватился, что оружие, которое было необходимо для одной из дальних батарей, везут на строившийся аэродром, где оно может пригодиться не сразу. Управление тыла задержало пароход, дожидаясь решения командования, которое было занято другими неотложными делами, и, проснувшись ранним утром, Сбоев нашел себя не в Западной Лице, как он предполагал, а в том же мурманском порту, у стенки пятнадцатого причала. Он позавтракал с Мироновым, который снова не понравился ему — на этот раз тем, что подробно и хвастливо рассказал, как в 1937 году на «Аркосе» сменял зимовщиков и какой это был трудный, удивительный рейс. Рейс был действительно трудный, продолжавшийся долго, больше двух месяцев, изобиловавший сложностями, которые Миронов преодолел с необыкновенной настойчивостью и даже остроумием. И рассказывал он о нем всегда остроумно, не хвастливо, а, напротив, подсмеиваясь над собой. Но на этот раз собеседник «не принимал» его, как зритель не принимает затянувшийся спектакль. Сбоев принужденно улыбался, тянул «н-да» и наконец стал с откровенным нетерпением ждать окончания наскучившего рассказа. Он ушел, оставив капитана недоумевающим, не понимающим, почему он так старался понравиться этому надменному мальчишке, и в сильном желании кого-нибудь немедленно обругать. Выйдя на палубу, он обрушился на второго помощника, не исполнившего какого-то незначительного приказания, о котором сам Миронов давно позабыл.

6

Утро Сбоев провел в Управлении тыла, выясняя, надолго ли задержана «Онега», и выяснив лишь, что ему все равно придется сопровождать оружие, пойдет ли оно на аэродром или батарею. Мимоходом он узнал несколько новостей, убедивших его в том, что, по-видимому, ему действительно вскоре представится возможность стать в один ряд с Нельсоном и Ушаковым.

Озабоченный, томимый досадой, что он занимается делом, с которым мог бы справиться любой остолоп, он пошел в «Арктику» и встретился там с Федей Алексеевым,

товарищем по Училищу имени Фрунзе. Они пообедали вместе. Федя, добродушный румяный весельчак, разговаривая об одном, думал, по-видимому, о другом, и Сбоев приписал эту не свойственную ему отвлеченность все тому же нервному чувству ожидания, с которым он встретился в Управлении тыла. Он ошибся. Не замечая, что он ест и пьет, Федя думал о жене и маленькой дочке. Дочку пора было купать, и Федя надеялся зайти домой, выгадав полчаса. Ему нравилось смотреть, как купают дочку. С оттенком презрения Сбоев заметил, как Федя засиял, когда после неладившегося разговора на крайне важные государственные темы они дошли до этого более скромного предмета. Он потащил Сбоева к себе, познакомил с женой и, оставшись в тельняшке, стал озабоченно пробовать толстым голым локтем приготовленную в корыте воду. «Чем они гордятся? — с недоумением думал Сбоев, пока Федя с женой, умильно приговаривая, осторожно поливали завернутую в пеленку дочку.— А ведь гордятся! И жена усталая, но счастливая, и ей все равно, что волосы кое-как заколоты на затылке, а под распахивающимся капотом показывается грудь».

Он простился, ушел и оставшиеся полдня бродил по Мурманску, разглядывая встречавшихся женщин. «Ну, эта старовата,— подумал он о женщине лет тридцати, которая принимала товар с грузовика, подъехавшего к промтоварному магазину.— А вот эта да! Подойти, что ли? Впрочем, к чему? Ведь сегодня ухожу. Ну, перекинемся двумя-тремя словами, и только».

Все-таки он заговорил с девушкой, которая, постукивая каблуками, шла перед ним с перекинутым через плечо макинтошем. Она работала в библиотеке, и Сбоев на всякий случай записал ее телефон. Она забавно пожимала плечами, смеялась и была похожа на Катеньку, но еще больше — на всех других девушек и женщин, с которыми он, Сбоев, знал бы, что делать, если бы у него было время. Но времени не было, и, раздосадованный, жалея себя, он вернулся на «Онегу».

7

День утомительного безделья, когда Сбоев, не зная, куда себя девать, бродил по Мурманску, был для старосты Аламасова днем напряженной, неутомимой работы. Это

была не физическая работа, хотя Управление порта воспользовалось тем, что «Онега» задержалась на сутки, и договорилось, чтобы заключенные грузили другие суда. Узнав, что их отправляют на Западную Лицу, Аламасов придумал план побега, который с каждым часом казался ему все более осуществимым.

Он знал, что дело, по которому он был осужден на десять лет, пересматривается, и боялся, что новые обстоятельства изменят в худшую сторону сравнительно мягкий приговор. А за десятью годами шла высшая мера.

Для побега нужно было осуществить другие, более близкие планы. Это и была работа, которой он занялся с поразительной последовательностью и энергией. Прежде всего он подчинил Будкова, тоже силача и человека с зверской наружностью, но в сущности податливого и психологически слабого. Будков был поездным вором. Он усыплял пассажира и, стащив его чемодан, прыгал с поезда на полном ходу. Иногда ему помогал товарищ. Он хорошо одевался, вежливо беседовал с попутчиками, заботился о женщинах — все это было нетрудно для него, потому что он действительно был добродушен и мягок.

Нарядный, в модном костюме, он вернулся в Мурманск к родным и узнал, что отец второй год разыскивает его по всему Советскому Союзу. Он был поражен. Он сам поехал искать отца и на первом же перегоне стащил чемодан у рассеянного соседа. Борьба с самим собой, которая началась с этой поры, превратила здорового огромного парня в неврастеника, готового заплакать от пустячной обиды. Дважды он поступал на работу, заранее отказываясь от командировок. Он лечился у гипнотизера. Все было напрасно.

Наконец его товарищ, прыгнув с поезда, разбился насмерть о Волховский мост — это решило дело. Будков вернулся в Мурманск, поступил на курсы строймастеров, женился. Он больше не воровал — болел, томился, но бросил. Иногда, чтобы отвести душу, он таскал, что придется, в театре или в магазине и швырял в ближайшую урну.

В тюрьму он попал не за воровство, а за незаконный отстрел лося. Это казалось ему несправедливым, тем более что при аресте он почти не сопротивлялся — во всяком случае, никого не убил и не ранил.

Староста овладел Будковым, расположив его к себе своим сочувствием и удивлением по поводу несправедливого приговора. За разговором он поделился с ним таба-

ком, оставив себе меньшую долю. Будков, не куривший несколько дней, чуть не заплакал от признательного волнения. До поры до времени староста решил не говорить ему о своем плане. Но он намекнул на побег, и, как ни странно, именно этот туманный намек произвел на Будкова особенно сильное впечатление. В тюрьме Будков — теперь уже семейный человек — снова стал вором, и побег был для него возобновлением той рискованной жизни, о которой он невольно мечтал.

Возможно, что, если бы староста рассказал ему свой план до конца, он мгновенно отрезвел бы, потому что прекрасно знал расположение окрестных баз и рыболовецких факторий, и ему ничего не стоило доказать Аламасову всю практическую неисполнимость затеи. Но староста не только почти ничего не сказал Будкову, но объяснил, почему до поры до времени приходится молчать, и хотя объяснение было основано лишь на одной неопределенной фразе: «Сам видишь, какая обстановка»,— Будков сразу же и охотно согласился. Он не понимал, почему должен был опускать глаза, когда староста смотрел на него в упор своими неестественно черными глазами. Он заметил, что и другие заключенные не выдерживали этого пристального, неутомимого, властного взгляда и так же, как Будков, покорно опускали глаза.

8

В конце концов командование все же решило отправить оружие на аэродром.

Сбоев вернулся на «Онегу» в дурном настроении и даже как бы несколько другим человеком, более раздраженным и еще менее склонным долго сидеть за столом с толстым опустившимся капитаном. Это Миронов почувствовал сразу, и только долг хозяина, которому он ни при каких обстоятельствах не мог изменить, задержал неприятный разговор.

— Удобно ли вам в лоцманской? — спросил Миронов.— А то, может быть, перейдете к Алексею Ивановичу? — Алексей Иванович был первый помощник.— У него, правда, диван коротковат, но вам будет впору,— продолжал он, не заметив, что обидел Сбоева, подумавшего, что капитан намекает на его маленький рост.

— Спасибо, мне хорошо и в лоцманской.

— Насчет ваших матросов я распорядился.

Накануне Сбоев просил, чтобы его матросов кормили вместе с командой.

— Спасибо.

Они помолчали. «Да, повезло»,— подумал Сбоев, глядя на грузную фигуру капитана, сложившего руки на животе и в ожидании обеда уютно откинувшегося в вертящемся кресле. К неприятному впечатлению, которое производил на него Миронов, присоединилась еще и мысль о том, что он как-никак «торгаш», то есть моряк торгового флота. А к «торгашам» Сбоев, как многие военные моряки, относился с пренебрежением. Впрочем, пренебрежение было взаимным: «торгаши» считали, что военные моряки вообще не моряки, потому что сидят на своих базах, не имея понятия о том, что такое море.

Пришли к обеду два помощника капитана и старший механик. «И эти под стать»,— продолжал думать Сбоев, хотя это были люди, ничем не похожие не только на Миронова, но и друг на друга. Впрочем, общее между ними действительно было. Все они были сдержанно-мрачноваты по какой-то причине, о которой не считали нужным говорить с незнакомым, случайно оказавшимся на борту командиром. Причина была в том, что на «Онеге» находилось около ста заключенных, а перевозка заключенных считалась самым неприятным, тяжелым и ответственным делом. На командном мостике в этих случаях ставилась дополнительная вахта, каюты закрывались на ключ, и общее напряжение поддерживалось еще претензиями охраны, казалось, переносившей на экипаж свое грубое отношение к заключенным. В обычную жизнь грузового парохода входила другая, куда более сложная и страшная жизнь: окрики часовых, внезапное появление на палубе заключенных в измятой одежде с приставшими соломинками, то смирных, как бы сломленных, с погасшими глазами, то наглых, неестественно бодрых.

— По-видимому, мой стол вам не по вкусу,— заметил Миронов, когда Сбоев отставил густую, наперченную солянку.

— Спасибо, я сыт.

— Может быть, вина?

Сбоев выпил, но когда Миронов хотел налить снова, закрыл рюмку ладонью.

— Тоже не нравится?

— Да, не нравится,— вспылив, ответил Сбоев.

— Приятно, когда человек говорит то, что думает.

— Я всегда говорю то, что думаю.

— Редкий, но поучительный случай,— усмехнувшись, сказал Миронов. Он был пьян, но не очень.— Вот, Алексей Иванович,— обратился он к первому помощнику, скромному молчаливому человеку.— Еще сегодня я прикидывал: вдруг случилось бы чудо, и можно было бы начать жизнь сначала. Согласился бы я или нет? И решил, что нет. Почему?

Помощник что-то пробормотал. Он не любил, когда капитан пускался в отвлеченные рассуждения.

— Потому что тогда пришлось бы существовать среди людей, которые говорят то, что думают. Людей искренних, трезвых и, между прочим, не упускающих случая схватить быка за рога, когда это возможно.

Сбоев с презрением пожал плечами. Обед закончился в молчании.

9

Чем больше Аламасов обдумывал свой план, тем реальнее он ему казался. Этому способствовало и то, что «Онега» вышла наконец, и с палубы был виден теперь не порт с его кранами и серыми грудами апатитов, а покачивающаяся под бледным солнцем темно-зеленая, бутылочного цвета, равнина залива.

Он спал недолго, часа два, и проснулся освеженный, с ясной головой, с ощущением острой, готовой в любую минуту распрямиться мускульной силы.

Еще в 1935 году он задумал бежать за границу. Он был тогда начальником полярной станции на одном из отдаленных островов, и все, что он делал, было тайно направлено к этой не открывшейся на процессе цели.

Ему удалось многое. Он подчинил зимовщиков, он заставил их повиноваться беспрекословно и слепо. Он разбогател, ограбив эскимосов. Тогда самое сложное было захватить пароход, который ждали на острове летом 1936 года. Теперь эта возможность явилась без напряжения, без усилий, как бы сама собой.

Окончательная цель — тогда Америка, а теперь Норвегия или Финляндия — рисовалась ему одновременно и ослепительной и неопределенной. Для него ясным было только то, что он должен сделать сейчас, сегодня или, мо-

жет быть, завтра. А сегодня или завтра нужно было захватить пароход.

Он не понимал, что именно эта особенность сознания, способного предвидеть только два-три шага вперед, и была причиной неудачи, едва не погубившей его в 1935 году. Но по складу характера, по направлению ума он должен был ежеминутно действовать в свою пользу — в большом и в малом.

Теперь, после подчинения Будкова, его ближайшей целью стал Николай Иванович Веревкин, в прошлом военный моряк.

10

Это был человек, который — единственный из всей команды заключенных — не только не подчинился старосте, но как бы не замечал, что все другие подчинились ему без возражений. У него была незаметная внешность — лысеющий блондин среднего роста, с аккуратным пробором. Он тщательно следил за чистотой белья и одежды. Со всеми он был равно приветлив, хотя и немногословен.

Случайность привела Веревкина в тюрьму, и хотя он тяжело переносил заключение, оно было счастьем для него, и в самые трудные минуты он неизменно вспоминал об этом: он три недели провел в камере смертников, ожидая расстрела. На Северном флоте он командовал подводной лодкой «Д» и внезапно, без подготовки, был послан обеспечивающим на другую лодку — «щуку». Выйдя из базы, он увидел рыбный траулер, который шел прямо ему навстречу. Он взял к берегу. Взял к берегу и траулер. Веревкин взял еще правее. Траулер — за ним. В двух шагах от высокого скалистого берега невозможно было ни выброситься, ни развернуться. Прежде чем лодка по его команде дала задний ход, траулер ударил в левый борт, в район центрального поста. Через две минуты лодка затонула, а Веревкин, который с двумя командирами стоял на ходовом мостике, оказался в воде. Он обязан был покинуть корабль последним. Но для этого оставалось только нырнуть вслед за ним.

На следствии выяснилось, что командир траулера был пьян, а командир дивизиона не имел права посылать обеспечивающим Веревкина, который до сих пор не хо-

дил на «щуке». Тем не менее трибунал, судивший по законам военного времени, приговорил Веревкина к расстрелу. Верховный Суд заменил расстрел десятью годами.

Он не знал, что хлопоты о нем продолжаются и что в то время, как он вместе с другими заключенными плыл на «Онеге» по Кольскому заливу, его жена Антонина Васильевна с несомненными доказательствами его невиновности ехала из Мурманска в Москву.

Он умело устроил свое место, положив солому крест-накрест, чтобы она не быстро слежалась, сунул под голову заплечный мешок и, хотя в трюме было темновато, принялся за чтение, стараясь держать книгу в луче света, падавшего сквозь раздвинувшиеся лючины — толстые доски, снимавшиеся, когда грузили пароход.

Книги спасли его в тюрьме, когда он как бы раздваивался, с ужасом прислушиваясь к шагам в коридоре и одновременно заставляя себя поверить в невозможность того, что идут за ним. И теперь, после дня тяжелой работы, он с уже привычным чувством раздвоенности принялся за чтение. Но раздвоенность была совсем другая. Он запоминал прочитанное, удивляясь или негодуя, и одновременно думал о своей так счастливо начавшейся на флоте и так внезапно трагически оборвавшейся жизни.

11

Староста Аламасов узнал о судьбе Веревкина от других заключенных, прежде сидевших с моряком в одной камере мурманской тюрьмы. И то, что он узнал, показалось ему в высшей степени интересным и важным. Во-первых, Веревкин был несправедливо оскорблен и, следовательно, по понятиям старосты, должен был испытывать злобу. Во-вторых, он был военным моряком, командиром подводной лодки и, стало быть, мог оказать неоценимую помощь. Нужно было прежде всего подчинить его себе, а потом воспользоваться его знаниями, опытом, его угадывающейся незаурядной волей. Это было трудно — не потому, что Веревкин относился к Аламасову более чем сдержанно, а потому, что он был человеком совершенно другого, не понятного старосте покроя. Староста увидел это сразу, потому что уже встречался с людьми подобного

склада, живущими как бы без определенной цели, но вместе с тем следуя вполне определенному образу мыслей, которому они при любых обстоятельствах отказывались изменить. Именно таких людей, мужа и жену, Аламасову пришлось «убрать» на полярной станции, разумеется не своими руками. Тут, правда, дело было другое. Тут в крайнем случае можно будет «убрать» и своими руками.

12

Он начал с того, что подослал к нему Будкова, надеясь, что вор с его добродушием как бы перекинет мост между ними. Он ничего не поручал Будкову, попросив только намекнуть, что староста интересуется, не нужно ли чем-нибудь помочь Веревкину, разумеется так, чтобы другие заключенные об этом не знали.

Встреча состоялась вечером, когда Веревкин расположился немного почитать перед сном, и, на взгляд старосты, которому Будков изложил содержание разговора, удалась в полной мере.

— Я ему, значит, про себя. Так? — рассказывал Будков.— А он про себя. Я ему, значит, про отца и как я, значит, бросил, а все равно тянет. Так? Он — тоже. То есть он про свое. Его за аварию. Я ему говорю: «Значит, люмпен-пролетариат, так?» Про себя. А он говорит: «Зря расстраиваешься». Потом мы с ним Новый год вспомнили. В морклубе. Он не знал, что это я дед-мороз был. Посмеялись. Потом я спросил, не нужно ли чего, так? Говорит, не нужно.

Разговор удался даже в большей мере, чем этого хотелось старосте, потому что Будков инстинктивно почувствовал в моряке ту душевную ясность, которой ему самому так недоставало. Он был запутан, сбит с толку — и тем, что снова попал в заключение, и тем, что его снова могущественно потянуло к жизни, от которой он навсегда отказался.

Волны плескались о борт, скользящий, булькающий звук гулко отдавался в полутемном трюме. Погода была тихая, но Будкова все-таки стало мутить от этого равномерного плеска. Он думал о старосте, о том, что староста — одно, а Веревкин — совсем другое. О жене и о том, как во время финской он служил в охране водного района и, когда уходили в море, все время лежал, не перенося

качки. Потом отказался идти и двадцать суток просидел на «губе». Его всегда вело куда-то. Он не хотел, а его вело. И лосей этих нечего было стрелять. Он знал, что охота запрещена, тем более что это вообще было мучение, а не охота. Ох, как его мутило! Будков поднимался на локте, с отвращением оглядываясь вокруг, и, когда он видел спокойное лицо спавшего Веревкина, ему почему-то становилось легче.

13

Невозможно было не встречаться на маленьком пароходе, а встречаясь, невозможно было вести себя сдержанно, как будто между ними не было вдруг вспыхнувшей острой неприязни. Миронов, который и до этого рейса вел сложную мысленную войну с сухарем сыном, теперь по любому поводу старался уколоть этого маленького надменного артиллериста со сломанным, очевидно в драке, носом. Сбоев был для него представителем всего молодого поколения, поверхностного, избалованного, самодовольного, опытного лишь в ловкости, с которой оно обходило трудности или обращало их в свою пользу.

— Как они будут воевать? — с горечью говорил он первому помощнику.— Как они могут воевать? Ведь такие без позора даже проиграть войну не в состоянии!

И Сбоев, который сначала почти не замечал капитана, стал мало-помалу валить на него неприятности затягивающейся командировки. Теперь Миронов был виноват и в том, что пришлось пропустить спектакль, и в том, что Сбоев был вынужден так долго не встречаться с Катенькой, которая вспоминалась ему с волнующей, соблазнительной ясностью. Он думал и о том, что, пока он торчит на этом грязном грузовом пароходе, без него происходят важные, интересные события. «Ну как с такими воевать? — думал он, глядя на Миронова, который ругал третьего помощника за то, что тот позволил охране сдать на камбуз сухой паек.— Нажраться водки и завалиться спать — вот и весь несложный смысл существования».

Разговор Миронова с помощником происходил на капитанском мостике, и Сбоев по сдержанным, вполголоса, ответам понял, что помощник помнит, а Миронов забыл, что Сбоев живет в лоцманской каюте, которая обычно пустовала. Но в эту минуту, очевидно, и Миронов вспомнил об

этом, потому что, побагровев, он стал выговаривать помощнику еще грубее и громче.

«Я не обязан предоставлять лоцманскую пассажиру. А ты сейчас пассажир, и только. Вот отошлю тебя к третьему, и баста!» — так слышалось Сбоеву, хотя на самом деле Миронов по-прежнему говорил о тесноте в камбузе, охране, пайке.

Он ушел наконец, и Сбоев, стараясь не смотреть на смущенного помощника, вышел на мостик.

14

Кустарник горел по берегам залива. Что-то тревожное было в окутанных дымом холмах, на которых лежали тени других холмов, просвечивающие сквозь ползущую пелену, и дым «Онеги», казалось, спешил соединиться с этой тревожной серой пеленой. Но справа были чистые, освещенные солнцем облака с легкой подсветкой дыма, а еще правее — совсем чистые, нежные, курчавые, сидевшие, как дети, взявшись за руки, над четкой линией гор.

Сбоев спустился на палубу и чуть не столкнулся с заключенным, который только что поднялся из трюма и негромко разговаривал с часовым-якутом, плохо понимавшим по-русски. Он не узнал Веревкина в этом заключенном, который был ничуть не похож на того кругленького плотного офицера, которого он встречал в Полярном.

Все изменилось в небе за те немногие минуты, когда его сознание, смутно взволнованное этой встречей, ушло в недавнее, но уже далекое прошлое, в ту осень тридцать седьмого года, когда он впервые появился на Северном флоте. Теперь справа, над освещенными снизу обыкновенными облаками, были густые, как будто намазанные бородищи, и в глубине этих бородищ стоял застывший тихий пожар. Налево тоже были облака, но летящие, легкие, как будто кто-то кидал их, как стрелы, прямо в каменную отчетливую линию сопок. Сбоев вгляделся и чуть не ахнул — так похожа была эта линия на огромных людей, лежавших на спине с вытянутыми руками. Они медленно исчезали за поворотом. Кусок прорвавшегося света упал на них, и вот они уже стали просто сопками, над которыми летела одинокая чайка.

Сбоев перешел на корму. Он знал залив, как улицу Кирова в Ялте, на которой он вырос. Залив давно надоел ему. Но вот оказалось, что не надоел и что он способен даже любоваться им, может быть потому, что сегодня ему было тревожно и грустно. Он смотрел на дорогу воды за кормой, которая раскидывалась треугольником, выгибая белую спину. Она была как ртуть. Ее ленты сплетались и расплетались с укачивающей непрерывностью, и Сбоев стал засыпать стоя, прикрыв глаза, видя все и ничего не видя. Вот где-то на Чалм-Пушке блеснуло окно под солнцем — как в полдень, хотя уже близилась полночь. Вот приблизился остров Сальный, похожий на огромный камень, заросший зеленью и валяющийся без присмотра на равнине залива. «Онега» обошла его слева. Вот примчался и умчался с ветром легкий запах гари. Вот Олений остров со своим маяком — этот как перевернутая чашка. А вот он уже и не чашка, а каменно-зеленая рыба горбуша. Вот летит над заливом самолет, должно быть, только что поднялся с аэродрома в Ваенге. «Пойду-ка я спать», — сказал себе Сбоев. Он направился в лоцманскую, надеясь не встретиться с Мироновым, хотя это было почти невозможно. Только что самолет был далеко, там, где застыли над сопками облачные пушистые стрелы, а вот уже рядом. Он пронесся над «Онегой» так низко, что Сбоев успел увидеть летчика. И не только летчика: самолет был немецкий, с черными крестами на крыльях.

15

Веревкин узнал Сбоева и с трудом удержался, чтобы не заговорить с лейтенантом. Это было запрещено, часовой закричал бы на него или даже столкнул бы в трюм. Но не это остановило Веревкина. Он мало знал Сбоева и не был уверен в том, что тот не отвернется от него, не смутится, не струсит. Он испугался вдруг представившейся ему неловкой, болезненной сцены. В составе военного суда, приговорившего его к расстрелу, был его лучший друг Дашевский. Из письма жены он знал, что некоторые товарищи по дивизиону отказались хлопотать за него, быть может не из трусости, а по соображениям карьеры. Так чего же ждать от какого-то лейтенанта, с которым он встречался едва ли три или четыре раза?

Это было ясно, и нечего было перебирать в уме неожиданную встречу. Но избавиться от нее было трудно, хотя она и не состоялась. Думая о Сбоеве, он понял и причину, которая привела военного моряка на «Онегу». В ящиках, лежавших на кормовых рострах, было, очевидно, оружие. Оружие везли на аэродром в район Западной Лицы, и, чтобы охранять его, на кормовых рострах был наряжен пост и стоял часовой-матрос. Вот об этом как раз стоило подумать.

Веревкин уже давно чувствовал, что в трюме, полутемной плавучей камере, со всех сторон окруженной водой, где на досках и брошенной соломе лежали люди, идет какой-то отбор, взвешивание, обсуждение. Он видел, что одни из заключенных принимают участие в этих разговорах, а другие лишь догадываются о них, так же как он.

Обсуждение шло главным образом у водонепроницаемой переборки, примыкавшей к бункеру,— это было самое теплое место в трюме. Здесь лежали те, кто был так или иначе близок к старосте, потому что ему ничего не стоило прогнать любого заключенного с его места и отдать это место другому. Будков в разговоре с Веревкиным тоже предлагал ему устроиться подле бункера, но Веревкин отказался. Вот там-то, где к плеску воды примешивался иногда шум пересыпаемого угля, и шла эта осторожная, но с каждым часом развертывающаяся работа. Кроме Будкова, в ней принимали участие Вольготнов и Губин, люди, которые, так же как и Будков, несомненно, выиграли от близости с Аламасовым и широко пользовались ею.

Вольготнов был квадратный, коротенький, лысый, с широким лицом, на котором была заметна удивительная обнаженность чувств, быть может ничтожных, но поражавших своей энергией и силой. У него были выбиты зубы и на левом изуродованном ухе торчала ярко-красная мочка. Веревкину казалось, что Вольготнов всегда думает о том, что с ним сделали, и мучается невозможностью мести.

Губин был сдержанный человек, кажется из сектантов, все время читавший какую-то маленькую книгу, которую он на ночь бережно завязывал в платок и прятал. Его близость к старосте казалась Веревкину странной.

Эти люди чаще всех поднимались на палубу, и, когда

часовой узнавал, не пускал их, они, подождав немного, просились снова и снова. О чем они сообщали старосте, возвращаясь в трюм? Отвесный трап, будка, ставившаяся над люком, когда перевозили заключенных (на «Онеге» она почему-то называлась тамбу́ча), да уборная в четыре очка — вот, кажется, был единственный путь между трюмом и палубой, между двумя мирами. Но на самом деле этих путей было немало и с каждым часом становилось все больше.

Кроме заключенных, в трюме был груз, уложенный у кормовой переборки. Два раза боцман с матросами спускался, чтобы проверить, все ли в порядке. Невозможно было воздвигнуть стену между заключенными и экипажем, и Веревкин видел старосту или кого-нибудь из его людей всюду, где возникала хотя бы малейшая возможность проникнуть через эту иллюзорную стену.

16

Миронов сообщил в Мурманск о пролетевшем фашистском самолете и получил успокоительный ответ:

— Не поддавайтесь провокации. Следуйте по назначению.

Он не был склонен поддаваться провокации хотя бы потому, что, даже если бы это случилось, все, что он мог сделать, это выстрелить в самолет из своего старенького револьвера. Но когда на выходе из Кольского залива над «Онегой» пролетел второй самолет, он снова запросил пароходство. Ответ был:

— Рейс продолжать.

Он не спрашивал, продолжать ли ему рейс,— он понял, что все суда в Кольском заливе сообщили в Мурманск о пролетевших самолетах и все продолжают свои рейсы, как будто ничего не случилось. Между тем что-то случилось или скоро случится. Этого не понимают наверху, и хорошо, если это «наверху» относится только к пароходству.

Он спустился в машинное отделение. Рамовый подшипник грелся, механик считал, что до Западной Лицы не дотянуть и придется зайти в порт Владимир. Полдня Миронов занимался делами, но, подремав после обеда, за которым он снова не пил, он вернулся к самолетам, летавшим так спокойно, как будто под ними был не Кольский залив, а Кильский канал. Он видел свое толстое старое лицо в

зеркале, висевшем на стене в простой деревянной раме. Каюта была просторная — два дивана под прямым углом, полочка с книгами, вытертое бархатное кресло, в котором он сидел, и другое, вертящееся, подле овального столика с курительным японским прибором. В стенном шкафу, на нижней полке, стояли три бутылки «Давида Сасунского», армянского коньяка, который он считал высшим достижением двадцатого века. Похоже, что скоро все это кончится — каюта, к которой он привык, берлога, в которую он уполз, когда больше ничего не осталось.

Он был уверен, что, несмотря на всю пышность, с которой была отмечена годовщина финской войны, выиграть новую войну будет несравненно труднее. Ему был непонятен союз с гитлеровской Германией, который, возможно, был необходим по каким-нибудь высшим соображениям, но, по его разумению, мог принести только вред. Он попрежнему верил в гениальность Сталина, в его непогрешимость, в его дар предсказывать исторические события, в его умение управлять страной с помощью этого дара. Нет сомнения, ошибки — если можно назвать ошибками то, что случилось в 1937 году,— происходят потому, что от Сталина скрывают правду. Когда он ее узнает, виновные будут сурово наказаны, а невинные возвращены. Но как же все-таки он не видит, что дело идет плохо. Он, Миронов, везет на строительство аэродрома, который нужно было построить давным-давно, сотню заключенных. Добрая половина из них приговорена за опоздание на работу. Разве дело идет хорошо? Фашистские самолеты летят, не скрываясь, над Кольским заливом, над штабом Северного морского флота. Разве дело идет хорошо? Главное — не поддаваться провокации, как приказали ему в морском пароходстве.

Миронов знал, что если бы эти мысли, приходившие в голову не только ему, но многим порядочным, не лишенным здравого смысла и любящим свою родину людям, стали известны, он был бы арестован. Он был бы препровожден из уютной берлоги с плюшевыми диванами и коньяком «Давид Сасунский» в шкафу сперва в каталажку, а потом куда-нибудь еще, может быть, в трюм той же «Онеги». Так случилось бы, вероятно, даже если бы об этих опасных соображениях узнал, например, его собственный сын.

«А, к черту!» Как всегда, вспомнив о сыне, он болезненно сморщился и, подойдя к шкафчику, налил и быстро

выпил рюмку коньяку. Потом выглянул из каюты и сказал пробегавшему матросу:

— Селехов! Скажи лейтенанту Сбоеву, что я прошу его зайти. Живо!

17

Миронову так не хотелось говорить с лейтенантом, что, уже послав за ним, он стал торопливо придумывать другой повод для встречи — не тот, который должен был поставить его в положение просителя перед мальчишкой. Это было глупо, потому что он собирался просить не для себя и не пять или десять рублей, а зенитные пулеметы.

Сбоев вошел и спросил:

— В чем дело?

— Мы сегодня говорили о немецких самолетах,— начал Миронов, чувствуя, что он с первого слова впадает в напряженный, неестественный тон.— И вы сказали, что не сомневаетесь, что на кораблях и батареях приказано встречать их огнем. У меня даже создалось впечатление, что вы знаете об этом приказе.

Он сказал это с полувопросительным выражением. Сбоев промолчал. Он похудел, на сломанном носу стал виден белый бугорок. Он был похож на злого, слепо мигающего орленка.

— Так вот, мне кажется, что этот приказ следовало бы отнести и к торговому флоту. То есть я, разумеется, знаю, что грузовые пароходы не вооружены,— торопливо добавил он, заметив, что Сбоев улыбнулся,— но если бы такая возможность представилась... Короче говоря, не можете ли вы запросить свое командование, нельзя ла распечатать ящики и установить на «Онеге» хотя бы два зенитных пулемета?

Сбоев знал о приказе командующего флотом. Когда второй самолет пролетел над «Онегой», он и сам подумал, что нужно бы установить на верхней палубе пулеметы. Но он только что узнал от старшего помощника, что придется зайти в порт Владимир, хорошо, если на сутки, а может быть, и больше. И хотя Миронова трудно было винить за то, что стал греться рамовый подшипник, Сбоев стал думать о капитане не только с неприязнью, но и с искренним презрением. Он презирал людей, плохо делающих свое дело, особенно если у них есть возможность

делать его хорошо. Кроме того, он еще не привык к мысли, что наскучившая командировка снова затягивается и что ему придется еще двое суток провести на этом неприятном «торгаше», который был к тому же плавучей тюрьмой.

Все это соединилось в нем, и, хотя просьба Миронова была естественной и вполне логичной, Сбоев, не задумываясь, ответил отказом.

— К сожалению, не могу,— сказал он.

— Но ведь я не прошу срывать пломбу без разрешения. Запросите командование.

— Какое командование?

— Вам лучше знать. Ничего вашим пулеметам не станет, если они будут стоять без тары.

Сбоев начал считать, быстро дошел до двадцати и сбился, потому что ему захотелось спросить Миронова: «Испугался?» Он снова начал: «Раз, два, три...» — прислушиваясь к торопливо стучащему сердцу. Слово «тара» почему-то особенно задело его.

— Не вижу необходимости,— негромко сказал он.

— Да? — тоже негромко, но с бешенством отозвался Миронов.— Впрочем, я ничего другого и не ожидал.

Сбоев вышел.

18

Боцман, спускавшийся в трюм, чтобы проверить сохранность грузов, лежавших у кормовой переборки, не заметил, что от некоторых ящиков были оторваны, а потом аккуратно приставлены доски. Но это заметил Веревкин. В ящиках были лопаты, толь, гвозди и другой строительный материал, наборы пожарных инструментов. Из лопаты умелые руки могли сделать нож, а пожарный топорик мог пригодиться не только для тушения пожаров. Веревкин понял, как далеко зашли эти приготовления, когда Вольготнов подсел к нему и без дальних слов показал карту Баренцева моря. Карта была заслуженная, с отметками. Очевидно, ее стащили из штурманской рубки, где обычно хранятся навигационные приборы и куда вход был заказан не только заключенным.

Можно было оценить неукротимую энергию старосты, его сложную игру — не произнося ни единого слова, без

ругани и крика, он как бы играл в ежеминутно грозящего вожака. Можно было даже привязаться к Будкову, с его огромностью, с его добродушием, с его морской болезнью, на которую он ежеминутно жаловался Веревкину, как ребенок. Но нельзя было без глубокого отвращения смотреть на Вольготнова с его беззубой квадратной физиономией. Такой мог все сделать. Веревкин не раз думал о том, что могло превратить этого человека, каков бы он прежде ни был, в торопливое, всегда возбужденное животное, от которого на десять шагов пахло кровью.

Он говорил отрывисто, подкрепляя каждую фразу движением коротенькой толстой руки, и, слушая, Веревкин почему-то не мог отвести глаз от ярко-красной мочки, торчащей на изуродованном ухе.

— С другой стороны, там ведь тоже не звери. Не съедят. Конечно, пойдем не наобум Лазаря. Скажемся политическими, попросим убежища. Я тебя вообще-то не уговариваю. Но сам понимаешь...

Он действительно не уговаривал. Он просто дал понять чуть заметным движением руки, что, если Веревкин откажется, его дело плохо.

— Алле-валяй, закон — дышло,— усмехнувшись, сказал он и пошел к старосте, который ждал его, спокойно покуривая, сидя, как Будда, со скрещенными ногами.

Веревкин понимал, что среди заключенных многие ужаснулись бы при одной мысли о захвате «Онеги». Не он один видел эту возню вокруг ящиков со строительными инструментами. Не он один прислушивался к разговорам у бункера. Но никому неохота получить нож между лопаток — вот почему все молчат, держатся в стороне. Это случалось — что в трюмах после высадки находили трупы.

19

Над скалами неподвижно стоял нагретый воздух, и было странно, что еще недавно с парохода был виден снег, лежавший ровными треугольниками между сопками и доходивший по впадинам, казалось, до самого моря. Это был порт Владимир. «Онега» осторожно вошла в небольшую бухту.

Староста договорился с охраной, чтобы заключенные сварили себе горячее из сухого пайка и пообедали на бе-

регу. Веревкин съел суп и отложил кусок хлеба к вечернему чаю.

Он знал эту маленькую бухту, прикрытую островком, носившим странное название — Еретик. Он знал, что при подходе глубины резко уменьшаются и якорь лучше всего бросать в середине бухты, где глубина доходит до восемнадцати метров. В юго-западной части тянулась полоса осыхающей отмели. Остальные берега были приглубы. Он знал, что, если хочешь попасть в Норвегию, нельзя, выйдя из порта Владимир, заходить далеко в Мотовский залив. Нужно обогнуть полуостров Рыбачий и высадиться в Киркенесе.

Он посмотрел на старосту. Раздав горячее и неторопливо принимаясь за еду, староста остановился, подняв ложку, и долго смотрел на пароход с внезапным жадным вниманием. И Веревкин, вслед за ним взглянув на «Онегу», увидел то, что должно было произойти очень скоро, может быть завтра.

Он увидел пустую ночную палубу под солнцем, ненадолго остановившимся и вот уже снова поднимающимся над кромкой моря, озябшего охранника, привалившегося к тамбуче. Тишина. Все спят, кроме вахтенных. Тишина. Слышен только убаюкивающий шум и дрожание машины. По трапу, босиком, с ножом в руке поднимается Вольготнов или этот сдержанный немногословный сектант. Ничего не стоит убить часового и столкнуть его в трюм. Через несколько минут сто человек будут на палубе.

Веревкин знал, что, глядя на «Онегу», староста видит этих людей, поднявшихся на палубу и бросившихся — одни по каютам, другие к ящикам с пулеметами.

Но и староста понял, что Веревкин угадал его мысли.

— Понял, почему я тебе подмигнул? — спросил он, когда заключенные вернулись в трюм и устраивались, довольные горячим обедом.

Веревкин не ответил.

— Тебя это, между прочим, не касается.

У старосты был непривычный, почти просительный тон.

— Можешь даже оставаться в трюме.

— А потом?

— Господи! А что потом? — тихо спросил Аламасов.— Хуже не будет.

Всегда он ходил с поднятой головой, хвастливо поглаживая усы, откинув толстые плечи. Теперь, в полумраке

трюма, он показался Веревкину очень усталым пожилым человеком с мешками под глазами, с тюремной бледностью, окрасившей толстые старые щеки.

— Но как ты себе представляешь...

— Господи, что я представляю? Я ничего не представляю. Дойдем до Норвегии, там видно будет. Чухляндия хуже. Сволочной народ. Не все ли равно? Что нам терять? — Он говорил почти жалобно, а глаза смотрели холодно, строго.— Скажемся политическими. А кто не захочет — пожалуйста. Пускай возвращается. Герои, спасли пароход.

Это был вздор. Пароход был бы немедленно интернирован.

— А команда?

Староста посмотрел на него в упор, и Веревкин, как другие заключенные, не выдержал этого взгляда и невольно опустил глаза.

— То ли делается,— просто сказал Аламасов.

Это значило: «То ли с нами делают».

Будков, повеселевший на суше, заметил, что Веревкин расстроен, и, подсев к нему, добродушно предложил табаку.

— Вообще-то, почему бы и нет? — сказал он.— Там ведь что? Там подход к человеку совершенно другой. У меня один друг пришел с заграничного плавания — не узнать! Как сумасшедший, одно твердит: живут же люди! Между прочим, ты не того, не расстраивайся. Так? — сердечно добавил он, заметив, что у Веревкина стало напряженное, взволнованное лицо.— Мы еще вообще-то обдумываем. Понимаешь?

20

Веревкин ничего не ответил старосте, но он понимал, что ответить придется, и очень скоро. Он не знал, как долго будет отстаиваться «Онега». Так или иначе, у него было время, чтобы предотвратить преступление, и он стал спокойно думать об этом.

Он мог попытаться разубедить старосту: «Даже если удастся захватить «Онегу», ее все равно задержат дозорные суда, прежде чем она доберется до Киркенеса». Допустим даже, что староста действительно поверит ему. Откажется ли он от захвата? Нет. У него нет выхода. Замешаны многие, он пойдет на риск.

Веревкин мог ответить отказом — на первый взгляд, это было проще всего. Но тогда «Онега» все-таки была бы захвачена, потому что староста заставил бы под угрозой смерти кого-нибудь другого вести пароход, может быть, самого капитана.

Он мог выдать Аламасова. Попроситься в уборную и на палубе сунуть в руку часового записку. И что же? Его убили бы — не в тюрьме, так на воле. Начнется следствие, и староста запутает еще два десятка невинных людей. Других запутает, а сам еще и выскочит, пожалуй. Он из таких.

Куда ни кинь, везде клин! Притворяясь, что он спокойно читает, Веревкин чувствовал, что за ним следит не одна пара глаза, и старался справиться с охватившим его чувством беспомощности и страха. «Будьте вы все прокляты! — думал он с отчаянием.— Будь проклят тот день, когда траулер налетел на меня! И вы, судьи, будьте прокляты. И Женька Дашевский, который лучше всех понимал, что виноват не я, и все-таки голосовал за высшую меру. И командир дивизиона, не имевший права посылать меня обеспечивающим на «щуку». Будь проклят сволочной капитан траулера, который напился перед рейсом. Еще мало было его расстрелять, сукина сына! Будьте вы прокляты, прокуроры, которые приказали судить меня по законам военного времени, хотя нет еще никакого военного времени и война будет черт знает когда! Теперь все погибло, я пропаду, как собака. И Тоня, Тоня... Я знаю, она не станет жить без меня».

Веревкин часто думал о жене, разговаривал с ней ночами, хотя после этих несбывающихся встреч ему становилось еще тяжелее. Она была на восемь лет моложе, чем он, и ко всему относилась с простотой, которая казалась ему почти опасной. Она любила праздники и за столом так сияла и смеялась, что Веревкин начинал строго смотреть на нее, особенно если это было в присутствии начальства. Но ему сразу же становилось жаль ее, когда она умолкала, пугаясь этого взгляда.

Теперь он увидел ее, похудевшую, как будто сонную, с изменившимися глазами — такой, похоронив мать, она в прошлом году вернулась из Калинина. Ему нужно было поговорить с ней, посоветоваться. И, может быть, проститься, если ничего не удастся придумать: «Видишь, какое дело, Тоня...»

Выход был только один — сломить власть Аламасова, перестать ему подчиняться. Изменить эти отношения, когда староста мог любого из них ударить, обругать, лишить пайка. Перестать повиноваться ему, а напротив — заставить его повиноваться.

Веревкин еще не успел узнать те неписаные законы, по которым жил уголовный мир в тюрьме и на воле. Но он твердо знал, что, если бы ему удалось унизить старосту, смело не подчиниться ему, не испугаться, а потом победить его в драке, Аламасов сразу же и немедленно лишился бы всей своей власти. Тогда, по тому же неписаному закону, старостой стал бы он, Веревкин, а если бы он стал старостой...

21

Тоня Веревкина была уже не та самозабвенно веселившаяся за праздничным столом счастливая женщина, которой больше всего нравилось быть гостьей или хозяйкой. Теперь она казалась значительно старше своих двадцати восьми лет. Ее хорошенькое, с нежными мелкими чертами лицо похудело и побледнело. Старательно укладывая по утрам свои прекрасные белокурые волосы, она, как и прежде, думала о том, что надобно сделать за день. Но теперь все это касалось только ее мужа и свалившегося на них несчастья. Она думала об этом и в то утро, когда Николай Иванович, лежа на соломе в трюме «Онеги», мысленно советовался с ней.

Приехав в Москву, Тоня остановилась у Дашевских, в семье, где ее знали с детства и где она познакомилась с будущим мужем. Она знала, что Женя Дашевский не мог голосовать против его расстрела, потому что приговор, хотя и не вполне предрешенный, должен был отвечать настроению, вызванному нелепой гибелью «щуки». Он мог, конечно, но это было бы принято за поступок либо бессмысленно смелого, либо очень глупого человека. Зная и понимая все это, Тоня не могла тем не менее отказаться от мысли, что Дашевский все-таки обязан был голосовать против и не сделал этого из трусости и еще потому, что его карьера была бы надолго подорвана нерасчетливым шагом.

Но когда расстрел был заменен десятью годами, Дашевский стал осторожно хлопотать за друга. Первая попытка

кончилась неудачей. Люди, на которых он рассчитывал, отказались подписать просьбу о пересмотре дела. Он пережидал полгода. На Северный флот был назначен новый командующий — молодой человек, всего лишь годом раньше, чем Дашевский, окончивший Училище имени Фрунзе. Он отнесся к делу без малейшей предвзятости, и теперь Тоня Веревкина привезла в Москву письмо, подписанное почти всеми товарищами ее мужа по дивизиону.

Отец Жени был знаком с приятелем наркома, и нарком иногда даже приезжал к нему, чтобы вспомнить старые годы. Теперь этот приятель поговорил с наркомом, и тот сказал, чтобы бумагу, минуя все инстанции, передали лично ему. Тоня должна была прийти в наркомат, позвонить секретарю, и секретарь спустится к ней сам или пришлет кого-нибудь за бумагами.

Она приехала в Москву рано утром. Дашевские встретили ее шумно, с искренней радостью, которая показалась ей слишком шумной и не очень искренней. Она никак не могла привыкнуть к мысли, что иначе Женя поступить не мог. Она умылась с дороги и позавтракала с его отцом, пылким толстяком, в вылупленных глазах которого была написана глупость и честность, и худощавой, образованной, умной сестрой. Веревкина ела, пила, расспрашивала Машу Дашевскую о знакомых, рассказывала о Мурманске, о новостях на флоте — и все это было странным образом соотнесено с той минутой, когда она передаст письмо секретарю наркома. Она уже позвонила туда, и он сказал, чтобы Веревкина принесла письмо в четыре часа. Он мог назвать другое время или перенести на завтра. Но он сказал — четыре, и теперь этот час казался Тоне значительным или, во всяком случае, чем-то не похожим на другие. Он приближался медленно, бесконечно медленнее, чем ей хотелось. Впрочем, она не смотрела на часы. У нее было много дел в Москве. Квартирная хозяйка, больная женщина, просила достать редкое лекарство сульфидин, которое еще не продавалось в аптеках. Дашевские продали фотоаппарат Николая Ивановича, очень хороший, и Тоне нужно было съездить за деньгами. Она все сделала, но до четырех было далеко. На Кузнецком, проходя мимо парикмахерской, она увидела себя в зеркале — кокетливая шляпка, которую заставила ее надеть Маша, криво сидела на голове, глаза были расстроенные, больные.

Было еще только три. Она зашла в ресторан, заказала обед и с ужасом посмотрела на тарелку жирного борща, которую принесла ей почтенная седая официантка. Все же ей удалось проглотить несколько ложек. Нужно есть — она убеждала себя. Нужно есть. И нечего так уж волноваться.

Это произошло очень просто и совсем не так, как она ожидала. Худенький часовой вышел из ниши и остановился за ее спиной. Она обернулась к нему со вздрогнувшим сердцем. Он показал ей на телефон. Она позвонила, и вскоре молодая беременная женщина в белом халате грузно спустилась с лестницы и подошла к Тоне. Похоже было, что она шла вниз по своим делам и секретарь попросил ее заодно взять у Тони письмо.

Все это было редкой удачей, потому что добраться до наркома было не то что трудно, а невозможно. Тем не менее никто, кроме Тони, не надеялся, что эта почти невероятная удача приведет к тому, что Николай Иванович будет освобожден. Напротив, все думали, что хлопоты безнадежны, а может быть, даже и небезопасны. Эта безнадежность, которую Тоня старалась не замечать, особенно чувствовалась в пылкости, с которой старик Дашевский доказывал, что нарком прикажет пересмотреть дело, потому что он справедливый человек, что бы там ни говорили.

Так бывает — когда близкие стараются помочь больному, прекрасно понимая, что он безнадежен, но что заботы все-таки нужны, если не для него, так для них. Заботы были нужны не для Веревкина, а для Тони и в особенности для Жени Дашевского, который мог теперь сказать, что он сделал все возможное и невозможное, добравшись до самого народного комиссара.

Нужно было звонить и справляться, потому что нарком обещал своему приятелю вечером посмотреть дело. Все учреждения работали ночами. Говорили, что Сталин ложится очень поздно, в четыре часа утра, и может в любую минуту потребовать какой-нибудь отчет или справку.

Дашевские всей семьей собрались после ужина у телефона. Тоня позвонила, и секретарь ответил, что нарком еще не приходил. Он попросил позвонить попозже. Бог весть почему, наверное, потому, что у него был мягкий, вежливый голос, у Тони полегчало на сердце.

Неизвестно, что означало это *попозже,* и все стали шумно обсуждать, когда позвонить. Через полчаса? Через час? Она позвонила через сорок минут. Нет, еще не пришел. По-прежнему с ней говорили учтиво. Когда же позвонить? Попозже. Теперь все примолкли, у старика все реже вспыхивали огромные черные глаза, и Тоня уговорила его пойти спать. Она молча сидела, думая о чем придется — о Маше, красивой, стареющей, сдержанной, так и не вышедшей замуж, о том, что ночью все кажется страшнее, чем днем. Может быть, многие люди перестали верить друг другу потому, что они работают ночами, когда все кажется страшнее, опаснее, чем днем? Народный комиссар, от которого зависит ее жизнь и счастье, тоже работает ночью. Он прочитает письмо и скажет «да» или «нет».

Она позвонила снова, и секретарь сказал, что он сдает дежурство другому секретарю. Это ничего не значит, все равно пускай она позвонит еще немного попозже.

Теперь была уже глубокая ночь. Тоня стояла у окна, глядя на пустой Настасьинский переулок. «Плохо, что сменили секретарей,— думала она.— Очень плохо». Она уже привыкла к мягкому, с легким армянским акцентом голосу первого. Второй скажет ей, что нарком отказал. Но второй, когда она позвонила в четвертый раз, сказал, что нарком пришел и дело лежит у него на столе. Придется еще раз позвонить, сказал он приветливо и, как показалось Веревкиной, с уважением, но не к ней, а к тому обстоятельству, что дело лежит на столе. Нарком перелистывает.

Она положила трубку. Нарком перелистывает. Значит, прочел письмо и потребовал дело. Она крепко сложила руки на груди. Ей хотелось удержать руками прыгающее сердце. Маша заставила ее принять валерьяновых капель.

Веревкина не знала, что произошло за эти последние полчаса ее ожидания. Но что-то произошло. Самолеты пронеслись над Москвой. По Настасьинскому переулку, выхватив светом фар афишный киоск, промчалась танкетка. Никто не ответил, когда она позвонила через полчаса. Она долго слушала особенные, низкие гудки наркомата, положила трубку, опять набрала. Снова никто не ответил. Она все звонила, не плача, придерживая рассыпавшиеся косы.

Два самолета, замеченные с борта «Онеги», так же как и другие, летавшие над Ваенгой, Полярным, Кандалакшей, вели воздушную разведку накануне войны. Наши зенитные батареи обстреливали их. Это и был приказ, о котором узнал Сбоев в Мурманске. Таким образом, война на Крайнем Севере началась за пять дней до того, как она началась на всем фронте от Балтийского до Черного моря. Но на «Онеге», стоявшей в порту Владимир, о ней узнали одновременно со всей страной. Миронов сообщил о нападении Германии на Советский Союз, и, так же как сотни других организаций, подразделений, заводов, экипаж парохода, состоявший из двадцати четырех человек, принял решение сражаться с фашизмом до той минуты, пока последний немецкий солдат останется на русской земле.

Это собрание отличалось от тысяч других тем, что на нем было единогласно принято еще одно важное решение — до высадки на Западной Лице не сообщать заключенным о том, что началась война. Конвой не присутствовал в салоне, но за полчаса до собрания старший охранник договорился об этом с Мироновым, и теперь капитан слово в слово повторил его предложение. Это было разумное предложение, так как неясно было, как заключенные отнесутся к известию о войне и не попытаются ли тем или иным образом нарушить дисциплину. До сих пор они ее соблюдали. И надо надеяться, что никакие нарушения в дальнейшем не произойдут, тем более что заключенными руководит староста Аламасов, на которого вполне можно положиться. Под страхом строгого взыскания никто из экипажа не должен был даже намекнуть комулибо из заключенных о том, что военные действия уже начались и бомбы сброшены не только на Одессу и Севастополь, но и в районе Полярного, в сорока — пятидесяти километрах от порта Владимир. Быть может, впоследствии некоторые заключенные пожелают даже показать свою преданность родине. Но пока необходимо принять меры, и главная из них — держать язык за зубами.

Миронов напомнил, что рейс «Онеги» имеет военное значение.

— К сожалению, мы не имеем возможности вооружить пароход,— сказал Миронов, не глядя на Сбоева, который

был приглашен на собрание.— Все, что мы можем сделать, это вести круглосуточное наблюдение за воздухом и водой. Закончим ремонт, доставим грузы и, вернувшись в Мурманск, возьмем обязательства. Каждый исполнит свой долг.

23

Миронов приказал старпому проверить спасательные средства, поставить дополнительную вахту, охранявшую командный мостик. На палубе появилась дощечка с надписью: «Запретная зона».

Нетрудно было догадаться, что на пароходе стали бояться заключенных, и это ощущение, быстро распространившись среди экипажа, немедленно перекинулось с палубы в трюм. Это произошло бы, без сомнения, даже если бы на палубе не появилась надпись, запрещавшая заключенным ходить туда, куда они все равно не ходили. Но почему их стали бояться? Вот вопрос, над которым стоило подумать. Почему старший охранник запретил готовить на берегу? Почему в уборную на четыре очка стали пускать по два человека?

Одни заключенные не придали этим переменам никакого значения. Другие увидели в них общую меру — приказ высшего начальства, касавшийся всех уголовников. Где-нибудь в Магадане случилось чрезвычайное происшествие — стало быть, на всякий случай надо усилить охрану на Крайнем Севере.

Но ничего неопределенного не увидел в этой настороженности Иван Аламасов. Его выдали — вот что произошло, вот чем объясняется эта внезапная перемена, этот страх, и то, что еще вчера можно было готовить на берегу, а сегодня почему-то нельзя, и то, что часовой смотрит зверем, а старший охранник, когда он, Иван, заговорил с ним, отвернулся и ничего не сказал.

Ему уже удалось однажды скрыть, что он собирался бежать за границу,— на процессе, когда он защищался так, что прокурор потом сказал (ему передали): «Какой талант, какая силища! И куда все это направлено, боже мой!» Что ж, если придется играть назад, этот талант еще пригодится. Но играть ли назад?

Он постарался поставить себя на место начальства. Сейчас его взять небезопасно. Мало ли что он может выкинуть, тем более заключенных около ста человек. Да если и взять, куда его посадить? На пароходе нет карцера, а в трюме изолировать его невозможно. Надо ждать высадки на Западной Лице, а оттуда катером особого отдела при первой возможности вернуть его в Мурманск.

Странно было только одно: почему его не снимают в порту Владимир? Может быть, нет дороги? Аламасов знал, что капитан «Онеги» на подходе к Владимиру сообщил в Мурманск о необходимости ремонта. Пароходство запросило, нужна ли помощь, и капитан ответил, что пока не нужна. Повар из заключенных слышал об этом от кока еще вчера, когда было разрешено приготовить обед на суше. Дело серьезное, сказал кок: греется рамовый подшипник, и, чтобы справиться своими силами, как надеется капитан, нужно суток трое работать не покладая рук. А за трое суток...

Но что же сказать своим? Они бы давно спросили. Вольготнов подошел к Ивану, но тот цыкнул, и теперь они сидят и ждут. Что же он им скажет? Заняться Веревкиным, которого надо убрать,— вот что он скажет.

У старосты не было никаких сомнений, что выдал его именно он, Веревкин. Выдали бы те врачи, муж и жена, на полярной станции? Да. Вот выдал и он. Не потому, что ему это было нужно для какой-нибудь определенной цели, а потому, что он прислушивается к чему-то или знает что-то, чего он, Иван, не знает. И это *что-то* заставляет его поступать именно так, а не иначе. Те врачи, муж и жена, были точно такие же, и их пришлось убрать, потому что с ними тоже нельзя было сговориться.

Но возможно, с другой стороны, продолжал он думать, что Веревкин надеется досрочно выскочить из заключения. Выслуживается, чтобы скостили срок? Нет, не выслуживается. Он знает, что его все равно убьют — в тюрьме или на воле,— как убили ту беленькую девочку с шершавым загорелым лицом, которая жила с Иваном, когда он работал в дорожной бригаде Облага.

«Так что ж ты, Иван, скажешь своим? Нас не возьмут,— я скажу им,— потому что, если бы это было реше-

но, нас давно уже взяли бы. Время есть, и нужно воспользоваться им, чтобы не промахнуться».

«Так. А тебя мы сегодня пришьем»,— подумал он, мельком взглянув в ту сторону, где у цементного ящика, которым была заделана пробоина в обшивке «Онеги», лежал Веревкин. Кто сделает? Вольготнов. Тут суть заключается в том, что, если бы даже Веревкин согласился командовать, мы пришли бы не в Норвегию! Не Рыбачий мы обогнули бы, а собственную задницу и попали бы, куда Макар телят не гонял! Пароход поведет тот, кого мы заставим вести пароход. Не капитан. С капитаном, очевидно, не выйдет. Поведет старпом, сопля, потому что с ним похоже, что выйдет.

В бункере возились, и можно было смутно разобрать голоса, обычно заглушавшиеся плеском воды. Этот плеск был слышен все время, даже когда «Онега» была у причала. Но теперь он стал другим — отчетливее, сильнее. Шум машины присоединился к нему, и в трюм передалось движение, которым пароход отвело от пирса.

— Никак, пошли? — сказал заключенный, которого звали Лука Трофимович, худощавый человек, похожий на цыгана.

Другой отозвался:

— Смотри-ка, быстро справились! Молодцы.

— Как пошли? — Староста встал, прислушиваясь и хмурясь.

«Онега» набирала ход, и теперь плеск шел уже отовсюду — с носа, с боков, и все темное помещение трюма, послушно вздрагивая, было полно этим шумом рассекаемой воды, плещущей и смыкающейся за кормой.

24

Рамовый подшипник грелся, сколько ни лили масла, и только для того, чтобы выяснить причину неполадки, нужно было произвести сложную, требовавшую специальных знаний работу. Но ремонт, который в другое время потребовал бы двое суток, был сделан быстро, без помощи специалистов, потому что началась война.

Было семь часов вечера; маленькая луна осторожно встала спиной к солнцу. Это был бледный ободок, полуза-

терянный в овале неба и как будто испуганный тем, что происходило в этом огромном раскинувшемся овале. Все казалось неподвижным на небе, и все было в непрерывном плывущем движении.

Перемена погоды на Крайнем Севере необыкновенно чувствительна, ощутима, происходит почти на глазах — она-то и была этим непрерывным движением. Две косматые массы облаков, черная над светлой, застыли справа по ходу «Онеги». Казалось, что им было не до голубизны, протянувшейся над заливом, не до белого блеска пролетевшей чайки. Еще несколько минут — и небо стало как гроза, которая сейчас ударит. Но гроза не ударила, и небо снова стало меняться. Маленькие облачка, как шары, выкатывались из-за сопок, спеша в размах этих косматых груд, черной и светлой. Теперь они вошли друг в друга и вдалеке пролились ясной, как транспарант, полосой дождя. Он начался, сразу прошел, и теперь на первый план стало выходить не небо, а дикая серо-зеленая земля, как бы составленная из брошенных в беспорядке скал.

Военное выражение «морской театр» как нельзя лучше подходило к этой освещенной солнцем и луной картине. Это был действительно театр, на котором ежеминутно совершались события — бесшумные и величественные, со своими действующими лицами, у которых была своя, то печальная, то фантастически сверкающая судьба.

«Онега», только что вышедшая из порта Владимир, и немецкий самолет, просматривавший побережье Мурмана и возвращающийся на базу, были самыми маленькими, едва заметными участниками этих событий. Летчик должен был выяснить, перебрасывают ли русские свои войска из района Белого моря, и отлично выполнил свою задачу. Он сделал много удачных снимков и был в хорошем настроении. Здесь, на Крайнем Севере, все оказалось далеко не таким страшным, как рассказывали преподаватели летной школы в Свинемюнде. Заметив «Онегу», летчик сделал над ней круг, обстрелял и двинулся дальше. Он был голоден, устал и беспокоился — из дому давно не было писем. Все же он вернулся и обстрелял «Онегу» еще раз, хотя не мог причинить ей серьезного урона. Не обнаружив других судов, идущих по направлению к Западной Лице, он полетел на свою базу в Петсамо и вскоре обедал и читал письмо, полученное из дома.

Подготовка удара шла энергично. Финляндия закончила мобилизацию. По дороге Тана-фьорд — Киркенес один за другим проходили грузовики. Это были войска и вооружение. На германских оперативных картах Северного фронта стрела через Титовку была направлена к Западной Лице.

25

Веревкин был одним из заключенных, почти не заметивших усиления охраны или, во всяком случае, не придавших этому никакого значения. Он был всецело занят своим решением избить старосту и встать на его место. Это было безумное решение, потому что староста был человеком могучим, а Веревкин, хотя в молодости был хорошим гребцом и пловцом, сильно ослабел в тюрьме и весил теперь не семьдесят восемь килограммов, как прежде, а, дай бог, шестьдесят. Кроме того, он по натуре был миролюбив и даже мальчиком терпеть не мог драться. Однажды, вспылив, он ударил товарища по лицу и потом долго не мог отделаться от неприятного чувства, хотя товарищ был виноват. Он даже — это запомнилось — с упреком смотрел тогда на свою руку. Теперь он тоже посмотрел на нее и вздохнул. Как мальчик, готовящийся к драке, он пощупал мускулы. Слабые были мускулы. Он грустно усмехнулся.

Но решение было безумным еще и потому, что оно ничего не изменило бы в плане Ивана. Этот план — уже не один только староста. Это и Вольготнов, и Губин, и еще добрый десяток отпетых воров и убийц. Это приготовления, которые зашли далеко и за которые придется отвечать, если пароход не будет захвачен.

«В Норвегии — немцы,— все с большим волнением продолжал думать Веревкин.— Наши «невраги», как сказал Николенька. В Норвегию — это значит к нашим «неврагам».

Николенька был семилетний племянник Веревкина. Когда был подписан пакт с Германией, он сказал матери:

— Мама, ведь они все-таки не наши друзья. Они просто наши невраги. Да, мама?

«Так что же делать? Может быть, попытаться убедить Аламасова, что немцы выдадут его по требованию Совет-

ского правительства? Не поверит. Нет, нужно сделать так, как я решил сначала».

Он давно уже занял очередь в уборную, выстроившуюся у трапа. Теперь очередь подошла. Он встал. Все лежавшие у бункерной перегородки повернули головы, когда он направился к трапу. Но он не стал подниматься. Не особенно торопясь, он подошел к старосте и, опустив голову, остановился подле него.

— Ты что? — тихо спросил староста.

Веревкин не ответил. Один из заключенных окликнул его:

— Николай Иваныч, очередь!

— Все расстраиваешься? — спросил староста.

Веревкин стиснул зубы и ударил его ногой в лицо.

Он не понял, как он оказался внизу, на полу. Должно быть, Иван схватил его за ногу. К ним кинулись. Голова Веревкина была среди шаркающих по настилу сапог. Он душил старосту. Это было очень трудно, руки едва охватывали толстую шею. Он лежал на его огромном теле и душил. Он увидел приоткрывшийся темный рот с усатой губой и почувствовал с восторгом, как что-то скользнуло под пальцами, хрустнуло, вдавилось.

Будков раздвинул толпу двумя руками, как раздвигают шторы, и оторвал Веревкина от Ивана. Но еще прежде чем он это сделал, темная фигура появилась в люке между раздвинутыми досками. Это был часовой. Он шатался, заслоняя свет. Заключенные подняли головы, и он упал на них, выронив свою винтовку.

Все расступились. Часовой-якут лежал на боку мертвый, неестественно вывернув руки.

26

Кроме часового, немецкий летчик застрелил старпома Алексея Ивановича и ранил одного из кочегаров. Кренометр сорвался со стены в каюте Миронова, стекло вылетело, и большая острая щепа, отколовшаяся от письменного стола, ранила капитана в ногу. В штурманской рубке пули разбили секундомер и аккуратно разрезали висевшую на стене навигационную карту.

Алексея Ивановича положили в салоне на клетчатый диван под портретом Сталина в ореховой раме, увитой

красной лентой и украшенной бумажными цветами. Здесь был красный уголок, висела полочка с книгами, и на маленьком овальном столе были разбросаны газеты и журналы. Сперва кто-то сложил руки Алексею Ивановичу крестом на груди, потом устроил вдоль тела. У него была прострелена грудь; пули попали в сердце, и на лице, как это часто бывает с людьми, умирающими внезапно, сохранилось удивленное выражение.

Сбоев с матросами разбивал ящики, снимал заводскую смазку с пулеметов. Он был похож на мальчика — в тельняшке, с упавшими на лоб волосами, которые он не поправлял, потому что у него были грязные руки. Он работал молча. «Хорошо же ты начал войну. Не дал вооружить пароход, хотя яснее ясного видел, что это необходимо. Жалкий фанфарон, бахвал! Почему ты грубил Миронову, который сначала был к тебе расположен и даже обрадовался, что в его тяжелой однообразной жизни появился, хоть на несколько дней, молодой человек из другого, интересовавшего его круга? Они все обрадовались — и Алексей Иванович, смотревший на тебя с упреком и отводивший глаза, потому что он знал от Миронова, что ты не разрешил воспользоваться оружием. Что с ним будет теперь? Отправят в Мурманск? Где будет гражданская панихида, на которой ты выслушаешь все, что скажут о нем».

Сбоев установил пулеметы. Матросы не умели из них стрелять, и он учил их, не переставая думать о том, что, если бы все это было сделано раньше, фашистский самолет, может быть, удалось бы отогнать или сбить. Он обошел пароход, проверил, хотя никто его об этом не просил, посты наблюдения и объяснил второму механику, как нужно наблюдать по секторам: шестьдесят градусов по носу и шестьдесят — сто двадцать с правого и левого борта. Механик молча выслушал его. Все это он прекрасно знал.

Миронов, прихрамывая, вышел из своей каюты, и Сбоев, сильно покраснев, спросил его:

— Очень больно?

— Чепуха.

Прежние отношения между ними казались теперь Миронову совершенно ничтожными, и, если бы не эта история с пулеметами, ему было бы, вероятно, даже трудно вспомнить о них. Жизнь стала короткой, а каждый ее отрезок, каждая минута приближения к Западной Лице,

сложной высадки, опасного возвращения — необыкновенно длинной. Он чувствовал, что Сбоев раскаивается, сожалеет, потрясен и что он, Миронов, вероятно, ошибся, считая его бездушным человеком. А может быть, и не ошибся? Все это теперь не имело никакого значения.

Сбоев спросил, остались ли у Алексея Ивановича дети.

— Да, трое.

— Я хотел сказать...— начал Сбоев срывающимся голосом и замолчал. У него было странное лицо с быстро перекатывающимися, широко открытыми, чтобы не заплакать, глазами.

Миронов посмотрел на него и заговорил о другом.

— Не понимаю начальника конвоя,— с раздражением сказал он.— Какая еще ему предосторожность нужна? Испугался до смерти, что заключенные узнали о войне. Так что же, прикажете экипажу по-прежнему в молчанку играть? Это теперь-то, когда пароход обстреляли!

— Не может быть! Что за вздор!

— Вот вам и вздор! Грозит ответственностью. Я ему чуть было не сказал, что из этих заключенных девять десятых охотно пошли бы воевать. Да черт с ним!

Он спустился в машинное отделение, а Сбоев пошел в салон к Алексею Ивановичу и сел у его изголовья.

Когда старпом был жив, он не сказал с ним и десяти слов, хотя лоцманская, в которой жил Сбоев, была рядом со штурманской рубкой. Впрочем, однажды Сбоев, соскучившись, зашел в рубку и застал там Алексея Ивановича, склонившегося над картой. Они поговорили, и штурман добродушно сказал, показав рукой на свое хозяйство:

— Кораблевождение времен Христофора Колумба.

Они встречались за обедом, и видно было, что Алексей Иванович не одобрял высокомерной сдержанности Сбоева в салоне. Неодобрение выражалось только в легком поднятии бровей. Но все равно — он осуждал его.

Сбоев передумал многое, сидя у изголовья покойного штурмана. Он не мог отвести глаз от пожелтевшего тонкого лица, прежде скромного, а теперь как бы гордящегося втайне важным спокойствием смерти.

Так началась для Сбоева война: не искусной артиллерийской дуэлью, не сдержанной записью о победе на странице вахтенного журнала, а смертью этого незнакомого человека, который лежал с вытянутыми по швам руками. Не Нельсон, не Ушаков, а мальчишка, наделавший беды,— так чувствовал себя Сбоев. И не этот пароход, который шел восемь узлов, этот «торгаш» с маленькими, тесными каютами и салоном, в котором стол был покрыт рваной клеенкой, казался ему жалким, а он сам казался себе жалким, не только не заслуживающим чести называться лейтенантом, а не заслуживающим права продолжать свою бесполезную жизнь.

27

План захвата «Онеги» остался нераскрытым. И это было для старосты самым главным в том, что произошло. Положение его почти не пошатнулось. Война как бы нейтрализовала впечатление, которое смелость Веревкина произвела на заключенных. При других обстоятельствах Аламасов был бы вынужден уступить ему свое место. Ему или Будкову, который после этой драки не отходил от Николая Ивановича и прислушивался к каждому его слову.

Староста знал теперь, что усиление охраны было связано с известием о войне. Но это был вовсе не проигрыш, а, напротив того, выигрыш, и немалый. Так он убеждал Губина и других. После обстрела «Онеги» и гибели штурмана экипаж занят войной, только войной! Люди растеряны, подавлены. Сейчас можно взять их голыми руками. Да куда там голыми! Пулеметы в полной готовности стоят в двух шагах от тамбучи. Все поставлено на карту. Надо выиграть, потому что иначе незачем жить.

— Теперь или никогда! — несколько раз повторил он.— Теперь или никогда!

Его слушали, с ним соглашались. Но что-то изменилось в том, *как* его слушали, *как* соглашались. Надо было браться, не откладывая, через два часа, а с ним соглашались, как будто можно было начать не через два часа, а через два года.

Так бывало, когда он нанимал рабочих на полярной станции. Люди договаривались о зарплате, кивали, но еще

прежде, чем они скрывались из виду, он знал, что они не придут.

И дело было не только в Будкове, который, очевидно, спелся с Веревкиным, и не в Губине, который, охотно согласившись с Иваном, бережно вынул из платка и стал читать свою божественную книгу, бесшумно шевеля губами. Дело было в том, что, если бы он сейчас сказал: «А ну, ребята, айда!» — никто не пошел бы за ним, кроме Вольготнова и еще двух-трех ребят, на которых можно положиться. Они оказались бы на палубе одни. Их застрелили бы, не моргнув. Или сперва переломали бы ребра, а потом застрелили.

28

Теперь все заключенные узнали, что идет война, и в трюме думали и говорили только об этом.

Атмосфера, в которой был возможен захват парохода, распалась не потому, что усомнились те, на которых больше всего рассчитывал Иван. То, что казалось ему слабостью, слепотой, на деле было еще неопределенной, но все возрастающей надеждой на свободу, на возможность свободы — не противозаконной, связанной с новыми преступлениями, а открытой и даже, может быть, почетной. Это чувство объединило всех уголовников, в том числе и тех, кто еще вчера мечтал пройтись по Осло в новом шикарном костюме, а потом заглянуть к девочкам, которые в Норвегии славятся своей чистотой и красотой. К соблазну побега присоединился оттенок предательства, и они это почувствовали, несмотря на озлобленность и душевную пустоту. Но и другое присоединилось к этому чувству: стремление доказать, что ты не хуже, а может быть, даже и лучше других. Немцы напали на Советский Союз, причем действительно вероломно, поскольку с Гитлером был подписан пакт, да еще «скрепленный кровью», как писали газеты. Так нужно их двинуть, да так, чтобы они запомнили надолго. «Если мы воры и даже, допустим, убийцы, что же мы — не советские люди?» Но были и другие, попавшие в тюрьму за мнимые преступления, невинные люди, почти не связанные с уголовниками,— почти, потому что некоторые из них уже едва ли могли вернуться к честной, дотюремной жизни. Среди «указников» были

коммунисты и комсомольцы, которые не стали думать иначе оттого, что их осудили за опоздание на работу. Каковы бы ни были причины неожиданного договора с Германией, фашизм для них оставался фашизмом. Чувство полного равенства с уже сражавшимися или готовыми сражаться свободными людьми — вот что было теперь главным для них. Известие о войне сдвинуло оскорбительные, бессмысленные отношения между ними и свободными людьми, и теперь стали быстро устанавливаться совсем другие отношения, естественные для тех, кто считал себя обязанным и желал драться против фашизма.

Слесарь Экземплярский, смешливый, рыжий, с низким лбом и толстым решительным носом, был приговорен к четырем месяцам за то, что опоздал на работу на двадцать минут (это приравняли к прогулу, а прогул — к самовольному уходу). Он сказал Веревкину:

— Ну, все! Мало ли какие бывают обиды? Теперь все это надо забыть, тем более что после войны начнется совсем другая жизнь.

Наконец, были и третьи — те, для которых война была вдруг блеснувшей возможностью искупления.

Худощавый, похожий на цыгана заключенный, которого звали Лука Трофимыч, был приговорен к десяти годам за убийство жены. Разговорившись, он рассказал Николаю Ивановичу о том, как это случилось. Жена была хорошенькая, моложе его на пятнадцать лет. Его предупреждали, когда он влюбился, что она добрая и не может устоять, когда за ней начинают очень ухаживать. Но что значит «очень»? Он надеялся, что в замужестве она не позволит ухаживать за собой так уж «очень». Но она позволяла. Он убеждал ее, просил, умолял. Она соглашалась, потому что тоже любила его, и даже больше, чем всех, как она уверяла. Но потом кто-нибудь опять начинал ухаживать — неизвестно, так ли уж «очень»,— и начинались новые уговоры и ссоры.

Он задушил ее не в ссоре. Они поехали погулять на Москву-реку, в Рублево, и там, искупавшись и поговорив о спектакле «Таня» — накануне они были в театре,— он это сделал. Он задушил ее «задумчиво» — так он сказал на суде. Самое это слово послужило основанием для сурового приговора.

Он и был человеком задумчивым, всматривающимся, вслушивающимся. Тюрьма и все, что было связано с нею,

проходило мимо него, почти не касаясь. Он все еще был там, на берегу в Рублеве.

Известие о войне преобразило его. Он побрился осколком стекла (у арестантов отбирали все острое), надел чистую рубашку. Он не только оживился, он стал другим человеком — таким он был до своего несчастья. Глаза заблестели, на худом лице появился румянец. Прежде он все встряхивал головой, как бы отгоняя видение, всегда стоявшее перед его глазами. Теперь тот берег в Рублеве, хорошенькая задушенная жена, удивление и ужас перед тем, что он сделал,— все отошло и встало вдали. Так он сказал Веревкину. Только об одном он беспокоился — возьмут ли его на фронт.

— Конечно, возьмут,— сказал ему Николай Иванович.

Капитан Миронов был прав, утверждая, что девять десятых заключенных охотно пошли бы воевать. Но никто не просил их воевать. Строгости усилились после обстрела «Онеги». У тамбучи стояли теперь двое часовых. Повару из заключенных запрещено было являться на камбуз, и пайки раздавались в трюме под присмотром начальника конвоя.

29

Все нахлынуло на Веревкина сразу, смешалось, переплелось, закружилось, когда он узнал о войне. Где Тоня? Куда она денется одна, без друзей, которые давно отвернулись от жены опороченного командира? Поедет в Калинин? После смерти тещи там осталась родня. Есть ли у нее деньги? Конечно, нет. Все продано, она всегда легко тратила деньги.

Должно быть, он сказал это вслух. Будков, сидевший на полу возле него, обернулся с вопросительным выражением.

— Ничего, это я так, про себя.

После драки Веревкина со старостой Будков бросил удобное место у бункера и перебрался к Николаю Ивановичу со своей искусно смонтированной постелью.

— На всякий случай, так? — сказал он.

Постель Веревкина, лежавшую, как он выразился, «меж уши», он переделал на свой лад. Он сторожил Николая Ивановича, и, может быть, не напрасно. Но Веревкин не только не боялся Ивана, но больше ни одной минуты не думал о нем. Он прежде всех почувствовал, что та

атмосфера, на которую рассчитывал староста, зашаталась, распалась. Мысль о том, что война может усилить возможность захвата, показалась бы Николаю Ивановичу не страшной, а смешной. Это была вывернутая наизнанку, неестественная мысль, а он мог думать о войне только в ее прямом значении. Весь строй его прежней, дотюремной жизни был связан с этим прямым значением войны, то есть с тем участием, которое должен взять на себя в будущем столкновении флот. Тогда была мирная жизнь, и сам он был человеком мирным, не любящим ссориться, а любящим поесть и поспать и сильно побаивающимся начальства. Теперь, как и должно было случиться, он стал человеком военным, стремящимся сражаться и вполне подготовленным к этой работе. Но нельзя было сражаться, а можно только думать и думать.

Он думал о том, что накануне его ареста было назначено учение и все беспокоились, потому что экипаж впервые проходил торпедные атаки, а лодка после финской кампании нуждалась в ремонте. Тогда без конца говорили о необходимости настоящей судоремонтной базы. Взялся ли за это дело новый командующий флотом?

Он думал о том, как должны действовать немцы: прежде всего они попытаются, без сомнения, захватить Рыбачий и Средний. Карта Крайнего Севера возникла перед его глазами: толстый хвост Кольского полуострова и далее на северо-запад два полуострова — Рыбачий и Средний, связанные узким перешейком. Если немцы овладеют ими, из залива надо уходить, а без Кольского залива Северный флот существовать не может.

И как будто кто-то подслушал его мысли, потому что послышался колокол громкого боя, на палубе закричали, и шум самолета ворвался в привычный сплетающийся шум воды и машины.

Николай Иванович так же ясно представил себе то, что произошло в течение ближайших пяти минут, как если бы он был не в трюме, а среди матросов, встретивших фашистский самолет огнем зенитных пулеметов, или в рубке, командуя пароходом, кидавшимся то влево, то вправо. Он не знал, что от бомбы оторвался стабилизатор и что она падала, кувыркаясь в воздухе, как полено. Но он знал, что она попала в центр по левому борту.

30

Бомба взорвалась, пробив спардек, и все, что попало под взрывную волну, полетело, как листки бумаги на сквозняке. Мертвый штурман был выброшен из салона, и когда Сбоев выпутался из обломков мебели, он увидел Алексея Ивановича, лежавшего на палубе в неприятной, странно лихой для покойника позе. Но это было только скользнувшее впечатление, потому что подле штурмана лежал один из матросов, раненый или мертвый, и надо было сбросить с него доски и хоть оттащить в сторону, потому что, пробегая, кто-то нечаянно наступил на него. Но и этого нельзя было сделать, потому что там, где только что была беспорядочная путаница сломанных переборок, там, где под этими переборками лежал — Сбоев вспомнил — груз в бочонках, кажется краска, стало, перебегая, подниматься пламя. Он кинулся помогать матросам, тащившим шланг, и бросил, потому что кто-то сказал, что пожарная магистраль перебита.

Стрелял почему-то только один пулемет, и Сбоев побежал на корму. Матрос был не убит, а отброшен на ростры и старался подняться, крича что-то и показывая на ноги. Он пополз, но Сбоев прежде него добрался до пулемета, перепрыгнув через сорвавшуюся шлюпку. Он стал стрелять, приноравливаясь к внезапным поворотам парохода. Он угадал ту секунду, когда одновременно с начавшимся падением бомбы «Онега», почти ложась на борт, круто метнулась направо, и послал пули так точно, что, кажется, непременно должен был попасть в самолет. Но не попал, а самолет, сбросив бомбу, упавшую далеко, начал заходить снова. Так было два или три раза, в то время как пожар все разгорался, и Сбоев, не оглядываясь, знал по беготне и крикам, что его нечем гасить. Полная женщина в переднике выскочила на палубу, круглая, растрепанная, с разинутым ртом. Это была тетя Поля, буфетчица, Сбоев не сразу узнал ее. Кто-то, пробегая, ткнул ее, она замолчала и тоже побежала тушить пожар, оттаскивая в сторону сломанную мебель.

Потом самолет ушел, и началось что-то другое или то же самое, но без этого нарастающего гула, и града пуль, и ожидания, пока бомба летела, и облегчения, когда она падала в воду. Больше можно было не стрелять, и теперь все тушили пожар во главе с боцманом, который кидал

на огонь рокана́ и робы, а потом сам падал на них, не давая огню выбиваться из-под одежды.

Но и это короткое время, когда все занимались только пожаром, вдруг кончилось, потому что часовой у тамбучи сорвал винтовку и наставил ее на заключенных, поднимавшихся по трапу. Он закричал: «Стой, убью!» — но заключенные все-таки поднимались, тоже что-то бессвязно крича. Он выстрелил бы, если бы Сбоев не схватил его за руку.

— Вода, вода! — кричали заключенные. Их головы торчали теперь над люком.

Они еще медлили, боялись, но снизу напирали другие, и на палубе стояли уже четверо или пятеро, крича:

— Вода, вода! В трюме вода!

31

Когда больше не нужно было уклоняться от бомб и «Онега» могла продолжать свой путь, Миронов передал командование помощнику, а сам спустился на палубу, где еще гасили огонь. Он ходил с трудом. Буфетчица (она же и санитарка) слишком туго перевязала ногу, и нога онемела, может быть, еще и потому, что кусок щепы так и не удалось вытащить из раны.

Огонь перекинулся на корму, и нужно было что-то придумать с боезапасом Сбоева, лежавшим в ящиках на корме. Но прежде Миронов прошел в свою каюту (выглядевшую до странности мирно, если не считать расколотого стола) и положил в несгораемый ящик судовые документы. Уходя, он сорвал перекосившуюся дверцу стенного шкафа и сунул в карман бутылку коньяку. Нога была уже как неловко подставленное полено, на которое нужно было ступать, как это ни трудно, а ступая, непременно волочить за собой.

Сбоев со своими матросами, один из которых тоже хромал, не пускали к боезапасу огонь и, может быть, уже не пустили бы, если бы не надо было одновременно отгонять его от повисшей над бортом грузовой машины, на которой тоже лежал боезапас — детонаторы и гранаты. Это было сложно, почти все найтовы оборвались, машина держалась каким-то чудом и при повороте, даже и плавном, непременно упала бы в воду. Но здесь не нужно было командовать, потому что Сбоев сам командовал,

кричал и ругался. Он старался отвязать висевший за бортом мокрый брезент и, отвязав, бросил на пылавшую горловину кормового люка. Матросы помогали ему. Машину втащили на руках, и Сбоев, грязный, в разорванном кителе, с азартно раздувающимся носом, радостно завопил, когда ее колеса прочно утвердились на палубе.

Все еще было страшно, что огонь, перебегавший туда и сюда, доберется до ящиков с оружием, и все тушили его с ожесточением, когда часовой, помогавший матросам, побежал к тамбуче, на ходу срывая винтовку. Сбоев не дал ему выстрелить. Головы заключенных торчали над люком, и кто-то, разобравшись, в чем дело, сказал Миронову:

— В трюме вода.

32

Борт был пробит ниже ватерлинии. Но, очевидно, немного ниже, потому что вода то бурно заливалась, то опадала. Пробоина была немалая, и необходимо было забить ее чопом, а потом поставить цементный ящик — второй, потому что один уже торчал из обшивки,— тот самый, подле которого обосновался Веревкин. Но прежде следовало откачать воду, и это уже делалось, когда в трюм спустился Миронов.

Он спустился молча и некоторое время стоял, справляясь с тем, что происходило в ноге, на которую невозможно было опираться и еще невозможнее не опираться. В трюме командовал кто-то из заключенных, невысокий, в потертом кителе без нашивок, лысеющий блондин с аккуратным пробором. Он негромко сказал Миронову, что пришлось разбить ящик с пожарным оборудованием. И действительно, заключенные таскали воду в новых, свежевыкрашенных ведрах.

— Конечно, очень хорошо,— сказал Миронов.

В ящиках были не только ведра, но и огнетушители, которых так не хватало на палубе, и боцман, спустившийся вслед за капитаном, выругался и сказал:

— Кабы знать!

Чоп притащили, и блондин в кителе негромко сказал, уже не заключенным, а боцману, что клинья нужно забивать с тавотом.

— Судя по ходу, мы где-то недалеко от Ара-Губы. Так что зайти придется, очевидно, в Вичаны,— негромким скромным голосом сказал он.— Там, правда, якорная стоянка неудобна, но зайти все-таки можно. Вы заходили?

— Нет,— ответил Миронов. Он чувствовал, что теряет сознание.

Тавот тоже принесли, и этот дельный малый, еще прежде распорядившийся передвинуть груз к левому борту, поставил заключенных выносить воду конвейером, без толкотни, а сам тем временем стал готовить чоп, подгоняя его по размеру пробоины. Здесь дело шло хорошо, и Миронов, взяв с собой нескольких заключенных, пошел в кочегарку, где дело, напротив того, шло очень плохо. Прежде чем спуститься в кочегарку, он постоял, трогая рукой коньяк в кармане и думая, что, если бы удалось глотнуть, ему сразу стало бы легче. Но бутылка была не открыта, а отбивать горлышко не хотелось.

Волной воздуха сорвало вентиляторы машинной шахты, в кочегарке не хватало воздуха, и пар не держался на марке, хотя кочегары выбивались из сил. Здесь тоже надо было наладить конвейер, и его, очевидно, уже наладили, когда Миронов пришел. В кочегарке работали не кочегары, а второй и третий механики и Сбоев с матросом, а кочегары лежали на палубе с бледно-грязными лицами и тяжело дышали. Поставив на работу заключенных, Миронов поднялся на палубу. Светлые фигуры облаков были как бы вырезаны из бумаги на раскачивающемся небе. Дым путался в зелени, пробираясь между сопками — как на войне, как во сне. Немцы подожгли кустарник. Он достал коньяк и отбил горлышко бутылки. Он сидел на палубе среди расколотых досок и пил коньяк, вытянув ногу и чувствуя с наслаждением, что ее больше нет и что можно пить коньяк, не думая об этой сволочи, которая онемела от слишком тугой повязки или, может быть, потому, что кусок щепы так и не удалось вытащить из раны.

33

Теперь мертвых, считая Алексея Ивановича, было шесть человек, в том числе начальник конвоя. Их уже нельзя было устроить в красном уголке, потому что крас-

ного уголка больше не было, как и самого салона. Они лежали на полубаке, подле брашпиля, под ветерком — еще неизвестно было, когда удастся их похоронить, и для них было лучше устроиться под ветерком. Радист был убит, а потом обгорел. Он был самый страшный из покойников, и Миронов велел закрыть его простыней.

Раненых тоже было много. Кок жаловался на сильную боль в боку и невозможность вздохнуть.

Миронов ходил, опираясь на костыль, который сделал ему один заключенный. Он отобрал из них плотников, и те расчистили палубу, отложив в сторону годный материал. Слесари починили пожарную магистраль, и теперь воду выкачивали не только из левого отсека, но и из бункера, где ее оказалось тоже немало. Надо было восстановить освещение, и электрики энергично принялись за работу.

Среди заключенных были люди разных специальностей, но ни одного радиста. Возможно, что он был и не нужен, потому что рация сильно пострадала, но все-таки радисту, может быть, удалось бы наладить связь, а теперь рассчитывать на это не приходилось.

34

Миронов попросил Веревкина заменить покойного штурмана, и Николай Иванович привел пароход в Вичаны. Так он волновался только в тот памятный, все решивший день, когда он ждал Тоню на Марсовом поле и вдруг хлынул проливной летний, бешеный дождь, мгновенно промочивший его насквозь, и Тоня, необычайно серьезная, бледная, в новом платье, ахнула, увидев его, и заплакала, и засмеялась.

Он знал, что нужно ориентироваться по приметному островку Блюдце, который можно было обходить с севера и юга. Проход между островами Западный и Восточный Вичаны мелководен, и он, чувствуя, что сердце бьется уже где-то в горле, не сразу нашел другой, безопасный проход. Но все-таки нашел. Обойдя Блюдце, он пошел на середину входа в Губу и, добравшись до траверза южной оконечности Западной Вичаны, стал выбирать якорное место.

35

Иван Аламасов больше не был старостой, потому что рухнула та стена, за которой он командовал другими заключенными, и вместе с ней рухнула та иерархия, согласно которой они обязаны были ему подчиняться. Когда Миронов приказал, чтобы заключенным выдавали питание из двухнедельного судового НЗ, Иван попытался вмешаться, распорядиться, но кто-то ткнул его, едва он поднял голос, и он покорно умолк.

Он был теперь как все. Но он не был как все, потому что еще вчера хотел захватить пароход. Казалось бы, сейчас, когда начальник конвоя убит, а экипаж, не считая раненых, потерял пять человек, не было ничего легче, как осуществить этот план. Все перемешались. Больше нет никаких запретных зон, и даже повар из заключенных обосновался в камбузе, потому что судовой кок совсем расхворался и слег. Но чем легче было захватить пароход — тем труднее. Чем легче фактически — тем труднее в том значении, без которого ничто фактическое не могло произойти, несмотря на всю кажущуюся легкость. Нет, он думал о другом: все знают о его затее, его продадут — вот о чем он думал. Он дрался, отнимал паек. Он заставил одного парня стащить с себя сапоги, просто чтобы показать свою власть. Теперь они ему это припомнят.

Иван лежал с открытыми глазами — не спалось. У него был нож. Он лежал у холодной стены бункера, холодной потому, что машина стояла, и прислушивался. Он должен был, не теряя времени, действовать в свою пользу, ежеминутно, в большом и в малом, а теперь ему нечего было делать — только остерегаться и думать, что его могут убить. А может быть, выгоднее выдать, чем убить?

Он лежал и прислушивался. Все спали — Веревкин, Вольготнов, Будков,— не спал только тот белобрысый парень, которого он заставил стащить с себя сапоги...

36

Почти все каюты сгорели, и Миронов приказал поставить на палубе домик. Кроме Веревкина и электриков, которые занялись вентиляционным устройством, все стро-

или этот домик — и заключенные и команда. Может быть, именно поэтому работа шла весело, спорилась. Уже к концу первого дня обшили стойки и приладили стропила. Заключенные работали всегда, в Мурманске их каждый день водили в порт или на рытье котлованов. Но тогда была одна работа и жизнь, а теперь — совсем другая.

37

Николаю Ивановичу давно хотелось поговорить со Сбоевым, но до сих пор не было возможности, потому что Сбоев был занят — он распечатывал и устанавливал новые зенитные пулеметы. Освободившись, он несколько раз проходил мимо Веревкина и наконец остановился в двух шагах от него.

— Извините,— сказал Николай Иванович. Сбоев обернулся.— Мне хотелось поговорить с вами.

— Я и сам все собирался,— протягивая руку, радостно сказал Сбоев.—Я потом вспомнил, что мы встречались в Полярном.

— Ну, как там, в Полярном?.. Не знаю, с чего начать.

— Вы все спрашивайте, что хотите.

Как во время единственного свидания с женой, когда невозможно было выбрать главное, о чем хотелось узнать прежде всего, Веревкин произнес несколько бессвязных слов и замолчал, волнуясь. И Сбоев, почувствовав это, стал сразу же поспешно рассказывать сам — о чем придется и обо всем сразу. Он начал с истории подводной лодки «Д-2», которой командовал знакомый Николая Ивановича — капитан-лейтенант Зеленский. Лодка погрузилась и не всплыла. Ее искали целую неделю. Командующему флотом был объявлен строгий выговор и приказано: «Больше рабочей глубины подводным лодкам в море не погружаться».

— Подумайте, какая чепуха! В Баренцевом глубины повсюду больше, чем рабочие. Стало быть, вовсе не погружаться?

— И как же поступили?

— Как? Новый комфлота сделал вид, что приказа не было.

Сбоев говорил о командующем с тем оттенком хва-

ствовства, с которым мальчишки рассказывают об отцах или старших братьях. Он упомянул капитана второго ранга Вольского, и Николай Иванович обрадовался, узнав, что Вольский назначен командиром бригады подводных лодок.

— Давно пора.

— Теперь пойдет дело, правда? — по-мальчишески спросил Сбоев.

Надо было торопиться, а Веревкин еще не сказал о Тоне.

— Простите. У меня к вам просьба. Я ничего не знаю о жене. Она живет в Мурманске. Если вам нетрудно... Вы вернетесь в Полярный?

— Да, но это ничего. Я буду в Мурманске, непременно. Вы хотите ей что-нибудь передать?

— Да. Не думаю, что она уехала. Разве если эвакуация... Она хлопотала обо мне. Я знаю, что ей было легче, что мы как-никак в одном городе... даже близко. Расскажите ей, как мы встретились, и передайте, пожалуйста, это письмо.

— Конечно. Непременно,— с жаром ответил Сбоев. Он взял письмо и бережно положил в бумажник.

— Вот уж не было бы счастья, да несчастье помогло,— сказал Николай Иванович.

— Все сделаю. Все сделаю,— не зная, как передать ему, что он чувствует, повторял Сбоев.

Он все говорил, и все об интересном, важном. Между тем на «Онеге» готовились к похоронам. Мертвые лежали на носилках, и матросы спускали на воду шлюпки, чтобы отвезти их на берег. Миронов, бледный, с отекшим лицом, опираясь на костыль, вышел на палубу.

38

Нельзя было вырыть могилы, и пришлось выбрать углубление между скалами, чтобы положить убитых и завалить их камнями. Для Алексея Ивановича нашлось в изложине немного земли, и ему устроили настоящую могилу — даже украсили ее ветками березы. Хорошая береза была южнее, а здесь только жалкие кустики, попадавшиеся вдоль быстрого, с перепадами ручейка.

Неподалеку была отдельная, похожая на столб скала,

приметная с берега, но Миронов приказал сложить еще и гурий — груду камней с острой вершиной. Небольшая толпа моряков, обнажив головы, окружила могилы. Миронов сказал несколько слов. Еще постояли молча, потом пошли к шлюпкам.

При неярком солнце, медленно склонявшемся к горизонту, был еще заметен в спокойном небе нежный ободок луны. Пройдет еще час, и, так и не склонившись, не скрывшись, солнце начнет подниматься. Полярный день! Светлое пятно на круглой, гладкой прикрутости берега померкло и вновь стало медленно разгораться. Ручеек с перепадами прислушался к лету — так называют в здешних местах южный ветер — и, обогнув могилы моряков, побежал дальше как ни в чем не бывало.

39

Теперь у «Онеги» был странный вид: на палубе стоял домик, покрытый толем, который нашелся среди грузов, предназначенных для аэродрома. Но домик был хоть куда, с окнами, дверьми и трубой, из которой скоро повалил дым,— печник, который тоже нашелся, сделал времянку. Внутри домик обставили мебелью — обгорелой, но еще приличной.

В трюме было сыро, вода просачивалась сквозь сдвинувшиеся листы обшивки старого парохода, и заключенные разместились на палубе, устроив себе прикрытие из сломанных переборок. В каюте Миронова лежали раненые, за которыми ухаживала буфетчица, а капитан, почему-то не считавшийся раненым, устроился в лоцманской, где прежде жил Сбоев. С вечера он ставил на ногу теплый коньячный компресс — жалел коньяк, но ставил.

Было раннее утро, когда, выйдя из бухты, «Онега» легла курсом на Титовку. Несмотря на полный пар, она делала теперь не восемь, как ей полагалось, а едва ли пять узлов. Но до Западной Лицы было недалеко, а там, выгрузившись, Миронов думал, не торопясь, сделать ремонт.

Он не знал, что немецкие егерские дивизии перешли в наступление, наши войска отходят мелкими разрозненными группами, Титовка сдана и бои идут в районе Западной Лицы.

40

Только один батальон подошел к заливу под командованием офицера; причем этот офицер имеет более десяти ран. Я видел его и поразился тому, как он сумел дойти. Еще более удивительно несоответствие его физического состояния — человек едва держался на ногах — с его волей. К сожалению, не запомнил его фамилии.

А. Г. Головко. Вместе с флотом

Курков был ранен и по временам не то что терял сознание, но как будто находил себя после длинного или короткого перерыва. Однажды он нашел себя вспоминающим задачу, в другой раз — оглянувшимся, старавшимся разглядеть очертания какого-то парохода, который, очевидно, уже давно обогнул островок, лежавший посередине Губы.

Курков посмотрел в бинокль: пароход был старомодный, с круто выгнутым носом. У него не было ни фок-мачты, ни грот-мачты и вообще почти ничего, кроме командного мостика и косо торчавшей стрелы. Зато на корме стоял домик, не рубленый, как на плотах, а дощатый, с окнами и черной крышей.

У пароходика был нелепый, не внушающий надежды вид, и Курков, отвернувшись, стал снова смотреть туда, где осколки гранита взлетали то волнообразно, то фонтанчиком, то как одинокие, медленно летящие стрелы.

До войны, неделю тому назад, у Куркова не было никаких желаний, кроме желания занять первое место в полковом шахматном турнире. Он и в армии-то остался после действительной потому, что ему казалось, что в армии начальство все обдумает и решит за тебя. Служба была для него наиболее простой возможностью существования. Он жил не сопротивляясь.

Между тем в течение последних дней он только и делал, что сопротивлялся, и с бешенством, без тени отчаяния, с холодным расчетом. Цепляясь за каждую скалу, без дорог, через тундровые болота, он прошел с боями десятки километров. Третьего дня он командовал взводом, вчера — ротой, а сегодня — батальоном, который должен был занять выгодную позицию вдоль воложки — так называется пролив между речками, устья которых сливают-

ся, впадая в море. Должен был занять, но не занял, потому что часть батальона осталась на той стороне, за речками, и немцы не давали ей перейти. Теперь наконец у него появилось желание. Более того, теперь он как бы сам стал этим желанием, которое непременно должно было исполниться, и как можно скорее. Оно заключалось в том, чтобы задержать немцев, пока переберутся наши. Но исполниться оно не могло, потому что у него было мало людей. «Имею остаток всего ничего»,— накануне сообщил он командиру полка. Теперь он имел остаток остатка.

С крутизны, на которой он засел, картина была видна, как на рельефной карте: вдалеке — светлые расширяющиеся треугольники, бегущие вверх и сливающиеся с поперечной волнистой полоской,— это был снег, лежавший на сопках и опушивший их до самого неба. Потом — темно-прозрачные тени, лежавшие на других сопках, пониже. Здесь были немцы. Потом — кусок зеленого пустого пространства — кустарник, над которым ходили дымки. За ним, по-над берегом — обрывающиеся бурые утесы с выходом к заливу, который ему, Куркову, надо было закрыть. Воложка вела к этому выходу, и немцы уже шли вдоль нее, готовясь форсировать речку.

Он снова оглянулся, хотя ему было некогда, и увидел, что на пароходик с моря заходят два самолета. Это значило, что и немцы заметили его, причем они-то, без сомнения, гораздо раньше, чем Курков. Удивительно и даже необыкновенно было совсем другое. Пароходик замедлил ход, как будто поджидая, когда самолеты подойдут поближе, и, когда они подошли, открыл такой огонь, как будто это был не маленький странный «торгаш», а по меньшей мере эскадренный миноносец. «Не меньше шести-семи пулеметов»,— подумал Курков.

— Господи! Если бы... Ох, если бы...— сказал он вслух.

Люди, лежавшие рядом с ним в скалах выше и ниже, бросили стрелять и, оживленно переговариваясь, стали смотреть на этот неравный бой. Курков строго окликнул их. Но невозможно было не оглядываться. Теперь пароходик не медлил, а вертелся во все стороны — то давал полный вперед, то стопорил, то круто брал направо и налево. Самолеты по очереди пикировали на него, но он все увертывался среди разрывов, не переставая стрелять. Это продолжалось долго, и Курков еще раз, а может быть, еще сто раз сказал: «О господи! Если бы...»

Его снова повело куда-то, но он справился и продол-

жал смотреть, хотя надо было командовать боем. Загибаев, о котором в роте говорили, что он «загибает», вдруг вскочил, закричал. И все другие, лежавшие выше и ниже, заговорили, закричали, вскочили:

— Попал! Подбил! Попал! Ух, молодцы! Мать честная! Попал!

Один из самолетов потянул к берегу, дрожа, но не дотянул и свалился в воду, второй сбросил еще одну бомбу, не попал и ушел. Теперь можно было разобрать в бинокль название — «Онега». И эта «Онега» с нелепым домиком па корме больше не стреляла и не крутилась. Очевидно, нельзя было подойти к берегу прямо, и, осторожно обогнув невидимое препятствие, она направилась к причалу.

Куркова все-таки увело, потому что он увидел себя на берегу пруда, в своей деревне. Он пускал бумажные кораблики, они размокали и тонули, но один не утонул, поплыл. Земля была еще взъерошенная, неприбранная, только что вылезшая из-под снега. Но солнце уже грело, сияло, и кораблик плыл в чистой освещенной струе. Коряга встретилась на его пути, он остановился, задрожал. Мальчишки закричали: «Ну, все!» Но это было еще далеко пе все. Он скользнул вдоль черных мокрых сучьев и помчался дальше, сверкая па солнце, как сверкало все — даже прошлогодняя, оставшаяся зеленой под снегом трава, даже погибшие, потемневшие дубовые листья...

На этот раз перерыв продолжался долго, потому что когда он кончился, «Онега» уже ошвартовалась; много каких-то невоенных людей спускалось по сходням, другие выгружались. Стрела ходила вперед и назад, опуская на берег мешки и ящики, а потом подцепила и осторожно поднесла к берегу грузовую машину. Высокий толстый моряк на костыле, с перевязанной согнутой ногой ходил вдоль палубы, распоряжаясь. Машина встала на берег и сразу двинулась задним ходом — ее опробовали.

Люди были не обмундированы, и это нисколько не удивило Куркова — из вчерашнего подкрепления многих тоже не успели одеть. Но они не торопились — вот что было страшно. Они видели с моря, что идет бой, но не знали, что надо сразу же бежать туда, где речки сливаются у выхода к заливу. По одному через разлог, где мины рвутся среди прибрежных скал, а потом круто по-

вернуть и ударить справа. Он заскрипел зубами, чтобы не дать себе уйти на пруд в деревню, где мальчишки катались на коньках. Да, справа. Слева хуже — помешают утесы.

Он прогнал пруд и этот холод зимы и стал думать, кого послать. Не врача ли? Врач воевал хорошо и мог объяснить. Но все-таки он послал Загибаева, а вслед — Сундукова.

Немцы шли вдоль воложки, то показываясь в мелком березовом кустарнике, то исчезая. Лучше было не смотреть на них. Загибаев добрался первый. Он бежал почти напрямик. Невысокий командир в морской форме встретил его у причала и сразу же бросился к тому толстому с перевязанной ногой, который стоял на палубе, командуя разгрузкой. Теперь добежал и Сундуков. Матрос топором разбил ящики. Раздавали оружие. Роздали. Побежали по одному через тот разлог. Так. А теперь направо.

...На этот раз он увидел себя катающимся на коньках. Шел снег, водоросли, замерзшие в странных положениях, были видны сквозь тонкий прозрачный лед пруда. Ему стало холодно, и он пошел в избу, где мать только что вынула хлеб из печки и теперь пекла для него кокоры. Из печки пахло вкусным теплом, а в глубине, на поду́, еще перебегали искры...

41

«Семь пар нечистых», как называл свою команду Сбоев, собиравшийся, подобно Нельсону и Ушакову, побеждать, командуя эскадрой, не позволили немцам выйти к морю и отбросили их за воло́жку. Батальон Куркова успел занять оборону, действительно выгодную, потому что ему удалось продержаться на ней до прихода армейских частей и отрядов морской пехоты. Они обороняли этот рубеж в течение трех лет, а потом, перейдя в наступление, разбили немцев и освободили норвежскую область Финмарк.

Бывшая команда заключенных получила обмундирование и другого начальника, вместо Сбоева, вернувшегося на флот. Теперь это было обыкновенное подразделение, занимавшее небольшой участок приморского фронта и воевавшее не лучше и не хуже других.

Никто не помнил о старосте Аламасове, который был убит в первые дни. «Онега» своим ходом вернулась в Мурманск, была отремонтирована и всю войну ходила, перевозя раненых и выдерживая, как ни трудно этому поверить, рейсовое расписание. Веревкин осенью 1941 года был реабилитирован и получил подводную лодку. Жена приехала к нему в Полярное.

Из трюмных пассажиров Будков стал широко известен: он попал в диверсионную группу, ходившую в тыл противника, и отличился в пикшуевской операции. Статьи о нем в газетах Северного флота называются: «Будков рассказывает» и «Слава бесстрашным».

1961

КОСОЙ ДОЖДЬ
ПОВЕСТЬ



1

Игорь ходил в демисезонном пальто, и Валерия Константиновна надеялась уговорить его купить зимнее — не заставить, конечно (это было невозможно), а именно уговорить. Но уговорил как раз Игорь.

Он притащил откуда-то карты, книги, и она прочитала «Образы Италии» Муратова, а он еще два десятка других книг, интересных и неинтересных.

Каждый вечер они «отправлялись в Италию».

— Ну, поехали, мать,— говорил он с широко открытыми глазами, которые открывались еще шире, когда что-нибудь новое или неожиданное поражало его.

В Риме прямо с вокзала Термини они отправлялись на Форум Романум и долго бродили по виа Сакра, стараясь запомнить, что слева находятся руины Дома весталок, а справа — храм Антонина Пия. Старалась, впрочем, только Валерия Константиновна.

— Мама, ведь ты же это учила,— говорил Игорь с отчаянием, когда она путала коринфские колонны храма Диоскуров с ионическими храма Сатурна.

Это было поразительно, что римляне до сих пор пили воду из Аква Вирго — водопровода, построенного еще в первом веке. «Мать, учти! В первом! До нашей эры!» Она учитывала.

Во Флоренции они «провожали» солнце на площади Микеланджело — согласно путеводителю это было одним из самых сильных итальянских впечатлений. Подъезжая к Сорренто, они вдоволь налюбовались «изумрудными переливами» моря, а на Капри побывали в Лазурном гроте, где в таинственной темноте люди фосфоресцируют, как

воздушные тени. Так, по крайней мере, утверждал Игорь, а уж ему-то можно было поверить. Ему еще не было семнадцати, но он уже знал в сто раз больше, чем Валерия Константиновна с ее высшим образованием — она окончила текстильный институт. Когда кому-нибудь из соседей по квартире нужно было выяснить, что такое «цебертизация» или где находится самая большая в мире коллекция солнечных часов, другой сосед говорил: «Спросите у Игоря».

Он был похож на мать — к счастью, не на отца.

Он говорил, не поспевая за мыслью, ему хотелось, чтобы все на свете происходило быстрее. Еще в третьем классе он украсил вазу, которую рисовал класс, усами и остроконечной бородкой, превратив ее в потолстевшего, с румяными щечками д'Артаньяна. Это было скучно — рисовать обыкновенную вазу, которую можно купить или продать. Его вазу нельзя было ни купить, ни продать. Она напоминала о веревочных лестницах, заговорах, дуэлях.

Однажды Валерия Константиновна слышала, как у киоска с минеральными водами он сказал приятелю: «Между прочим, это лучшие в мире минеральные воды».

Она рассказала ему о своем отце, который был бродячим красильщиком, обошел всю Россию и еще в двадцатых годах ездил из деревни в деревню со своими красками и чанами. Игорь преобразил деда: все, что красил дед, никогда не линяло. Пока нитки, одежда, холсты кипели в чанах, он рассказывал сказки. Да, он был не только красильщиком! Когда он уезжал, вся деревня провожала его в голубых, зеленых, желтых, красных и синих рубашках, кофтах и платках.

Мать была художницей по тканям, и Игорь доказывал, что она унаследовала профессию деда. Сам он не только раскрашивал мир, но устраивал его по-своему, дополнял, улучшал. И Валерия Константиновна думала, что она сама виновата в том, что у сына развилась эта склонность — опасная, потому что она коснулась того, о чем Валерия Константиновна думала неотступно и неустанно.

2

С раздражающей ясностью она помнила ту последнюю военную зиму, тот рассеянный свет ни ночи, ни дня, который она ненавидела, потому что даже не знала, когда

это произошло — днем или ночью. С утра над базой летал немецкий разведчик: матросы почему-то называли его «кривая нога». На бледном небе медленно расплывались волнистые линии — пунктир воздушного боя.

Валерия Константиновна работала машинисткой в редакции. Она печатала и все поглядывала в окно. Мостик через овраг был занесен почти до перил. Пожилой моряк с зелеными табачными усами прошел, чертыхаясь, по колено в снегу и вдруг, хохоча, подхватил мальчика в шубке, стоявшего у крыльца редакции и перевязанного крест-накрест большим шерстяным платком. Мальчик привычно отбивался: на базе почти не было детей. «Сейчас, в грозные дни напряженных боев на юге...» — печатала Валерия Константиновна. Андрея все не было. Низкое темное облачко остановилось над морем, потом двинулось к берегу. Вдруг загудело, засвистело, задуло, все стало плывущим, безостановочным, неутихающим, снежным.

Теперь стало ясно, что катер не придет и, стало быть, сегодня она не увидит Андрея. Но катер пришел. «На днях опубликовали англо-советское коммюнике о переговорах премьер-министра Великобритании...» — печатала она, когда он приоткрыл дверь, заглянул, улыбаясь, и, не заходя, стал сбивать снег рукавицей с полушубка и шапки. Он был тоненький, с легкой походкой, с вьющимися, падающими на лоб волосами.

В клубе шел спектакль «Слуга двух господ», но играли так плохо, что они ушли после первого акта. Может быть, они ушли не потому, что играли так плохо.

Валерия Константиновна жила в деревянном домике с высоким крыльцом. Лестница обледенела, они поднялись, держась друг за друга. Она жила с Катей, тоже редакционной машинисткой, рядом — военные корреспонденты, а в третьей комнате, самой большой, — командир подлодки. Он часто бывал в походах, и девушки следили за комнатой, вытирали пыль и даже иногда мыли пол и окна.

У Валерии Константиновны было холодно, она принесла из кухни электрическую плитку. Они грели руки над плиткой, а потом Андрей накинул на нее свой полушубок и пристроился рядом — очень скромно, только взял ее руку в свои. В нем было что-то изящное, светлое. Прежде он почти не говорил о себе, а в этот вечер заговорил — и ей понравилось, как он рассказывал о матери и маленьком брате. Он был мурманский. Отец умер рано, мать ра-

ботала в больнице, сперва сиделкой, потом кухаркой. Второй раз она вышла замуж за официанта-грузина, и отчим отправил его в Озургеты. Он был тогда еще совсем маленький и почти разучился по-русски. Потом пришлось снова учиться. Но легкий грузинский акцент так и остался.

— Вы не слышите?

— Нет.

Потом они пошли в комнату командира подводной лодки и сидели там, не зажигая света. Когда Андрей стал целовать ее, она повернула выключатель, и оказалось, что свет не горит. День кончился, наступил вечер, а потом ночь или, может быть, новый день. На базу опять обрушился снежный заряд, и вихрь, взвиваясь и опрокидываясь, помчался мимо окна безостановочно и неутомимо.

Катер уходил в шесть утра, они расстались, а через неделю Андрея вызвали в штаб: с наблюдательного пункта разведчики доставили на его батарею какие-то расчеты, и он потерял листок, на котором они были записаны.

— Потерял, и все,— грубо и беспомощно сказал он Валерии Константиновне.

Он пришел к ней пьяный, и с тех пор она ни разу не видела его трезвым. Как он пил! Как страшно вздрагивали у него веки, когда он вглядывался в нее, не узнавая. Валерия Константиновна стала запираться от него — она боялась пьяных. Однажды он взломал дверь. И все-таки она еще жалела его, уговаривала, стыдила.

Потом ей сказали, что Андрей тайком от нее приезжает на базу и останавливается у продавщицы военторга. Они вместе пьют, и однажды патруль отвел на гауптвахту обоих.

Когда больше нельзя было скрывать беременность, Валерия Константиновна уехала в Москву.

3

Среди несчастий тех лет ей запомнился приезд Андрея. Война кончилась. Он явился подтянутый, в форме; тогда его еще не списали с флота. В неприбранной комнате было холодно. Игорь кричал, потому что молоко кончилось и некогда было с утра сбегать в молочную кухню. Все же они поговорили. Он — беспечно, она — не веря глазам, поражаясь тому, что была близка с этим ничтоже-

ством, с этим бледным, быстро лысеющим человеком, который, едва взглянув на ребенка, даже не спросил, как прошли эти два трудных года. Вечером он явился пьяный, она выставила его, и неверными шагами он ушел из ее комнаты, из дома, в котором она жила, из ее сознания, существования. Ей просто некогда было думать о нем. Нужно было стирать белье, мыть пол, кормить Игоря. А потом, когда мальчик подрос, нужно было подумать о работе, которая не помешала бы ей, а, напротив, помогла учиться.

Так прошли эти годы, превратившие ее в сильную, много перенесшую, но ничуть не согнувшуюся женщину. Она была еще привлекательна, с румянцем на крепких щеках, с седой прядью, подчеркивавшей моложавость. В ней была прелесть женственности, она нравилась — и даже однажды чуть не вышла замуж за товарища по работе, инженера-текстильщика, который несколько лет убеждал ее, что они должны пожениться. Но инженер устроил нечто вроде помолвки, и на этой помолвке ей вдруг показалось, что она влюблена вовсе не в него, а в его отца, старого оркестранта, танцевавшего с ней старомодно-прямо, держа ее в твердых руках, которые она чувствовала сквозь тонкую материю платья...

Постепенно Валерия Константиновна перестала думать о замужестве, о мужчинах. Теперь, когда она болтала с Ириной, своей лучшей подругой, не понимавшей, почему Валерия Константиновна, которую Ирина считала хорошенькой, живет одиноко, Валерия Константиновна отшучивалась, уверяя, что в ее внутренней секреции, очевидно, не хватает какого-то важного гормона. Ирина, некрасивая, умная, говорившая о мужчинах с презрением, всегда была в кого-нибудь влюблена.

Несмотря на трудную жизнь, Валерия Константиновна не чувствовала себя несчастной. Ее жизнь, как и любая, представляла собой сложное сплетение хорошего и плохого, и она научилась выбирать из этого сплетения лишь хорошее — то, на что она могла опираться. А все остальное — обидное, оскорбительное, раздражающее — оставалось в стороне и даже в легком тумане.

Только одну ошибку сделала она, не подумав, как тяжело придется за нее расплатиться: она сказала Игорю, что его отец пропал без вести на войне. Но могла ли она представить себе, что с этой минуты Андрей, который давно не существовал для нее, начнет новую жизнь в воображении сына!

4

Игорь стал думать об отце после Двадцатого съезда. Взрослые волновались, радовались, спорили, надеялись и удивлялись. Весь дом, вся Москва говорила о съезде и, очевидно, даже весь мир. Все это было, без сомнения, очень важно, хотя и относилось к неясному для него прошлому. Очевидно, многое тогда происходило не совсем так, как думали взрослые, и даже совсем не так.

Одно из этих «не так», очень важное, касалось войны. Игорь и прежде любил читать о войне, а теперь, подрастая, стал читать еще больше. Стратегическое отступление 1941 года было, оказывается, вовсе не «заранее обдуманным», а непредвиденным и внезапным. Можно было не отдавать немцам чуть ли не треть страны.

Он прочел много книг о Северном флоте, о подводной войне, о действиях береговой артиллерии. Часами он сидел над картами. Он сам чертил их. В воображении он пересекал на подводной лодке Баренцево и Карское моря, уходил на восток до Тикси и до Норд-Капа на запад. К шестнадцати годам он мог бы читать лекции о войне на Северном театре.

И прежде он часто расспрашивал мать об отце: почему у нее не сохранилось ни одной фотографии, почему она никогда не вспоминает о нем?

И она рассказала, как однажды ждала его целый день, незаметно перешедший в ночь. Была метель — там это называется снежным зарядом, и она почти не надеялась, что он приедет на базу. Ей очень хотелось увидеть его, хоть взглянуть или просто узнать, что с ним ничего не случилось. Она печатала и думала: «Хоть взглянуть!» И вдруг дверь отворилась, Андрей вошел, улыбаясь, и стал шапкой сбивать снег с шинели. Мокрый клок волос упал на лоб. Он был тоненький тогда, среднего роста и не ходил, а бегал. Всегда торопился.

Игорь спросил, была ли она на батарее. Конечно, нет! Мать нечаянно упомянула о листке с расчетами и сразу же заговорила о том, как отчим Андрея, грузин, отправил его в Озургеты. Ей нравился, сказала она, его легкий грузинский акцент.

Она рассказала немного, но для Игоря и этого было довольно. Он вообразил отца: это был молодой человек, почти юноша, немногословный, застенчивый, скромный и фантастически смелый. Вот когда он пропал без вести —

в октябре 1944 года, когда началось наступление морской пехоты! Возможно, что он был в одной из десантных групп, которые были высажены на южное побережье Мотовского залива, в районе мыса Пикшуев. Или в бригаде, высадившейся на берегу залива Малая Волокая,— с этого плацдарма был нанесен удар вражеским позициям на перешейке полуострова Средний.

Чем старше становился Игорь, тем больше думал он об отце. Прежде отец был похож на Дика из стивенсоновской «Черной стрелы», только постарше. Теперь это был человек, который жил в странное, почти необъяснимое время и который никогда не увидит перемен, происходящих в стране.

Игорь носил фамилию матери — Листенев, старший брат Валерии Константиновны усыновил его, когда ему было три года. Он знал, что родители не были зарегистрированы в загсе, и, разумеется, не придавал этому никакого значения. Но когда надо было получать паспорт, он спросил мать, имеет ли он право носить фамилию отца. Мама сказала: «Нет», и он не стал настаивать. Впервые в жизни он не поверил ей. Но в юридической консультации тоже сказали, что, поскольку мать не была зарегистрирована, а он, Игорь, усыновлен ее братом, он должен носить фамилию Листенев, а не Свечкин.

5

Он должен был в этот день остаться после уроков на собрании, очень интересном, потому что почти весь класс под руководством Кирилла Павловича — это был любимый учитель — собирался в Крым. Но Кирилл Павлович заболел, и Игорь вернулся домой раньше, чем его ждала мать. На вешалке у двери висело мужское пальто, а из соседней комнаты, где жила старушка пенсионерка Павла Порфирьевна, были слышны голоса. Он только что видел Павлу Порфирьевну на кухне. Стало быть, мать попросила разрешения поговорить с кем-то в ее комнате. Почему? Очевидно, ей не хотелось, чтобы Игорь присутствовал при этом разговоре. Ну что ж! Он уселся за маршрут, который собирался предложить на собрании,— не вдоль побережья, а вдоль Айпетринской Яйлы. Куда интереснее!

Стена была тонкая, и он всегда знал, что делается в комнате Павлы Порфирьевны. Он знал, когда она ставит

посуду в полубуфет, который она называла не сервантом, а сервантесом, когда натирает пол — она любила, чтобы пол блестел, и часто натирала его мастикой. Теперь за стеной слышались голоса: матери — непривычно резкий и незнакомый мужской — бормочущий и хрипловатый.

— А я ничего и не требую,— сказал мужчина.

— Еще бы! — отозвалась мать. И потом: — Уезжай! Ты слышишь? И чтобы никогда...

Игорь решил, что, пожалуй, лучше уйти. Ему не хотелось, чтобы мама подумала, что он слышал этот разговор, потому что ей, очевидно, этого тоже не хотелось. И он убежал.

6

Поездку отложили на неделю — итальянское посольство почему-то задержало визы. Это было хорошо и плохо. Плохо, потому что психологически Валерия Константиновна уже как бы уехала: время в таких случаях всегда останавливается, и не хочется браться за работу всерьез. А хорошо, потому что Андрей явился, когда она еще была в Москве. Она провела его в комнату Павлы Порфирьевны. Он был прилично одет, но водкой от него пахло, как прежде. Они не виделись восемь лет. Он постарел, на лысеющей голове открылась запавшая некрасивая макушка. Он служил теперь в торговой базе где-то на Дальнем Востоке и с первого слова стал хвастаться, что иногда удается хорошо заработать: «Конечно, приходится делиться, но это уж...»

Об Игоре он вспомнил, прощаясь. Валерия Константиновна взяла с него честное слово никогда больше не писать, не приходить и вообще «забыть о ее существовании». Но что стоило его честное слово?

Думая, что кто-нибудь мог слышать этот разговор в коммунальной квартире, она сказала Игорю, что приезжал дальний родственник, тоже Листенев, который просил устроить его в Москве. Еще не досказав, по невнимательному выражению Игоря она поняла, что его ничуть не интересует этот родственник, может быть, потому, что он Листенев, а не Свечкин. Но она досказала, испытывая с особенной силой вину перед сыном и сердясь на себя за эту новую, оказавшуюся ненужной и бессмысленной ложь.

7

Днем все куда-то летело в шуме деловых разговоров, в путанице незаметно уходящего дня, а по вечерам они с Игорем по-прежнему «путешествовали» по Италии. Он настаивал, чтобы она прочла хотя бы предисловие к «Божественной комедии» Данте. И она прочла, запомнив лишь, что «атмосфера чистилища ближе к нам, чем вечный мрак ада».

Иногда заходил Петя Аникин — это был лучший друг Игоря. В младших классах мальчики учились вместе и продолжали встречаться, когда Петя перешел в музыкальную школу. Накануне отъезда Валерии Константиновны Петя явился с новостью — его родители тоже едут в Италию и даже в той же группе. Это было трудно устроить, но отцу удалось. Рассказывая об этом, Петя смеялся, размахивал руками, и Валерия Константиновна невольно подумала, что, очевидно, у него сложные отношения с родителями, если он так радуется их отъезду.

Денег давали мало, и она заранее решила, что и кому она купит. Игорю — орлоновую рубашку, которую можно мыть под краном, а потом не гладить, Ирине — венецианские стеклышки, Павле Порфирьевне — редкое сердечное лекарство. Старушка уверяет, что у нее от сердца припадки тоски. С братом беда, ему никогда ничего не нужно. В прошлом известный строитель первых гидростанций, теперь он писал о них или притворялся, что пишет. Он ходил, прихрамывая, подшучивая над собой и жалея только о том, что врачи запретили ему пить и курить.

8

Меняя паспорта и покупая билеты, туристы встретились в «Метрополе» уже как знакомые, и оказалось, что все, как и Валерия Константиновна, ничего не успели. Об этом говорили женщины, среди которых она сразу нашла ту молодую, красивую, высокую, с длинными руками, которая понравилась ей еще в Доме Союзов, где представители «Интуриста» рассказывали об Италии. Ее звали Ларисой, она работала в Комитете Мира.

Валерия Константиновна умела находить тон с людьми даже и очень далекими — это было не то что легко, но привычно. Крепкий, толстый человек с насмешливым ум-

ным лицом посматривал на нее, улыбаясь. Это был архитектор Алексей Александрович Токарский. С ним она сразу почувствовала себя свободно. Но были другие, с которыми она как бы играла в эту естественность и свободу.

Аникина, которую она как-то видела на родительском собрании, познакомила ее с мужем, известным скульптором. С ними почему-то было трудно разговаривать, даже о детях, как они выросли и переменились. Впрочем, к концу этого хлопотливого, утомительного и все же веселого дня Валерия Константиновна освоилась и с Аникиными. Неприятно было только, что Токарский держался в стороне от скульптора и, кажется, был с ним в дурных отношениях.

Ей понравился рыжий молодой человек с круглым носом, которого все уже звали просто Севой. Он недавно окончил судостроительный институт и работал на заводе имени Носенко в Николаеве. Пока туристы ждали паспорта, он сообщил Валерии Константиновне, что недавно женился. Он, конечно, поехал бы в Италию с женой, но завод получил только одну путевку, и профком решил, что поехать должен именно он.

9

В Париже они провели только час, а должны были и того меньше — с аэродрома Бурже на аэродром Орли. Шофер согласился показать им Париж, и они прокатились по кольцу бульваров. Как большинство женщин, Валерия Константиновна плохо знала историю, может быть, потому, что в ее школьные годы историю преподавали как будто нарочно, чтобы школьники забыли ее по возможности скорее. Токарский называл бульвары — маршала Нея, маршала Макдональда. Нея она еще помнила, а Макдональда спутала с английским премьером.

Они опоздали на аэродром Орли. «Каравелла» — это был новый французский самолет, о котором еще в ТУ-104 говорили мужчины,— уже ждала их. Подтянутая, прекрасно говорившая по-русски блондинка повела русских к одному окошечку, к другому, потом, запутавшись, куда-то еще. И все это — со смехом, проталкиваясь в озабоченной, громко разговаривающей, разноцветной толпе. Потом все пошло совсем быстро — паспорта, какие-то формальности, и через десять минут туристы поднимались в самолет —

не сбоку, как это было привычно, а по лестнице прямо в брюхо, в длинную тесную комнату «каравеллы».

Валерия Константиновна оказалась рядом с француженкой, и они немного поговорили — несколько слов по-английски, несколько по-французски. Русские все были на другом краю. Затылок Токарского, крепкий, с каштановыми, слегка вьющимися волосами, показывался из-за края кресла и исчезал. Француженка что-то спросила.

— Я русская,— догадавшись, ответила Валерия Константиновна.

Француженка удивилась, быстро сказала длинную фразу. Валерия Константиновна не поняла, кивнула и пожалела, что не села со своими, где было весело, потому что Токарский шутил и, наверное, сейчас сказал что-то очень смешное — Лариса перегнулась через ручку кресла, переспросила и от души засмеялась.

Хорошенькая стюардесса, ловко скользя между креслами, пристроила столики, принесла обед, и Валерия Константиновна неуверенно принялась есть, не очень хорошо зная, что делать, например, с чем-то белым, похожим на теннисный мяч, оказавшимся вовсе не мороженым, как она предположила, а яйцом с вкусной, сложной начинкой.

Летела не только «каравелла», но все, о чем думала и говорила Валерия Константиновна. Она ела, почти не чувствуя вкуса, как это бывает во время болезни, когда начинает подниматься температура. Это было то возбуждение новым, которое началось еще в Париже, когда автобус проезжал мимо могилы Неизвестного солдата, а Валерия Константиновна старалась увидеть и непременно запомнить эту могилу, и неугасимый огонь, и часового, и толпившихся людей, видевших все это тысячу раз и не думавших о том, что они — в Париже. Она поняла, что в таком же волнении находятся и другие.

Рим подлетел неожиданно, вместе с конфетками, которые раздала стюардесса. Легкая дурнота все-таки стала уводить Валерию Константиновну, она вспомнила, что нужно открыть рот, но постеснялась и не открыла.

На аэродроме, в очереди, выстроившейся к пограничнику, она оказалась рядом с Ларисой. Они обрадовались, заговорили о полете, и Валерия Константиновна знала теперь, что и Лариса заметила ее еще в «Метрополе».

Один чемодан пропал — это выяснилось, когда сели в автобус, но никто не стал беспокоиться. Староста — ма-

ленький добродушный незаметный человек, которого Валерия Константиновна запомнила потому, что на нем висели фото- и киноаппараты,— сказал, что «здесь этого не бывает». В худшем случае чемодан остался на аэродроме в Париже. «А вдруг мой?» — подумала Валерия Константиновна. Токарский смеялся и говорил, что все спокойны потому, что каждый надеется, что пропал чемодан соседа.

Утром была Москва, час тому назад — Париж, а теперь — Рим; в этом, кажется, не было сомнений. Римлянин, который вел автобус, тормозил время от времени, чтобы пропустить римлян, неторопливо переходивших улицы Рима.

В гостинице разобрали вещи, и оказалось, что пропал как раз чемодан Валерии Константиновны. Она огорчилась, но не только из-за чемодана, который должен был, конечно, найтись, а потому, что, пока его искали, староста распределил номера, и она оказалась не с Ларисой, а с плосколицей, много и складно говорившей дамой. «Нужно было сразу попросить, чтобы нас поместили вместе»,— думала она, пока соседка рассказывала десятую историю о том, что за границей ничего не пропадает и что в Финляндии, например, ставят бидоны для молока у калитки или даже прямо на дороге.

Соседка была высокая, тощая, а Валерия Константиновна — среднего роста, плотная, с полными плечами и грудью, и обе сели на кровать и стали смеяться, когда Валерия Константиновна попыталась примерить то, что ей хотелось сменить после душа. Пришли другие женщины, посоветовали, утешили, позвали ужинать, и досада отошла в сторону, забылась, когда после ужина они пошли по незнакомой, быстро пустеющей улице, потом по другой, виа Национале, и вдруг оказались перед кругло уходящими стенами, грубо и таинственно освещенными луной. Это был, если верить глазам, Колизей.

Она вернулась в два часа ночи. Соседка похрапывала. Ночная рубашка висела на стуле у постели — безвкусная, с вышивкой. Кто-то принес. Валерия Константиновна надела ее, и снова все покатилось перед закрытыми глазами. Ирина, о которой она за всю дорогу не вспомнила ни разу, уселась в кресло, положив ногу на ногу, с папиросой в откинутой руке и сказала, что Валерия Константиновна — хорошенькая и что если бы она, Ирина, была хорошенькая — все могло быть совершенно иначе. «Но ничего не могло быть иначе,— думала, засыпая, Валерия

Константиновна.— Все прошло, все прошло. Почему мне хотелось, чтобы Токарский заговорил со мной, когда мы выходили из самолета? Он все время шутил, радовался, что смеются его шуткам, и замолчал, когда мы оказались рядом. Все прошло. Виа Национале. Весь вечер я встречалась с нашими у Колизея и на виа Национале, а с ним — ни разу. Наверное, сразу же пошел спать. И ничего удивительного — устал с дороги!» Соседка перестала храпеть. Форум открылся внизу, под ногами, освещенный луной, с откинутыми назад нарисованными тенями.

10

У Игоря было страстное, нетерпеливое воображение, но он любил и умел добиваться ясности, доказывать, сопоставлять. Почему у матери становилось напряженное лицо, когда он начинал говорить об отце? Он помнил, какие странные, неловкие возражения приводила она, когда Игорь убеждал ее, что должен носить фамилию отца: «Дядя обидится», «Листенев — красивая фамилия». Почему она не пыталась найти его? Разве не возвращаются пропавшие без вести?

Что-то неопределенное, недосказанное вставало между ними, когда она нехотя, с принуждением отвечала на его расспросы, и теперь Игорю казалось, что эта осторожность, недосказанность связаны с той порой, когда все, происходившее в стране, объяснялось магической деятельностью лишь одного человека. Ведь, думая таким образом, люди непременно должны были притворяться и лгать. Разве они не притворялись, например, веря тому, что все арестованные виновны? Может быть, отец попал в плен и сперва был в немецком концлагере, а потом, как многие военнопленные, в нашем? Может быть, он пропал без вести не на фронте, а где-нибудь в лагере или в ссылке?

Мать скрывала от него что-то важное, и это началось очень давно. Когда он был еще совсем маленький, она вдруг вскакивала по ночам и в темноте трогала его рукой: «Ты здесь?» Точно он мог исчезнуть, растаять. Это было одно из первых детских воспоминаний. Другое воспоминание сохранилось, потому что в этот день он впервые догадался, что взрослые думают, что он еще ничего не понимает, в то время как он давно все понимал. Он играл на

полу, а мама и тетя Ирина разговаривали о человеке, которого мама называла «он». «Он» может найтись, вернуться, приехать, написать.

— Что тогда?

— Ответишь.

— А если приедет?

— Выставишь,— сказала тетя Ирина.

Это было особенно странно, потому что до сих пор мама выставляла на холод, за окно, только мясо и масло.

11

Он понял, что нужно делать, увидев в кино, как сталинградцы, оборванные, измученные, худые, шли домой, толкая перед собой детские колясочки с узлами. Города не было, но они все-таки шли. Потом был показан новый город, и те же люди, улыбающиеся, веселые, сидели за столом в новой квартире.

Игорь знал от матери, что отец до войны жил в Мурманске, на улице Сталина. Немцы сбросили на Мурманск больше бомб, чем на Мальту. Город сгорел, и не было никакой надежды, что сохранился именно тот дом, в котором жил отец. Но, может быть, его родные вернулись в Мурманск? Может быть, на улице, которая называлась теперь улицей Ленина, еще помнят его отца? Были же у него родные, знакомые, товарищи по школе?

Он ничего не скрывал от матери, но о своем плане не сказал ей ни слова. И не только потому, что, когда Игорь начинал говорить об отце, между ними возникало неловкое чувство, но потому, что матери, так же как и любому взрослому, план показался бы бессмысленным и неосуществимым.

Он заключался в том, что Игорь решил опросить *всех* жителей той улицы, на которой до войны жил отец. Каждую неделю он отправлял в Мурманск открытку, а то и две — это зависело от состояния бюджета. Он начал посылать их, когда ему было тринадцать лет. К марту 1961 года ему удалось выяснить, что в первых пяти домах никто не знает о лейтенанте Свечкине, служившем на одной из батарей Северного морского флота и пропавшем без вести, по-видимому, во время октябрьского наступления 1944 года. Продав свой атлас мира, который был ему, в сущности, не так уж и нужен, Игорь перешел к дому номер

шесть. Летом он подработал на пилораме и мог посылать по три, а то и по четыре открытки в неделю. Ответы были сочувственные, но неопределенные. Однако, согласно теории вероятности, позволяющей по вероятностям одних случайных событий находить вероятности других, связанных каким-либо образом с первыми, он должен был найти людей, которые знали или хотя бы слышали об отце.

12

Аникину не очень хотелось ехать, и он бы не поехал, если бы не жена, которая скулила, что ездили и Гудисы и Черенковы. Впрочем, у него была сейчас тихая полоса, когда его временно оттеснили. Ну, да ладно, он свое возьмет! А сейчас можно и прокатиться.

Еще в Москве, присматриваясь к группе, он решил, что разрешит приблизиться к себе только старосте — разумеется, на время поездки. И надо, чтобы Варя тоже вела себя сдержаннее, тем более что эти бабы полезут к ней и уже, кажется, лезут. Руководитель, который должен был ждать их в Риме, уехал в Москву, и, когда староста, которому не хотелось заниматься распределением номеров, что-то нерешительно заблеял, Аникин решил позвонить консулу. На самом деле он хотел повидаться с консулом в надежде, что тот устроит ему пресс-конференцию,— это было бы естественно, потому что итальянцы, без сомнения, знают его и встретятся с ним очень охотно.

Консул принял его и согласился, что без руководителя ездить по Италии неудобно. Аникин заговорил о пресс-конференции и встретил вежливое сопротивление. Да, разумеется! Это было бы так естественно! К сожалению, времени мало. Он не был предупрежден, а посол — в отъезде. Пришлось уступить, тем более что времени действительно было мало: в Риме они должны были провести только два дня.

Аникин догнал группу, осматривавшую Колизей. С презрением прислушивался он к объяснениям гида, молодой девушки, полурусской-полуитальянки, к восторженным или удивленным возгласам туристов, с живым интересом рассматривавших огромный полуразрушенный амфитеатр.

Он был профессиональным скульптором, но давно уже ничего не делал руками, а только руководил другими,

работавшими на него скульпторами и лепщиками. Мастерская была, в сущности, большим предприятием с отделениями во всех городах, где возводились по его проектам скульптурные сооружения. Это была, как он сам говорил, его «епархия», которую он объезжал каждые три-четыре месяца в сопровождении красивого молодого человека, часто менявшего неописуемо голубые и цвета «кафе-о-ле» костюмы и глядевшего мимо собеседника ничего не выражающими глазами. Молодой человек был директором «епархии», устраивающим и личные дела Аникина, когда это было необходимо.

Здесь была не его «епархия», здесь был Рим. Он сердился на жену, уговорившую его поехать простым туристом наравне с этими людишками, которых он все время путал, с этим неприятным Токарским, который осмеливается едва кивать ему, а сегодня утром, войдя в ресторан, почти демонстративно повернул к другому столу, хотя за столом Аникина было свободное место.

Он прислушался к объяснениям: гладиаторы, императорская ложа, проходы, по которым на арену выходили львы. Стало быть, здесь были главным образом гладиаторские игры. А где же христиан бросали на растерзание львам? Гид — ее звали Анни — ответила: она говорила с еле заметным акцентом, произнося имена по-итальянски. Аникин боялся, что жена сморозит что-нибудь, и, едва она открывала рот, останавливал ее взглядом.

Они отправились дальше в автобусе, который его раздражал, потому что здесь он тоже был наравне со всеми. Ватикан был еще закрыт. Студенты архитектурного института сидели на маленьких трехногих стульях перед собором святого Петра и чертили что-то на сверкавших, приколотых к доскам листах бумаги. Много девочек в нарядных платьях толпились на ступенях. Анни объяснила: «Француженки, приехавшие к папе». Папская стража в полосатых черно-желтых костюмах стояла слева от собора, под аркой. «Эти ливреи и до сих пор шьются по рисункам Микеланджело».

В соборе вдоль длинного, отделенного перилами пространства стояли женщины в накрахмаленных, торчащих платках и мужчины с красными, терпеливыми, крестьянскими лицами. Анни рассказывала, туристы передавали друг другу: папа новый, недавно избран, итальянец. Он шутит, разговаривает с народом, он демократ. Его зовут Иоанн. Который? Двадцать третий.

Ватикан всегда интересовал Аникина. Государство в один квадратный километр, с населением в тысячу человек, со своим двором, монетой, послами! Государство, огороженное стеной, в центре европейской столицы, карающее, внушающее страх, действующее явно и тайно!

Негр, католический монах, в очках, в круглой твердой шляпе, прошел, озабоченно разговаривая с другим, тоже озабоченным, кругло-розовомордым монахом. Негр! Мы ничего не знаем о Ватикане. Все это надо изучать, и не только изучать, но учиться. Без пушек, без атомного оружия, без армии и флота управлять четырехсотмиллионными подданными, разбросанными по всему свету. Это — работа! Сеть интриг, охватывающая полмира. Два слова в одной из тысячи комнат — и где-то во Львове студент молотком убивает знаменитого писателя, как бишь его фамилия? Забыл. А эта свобода, эти монахи, которым разрешается играть в футбол и заниматься боксом. Эта гибкость, современность, эти превосходные церкви модерн, мимо которых они проезжали в квартале Нуова! Черт знает какое великолепие, какая сила!

Вечером в номере он еще думал об этом, перебирая впечатления и прикидывая: что все-таки могло пригодиться для дела? Скульптурные портреты животных в Ватикане — их игры, ласки, охота. Голова верблюда, леопард, омар — и все это движется, живет, играет.

Жена раздевалась; он смотрел и не видел ее. Последнее время это случалось с ним постоянно. Жена была уже как стекло — она существовала и не существовала. Она говорила что-то. Она всегда говорит. Ему часто хотелось убить ее, и сейчас захотелось, но он привычно подавил это чувство. Он что-то ответил. Она говорила о сыне. Сыну было шестнадцать лет, он плохо учился, по общеобразовательным предметам у него были двойки.

— Я лично очень сожалею, что мы отдали его в класс этого Гольдберга.

— Так ты не думаешь, что из Петьки выйдет Святослав Рихтер?

— Ты отшучиваешься, а я говорю серьезно.

— Я тоже серьезно. Мой отец хотел, чтобы я стал юристом.

— Юрист — другое дело. У него плохие товарищи. Этот Игорь.

Он уже не слушал. Слишком много денег — вот что плохо для сына. Отдельная комната с лоджией. Он начи-

нал с деревенской кузницы, в грязи, из которой лепил первые вещи. Кстати, тоже зверей. Так вот почему он не мог заставить себя уйти из этого зала!

13

Как Игорь ни любил мать, все же в первые дни после ее отъезда он наслаждался чувством полной свободы. По утрам он гонял в домовом садике тряпичный мяч самодельной клюшкой. Партнеров не было, одни малыши, но он и с малышами чувствовал себя превосходно. Он объяснил им, чем отличается хоккей с мячом от хоккея с шайбой, и рассказал, что на зимних олимпийских играх в Италии команда СССР завоевала звание чемпиона мира.

— У меня, между прочим, сейчас мать путешествует по Италии,— небрежно сказал он.

Дворничиха не позволяла играть в садике, хотя от выставки цветов, устроенной в этом садике в прошлом году, осталась только надпись «Добро пожаловать». Перед домом она тоже запрещала играть, и, поскандалив с ней, Игорь уводил ребят на пустырь, где зимой продавались елки.

Его маршрут вдоль Яйлы провалился, потому что у ребят не было подходящей обуви. Каждый день он виделся с Петей Аникиным и даже ездил с ним к Витьке Бермонту, который после семилетки пошел на завод и работал теперь в литейном цехе. Витька был маленький, скуластый, с короткой черной гривкой над лбом. Он любил ставить над собой опыты. На этой неделе опыт «относительного голодания» заключался в том, что в понедельник он решил съесть не больше двух булочек, во вторник не больше трех и так далее. Отправляясь к нему, мальчики на всякий случай взяли с собой круг колбасы.

Цех был огромный, разнообразно стучащий, с двигающимися ковшами раскаленного металла, с косыми столбами света, в которых был виден пыльный взвешенный воздух. Витька засмеялся, взял колбасу, а когда Петя пожаловался на шум, возразил, что с логической точки зрения музыка — тоже шум, только организованный.

— Зато менее целесообразный,— прибавил он и засмеялся.

Он был крепкий, с торчащими под расстегнутым воротничком ключицами, в замасленном комбинезоне и держал

колбасу в черной от масла руке. Он вкусно кусал ее, а потом пил подсоленную воду. Воду в горячих цехах, оказывается, всегда немного подсаливают.

Когда Игорь вернулся домой, Павла Порфирьевна, у которой он теперь обедал, сказала, что на его имя пришло заказное письмо. Прежде чем разорвать конверт, он прочел обратный адрес: «Мурманск, Ленина, 42, квартира 17. П. Невзглядов».

14

Петя Аникин проснулся от высокого нежного звука, идущего издалека, возникшего где-то в лесу, на светлой поляне с наклонившейся под легким ветром высокой травой. Скрипки были молодыми ветлами с опустившимися до земли косами ветвей — и они немного нервничали, два раза вступили раньше, чем нужно. Дуб-контрабас ждал, подняв смычок, чтобы вступить свободно и мягко. Березы были виолончелями. Дирижируя, он смотрел на их ослепительные стволы с параллельными черными полосками, смотрел восторженно, с беспокойством, а потом с благодарностью, потому что они сыграли прекрасно.

Это был концерт; он дирижировал рощей. Лежа с закрытыми глазами, он думал о своем сне, в котором все было именно так, как ему хотелось. Еще не проснувшись, он вспомнил то хорошее, что случилось вчера и будет сегодня и завтра,— целых четырнадцать дней: родители уехали в Италию. Он один и свободен.

Он рано понял ничтожность матери, ее суетность, беспомощность, ее невежество, поразительное для человека, окончившего университет, и железную деловитость отца, так странно не сходившуюся в Петином представлении с профессией скульптора, художника, артиста. Сперва инстинктивно, а потом с проницательностью молодого ума он оценил атмосферу их дома — эту мнимую значительность, вечера, на которых бывали известные или по меньшей мере влиятельные люди, деньги, которых было слишком много, равнодушие, а может быть, и ненависть родителей друг к другу.

Трудно и даже противоестественно не любить родителей, и Петя думал, что он все-таки любит их, особенно мать, которая часто и много плакала и заметно постарела за последние годы. Но без них ему было лучше. Это он открыл давно. Не потому, что он собирается делать то,

что они ему запрещали, а просто потому, что с ними он всегда чувствовал себя в неприятном напряжении. Запрещали они ему, в сущности, только одно — водиться с дедом. Дед, ушедший в прошлом году на пенсию, поступил безнравственно, женившись в шестьдесят четыре года на молоденькой хорошенькой женщине. Никому, в том числе и этой женщине, чувствующей себя прекрасно, он не причинил никакого вреда. Но его дочь, Аникина, встретила этот поступок с поразившим Петю отвращением. Пете было категорически запрещено видеться с дедом. Отец не вмешивался, но его холодные шутки были глубоко неприятны Пете.

Он все равно виделся с дедом, потому что обожал его. И сегодня, еще не зная, как пройдет этот счастливый день, Петя прежде всего решил прямо из школы отправиться в Апрелевку к деду.

Музыка, приснившаяся ночью, время от времени возвращалась к нему, и он кое-что поправлял в ней — вставил фагот в каденцию, которой кончалось вступление, а потом прислушался к двум нотам, которые просились в фугу, но пока гуляли где-то в стороне, потому что он не пускал их в фугу. Теперь это была уже не роща, а дачный поезд, на котором он ехал к деду, гудение колес, как бы оступавшихся на стрелках, бодрый, несущийся вперед басовый гудок электровоза.

Дед мылся после дневного сна, когда Петя распахнул калитку. Он был в синих штанах, босой, подпоясанный мохнатым полотенцем и сам мохнатый, с курчавыми седыми волосами на толстой груди, с курносым красным лицом. Он радостно замычал, увидев Петю. Антонина Николаевна, тоненькая, в чесучовом кремоватом платье, вовсе не казавшаяся Пете молодой, а даже довольно старой — ей было тридцать два года,— накрывала к завтраку в самодельной беседке.

— Петечка приехал!

Он сел и сразу стал рассказывать, пока дед, который тоже любил рассказывать, не перебил его. О родителях он ничего не сказал, но было ясно, что их нет в Москве, иначе он не приехал бы в Апрелевку. Он только упомянул, что мать Игоря — «ты его знаешь, дед»,— поехала в Италию с той же группой. Пластырь — это было прозвище директора школы — сказал, что на выпускном вечере Петя будет играть свой этюд. Вчера они с Игорем съездили к Витьке Бермонту на завод. Подумать только! Этот идиот

решил поставить над собой опыт «относительного голодания»: две булочки в день, три на следующий день и так далее, до конца недели. Они привезли ему круг колбасы, и по дороге в метро Игорь предложил пари: сожрет или нет?

— И что же? — спросил глубоко заинтересованный дед.

— Взял и тут же стал лопать.

Все это было рассказано торопливо и закусывалось свежим хлебом с молоком и тминным творожным сыром, который очень любили дед и Петя. Потом он хохоча рассказал, что одна девчонка прислала ему письмо, и вытащил из кармана измятые голубые листки, по одному виду которых можно было судить о том, что автор едва ли может рассчитывать на удачу.

— Ох, умора,— сказал он, прочитав послание вслух и вдоволь нахохотавшись.

— Постой, почему умора? — спросил дед.— Она же, кажется, в тебя влюбилась?

— Она дура. Дед, куда мы сегодня? — спросил Петя, не сомневаясь ни минуты, что дед бросит все свои дела и отправится с Петей в город.

— М-м... Ты на голландской выставке был?

— Фью! Она черт знает как давно закрылась.

Они отправились в Третьяковку на выставку Сомова, которая, оказывается, тоже закрылась, а потом на футбол, потому что дед встретил знакомого журналиста, любителя футбола, и у того оказалось два свободных билета.

Оба сразу же увлеклись игрой, орали, подбадривали игроков, стыдили динамовский левый край и скандировали: «На мы-ло, на мы-ло», когда судья, который, по мнению деда, подсуживал «Динамо», назначал «Спартаку» одиннадцатиметровый удар.

Теперь приснившаяся Пете музыка была этим шумом стадиона, как будто опрокидывающим огромную водяную стену, и некогда было поправлять эту музыку, этот нарастающий шум, потому что все летело вперед без оглядки, с разбегу — раз, два, три! Игроки подводили мяч к воротам. Удар! И водяная стена опрокидывалась с мягким грохотом, переходившим в шелест.

После футбола они отправились в ресторан «София» и страшно наелись, потому что нельзя было вообразить ничего вкуснее того мяса с подливкой из сладкого перца, которое заказал дед, когда-то проживший в Болгарии два года.

— Между прочим, у меня к тебе важное дело, дед,— сказал Петя, когда они вышли из ресторана.— Мне нужны деньги.

— Сколько?

— Ты знаешь, дед, много. Тридцать рублей.

— Ого! Зачем, если не тайна?

— Я даже решил продать что-нибудь, пока наши еще не вернулись. На буфете стоит, например, китайская чашка, о которой отец говорит, что ей цены нет. Я ее продам, а потом скажу, что разбил. Если ты мне не дашь, дед. Это не для меня, ты веришь? Честное слово.

— А для кого?

Петя вздохнул.

— Для Игоря. Он отдаст. Ты можешь быть совершенно спокоен.

— Ладно. Но почему тридцать?

Петя шел, опустив голову. Он погрустнел.

— Если нельзя, можешь не отвечать,— поспешно добавил дед.

— Нет, почему же, я скажу. Ему нужно съездить в Мурманск, дед, а билет туда и назад — двадцать семь сорок... Больше ты меня не спрашивай, ладно?

Они вернулись в Апрелевку. С минуту дед раздумывал: не посоветоваться ли с Антониной Николаевной? Потом вынес деньги и отдал их повеселевшему Пете.

...Он проснулся в своей комнате с лоджией, которая была сделана, чтобы он спал на свежем воздухе зимой и летом. Он думал об Игоре во сне и теперь, открыв глаза, продолжал думать. Когда Петя пришел, Игорь читал книгу, обедая у Павлы Порфирьевны. Старушка вышла. Петя торжественно вынул деньги, и Игорь небрежно сунул их в карман, перевернув страницу.

— Смотри не потеряй,— сказал, огорчившись, Петя.

— Не беспокойся.

И как ни в чем не бывало он заговорил о книге...

Шел дождь, и Пете представилась битва капель, летящих с неведомой высоты и сталкивающихся в воздухе с тонким, стеклянным звоном. Они не могли остановиться, они разбивались насмерть все до единой. Журчащий поток выбегал из водосточной трубы, и в этом однозвучном журчании Петя ясно услышал те давешние, просившиеся в фугу ноты. Теперь для них нашлось место — он начнет ими третью часть, а потом они будут повторяться и повторяться.

Билет стоил тысячу лир, но они все-таки пошли — Токарский с Валерией Константиновной и Сева. В кино можно было входить когда угодно, хоть в середине сеанса, и смотреть, пока не закроется театр. Они обрадовались, когда к ним подсела Лариса. Она говорила по-итальянски, в группе все начинали кричать: «Лариса, Лариса», когда нужно было что-нибудь узнать, объяснить.

Это была не одна, а четыре, пять, шесть — Токарский считал — семь картин, связанных одной судьбой, одной мыслью. Семь кругов ада. Или рая? С каждым новым кругом «Сладкой жизни» все яснее проступает грозная, диктующая, наступающая пустота.

Молодому журналисту удается проникнуть в высшее общество Рима. Он долго не замечает этой пустоты, ее трудно, почти невозможно заметить. Возникая из богатства, отсутствия труда, жажды наслаждений, она превращается в нечто неуловимое, скользящее, но властное — в чудовище, подсказывающее безумные поступки. Отец убивает своих прелестных детей. Женщина медленно раздевается догола в аристократическом салоне, другая соглашается отдаться полузнакомому, но не у себя, а в нищей каморке проститутки. А для тех, у кого нет этого богатства, этого незнания, чем заполнить бесконечный день и бесконечную ночь,— мнимое явление мадонны, бросившее на окраину Рима тысячи больных, калек, отверженных и оскорбленных.

Они прошлись, прежде чем вернуться в отель. Токарский, и сам еще не совсем разобравшийся в картине, старался объяснить ее Ларисе, которая, несмотря на свой итальянский язык, почти ничего не поняла. Валерия Константиновна слушала, думая о своем. Сева спал на ходу.

Это был спор, начавшийся еще утром в ресторане и потом вспыхивавший в течение всего длинного дня — впрочем, главным образом в автобусе, потому что в соборе святого Петра, в Ватикане туристам было все же не до «Сладкой жизни» — хорош или плох был этот удивительный фильм. Его посмотрели многие, и он, как это всегда бывает с новым и сильным произведением искусства, сразу стал психологическим эталоном, мерилом душевной тонкости и понимания жизни. Одним он показался растянутым, скучноватым, другие не заметили, что провели в кино три часа.

Можно ли показать его в Москве? Конечно, нет — так полагал, например, Аникин, который прислушался к спору с презрением. Почему? Потому что нашему зрителю немедленно захочется отведать этой «сладкой жизни» и Феллини не поразит его своей смелостью, тем более что Ватикан, как известно, не пользуется у нас заметным влиянием. Трагедию пустоты никто не заметит, а вот посмотреть, как женщина медленно раздевается под упоительный джаз, захочется многим. Главная реакция будет: «Живут же люди! А что они при этом с жиру бесятся... так что ж! Мы бы не бесились». Он согласился, когда кто-то сказал, что покупать картину не стоит, а показать — разумеется, узкому кругу — можно и даже полезно.

— Еще бы,— вполголоса сказал Токарский.— Ему можно и даже полезно. А другим нельзя и даже опасно. А я думаю,— ни к кому не обращаясь, громко сказал он,— что эту картину необходимо купить, сколько бы она ни стоила. И показать всем, а не только узкому кругу. В Италии эта «сладкая жизнь» — высшее совершенство, идеал для миллионов, а Феллини наносит ей опасный удар. По-моему, просто нельзя убедительнее доказать, что эта жизнь ведет к полному опустошению, к нравственной смерти.

Спор оборвался, потом вспыхнул снова. И хотя не было, казалось, ни малейшей связи между этой картиной и той остановившейся жизнью картинных галерей и соборов, о которой рассказывал гид, Токарский чувствовал эту связь и потому думал о ней в течение всех двенадцати дней, проведенных в Италии. Перед ним были три Рима, не один. Внизу, под ногами,— Рим языческий, с которого сняли и продолжали старательно снимать покров двух тысячелетий, поражавший строгостью, сдержанностью, гармонией. Великий город, ставший товаром, который по недорогой, в общем, цене продавался туристам. Над этим Римом был другой — католический, властвующий, папский. Но был еще и третий: Рим сомнений, пустот, неравенства, прошедший перед глазами Токарского в той болезненно-острой картине.

По дороге в Неаполь он сказал Севе о том, что Ватикан запретил опубликование исповеди Сальери. В предсмертный час Сальери признался, что он отравил Моцарта. Австрийский историк Гвидо Адлер нашел в одном из венских архивов подробную запись исповеди: духовник

композитора сообщал епископу, что Сальери не только признался в отравлении Моцарта, но рассказал, где и когда он подносил ему медленно действующий яд.

— Значит, все это правда? — спросил Сева с загоревшимися глазами.

— Да. Наш композитор Асафьев видел копию этой исповеди своими глазами.

— Действительно отравил?

Токарский посмотрел на Севу, который слушал эту историю с таким видом, точно она случилась вчера, и засмеялся. Ему нравился Сева.

У Севы были карты, справочники, он что-то записывал, щелкал аппаратом и ежеминутно прикидывал, что нам может пригодиться, а что, к сожалению, нет. В группе была пожилая женщина, ткачиха — ее звали Ольга Петровна. Он заботился, чтобы она чего-нибудь не упустила, и от души огорчился, когда она спросила у гида: «А где тут у вас Испания?»

Как это бывает с молодыми людьми, он влюбился в Токарского, рассказал ему, что на поездку взял в долг у тестя и теперь боится, что не скоро отдаст. Половину своих лир он истратил еще в Риме, позвонив жене по телефону. В поезде он почти не спал — и по ночам все что-то записывал, думал. В нем чувствовались прямота, деликатность. Токарский догадывался, что были минуты, когда в нем вспыхивало желание немедленно, сию же минуту быть рядом с женой.

16

Они ночевали в Сорренто после длинного дня, необычайного уже потому, что это был только один день, в течение которого можно, оказывается, увидеть так много! Сева сразу уснул. Токарский вышел на балкон. Внизу под прозрачными квадратами крыши мелькали тени, слышался стук посуды — там была кухня. Приглушенные голоса казались голосами теней.

Он умылся, разделся и лег. Постель была широкая, пустая. Он вспомнил, как Наташа однажды отвернулась от него в такой же широкой постели и долго лежала молча, лицом к стене. Она часто просила его рассказывать о войне, но у них никогда не было времени, потому что они встречались тайно и говорили только о том, как не хочется

лгать и как они любят друг друга. Зато потом, когда все устроилось и они уехали в Углич, он рассказал ей все. Нет, почти все, потому что они по-прежнему много говорили о любви и времени по-прежнему не хватало. Она отвернулась, когда он рассказал о попе, хотя ничего особенного не было в этой истории, в общем довольно смешной или казавшейся смешной на войне. Поп выступал по радио очень близко, едва ли не перед нашим боевым охранением. Он читал, пел и снова читал, и действительно можно было сойти с ума, потому что это продолжалось с рассвета до ночи. Разведчики злились, и, может быть, никому не пришло бы в голову охотиться за «благочинным», как они его называли, если бы они не сидели без дела. В конце концов они утащили попа, когда, забывшись, он довольно близко подошел к нашему проволочному заграждению. Он был тяжелый, отбивался отчаянно. Потом он молча сидел, уставившись на свои пьексы. На нем был бархатный плащ и зеленая, вытканная парчой шапочка с какой-то финской эмблемой. На медальоне тоже была эмблема — львица с женской головой, держащая в лапе кольчугу. Его сразу отправили в батальон.

Цикады звенели в саду, и Токарский подумал, что у итальянских цикад, должно быть, свой язык, наши, крымские, не поняли бы, пожалуй, ни слова. Наши, крымские, звенели в Долоссах, где он ждал Наташу. Она приходила после мертвого часа и уходила с закатом — ей нельзя было оставаться на воздухе после заката. Она пела ему, но все тише, потому что ей нельзя было петь. Ничего нельзя было теперь, когда им не нужно было притворяться, проклинать свою несвободу, по очереди выходить из дома, где они тайком встречались, звонить друг другу из автомата. Она пела о знатной леди, которая, услышав цыганку под своим окном, заплакала и ушла из дома. Цикады звенели. Ушла и не вернулась. Ушла, закутав горло шарфом, который Токарский подарил ей зимой и о котором она сказала, что он очень красивый, но вообще-то мужской. Очень красивый, и она непременно будет его носить, но вообще-то мужской.

17

Ткачиха, которая спросила: «А где тут у вас Испания?», проплакала всю ночь. «У меня только пять классов, и мы Испанию не проходили. А может, и проходили.

Разве упомнишь? Так нужно было объяснить, а не смеяться. Меня учить надо. Ну и что же, что пятьдесят три? А когда мне было учиться? Будто я не хотела, господи! А потом война, на Урал повезли. Было ли там время учиться? Высадились — ни кола ни двора. Это не интеллигенция, если над человеком смеяться. Легко ли было Ирку вырастить, из такой девки человека сделать! Теперь в ОТК работает — шутка ли? Директор сказал: «Вам, Ольга Петровна, нужно звание героя присвоить за то, что вы из такой — как бы это выразиться — человека вырастили». Когда же мне было учиться? Тут и знаешь что, так забудешь. Испания! Упомнишь тут, как же!»

— Вы что, Ольга Петровна? Не спится?

— Да так что-то, раздумалось. Скоро усну. Я вам мешаю?

18

Валерия Константиновна начала привыкать — можно было, оказывается, жить и без чемодана! Она купила самое необходимое в Сорренто — даже кофточку вязаную, очень хорошенькую, неопределенно нежного цвета. Это было встречено с торжеством. Ее хвалили; другая, оставшись без чемодана, ныла бы с утра до вечера, а она ничего. Молодец! И она действительно чувствовала себя молодцом. Токарский смеялся и говорил, что ее чемодан прихватил молодой человек, летевший вместе с ними на ТУ-104 в Африку и что теперь ночную рубашку Валерии Константиновны донашивает вождь племени Мяу-Мяу.

Она любила людей, искренне интересовалась ими, и товарищи по группе нравились ей. А ведь могло быть совершенно иначе! Она догадывалась о молчаливой вражде между Аникиным и Токарским, чувствуя, что дело касается не только вопросов искусства, но простой порядочности, которой Аникину, кажется, не хватало.

И отношения между супругами Аникиными постепенно открылись Валерии Константиновне, хотя оба, муж и жена, очень хлопотали, чтобы они не открылись.

Сперва казалось, что в подчинении находится он — по мелким полушутливым стычкам, в которых он немедленно уступал. Но два-три слова, сказанные сквозь зубы, злобный взгляд из-под опущенных век — нет, отношения были страшные, быть может, те самые, от которых Валерия Константиновна сознательно отказалась.

Ей нравился Сева с его вспыльчивостью и прямотой, с необычайно острым интересом к тому, что происходило по правую и по левую сторону автобуса — к сожалению, одновременно.

Ей повезло. Только две первых ночи она делила номер с костлявой, слишком много и складно говорившей соседкой — профессором истории, как это выяснилось вскоре. А потом оказалась с Анечкой — гидом общества «Ромеа» — полурусской-полуитальянкой. Несмотря на усталость, они каждый вечер подолгу разговаривали, лежа в постелях. Анечка была высокая, тонкая, с ненакрашенными губами, скромная, что не мешало ей ходить животом вперед, как живые манекены фирмы Диора. Она легко уставала, бледнела, но то, что считала своей обязанностью, исполняла пунктуально. С туристами она поехала впервые и сперва терялась, что-то путала, просила, чтобы ее поправляли.

Она сказала Валерии Константиновне, что в русских не чувствуется боязни за завтрашний день. Почему? Ей хотелось бы знать. Может быть, потому, что они так долго, четыре десятилетия, обеспечены постоянной работой? И правда ли, что в Советском Союзе разводиться легко, а выходить замуж не страшно?

— А у вас страшно?

— О да!

И Анечка объяснила, что в Италии можно разойтись только с благословения папы.

Словом, все было хорошо еще и потому, что, думая о людях, с которыми ее свела судьба, Валерия Константиновна невольно думала и о своей судьбе, сравнивала, взвешивала, проверяла. Хуже было с Италией, которая проходила мимо нее, как в немом кино — легко и бесшумно. «Записывай, мам». Она еще ничего не записала. С каждым днем она все больше убеждалась, что та воображаемая поездка с Игорем и была ее отдыхом, о котором толковали врачи. Она никуда не уехала из Москвы.

19

Сады были огорожены прохладными соломенными щитами. Апельсины лежали на земле, никто не подбирал их. Валерия Константиновна и Токарский пошли на берег и долго стояли в сумраке, глядя на рыбачью лодку с огоньком, медленно двигавшуюся в мягкой тишине моря.

Пение послышалось вдалеке. Они прислушались: рыбаки, может быть? Потом забыли...

Токарский заговорил о попутчиках, как бы разделившихся на небольшие отдельные группы людей, симпатизирующих друг другу. В стороне были только Аникины. Жена неприятно гордилась мужем и была преувеличенно любезна.

— И это скульптор, человек искусства,— с презрением сказал Токарский.— У нас людей искусства почему-то часто считают незаслуженно богатыми, высокомерными, думающими только о себе. Между тем таких, как Аникин, не так уж и много. Вы заметили, что он первый никому не подает руки?

— От гордости?

— От неуверенности.

— Вот кто мне нравится — Сева.

— И мне.

— Очень смешной. Сердится, когда женщины начинают говорить о кофточках и сумках, и всем рассказывает, что недавно женился. «Я вам говорил, что мою жену зовут Катя?»

Валерия Константиновна засмеялась.

— Да, хороший парень.

«И ты хороший,— подумала Валерия Константиновна, глядя на Токарского, который казался в темноте похожим на Пана, со своим животом, со своей большой, лысеющей со лба головой.— И умный».

Токарский держался ровно со всеми, а с Валерией Константиновной не только ровно, а как-то еще, быть может потому, что догадывался, что нравится ей. Она не волновалась, но иногда начинала чувствовать себя как в игре, когда нужно найти спрятанную вещицу, и едва приближаешься к ней, все начинают кричать: «Горячо, горячо!»

Они вернулись, когда религиозная процессия поравнялась с отелем. Впереди с открытым лицом шел, высоко подняв крест, молодой монах, за ним — несколько пожилых. Потом шли люди очень маленького роста, может быть, дети,— в белых куклуксклановских капюшонах, оставляющих только круглые, страшные дырки для глаз. Одни несли в руках небольшие кресты, другие — молоток, лесенку, гвозди. Среди них шел юноша монах с грубым бронзовым лицом, горбоносый, державший в руке длинный прут, которым он выравнивал ряды и подгонял отстающих. Они громко пели. Валерия Константиновна поняла, что это и

было то пение, которое все время медленно приближалось к ним, пока они стояли над морем.

— Какие страшные! Это иезуиты?

— Не думаю. Спросите Анечку.

Но Анечка тоже не знала, хотя в каждой церкви преклоняла колени и быстренько, мимоходом крестилась.

На маленькой площади у церкви народ ждал процессию, огибавшую Сорренто. Пение приблизилось, не торжественное, как прежде, а напряженное, слишком громкое, как будто теперь пели, настаивая на чем-то требовательно, непреклонно. Дети несли свои кресты и лестницы на плечах, спотыкаясь от усталости, и суровому юноше монаху приходилось то и дело выравнивать их прутом.

— Церковная самодеятельность,— сказал Токарский.

Он заговорил о католицизме. Прошло время, когда гении человечества служили Ватикану, когда католичество было для них поприщем, привычной ареной. Обыкновенность религии, которая всегда была ее силой, теперь становится слабостью — в храмах меньше молящихся, чем туристов. И здесь, в Сорренто, где какой-то орден устроил эту процессию, религия — тоже зрелище, а не подвиг.

Валерия Константиновна слушала с интересом, хотя ничего не понимала в католичестве и неясно представляла себе, чем оно отличается от православия. Ей хотелось только одного: чтобы Токарский долго говорил, а она слушала и кивала.

На другой день с утра поехали на Капри. На носу маленького катера она сидела под солнцем, под ветром, слушая и не слушая плещущий шум, который шел отовсюду. Казалось, что он и был этим ветром и солнцем, этой длинной, полупрозрачной медленной дымкой, протянувшейся вдоль острова, мимо которого они проходили.

Подъехали — и лодочники, смуглые, загорелые, перекликаясь, окружили катер. Все блестело и переливалось вокруг, очерченное резко, отчетливо, смело. Смуглая красавица в соломенной широкополой шляпе с красными лентами стояла в лодке, заваленная разноцветными сумочками, корзинками, держа их в руках, не замечая всего этого смеющегося, блистающего, сливающегося с морем великолепия.

Теперь Капри уже не был, как прежде, голубоватым облачком, опрокинувшимся над горизонтом. Он был, оказывается, большой, с высокими скалами, срывающимися в море. Темная узкая дыра под одной из этих скал была

входом в Лазурный грот — чтобы проехать туда, нужно было лечь на дно лодки. Сняв весла и положив их вдоль бортов, лодочник стал быстро перебирать протянутый вдоль стены канат, втягивая лодку в шевелящуюся, темную с проблесками, фантастическую глубину. Там толпились в тесноте другие лодки и были слышны гулкие веселые голоса. Теперь можно было сесть на скамеечку, и Валерия Константиновна ахнула, увидев глубокие ниши грота над тяжелой колеблющейся зеленью воды. Свет проникал через узкое отверстие входа и воздушно рассеивался, соединяя, пронизывая легкие залы. Темно-прозрачные зайчики переливались на стенах, тени таяли в изумрудной воде.

Вернулись, дождавшись очереди и ловко проскользнув в ту единственную секунду, когда расступились другие лодки. Снова все стало ярко, ослепительно, разноцветно — блеск солнца на волнах, качающиеся катера, давешняя красавица над грудой разноцветных корзинок и шляп и сама в кокетливо надетой на затылок шляпе, перекликающиеся лодочники и среди них тот невысокий, крепкий, молодой, который возил их в грот и которому Сева дал не сто лир, как посоветовала Анечка, а, сильно покраснев, двести.

На Капри Валерия Константиновна открыла местечко, о котором давно мечтала, и побежала к женщинам сообщить, что за пятьдесят лир можно не только умыться, но и принять душ. Она не стала заходить в магазины, а пошла по длинной, вдоль моря, улице, где за цветущими изгородями прятались тихие дома и после шума тесной, маленькой площади было удивительно тихо. Потом Токарский жалел, что не пошел с ней.

Всем хотелось посмотреть виллу Горького, но гид повел их в дом шведского писателя — Валерия Константиновна немедленно забыла фамилию. Гид сказал, что ему принадлежит «Жизнь святого Михаила», потому что «это есть книга, которую он создал, то есть написал». В саду на высокой площадке стояла подзорная труба. Валерия Константиновна пожалела двадцать лир, хотя лира — это было очень мало: и без трубы были отлично видны крошечные лодочки на переливающейся равнине моря и крутые, точно срезанные, похожие на Крымский хребет серые скалы.

Катер отходил, пора было возвращаться на пристань.

— До свидания по-русски, до свидания по-русски! —

весело кричал на пристани гид. Это значило: «Русские, торопитесь».

Токарский шутил за обедом, уговорил Ларису взять не аранчату, которую подавали в маленьких бутылочках, а вино. Это было кьянти, не кислое, которое привезли ей в прошлом году ее друзья Чупровы, а необычайно вкусное — «круглое», как выразился Токарский. Валерия Константиновна смеялась.

Потом, уже в номере, она с ужасом вспомнила, как в ресторане он с порога искал ее глазами и как ей хотелось, чтобы он сел рядом с ней. И не только сел рядом, но решился бы на большее, о чем она не могла не думать, вытянувшись на чистой постели, перебирая в памяти этот летящий, воздушный, ослепительный день. Боже мой, только этого не хватало! Нет, нет! Нужно держаться в стороне от него. И с разгоревшимися щеками она стала думать о Токарском нарочно холодно, пока не заснула.

20

Войны заняли немалое место в жизни Токарского — не по времени, а по значительности того, что прошло перед его глазами.

После Отечественной войны он остался в армии еще на несколько лет — по инерции, с которой ему не хотелось бороться. Но была и другая, более серьезная причина: ему не повезло с женой, властной, избалованной, отвадившей его друзей и заменившей их людьми тонкими, но скучными, среди которых он казался самому себе слишком большим, неповоротливым, неостроумным. Он уезжал от нее в деревню, если удавалось,— надолго, месяца на три. В годы войны ему казалось, что он убежал от нее на войну.

Друзья жены были музыкантами, она сама в молодости училась в консерватории, но «переиграла руку». Эта «переигранная» рука, эта почти фантастическая слепота по отношению к чужой жизни и глубокое, проникновенное внимание к себе, конечно, давно свели бы Токарского с ума, если бы он не встретил Наташу. Тогда все это стало сводить с ума их обоих.

Долгое время он старался не говорить с ней о своей семейной жизни. Но как молчать о том, что мешало ему жить, верить, наслаждаться, говорить правду? Ему, сорокапятилетнему сильному человеку, любящему жизнь, со-

хранившему остроту молодых впечатлений? Как молчать, если приходилось встречаться тайно — и хорошо еще, если в комнате на Серпуховке, у старой, все понимавшей учительницы рисования, с которой Токарский был знаком много лет. К сожалению, учительница часто болела, и тогда они бродили по переулкам, целовались в подъездах.

Потом все устроилось, он ушел от жены. Все устроилось. Они прожили почти полгода в Угличе, потом расстались — в Долоссах, у ворот туберкулезного санатория, куда его не пустили.

...Он не только постоянно думал о Наташе, но мысленно разговаривал с ней, когда что-либо острое, оригинальное, новое удивляло или восхищало его. Так было после «Сладкой жизни», когда ему смертельно захотелось рассказать ей о своем впечатлении. В Помпее, напомнившей ему Чуфут-Кале, его поразила вещественность, обыкновенность жизни, оборвавшейся вместе с катастрофой. С горьким чувством он подумал, что об этом не узнает Наташа.

В полусохранившемся доме богатых купцов гид — не та милая Анечка, которая ездила с ними, а другой, помпейский гид, сморщенный, кирпично-красный старик с крючковатым итальянским носом, провел его в комнату, которую показывали только мужчинам: сохранившаяся стенная роспись изображала сцены любви.

— Ничего нового,— выходя, сказал гиду Токарский.

— И не нуждается в объяснениях,— добавил гид на плохом английском языке.

...Об этом он рассказал бы Наташе ночью, когда казалось непостижимым, что между ними снова может произойти это чудо, это счастье, без которого они не могли и не хотели жить. Он рассказал бы, какая свободная, веселая, доверчивая жизнь представилась ему, когда он увидел эти маленькие сады внутри каждого дома, сады, из которых в дом шли воздух и свет. Но ей ничего нельзя рассказать. Он живет, а она умерла. Он смеется и шутит. Поехал в Италию. И знает, что нравится Валерии Константиновне, умной, чем-то озабоченной, с маленькими руками и ногами, не умеющей кокетничать и почему-то переставшей садиться с ним за один стол в ресторанах. «Может быть, я ее обидел? Нет, это что-то другое. Она все время думает о своем и, в сущности, грустна, хотя часто смеется. Она, как девочка, расстроилась, ничего не записав о Помпее, и рассердилась, когда я сказал, что записывают

только женщины и главным образом то, что можно найти в любой популярной книге. Завтра я объясню ей, что записывать надо не то, что видишь, а то, что чувствуешь. Я скажу ей, что мне без нее скучно. Ох, как не хочется, чтобы все было так, как тысячу раз уже было».

Этот маленький театр в Помпее под открытым небом! Как весело, как умно он решен! С каким вдохновеньем!

«Есть лица — подобья ликующих песен...» Театр в Помпее был похож на это стихотворение:

Есть лица, подобные пышным порталам,
Где всюду великое чудится в малом.

Он построен, как умное, открытое человеческое лицо. Слово за словом Токарский вспомнил стихи до конца:

Есть лица — подобья ликующих песен.
Из этих, как солнце, сияющих нот
Составлена песня небесных высот.

21

В Неаполе до поезда остался целый час, и туристы пошли куда глаза глядят — сперва поискали и не нашли морскую станцию, потом попали на базар и остановились оглушенные, с разбежавшимися глазами.

В лавочке, которая была еще и кафе и лотерейной кассой, мужчины играли в настольный футбол, с треском ударяя по мячу деревянными раскрашенными человечками. Веселый парень в проломленной шляпе ругал премьер-министра — как с изумлением перевела Лариса,— одновременно приглашая испытать счастье на рулетке, которую он запускал с ловкостью акробата.

Кричали все, кроме обезьяны, которая сидела, прикорнув в повозке фокусника, прикрывая желтыми веками усталые глаза, широкие, как на рублевских иконах. Ряды лавок были завалены лежащим на земле и висевшим в воздухе товаром. Нарядные куклы с удивленными лицами сидели среди кухонной утвари. Вязаные кофточки, о которых так много говорили женщины, грудами лежали на прилавках — зеленые, сиреневые, бежевые, голубые.

В этой не привычной для северного глаза резкости красок сильнее других был оранжевый цвет — от апельсинов, которые были сложены в горы. Толстые спокойные жен-

щины и черные небритые мужчины с орлиными носами были как бы вписаны в этот оранжевый фон.

Они прошли еще пол-улицы и среди всей этой дьявольщины красок, толкотни, криков, смеха наткнулись на круглый шатер, под которым стоял толстяк с вдохновенным лицом, оравший громче всех на этом шумном базаре.

— Вы на меня сердитесь? — спросил Токарский.

Валерия Константиновна сделала вид, что не слышит.

— Вам не кажется, Алексей Александрович,— спросила она,— что именно так в библейские времена проповедовали пророки?

— Нет, не кажется. Я очень рад.

— Чему?

— Тому, что вы не умеете притворяться.

— Чему же вам-то радоваться? Умею, кстати.

Действительно, что-то пророческое было в неистовых воплях, в этой страсти, с которой толстяк убеждал, умолял, заклинал купить вышедшие из моды штаны. Достаточно было задуматься, и, выхватив из разноцветной груды сорочку, кофточку, пуловер, он ловко сворачивал вещицу и швырял ее растерянному, оглушенному покупателю. И тот платил, смеясь. Что делать?

Сева заговаривал со всеми. Токарский не мог без смеха смотреть на его порозовевшее от возбуждения лицо. Это был краешек той Италии, которую он прежде видел только в кино. Он разговорился с продавцом птиц и отдал ему все свои значки, узнав, что его дочку зовут Катя. Не Катарина, как предположил Сева, а именно Катя.

22

Все было обыкновенным в Мурманске — улица Ленина, которая оказалась вовсе не улицей, а прямым, просторным и длинным проспектом, люди, которые были одеты похуже, чем москвичи, и шли более неторопливо, и даже неяркое, нежаркое солнце, которое намеревалось в течение полугода освещать город одновременно с луной.

Все было таким же, как в Москве, и даже еще обыкновеннее и проще. Но хотя Игорь шел быстро, стараясь справиться с сильно бьющимся сердцем, ему казалось, что он стоит, а дома один за другим плавно проходят перед ним — номер один, три, пять, семь и на другой стороне — два, четыре, шесть, восемь...

Это были дома, которым он написал, и у него было странное чувство, что с ними можно говорить, как с людьми.

И дом сорок два был такой же, как другие. Вдоль лестничной клетки, громко разговаривая, стояли на мостках маляры. Игорь спросил у них, в каком подъезде квартира семнадцать.

Сердце билось все острее, как бывает, когда бежишь из последних сил, и вдруг заколет в груди. Он позвонил. Маленькая женщина открыла ему и убежала. Он успел заметить, что она была молодая, с круглым, ровно румяным лицом.

Он прошел в прихожую, а потом в столовую.

— Заходите, заходите,— сказала женщина.

Она стояла спиной к нему, у открытого окна, и, когда Игорь остановился у порога, обернулась и сказала с возмущением:

— Маленького мальчика заставляет ставить машину в гараж!

Игорь нерешительно подошел к окну.

— Ну вы подумайте! Сумасшедший!

Зеленый двор был как будто вставлен в четырехугольник дороги, по которой медленно двигался к открытому гаражу «москвич». Высокий седой человек командовал:

— Так! Смелее! Притормаживай.

Машина вползла. Из гаража выскочил действительно очень маленький мальчик. Мужчина торжественно протянул ему руку. Мальчик засмеялся, тоже подал руку, и они стали закрывать обитые железом половинки ворот.

— Петя, тебя ждут! — крикнула женщина.— К тебе пришли! Слышишь?!

Невзглядов был длиннорукий, с тонким, крепко посаженным носом. У него были густые серо-седые волосы, а глаза голубые, слегка навыкате, с удивленным выражением.

Разговаривая, он смешно округлял их и взглядывал — так что был скорее Взглядов, чем Невзглядов.

— Женщина, не сотрясай атмосферу,— сказал он жене, которая накинулась на него, едва он переступил порог.— Пускай привыкает.

— Мама, а ты видела? — закричал из передней мальчик.

— Видела, видела... Боже мой, грязный-то какой! Марш в ванную!

— Мам, ну зачем?

Они ушли.

— Прошу извинить,— сказал Невзглядов.— Садитесь. Чем могу служить?

— Я из Москвы,— не садясь, твердо ответил Игорь.— Вы получили мою открытку. Вы написали, что знали моего отца и можете о нем рассказать.

— Ах, вы тот молодой человек, который всем посылает открытки! Конечно, могу. Но прежде мы позавтракаем, ладно? Вы прямо с поезда?

— Да.

— Маша!

— А может быть...

— Не терпится?

— Мне только хотелось спросить... Когда вы виделись в последний раз?

Невзглядов помолчал. На его грубом красном лице выразилось сожаление.

— Давненько. Но мы все-таки сперва позавтракаем. А потом я вам все расскажу.

23

Жена все время трещала о кофточках и сумочках и что уже Флоренция, а они еще ничего не купили — и надоела в конце концов, главным образом потому, что мешала Аникину не обращать на нее внимания. Он попробовал было сказать, что в Италии нужно покупать то, что нельзя купить нигде, кроме Италии, но в ответ получил полдня нытья о том, что ей нечего носить и что у нее никогда не было таких кофточек и сумок. Она боялась его, но в этом была непреклонна.

По утрам, когда она сидела у туалета, намазанная каким-то жиром, который покупала у спекулянтки, Аникин неизменно вспоминал кокетливую старуху Гойи, с лицом собачонки, перед зеркалом, в нарядном платье, спадающем с костей спины и плеч. Офорт назывался «До самой смерти».

Куда делся, боже мой, этот растерянный, нежный взгляд, который становился еще растеряннее, когда он ее обнимал? Она расплылась, для полной женщины она была суетлива, у нее потемнела нижняя часть лица, в сумерках казалось, что ей нужно побриться. Убить ее, конечно,

нельзя — очень жаль! Зато можно было не без удовольствия думать об этом.

В галерее под Уффициями продавались прелестные вещи — шкатулки из цветной, тисненной золотом кожи, керамика с кожей, пепельницы в духе Модильяни, современные, но как будто сделанные руками мастеров шестнадцатого века,— она проходила мимо с испуганным лицом, боялась, что он все-таки настоит на своем. Потом полчаса вертела в руках кожаный флакончик за триста лир и все-таки не купила. Черт с ней!

История Медичи заинтересовала его: сколько убийств! Лоренцино Медичи убивает герцога Алессандро, Козимо Медичи убивает Лоренцию, дочь Козимо, Изабелла удавлена рукой мужа, герцога Браччиано. Другая дочь, Лукреция, жена феррарского герцога, отравлена по его приказанию. В запальчивости один из сыновей Козимо, любимец матери, убивает другого, любимца отца, и разгневанный отец убивает братоубийцу.

Безошибочный выход из любого, самого сложного положения! В шестнадцатом веке он мог не задумываясь избавиться от жены с ее невежеством, с ее болтающимся низким задом и узкими глазками, в которых не было ничего, кроме неукротимого стремления к сумочкам и страха, что муж ее бросит.

Он постоял на блестящем медном щите, вправленном в площадь Синьории, на том месте, где был сожжен Савонарола. Это было любопытно. Правда ли, что Ватикан собирается причислить Савонаролу к лику святых? Гид не знал. Согласно его теории...

Это был гид с теориями, получавший комиссионные от владельца лавки флорентинских изделий, в которую он заходил с туристами после осмотра картинной галереи.

На площади Синьории Аникин обнаружил, что он много лет не видел настоящей скульптуры, то есть видел, но думал при этом о том, что скажет Б., и не повредит ли он себе, поддерживая Р., а не другого члена закупочной комиссии Академии художеств. Ему стало смешно. Что сказала бы закупочная комиссия о «Персее» Бенвенуто Челлини?

Группа ушла, он сказал, что вернется прямо в отель. Он не мог оторваться от Персея. С чувством, близким к отчаянию, он смотрел на него. Какое изящество, какая легкость! Статуя могла быть маленькой или большой, это

не имело значения. Какая спокойная гордость юноши в почти танцующем движении, которым он показывает голову Медузы! Как устроено у его ног обезглавленное женское тело! Как сильно выражена смерть в некрасивых руках! Челлини, кажется, многое придумал в своих мемуарах? Но он, несомненно, легко убивал — это видно по его «Персею».

В этот день был какой-то праздник, автобусы не ходили, и Аникин поругался с женой, жалевшей лиры и отговаривавшей его ехать на Фьезоле в такси. Он поругался нарочно. Ему хотелось поехать на Фьезоле не с женой, а с Валерией Константиновной, на которую он обратил внимание еще в Риме, услышав, как о ней говорили мужчины.

Он заметил все: и что она сперва крутилась подле Токарского и что потом отвернулась — наверное, поторопился, некоторые этого не любят.

Группа пошла смотреть церковь Санта-Мария Новелла. Это было в двух шагах от гостиницы. Он отправился туда же, и действительно там стояли, рассматривая фасад, Валерия Константиновна и Токарский.

Нужно было дождаться удобной минуты. Он подошел, когда она задержалась, разглядывая фрески.

— Поедемте. Говорят, это просто чудо.

— Нет, благодарю вас.

Он стал настаивать:

— Итальянцы утверждают, что, не побывав на Фьезоле, нельзя уезжать из Флоренции.

— В самом деле?

Он шел за ней, уговаривая и начиная сердиться.

— На такси,— сказал он и покраспел, когда она засмеялась.

Они прошли вдоль левого нефа, а потом рядом с ними вдруг оказался Токарский. Не торопясь, он встал между ними, спиной к Аникину, и сказал:

— Валерия Константиновна, вы видели Мазаччо?

— Что это значит? — пробормотал Аникин.

— Не видели? Непростительно. Пойдемте, я покажу.

Аникин вернулся в гостиницу. Невозможно было затевать ссору. Ладно, повременим. Там видно будет. Ему уже не хотелось на Фьезоле, но, чтобы досадить жене, он все-таки поехал. На худой конец нужно было хоть взять с собой кого-нибудь, знающего итальянский язык, но Анечка ушла, а Лариса, сильно покраснев, отказалась.

Он знал, что это было отчуждение, как бы само собой сложившееся в группе вокруг него и жены. Он плевал на это отчуждение, да, впрочем, и на самую группу!

— Русси? — улыбаясь, спросил шофер и повел рукой, свистнув и показывая спутник, летящий к небу.

— Русси, русси. Фьезоле,— ответил Аникин.

Холмы блестели под солнцем, склоняющимся к закату. Огибая церковь с красноватыми куполами, зубчатые стены поднимались в гору.

— Сан-Миниато? — спросил шофер.

Аникин кивнул. Он не жалел, что поехал. Это было действительно чудо. Он поднялся к церкви, а потом, обогнув ее, пошел в гору, вдоль зубчатых стен. Вдоль другой стороны дороги тянулись, поблескивая, оливковые сады.

Он вспомнил детство, деревню. Жалея себя, он шел с открытой головой под теплым, несильным летним дождем, скатывающимся с серебряных листьев оливок.

Лир было действительно мало, и Аникин вернулся пешком, купив назло жене соломенного осла с добродушно-иронической мордой. Он подарит его кому-нибудь, может быть Пете. Он вспомнил о сыне с тем чувством неуверенности, которое в последнее время постоянно испытывал и которое, разговаривая с ним, старался скрыть под шутливым тоном, дружеской откровенностью мужчин между собой. Петя молчал, об откровенности не могло быть и речи. О чем он думает, сидя над своими книгами, сочиняя свою музыку, очень странную, но талантливую, как уверяет Миллер? Как он рассердился, когда мать стала уговаривать его ездить в училище на машине! Впрочем, это хорошо, что ему не нравится родительский способ существования. И еще лучше, если после училища он года два пошляется с геологическими партиями или поработает на заводе.

Но было что-то фальшивое в той беспечности, с которой он думал о сыне. Если есть на свете человек, которого он не то что боится... А, вздор!

24

— Что это он к вам привязался?

— Предложил поехать на Фьезоле.

— Смотри пожалуйста! Какая честь.

— Мне понравилось, как вы встали между нами.

— Правда? Я скучаю без вас.

— А если бы не скучали?

— Встал бы все равно. Постойте, о чем я думал ночью? Ах, да! Вы говорили, что ваш Игорь летом собирается в Крым. Пускай заглянет в Чуфут-Кале. Вы там были?

— Нет.

Что-то прошло по лицу Валерии Константиновны, глаза потускнели. Токарский подумал: «Значит, сын» — и заговорил о другом.

— А еще,— сказал он,— я ночью читал стихи.

— Свои?

— Нет. Заболоцкого.

Есть лица, подобные пышным порталам,
Где всюду великое чудится в малом.
Есть лица — подобия жалких лачуг,
Где варится печень и мокнет сычуг.
Иные холодные, мертвые лица
Закрыты решетками, словно темница.
Другие — как башни, в которых давно
Никто не живет и не смотрит в окно.
Но малую хижинку знал я когда-то,
Была неказиста она, небогата,
Зато из окошка ее на меня
Струилось дыханье весеннего дня.
Поистине мир и велик и чудесен!
Есть лица — подобья ликующих песен,
Из этих, как солнце, сияющих нот
Составлена песня небесных высот.

— Как хорошо!

— «Закрыты решетками» — это о господине, пригласившем вас на Фьезоле.

Из Санта-Мария Новелла они вернулись на площадь Синьории. И хорошо сделали, как сказал Токарский, потому что это была как раз та самая площадь, на которую нужно возвращаться и возвращаться. Они шли по набережной, когда в воздухе засверкал блестящий, стремительный, праздничный дождь. Он был косой и падал на Флоренцию, подхваченный где-то в высоте бесшумным порывом ветра. Миллион фонтанчиков вспыхнул и прокатился по Арно. Дождь шел несколько минут, но потом долго в освещенном воздухе чудились легкие косые серебристые нити.

— Расскажите, какой у вас сын?

— Вам интересно? Хороший.

— Еще.

— С толстым носом. Румяный. Невысокий, но крепкий. Он очень похудел в последнее время,— сказала Ва-

лерия Константиновна с огорчением.— Он велел мне записывать. А я, оказывается, не умею.

— На вашем месте я бы записал, например, этот дождь.

— Боже мой, что вы выдумываете! — развеселившись, сказала Валерия Константиновна.— Ну как можно записывать дождь?

— Этот можно.

— Почему?

— Потому что он нарочно пошел.

— Нарочно?

— Да. Чтобы запомниться.

Они помолчали.

— А у меня нет сына,— грустно сказал Токарский.

— Вам бы хотелось?

— Всю жизнь.

— Ну хорошо. Я вам сейчас все расскажу,— сдерживая вдруг подступившие слезы, сказала Валерия Константиновна.— У меня есть близкая подруга, очень близкая. Она знает. Теперь будете знать и вы, Алексей Александрович. Почему вы, человек, с которым я познакомилась неделю назад? Не понимаю. Но я действительно не умею притворяться.

25

Хотя Невзглядов не рассказал Игорю ничего, что помогло бы выяснить, где, когда и при каких обстоятельствах отец пропал без вести, он ушел с таким чувством, как будто что-то очень важное уже произошло в том трудном намеченном деле, которое Игорь твердо решил довести до конца.

Отец, оказывается, служил в разведке! В начале войны он с Невзглядовым ходил за линию фронта, в Титовку. У него тогда еще не было звания. Они не спали четверо суток, выполнили задачу, вернулись в Мурманск и получили каждый по двести пятьдесят рублей и благодарность. Потом группой в двадцать человек они ходили на диверсии, валили столбы, минировали дороги. «Хуже всего — неизвестность,— сказал Невзглядов.— Идешь, голова, как шар, вертится: откуда ударит?»

В мае 1942 года они прошли знаменитую «лощину нервов» — пять километров по открытой тропе. Прошли,

свалились, и Невзглядов спросил: «Андрей, где мы сейчас с тобой были?» И отец ответил: «Ага». Однажды они приняли бой на берегу озера, в тумане. Отец потерял каску, надел немецкую, и Невзглядов сказал ему: «Сними, дурак. Или ты хочешь, чтобы свои убили?»

Потом Невзглядов рассказал, как отца однажды приняли в темноте за грузина, передразнили акцент — это было в расположении полка,— и он, не раздумывая, кинулся в драку. Он был вспыльчивый, но отходчивый. Любил выпить, но кто тогда не любил?

Он был ранен весной сорок третьего года, а уже из госпиталя попал на батарею. Невзглядов больше не встречался с ним, только слышал стороной, что у него была какая-то неприятность. Понятно! Ему нечего было делать на батарее. Что такое разведчик? Движение!

Игорь провел у Невзглядова все утро и не ушел бы до поезда, если бы хозяин не сказал, что ему пора на работу. Он служил в Инспекции морского пароходства. Игорь пошел провожать его, и на взгорье, с которого открылся залив, Невзглядов показал ему порт — мастерские, доки, краны торгового флота, судоремонтный завод и снова краны и краны. Он в последний раз вскинул на Игоря голубые обнадеживающие глаза, похлопал по плечу и ушел.

Далекие, как бы перекликающиеся шумы доносились из порта, вдалеке над берегом дымился снежок, и Игорь с чувством счастья смотрел на эти берега, на порт, как бы застывший и находящийся в непрерывном движении, на темно-стальной блеск моря, на небо, которое было так не похоже на привычное московское небо.

«Хороший товарищ»,— сказал об отце Невзглядов. У Игоря задрожали губы. Он найдет его, как бы это ни было трудно. Нашлись же защитники Брестской крепости, которых вся страна пятнадцать лет считала пропавшими без вести?

— И не открытки,— сказал Невзглядов,— а письмо в Главное Управление кадров флота. Ответят. А когда будешь писать отцу — поклонись. Он меня помнит.

Игорю захотелось есть, но он не пошел в столовую, а купил батон и ломоть холодного вареного вкусного мяса. Это было весело — бродить по незнакомому городу, не зная, что откроется за углом. Он забрался на памятник Жертвам американо-английской интервенции, состоявший из прямоугольников и лестниц и выглядевший современным, хотя был построен в двадцатых годах. Потом он вер-

нулся на проспект Ленина и на этот раз прошел его до конца. Сорок три, сорок пять, сорок семь... Дома снова стали плавно проходить перед ним, хотя теперь он шел неторопливо, и сердце билось спокойнее и с надеждой.

До поезда было далеко, и Игорь пошел в садик у Дома культуры. Ему опять хотелось есть, он купил мороженое. Дети играли в классы. Он нарисовал им хорошие, ровные клетки, они подумали, стерли и нарисовали кривые. Торговые моряки подсели на его скамейку и долго, интересно разговаривали о том, как они ходили на Маточкин Шар. Было уже поздно, но не потемнело, а только стало медленно, как бы неохотно тускнеть. Сад опустел. В порту что-то ухнуло, тяжело передвинулось, и этот печальный звук стал повторяться. Игорь ждал его, но прислушивался не к нему, а к чему-то совсем другому. Этот звук в порту, и склонявшееся побледневшее солнце, и голоса проходивших мимо людей — все было странным образом связано с ним. Он играл с детьми в классы, разговаривал с моряками, шел с портовыми рабочими на вечернюю смену и потом, когда пожилые женщины сменили моряков на его скамейке, участвовал в их тревожном разговоре о какой-то Марье, которую пьяный муж бьет каждую ночь. Ему было жаль Марью и хотелось, чтобы муж перестал ее бить. Сильный, быстрый косой дождь вдруг пошел, усиливаясь с каждой минутой,— Игорь спрятался от него в подъезде Дома культуры. Дождь тоже был нужен ему, именно этот блестящий, косой, отбивающий радостную дробь на лестнице Дома культуры.

Потом стало ясно, дождь перестал, но какая-то косина́ осталась в посвежевшем воздухе, точно он был заштрихован и время еще не успело стереть летящие, как стрелы, штрихи. «А мама в Италии,— думал Игорь, бродя перед отъездом по опустевшему городу.— Сегодня среда. Флоренция... «Глубоким синим вечером, когда порывы ветра налетают из горных ущелий...— Он помнил некоторые места из книги Муратова наизусть.— Хочется подойти к решетке и, наклонившись над темным пространством, над Флоренцией, тихо позвать Беатриче».

26

Валерия Константиновна помнила, что Ленинград, который она очень любила, должен был стать русской Венецией, линии Васильевского острова были задуманы Пет-

ром как венецианские каналы. Но только перед самым отъездом, когда она, так же как все, побежала на площадь Святого Марка, сходство с Ленинградом мелькнуло в первый и единственный раз. Силуэты судов на фоне заката, строгость зданий, величаво и гордо высившихся над золотистым заливом. Это была, может быть, стрелка Елагина острова, если перенести на нее — она сама не знала что — Петропавловскую крепость? Или Адмиралтейство?

Сколько она ни читала, ни слышала о Венеции, все это было ничуть не похоже на то, что она увидела,— как ожидание чуда не похоже на чудо. Она знала, например, что в Венеции нет улиц, вместо улиц каналы. И хотя сразу же убедилась, что это неправда, то есть что в Венеции есть и улицы и каналы,— она одновременно убедилась в том, что это были необыкновенные улицы, не похожие ни на какие другие. Это были улицы, по которым нельзя было ездить на автомобилях, на велосипедах, на лошадях — вообще нельзя ездить, а можно только ходить. Они были узкие, вдруг пересекающиеся набережными с уходящими в воду ступенями, поросшими мхом; они поворачивали, подчас под прямым углом; они переходили в мосты.

Мосты были везде, и когда после ужина Валерия Константиновна и Токарский пошли куда глаза глядят (они оба любили первое впечатление незнакомого города), эти мосты удивили их своей декоративностью. Конечно, они были нужны лишь для того, чтобы соединить улицы, разделенные каналами, но казалось, что еще более они нужны, чтобы под их высокими арками плавно проходили гондолы.

Потом, когда первое острое впечатление прошло, Валерия Константиновна заметила, что от каналов пахнет сладковатой гнилью, что во дворах не только тесно, но грязно, а белье, развешенное на веревках, переброшенных через улочки, придает многим кварталам жалкий, неустроенный вид. Именно по той причине, что этот необыкновенный город был не похож ни на какой другой в мире, в нем было неудобно жить: неудобно ездить на лодке в парикмахерскую или к зубному врачу, подниматься по скользким, уходящим в воду ступеням, жить в сырых, обветшалых домах, ходить по улицам, на которых никогда не бывает солнца.

...Магазины были уже закрыты, но ярко освещены и ничем не отличались от других магазинов в Риме, Флоренции — разве что провинциальностью, особенно заметной в

застывших на витринах, неестественно улыбающихся манекенах. Зато над магазинами, уже со второго этажа, начиналось все очень старое — готические окна, узорные, увитые розами, балконы. Мадонны в маленьких нишах показывали под тусклым светом лампад свои бедные и грубые краски. Они вернулись на площадь Сан-Марко.

— Значит, все рассказать? — спросила Валерия Константиновна.

— Да. Войти, поздороваться, раздеться. Сесть рядом с ним на диван и сразу же: «Вот что, Игорь. Об Италии — завтра, а сейчас...»

— Страшно. Вы его не знаете.

— Прямодушный? — ласково спросил Токарский.

— Да, очень. Мы однажды разговаривали о его школьных делах, и он психологически разобрал весь свой класс. Вы знаете, как это было сделано? Беспощадно и к себе и к другим.

— Какой молодец! — с восхищением сказал Токарский.— Вот на кого надежда!

— Я потом не спала всю ночь.

— Почему?

— Потому что это было проникнуто... Как вам объяснить? Неистовым правдолюбием.

— Ах, как хорошо,— с наслаждением повторил Токарский.— Вы сказали неистовым?

— Да. Поэтому мне и страшно.

— Чего же бояться? Просто он такой же, как вы. Только его юность проходит, слава богу, в другое время. А теперь давайте смотреть Венецию. Вам не кажется, что мы в театре?

...Валерия Константиновна вернулась поздно и, уютно устроившись в постели, решила сперва немного подумать — жалко было сразу уснуть. Флоренция стояла в памяти отдельно, со своими гравированными, узорными стенами, напоминавшими кружево на черном сукне. Это было во Флоренции — та минута, когда Токарский, войдя утром в ресторан и с порога найдя ее глазами, понял, что она ждет его, что всю ночь, просыпаясь и засыпая, она думала только о нем.

Да, Флоренцию можно было не записывать, все равно ее невозможно забыть. Но Венеция, сегодняшний вечер... Валерия Константиновна начала писать и сразу же бросила — так не похоже было то, что она видела и чувствовала, на то, что она пыталась записать. Анечка ровно ды-

шала. Она сказала: «Мне бы не захотелось здесь жить». Она выходит замуж, здесь это раз и навсегда. По меньшей мере так принято думать.

«Спокойной ночи»,— сказала она Токарскому, его крепким рукам, его затылку, его умению говорить то, что она только собиралась сказать, его смеющимся глазам, от которых она переставала видеть и слышать. «Спокойной ночи»,— сказала она тому, что он мог бы, если бы захотел, сделать с ее одиночеством, с ее неудачей.

27

Утром накрапывал дождь, и поехали не на гондолах, как предполагалось, а на катере, похожем на московские речные трамваи. В соборе святого Марка было темно, пустовато. Служба началась с шествия от главного входа к престолу. Народу становилось все больше. Английские туристы бродили по собору, как по ярмарке, громко разговаривая, рассматривая молящихся, подходя к престолу почти вплотную. Никто не обращал на них внимания. Гид говорил вполголоса. Анечка переводила.

— Хотите слушать? — одними губами спросил Токарский.

Валерия Константиновна покачала головой.

— Скучно, и не о том,— сказал он, когда они вышли на площадь.— Лучше я расскажу вам. Хотите?

— Очень.

— Видите эти колонны, красные, серые, розовые, зеленые, пятнистые, с фигурами и без фигур? Их натащили сюда пираты. Это была пиратская республика, нечто вроде Запорожской Сечи. Здесь почти все награблено, и эти лошади на фронтоне, без сомнения, тоже. Кстати, вы когда-нибудь видели лошадей на соборе?

— Нет.

— Я тоже. А вот пираты притащили и поставили. Колонны тоже поставили. Если не кучей, так почти рядом — конечно, потому, что их было много. Казалось бы, непреднамеренность, случайность, полное отсутствие расчета. А на круг получилось единственное здание в мире, потому что все это черт знает каким образом соединилось. По-моему, это и есть самое главное в архитектуре. А теперь идите сюда.— Он взял Валерию Константиновну за руку.— Посмотрите на собор одним взглядом, ни на что в отдель-

ности, а на все сразу. Какая розовость вокруг этого огромного стеклянного полукруга над входом! Пол проваливается, как сообщил нам гид, и это, конечно, грустно. Но скоро здесь все провалится. Венеция стоит на сваях, сваи раскачиваются волной от катеров, пароходов и роскошных яхт, в которых катаются герои Феллини. О четырехтактном двигателе дизеля пираты древности не имели понятия. Интересно?

— Да.

— Теперь идите сюда. Посмотрите на это странное здание. Здорово, да? — спросил Токарский с таким лицом, как будто он, и никто другой, построил Палаццо дожей.— Взгляните на него вверх ногами. Для этого не нужно самому переворачиваться. Переверните его в воображении. Оно архитектурно задумано и выполнено только от земли до середины, один ряд колонн над другим. Выше — сплошная коробка с огромными редкими окнами, которая была бы отличным фундаментом, потому что она тяжела и массивна. Но она почему-то не давит эти колонны и даже, наоборот, придает им изящество. Это, конечно, чудо. А вот та пара колонн нарочно отмечена для туристов. Здесь вешали. Интересно?

— Очень.

После обеда пошли покупать подарки. Это было труднее, чем в других городах, потому что за каждым углом открывались каналы с мраморными лестницами дымного цвета и маленькими мостами.

Валерия Константиновна искала орлоновую рубашку — и нашла, но дорогую, за пять тысяч лир. Для себя она ничего не купила, хотя чемодан не нашелся и мог найтись теперь уже только в Милане.

— Но что придумать для брата? Вот задача!

— Он высокий?

— Как вы.

— И такой же толстый, как я?

— Почти.

— Купите ему нейлоновую куртку.

— Ого-го! Шесть тысяч лир! А у меня осталось,— она сосчитала,— две с половиной.

— Возьмите у меня.

— Вот еще! А вы не будете покупать подарки?

— Нет.

— Вот мы ее для вас и купим.

Токарский пожал плечами.

— Вам хочется, чтобы я купил эту куртку?

— Да.

Он померил.

— Очень идет.— Валерия Константиновна покраснела.— И подкладка отличная. Что вы делаете? Анечка велела торговаться.

— Поздно.

Он был очень доволен.

— Снимите же, жарко.

— Ни за что. Вы сказали, идет?

Они шли и болтали, останавливаясь у витрин. Стекло было всюду — самые двери магазинов были толстыми листами стекла с разноцветными стеклянными раковинами вместо ручек.

— Работающее,— с уважением сказал о нем Токарский.

Но было и бездельничавшее стекло — фигурки, цветы, ожерелья, серьги, браслеты.

— А вот и Сева.

Сева стоял на мосту Риальто и, моргая белесыми ресницами, рассматривал ожерелье, которое он не мог купить, потому что у него осталось только двести лир, а ожерелье стоило триста. Он успел уже всем рассказать, что у него не осталось лир на подарок для Кати. Он смутился, увидев Токарского и Валерию Константиновну.

— Торговался как зверь,— объявил он, едва они отошли от лавки.— Не уступает, подлец! А красивое, верно?

— Да.

— Вообще хочется все разбить или все купить. Верно?

Приятно было выговаривать Севе за то, что он оставил жену без подарка, но еще приятнее было почему-то без Севы. Они отделались от него под каким-то предлогом.

28

Пароходик обогнул маленький остров — сумрачный, безмолвный, обнесенный высокой стеной, точно те, кто жил на нем, навсегда условились молчать, и ничто не могло заставить их произнести хоть слово.

— Так и есть,— сказал Токарскому хозяин соседнего отеля, который учился русскому языку и попросил разрешения сопровождать туристов на фабрику стекла.— Это кладбище Венеции. Покойников везут сюда в гондолах.

Это страна воспоминаний, напоминающая полотно Беллини «Души чистилища». Вы, конечно, помните эту бессмертную аллегорию?

Токарский помнил «Души чистилища», но ему не нравился хозяин отеля. Это был, несомненно, шпик и даже немного похожий на того римского шпика, который снял котелок, обрадовавшись, что русские наконец уезжают. Но тот не предлагал знакомиться с ночными кабаре или отведать «наилучшего кьянти, каковое не подают русским в ресторанах». Это был шпик-дурак. К хозяину соседнего отеля он не имел, конечно, ни малейшего отношения.

— Красивейшее кладбище в мире,— объяснил он.— Причем на острове имеются каналы, по которым покойников везут в гондолах к подножию храма.

Токарскому представились эти странные похороны: бесшумно скользит покрытая черным сукном погребальная гондола. Венецианка склонилась над гробом — стройная, в черном платке, как та, которая стоит, прижав руки к груди, на картине Беллини.

Фабрика была маленькая, очень старая, как и все другие на острове. Горны были похожи на русские печки.

— Остров Мурано славится,— объяснил шпик,— производством стекла приблизительно в течение двенадцати столетий.

Анечка сказала, что хозяйка — русская и все будет объяснять сама, без помощи гида. Ее зовут Нина. Она рада приезду компатриотов.

И действительно, Нина вскоре пришла — круглолицая, курносая, с кудерьками. По-русски она говорила хуже, чем Анечка. Недолго послушав ее объяснения, из которых можно было только понять, что «сейчас будет тарелка», Токарский отошел в сторону и стал смотреть, как рабочий делает эту тарелку.

Багровый, с перебегающими искрами кусок стекла свисал с конца длинной трубы, которую рабочий вертел между ладонями. Он подул в трубку, и оплывающее стекло стало нерешительно превращаться в мешок. Он быстро сунул мешок в глубину раскаленного горна и снова подул. Это были движения жонглера. Меняя оттенки, мешок превращался в шар. Вытащив трубу, рабочий самыми обыкновенными ножницами подровнял шар, отрезал лохмотья. Еще одно движение, не только руками, всем телом. Шар раскрылся. Все ахнули. Не тарелка, а великолепное блюдо с рисунком

набегающих разноцветных прожилок закружилось на конце трубы.

— Лариса, спросите, сколько он получает?

— Тысячу лир в день.

— Много. Это мастер?

— Да. Здесь почти все мастера. Художественная работа.

— А сколько стоит блюдо?

Блюдо стоило в двадцать раз больше.

Хозяйка жаловалась: торговля упала, песок приходится возить издалека, в Венеции нет такого песка.

Это был единственный за всю поездку случай, когда пригодились бы купленные в складчину еще в Москве будильники и альбомы — если бы они не пропали вместе с чемоданом Валерии Константиновны. Все говорили об этом. Осталась только модель спутника — очень безвкусная: женщина с неприятным лицом держала над головой фантастический предмет, напоминавший картофелечистку.

— Стыдно дарить,— сказала Валерия Константиновна задумчиво. Потом все-таки подарила, и мастер, только что сделавший великолепное блюдо, покраснел от радости и заговорил так быстро, что пришлось позвать Анечку, потому что никто ничего не понял.

Рабочие, громко смеясь и переговариваясь, окружили русских.

— О, русси! Спутник!

Молодая работница ходила со счастливым лицом, прижимая к груди матрешек,— Токарский заметил ее еще на дворе. Когда туристы прошли в музей, он невольно искал ее глазами.

— Какая красавица! — с восхищением сказал он Валерии Константиновне.— Вот они — рыжие и красные тона Тициана.

— Просто хорошенькая. Почему она забрала себе всех наших матрешек?

— Ей отдали рабочие. Какое доброе лицо! Глаз не отвести.

— Вам нравятся добрые красавицы?

— Очень.

— Так подойдите к ней.

— Зачем?

— Ну, не знаю. Скажите, что она красавица, она будет довольна.

— А вы?

— И я.

— Тогда вместе. Идет?

Они подошли, и Токарский сказал на плохом французском, что он давно слышал о необыкновенной красоте венецианок, но лишь сегодня убедился в полной справедливости этого мнения.

Она выслушала, чуть подняв голову, с простой, но гордой осанкой. Они постояли молча, улыбаясь друг другу.

— Теперь скажите про Тициана.

— А вот и скажу.

Она слушала молча, немного покраснев, потом вдруг подняла глаза, взмахнула ресницами. И Токарский неуловимо изменился — помолодел и похорошел в полминуты. Как бы в отчаянии итальянка обернулась, ища что-то глазами, быстро сняла, почти сорвала с себя ожерелье и отдала его Валерии Константиновне.

— Что вы, бог с вами!

Это было на лестнице, все уже уходили из музея. Разговаривая знаками, по которым нетрудно было понять, что Валерия Константиновна умоляет итальянку не дарить ей ожерелье, а итальянка умоляет ее не отказываться от подарка, они спустились во двор.

— Ну, пожалуйста, возьмите! Не нужно!

Так было несколько раз — Валерия Константиновна возвращала, а итальянка, удивляясь и огорчаясь, совала ожерелье обратно. Она убежала в конце концов, пожав Валерии Константиновне обе руки.

— Что же мне делать?

Валерия Константиновна рассматривала большое золотисто-розовое ожерелье.

— Положить в сумочку,— сказал Токарский.

— Неудобно. Ведь это не мне, это как бы нам всем, всей группе. Какое огорчение!

— Уж и огорчение! Послушайте, я знаю человека, который, не задумываясь, отдал бы полгода жизни за это ожерелье.

— Кто же это?

— Вы не догадываетесь?

Он показал на Севу, который шел к пароходику, окруженный молодыми рабочими.

— Познакомьтесь, это коммунисты,— весело сказал он Токарскому.— Хорошие ребята. На днях к ним приезжал Тольятти. А вот этот, в очках,— студент. Он приехал в Мурано навестить родных. Он говорит по-русски.

Вернувшись в отель, Валерия Константиновна посоветовалась с Ларисой и другими товарищами. Ожерелье примерили все, в том числе и старушка Ольга Петровна. На другой день за завтраком оно было торжественно вручено растерявшемуся от радости Севе.

29

Это был последний вечер в Венеции, и Валерия Константиновна решила поехать на площадь Святого Марка — не пойти, а именно поехать на пароходике по Канале Гранде. В дорогой накидке из соболей, одна, сильно накрашенная, с расстроенным лицом, Аникина сидела в вестибюле отеля. Они разговорились почти дружески и поехали вместе, хотя до сих пор едва обменялись несколькими словами.

В самой Аникиной, в том, как она держалась, в ее легко угадывающихся отношениях с мужем было что-то волновавшее Валерию Константиновну или по меньшей мере занимавшее место в ее мыслях — тех самых, которыми она, к сожалению, разучилась управлять в последнее время. И то, что ей захотелось сейчас поговорить с Аникиной, было связано с этими мыслями, с этой не оставлявшей ее ни на минуту заботой.

Прямо из гостиной отеля можно было выйти на пристаньку, у которой останавливались катера. Усталые люди, не замечавшие, что они плывут по Канале Гранде, молча сидели на скамейках, разговаривали вполголоса, дремали, курили...

Аникина говорила и говорила. Видно было, что она тяготится пустотой, в которой невольно оказалась вместе с мужем среди товарищей по группе. Не поэтому ли она с первого слова заговорила о нем? Дмитрию Фроловичу не понравилась поездка на Капри. Вообще он считает, что все нужно было организовать совершенно иначе. Два дня в Риме — это же просто смешно! Дмитрия Фроловича прекрасно знают в Италии, и хотя он не любит публичности, шума, наше посольство, конечно же, обязано было устроить его встречу с итальянскими деятелями искусства. Это неудобно, причем по отношению к ним, а не к нему. Тем более что в Риме его ждали.

— Да? — вежливо спросила Валерия Константиновна.

И вообще Дмитрий Фролович считает, что нужны индивидуальные поездки или по крайней мере специализи-

рованные, только художники, например. Или только инженеры. У нее был слабый, безвольный рот растерянной женщины, во всяком случае, не понимавшей, зачем она приехала в Италию, в Венецию.

Катер подходил к маленьким причалам то на левом берегу, то на правом. Было еще светло, но как-то влажно-светло, быть может и от нежной зеленоватой воды канала.

Они заговорили о сыновьях. Почему Игорь заходит так редко? Куда он думает пойти после школы? Петя очень способный, и даже Миллер, который славится своей строгостью,— знаете, знаменитый? — находит в нем необыкновенный талант. Но ей не хочется, чтобы Петечка был музыкантом. Это все-таки не профессия для мужчины. Вообще ей хотелось иметь девочку, потому что с мальчиками труднее — не знаешь, что сказать, как поступить. Для мальчика большое значение имеют товарищи, а вы знаете, какая в наше время молодежь, даже из самых приличных семей? Впрочем, Петечка как раз очень привязан к дому. Дружен ли он с отцом? Он его обожает.

Валерия Константиновна слушала ее, почти не переспрашивая и не очень удивляясь, хотя многое было непонятно ей, а больше всего то странное времяпрепровождение совершенно свободной — с утра до вечера — женщины, которое отражалось в каждом слове Аникиной и было главной чертой ее жизни. Но Валерия Константиновна откинула эту пустоту и суетность и все, что было так чуждо ей, рабочему человеку, постоянно занятому своим делом, сыном, другими людьми, требовавшими внимания и заботы. Она думала о другом: почти безошибочно она угадывала, где правда, а где ложь в том, что говорила Аникина, и снова и снова примеряла эту правду и ложь к собственной жизни. Валерия Константиновна видела всю пропасть между Аникиной и собой и понимала, что отсутствие собственной жизни Аникина беспомощно старается заменить жизнью мужа и сына. Но при всей бессмысленности ее существования она чем-то волновала Валерию Константиновну. Может быть, неуверенностью в том, что она нужна им — сыну и мужу?

Канале Гранде, странный, без набережных, проходил перед ними в таинственном свете уходящего дня. Дворцы поднимались прямо из воды, черная фантастическая позолота была рассеяна по мрамору, по кружеву камня, по узорам балконов. Валерия Константиновна вспомнила, как Игорь читал ей о том, что Венеция в течение тысячелетий

убирала свои здания снаружи с такой же заботой, как в других странах это делается только внутри. «Весь город — это один сияющий в своей обветшалости, пышный и уютный дом»,— читал Игорь.

...Это было трудно — поставить себя на место Аникиной, но, слушая ее, Валерия Константиновна вдруг представила себе позднее утро в богатой просторной квартире. Все работают, а она пьет кофе в халате, а потом долго делает что-то у туалета с лицом. Другая, такая же, как она, звонит ей по телефону, и они обстоятельно говорят ни о чем — о том, что в Марьиной Роще вчера продавались бельгийские шарфы. Потом приходит маникюрша — снова шарфы, у такой-то аборт, в Доме архитекторов интересный капустник. И так весь день, каждый день. А вечером и в самом деле капустник.

«Но она несчастна не потому, что годами ведет эту жалкую жизнь, а потому, что трепещет, что эта жизнь вдруг переломится и станет совершенно другой... Боже мой! — продолжала думать Валерия Константиновна, когда они уже шли к площади Святого Марка по очень узкой улице, о которой гид говорил, что в Венеции нет более широкой.— Я счастлива в сравнении с ней».

30

Молодой человек из торгпредства, встретивший группу в Брюсселе, сообщил Валерии Константиновне, что ее чемодан, к сожалению, не нашелся.

— Необходимо составить опись,— сказал он,— и туристическое общество возместит пропажу.

Валерия Константиновна составила, указав какую-то мелочь, оставшуюся в Москве,— она вспомнила об этом уже в самолете. Зато она забыла малиновый джемпер и модные туфли, которые она купила перед отъездом.

Бельгийские пограничники долго не знали, что делать с группой русских, свалившихся к ним на голову без единого франка. Потом все устроилось, куда-то позвонили, откуда-то прислали старенький автобус, и через час туристы ехали в город, ссорясь со старостой, который почему-то распорядился оставить вещи в таможне.

Он оправдывался: одна ночь. Да, но не так уж удобно провести ночь без пижам и ночных рубашек. А утром? Зубные щетки, бритвенные приборы — все в чемоданах.

Да и вообще, черт побери, неужели вы не понимаете, что неловко являться в отель с пустыми руками? В особенности сердился Токарский, у которого за ночь должна была отрасти — и отросла — некрасивая седая щетина.

Отель был старый и очень хороший. Каждый турист впервые за всю поездку получил отдельный номер. Валерия Константиновна задумчиво бродила по просторной комнате с высокими, сложно закрывавшимися окнами, с дубовой мебелью конца XIX века. Потом постояла перед зеркалом и, сказав себе: «И не такая уж старая!» — пошла в ресторан, где ее ждали Токарский с Ларисой и Сева.

Откуда-то чуть слышно доносилась музыка. Почтенные, неулыбающиеся официанты двигались неторопливо, все было основательно, солидно и ничуть не похоже на Италию. Валерия Константиновна съела какую-то травку, Токарский, притворно ужаснувшись, сказал, что травка была положена для украшения и что теперь официанты долго смеются за портьерами, прежде чем войти в ресторан. Может быть! Травка оказалась кресс-салатом — об этом Валерия Константиновна узнала уже в Москве.

Лариса, которая была на Всемирной выставке в Брюсселе, сказала, что самое интересное место в городе — это Манекен Пис, а уже после него стоит заглянуть на Гранд-Пляс, с ратушей XIV века и гильдейскими домами.

Прохожие не торопились на пустеющих улицах. Одиннадцатый час — может быть, это поздно для Брюсселя? Пожилые люди в гольфах и толстых чулках пили пиво за столиками и покуривали трубки с таким видом, как будто они сидят здесь уже второе столетие. Гранд-Пляс — Большая площадь — была вовсе не большая, а маленькая, сдержанная и в то же время театрально-нарядная под мягким заслоненным светом.

— Да здравствуют гезы! — сказала Валерия Константиновна. Токарский засмеялся.

— Кстати, это построено лет за двести до гезов.

— Все равно. Очень декоративно, правда?

— Жизнь была декоративна.

— И никто этого не замечал?

— Вот именно.

— Может быть, и наша через двести лет покажется декоративной?

— Едва ли! Нет, здесь не гезы, а совсем другое.

— То есть?

— Вообще Фландрия. Упрямство. «Не уступлю».

— А что такое «не уступлю»?

— Девиз Нидерландов.

Старуха подметала площадь.

— По утрам она лучше,— сказала Лариса.— Не старуха, конечно, а площадь.

Одно здание было освещено, играла музыка, из подкатывающих машин выходили дамы в мехах и господа в цилиндрах. У них был провинциальный вид.

— Как в старом фильме времен Мозжухина и Веры Холодной,— сказал Токарский.

По дороге к Манекену Пис они заглянули в полутемный подъезд с сидящим в глубине почтенным пожилым швейцаром. «Открыто ночью» — было написано матовыми буквами на матовой дощечке у входа. Публичный дом. Швейцар вежливо поднялся к ним навстречу. Они быстро прошли мимо. Токарский изобразил несостоявшийся разговор: «Заходите, сударь».— «Благодарю вас, в другой раз».

Только что минуло одиннадцать, а в Брюсселе была, кажется, уже поздняя ночь — так пуст был город, так сонно щурились манекены в пустых освещенных магазинах, так шумно ссорились в кафе две старые проститутки в криво надетых шляпках, страшно придвинув друг к другу голые костлявые локти.

Наконец они добрались до Манекена Пис, толстенького, кудрявого, задумчивого мальчика, глубоко погруженного в свое несложное, но приятное занятие: он стоял, откинувшись назад, расставив полные ножки.

Еще многое было в этот вечер; долго стояли перед витриной салона, в котором висел вытянутый в бесконечность Христос, распятый скульптором вторично и теперь уже без малейшей надежды на воскресение. Подошли к гостинице, раздумали ложиться спать и отправились смотреть световую рекламу, наплывающую, вспыхивающую и жалкую в сравнении с величавым звездным небом. Это тоже сказал Токарский. «Кто же еще мог сказать то, о чем я только еще успела подумать!» Теперь они были одни.

— Понравилась поездка? — спросил Токарский.

— Очень. Жаль, что еще день — и все разъедутся. Будто и не знали друг друга.

— Кроме нас.

Валерия Константиновна посмотрела на Токарского. У него было доброе, грустное лицо.

— Не нужно притворяться, что вы меня не расслышали. У вас это не выходит. Я вас люблю. Плохо только, что

мне уже за пятьдесят и что у меня было слишком много женщин.

Они прошли в ее комнату.

— У вас усталый вид. Хотите полежать?

— Спасибо.

Токарский лег на диван. Валерия Константиновна устроила его: принесла подушку и покрыла одеялом.

— С кем вам будет жалко расстаться?

— С Ларисой.

— А мне с Севой,— сказал Токарский.— Я всегда думал, что человечество делится на людей, которые способны и не способны любить. Он принадлежит к первой, не слишком многочисленной группе. С его женой я встретился бы как старый знакомый. Я даже знаю, какие она носит туфли. В Венеции его поразил пояс невинности, который мужья, уезжая, надевали на жен: «Здоровенный, правда? С замком! Но гид говорил, что все равно изменяли».

Валерия Константиновна засмеялась.

— Я буду скучать без него,— сказал Токарский.

Они говорили недолго. Потом Токарский замолчал. Ровное дыхание слышалось две-три минуты. «Можно уснуть, и это ничему не мешает. Можно говорить о чем угодно. Проснись, пожалуйста,— подумала она,— и скажи, что ты пришел ко мне не потому, что я для тебя — еще одна, и ничего больше». Токарский вздохнул и открыл глаза.

— Неужели уснул?

Она засмеялась.

— Спите, пожалуйста. Я тоже устала.

— Нет, позор. Еще и храпел, наверное.

— Нет.

Токарский встал и поклонился.

— Ну, хватит. Праздник кончился. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

31

Прямо с поезда Игорь поехал к Петьке Аникину и, не застав его, оставил записку: «Позвони. Игорь». Дома он умылся, переоделся и съел все, что было у Павлы Порфирьевны, даже старую, предназначенную для кота, рыбную котлету.

Витька Бермонт был знаком с ребятами из Московского энергетического, работавшими в Химкинском порту,

и Игорь поехал к нему — на этот раз без колбасы, тем более что опыт «относительного голодания» был, по-видимому, закончен. Они встретились у проходной. Витька похудел за неделю, щеки провалились. Черная гривка теперь висела отдельно над маленьким скуластым лицом.

— Еще жив, идиот? — спросил Игорь.

— Как видишь.

— Послушай, это ты мне говорил, что ребята из МЭИ могут устроить на холодильник в Химкинский порт?

— Я.

— И действительно могут?

— Ты же собирался в Крым?

— Не поеду. Нужно подработать.

— Ладно, позвони на днях.

— Завтра.

— Хорошо. Как Петька?

— Не знаю. Играет.

Витька засмеялся.

— Надо бы встретиться.

— Конечно, надо. Ну, пока.

Вечером Витька позвонил, что ребята могут устроить, но временно, взамен одного парня, который кончил сессию и собирается домой на несколько дней.

— Значит, я буду работать за кого-то другого?

— Да. Теперь твоя фамилия будет Гурко.

— Не выйдет.

— Как хочешь. Другой возможности нет. Школьников вообще не оформляют. А студенты постоянно работают друг за друга. Кстати, окажешь парню услугу. Он не вылетит из списка.

— Ладно. Когда и куда?

— Завтра к восьми на рыбный причал, спросишь Автономова, бригадира.

— Спасибо.

— Не на чем. Заходи.

32

На палубе работали вчетвером: двое подавали, а двое, схватив мешок за концы, бежали к грузовику и возвращались. Трюм понемногу пустел, и тогда еще двое прыгали вниз, в сырую, пропахшую воблой глубину. Мешки смерзлись, ушки, за которые нужно было хвататься, при-

ходилось отбивать ногой. Игорь хотел прыгнуть в трюм. Его остановили:

— Ты сегодня первый день? Обожди. Привыкнешь.

Среди студентов были ребята не выше и не сильнее его. Может быть, он слишком старался? Не прошло и двух часов, как у него заныла спина, а руки разгибались с трудом, как будто им мешали чьи-то другие, железные руки.

Его подташнивало от запаха воблы, от усталости, от голода. Он не успел позавтракать дома. К лицу прилипли чешуйки, он отирал пот рукавом.

В столовой студенты громко разговаривали, шутили. Ему казалось, что у них, как в немом кино, открываются и закрываются рты. Он не мог разговаривать. Через двадцать минут он встанет, пойдет на баржу, и снова начнется растаскивание смерзшихся мешков, хватание за ушки и подача. Теперь он стоял в первой паре, принимавшей мешки, бежавшей к грузовику и возвращавшейся обратно на баржу.

Он крепко заснул в попутной машине, развозившей воблу по магазинам, и во сне тоже принимал мешки, бежал, возвращался. У Сокола шофер разбудил его. Он спустился в метро, пропахшее воблой. Вся Москва пропахла воблой, лестница, квартира, комната Павлы Порфирьевны, накрывавшей на стол. Она о чем-то расспрашивала с беспокойством. Он отвечал, не слыша.

Поужинав, он лег, попросив старушку разбудить его в шесть утра, и — так ему показалось — сразу же стал отбиваться от нее, натягивая на голову одеяло. Уже было, оказывается, ровно шесть.

Второй день был труднее, чем первый, но и легче, потому что время от времени ему начинало казаться, что поднимает мешки не он, а кто-то другой. Он думал о деньгах. За смену платили по четыре рубля. Значит, нужно работать неделю с лишним, чтобы вернуть долг Петькиному деду. За ночные смены платили больше. Потом, когда он привыкнет, можно перейти на ночные.

«А мама в Венеции,— подумал он с нежностью.— «Узкие переулки поражают своим глубоким немым выражением. Черная гондола, черный платок на плечах венецианки выступают здесь в строгом, почти торжественном значении векового обряда». Он шевелил губами, вспоминая. Все это было не об Италии, а о матери, которая скоро будет здесь, с ним, в Москве.

33

...Последние часы поездки, к обеду туристы будут в Москве. Они говорят об этом в автобусе, покидая Брюссель, мелькнувший и запомнившийся, незабываемый и мгновенно забытый. Лихая реклама на стене последнего дома «Diablement bon», атомиум, похожий на иллюстрацию к старомодному фантастическому роману о селенитах. Аэропорт. Дети.

Детей было почему-то много — девочки, причесанные по-взрослому, мальчики в хорошеньких кепи. Молодые мамы вели их или несли на руках. Мальчик с крепкими румяными щечками заревел — позавидовал сестренке, которую носильщик посадил па складной катящийся стул. Мама пристыдила его. Все засмеялись. Валерия Константиновна засмотрелась на детей и очнулась, почувствовав на себе серьезный, ласковый, внимательный взгляд.

— Прелестные, правда? — спросил Токарский.

Они стояли в очереди за паспортами.

— Да.

— Вы любите детей?

— Очень.

...Самолет еще не взлетел, а Сева уже спит, откинувшись в кресле,— человек, о котором Токарский сказал, что ему интересно все, даже спать. Он побледнел, под глазами круги, лицо с круглым носом кажется детским во сне. Он устал: нужен год, чтобы узнать и запомнить то, что он узнал и запомнил за двенадцать дней. Можно отдохнуть до Москвы. А потом? О, потом начнется работа! Он еще не был в панорамном кино. Правда ли, что в Литературном институте учат писать? На Шарикоподшипнике загазованность доведена почти до нуля. Нельзя ли воспользоваться этим устройством на нашем заводе? Сегодня вторник, в Николаеве он будет в субботу.

— Николаев? — сказала Валерия Константиновна.— Ну как же, город невест.

Интересно, поправится ли ожерелье Кате? Какая добрая та стекольщица на Мурано. Сева спит и не спит. «Здравствуй, Катя. Ты дома?» — «А где же мне быть

еще?» — «Постой, да что же ты плачешь?» — «Не знаю, соскучилась».

А вечером — сонный Ингул, тонкие полоски мачт, лунная дорожка на ровном разливе другой, не венецианской лагуны.

Аникины поссорились в Брюсселе, он нарочно обменялся местами, чтобы не сидеть рядом с женой. Он читает. Тревожно поглядывая на него, она притворяется спящей. «Боже мой, что же делать? Он меня ненавидит. С каким отвращением он выкинул из чемодана какую-то мелочь, грошовую пудреницу, которую я купила в Милане. Он уложил свой чемодан отдельно, этого не было еще никогда. Неужели он уйдет от меня? Да нет же, мы ссорились и мирились тысячу раз. Даже не мирились, а просто все сглаживалось, и жизнь продолжалась. Я нужна ему, очень нужна, он привык ко мне. Он любит Петечку, он не может жить без него. Только не надо больше ездить вместе. Ему кажется, что я мешаю ему. Ему это всегда казалось. Пускай ездит один или даже с кем-нибудь, все равно. Я старая, я ему не мешаю. Мы ссорились и мирились. Это сгладится. С аэродрома он поедет домой».

Руки встречаются, когда Токарский помогает Валерии Константиновне расстегнуть пояс на кресле. Она смотрит на его руки — сильные, с широкими ладонями, с поблескивающей, смуглой кожей пятидесятилетнего человека. Скоро Москва. Осталось только два часа до первой разлуки. «У меня счастливое лицо. Это стыдно. Я счастлива, потому что он коснулся меня. Он рядом. Неужели так будет всегда? Он спросил меня: «Где и когда мы увидимся снова?»

Валерия Константиновна смотрит в окно. Косые лучи неземного кристального света упираются в серебристое, выстланное облаками поле.

А Игорь сидит у Пети в комнате с лоджией и рисует рожи на нотной бумаге. Мефистофель, повар в колпаке, лицо старика с треугольными мешочками под глазами. Они говорят о девчонке, которая прислала Пете письмо. Игорь думает, что она вовсе не дура. Плохо только, что

вчера, в воскресенье, они ездили в Измайловский парк и потеряли ее, даже не потеряли, а, заговорившись, забыли ее у перекидных качелей. Она обиделась. Сегодня, когда Петя позвонил, она повесила трубку. Нет, все-таки дура.

От Игоря пахнет воблой, он приехал с работы. Они болтают, курят, и Петя с обожанием смотрит на друга. Над рожами появляется подъемный кран, над краном — палуба с черными человечками, из темной глубины на палубу вылетают мешки. «Мама умоется, сядет за стол: «Ну, как ты здесь без меня?» Над палубой появляется Дворец дожей, который, оказывается, очень удобно рисовать на нотной бумаге.

И Петя думает о том, что завтра приезжают родители. Придется встретить их, если ничего не удастся придумать.

— Ты понимаешь, я даже не могу тебе объяснить. Не могу с ними жить — вот и все. Кончу школу — и уйду! Поминай как звали!

Он садится за рояль. Он играет это «уйду», которое без музыки объяснить невозможно.

«Не хочу лгать и притворяться,— играет он.— Не хочу равнодушно смотреть, как лгут и притворяются другие. Не хочу быть таким, как отец с его талантом и славой. Никому не нужен его талант, а что это за талант, который никому не нужен? Нет, мы другие. Сейчас я буду играть, какие мы, и Игорь, который не думает, как Витька, что музыка — это организованный шум, поймет, что я играю о нем».

Нужен был день раннего лета, чтобы изобразить, какими они с Игорем будут через несколько лет, и он стал играть этот день в Ясной Поляне, где он был давным-давно, когда родители еще не поссорились с дедом.

Дед поехал в Ясную Поляну и взял его с собой. Они осмотрели дом и пошли на могилу Толстого. Но не дом и могила запомнились и поразили Петю, а яблоневый сад, который показывал им прихрамывающий седой человек. Этот сад погиб от морозов, его спилили, но несколько деревьев остались и весной вдруг дали молодые побеги. Яблони были очень старые, с грубой, узловатой корой, похожие на камни. Но над этими камнями зеленели ветки в белых цветах, упруго покачивающиеся под ветром. Солнцу, которому все равно, *что* освещать, в этот день было не

все равно, и оно выбрало этот угол сада нарочно, чтобы он запомнился Пете. И он играл теперь чудо этих яблонь и острое чувство надежды, восхищения, которое испытывали люди, пришедшие сюда и как бы ставшие частью этого сада. Он играл блеск солнца на молодой траве, прохладу еще не согревшейся земли, качанье веток под осторожным ветром...

— Ну ладно, мне пора,— сказал Игорь, вставая.— Поедешь предков встречать?

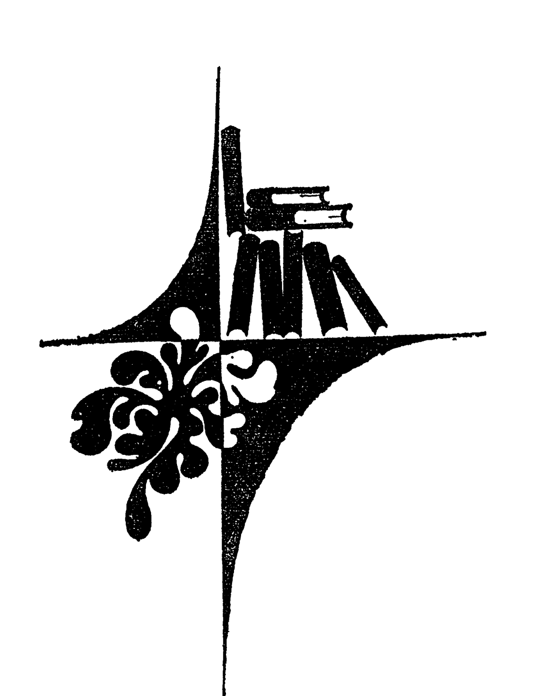
— Да.

— На машине небось? Захвати меня. Я завтра не пойду на работу.

1962

ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ

РОМАН



1

Какое все-таки счастье, что жена так слепо верит ему! Сейчас она войдет, не стучась, смешно щурясь (она скрывала близорукость), и спросит значительно: «Ну как?» — хотя ничего не произошло и не могло произойти за ночь.

Снегирев вскочил и стал делать гимнастику, поглядывая не без удовольствия на собственное отражение, мелькавшее в стеклянной двери балкона. Раз-два! Он почти не сомневался, что анонимное письмо написала Шахлина или та рыжая, которая никак не может забыть, что как-то в Керчи, от нечего делать... Он легко приседал, выбрасывая руки.

День был солнечный, за просторными окнами неподвижно стоял морозный воздух, пронизанный светом снега и солнца. Раз-два! Лежа на спине, Валерий Павлович делал «ножницы», ритмично раздвигая ноги. Да, часов в шесть он позвонит Ксении. Он подумал о ее ногах, розово-смуглых, с тонкими лодыжками, еще загорелых с лета. Не слишком ли часто? И вообще, не много ли женщин? Все-таки уже не тридцать. И не сорок.

Он не мог удержаться от смеха, когда, осторожно ступая длинными ногами, в болтающемся халате, жена вошла и спросила:

— Ну как?

2

...Шахлина или та, рыжая, фамилию которой Мария Ивановна никак не могла запомнить. Эти девчонки! Они все влюблены в Валерия Павловича, ревнуют, способны на

гадость. Нет, письмо — вздор! И она умно поступила, показав его мужу. Но как быть с Алешей?

Она надела халат и пошла будить Валерия Павловича. Он уже делал гимнастику, розовый, со спутанными волосами, и когда Мария Ивановна показалась на пороге, засмеялся и сказал:

— Все в порядке.

Чувство озабоченности, которое Мария Ивановна постоянно испытывала по отношению к мужу, к его делам, настроению, здоровью, не то что исчезло, но как бы отошло в сторону, когда она оделась к утреннему кофе. Она считала, что именно к завтраку нужно одеваться тщательно и даже нарядно. В черном платье, которое — она это прекрасно знала — особенно шло к ней, она вошла в столовую, где Валерий Павлович уже сидел за столом, небрежно просматривая газеты. Сказать или нет? Глядя на мужа, свежевыбритого, моложавого, аппетитно жующего, с круглыми блестящими глазами, она думала о том, как неприятно будет ему узнать о проступке Алеши. Но сказать все-таки необходимо. Алеша учится в одном классе с Женей Крупениным, а Женя мог рассказать об этой истории дома.

— Лариса Александровна звонила, что ей лучше. Подумать только, после второго сеанса.— Мария Ивановна лечила знакомых сердоликом, хотя окончила институт Театрального искусства.

Валерий Павлович промолчал, и она обратилась к другой теме. Она привыкла к тому, что муж начинает слушать ее не сразу.

— Матрешу просто не узнать после того, как умер Павел,— сказала она оживленно.— До неузнаваемости поправилась и похорошела. Естественно! Вечно с синяками ходила.

Матреша была лифтерша, а Павел — ее муж, слесарь-водопроводчик.

Мария Ивановна покровительствовала лифтершам, домашним работницам, маникюршам. Она была из рода Козодавлевых и любила повторять, что на самом деле Козодавлевы — это старинная шведская фамилия Коос-фон-Даллен.

Валерий Павлович опять промолчал, и она решилась, наконец, перейти к делу:

— Прекрасный молодой педагог, которого на последнем родительском собрании называли находкой для шко-

лы. Почему мальчики вдруг ополчились на него — загадка! Причем именно Алеша, у которого, кстати, по истории всегда были пятерки.

Валерий Павлович поднял глаза от газеты.

— А что случилось?

— Решительно ничего.

— Все-таки?

— Алеша сказал грубость историку и получил тройку по поведению.

Валерий Павлович отложил газету.

— Он дома?

— Да, но только...

— Позови его.

Мария Ивановна умоляюще сложила руки, но у него опасно потускнели глаза, и она торопливо пошла за сыном.

Алеша вошел, потупясь, и сказал:

— С добрым утром.

Он был похож на мать — длинный, бледный, с широко расставленными глазами.

— Алеша, расскажи отцу... За что ты получил тройку по поведению?

— Я писал контрольную, а Геннадий Лукич подошел и отобрал.

— Почему?

— Не знаю. Очевидно, решил, что я списываю у Женьки.

— И это все?

— Да.

— Неправда, Алеша,— возразила Мария Ивановна.— Ты сказал ему грубость.

— Не сказал, а прошептал. Я не виноват, что он расслышал. Вообще, я не списывал.

— Допустим. Но все-таки... Что ты ему сказал?

Алеша не ответил. Он вынул из кармана какую-то монету и стал вертеть ее в пальцах.

— Говори! — бешено крикнул Валерий Павлович.

Алеша вздохнул.

— Я исправлю тройку.

— Что ты ему сказал, я спрашиваю!

Алеша покраснел болезненно, слабо. Он смотрел в сторону, с трудом удерживая дрожащие губы.

— Если вы непременно хотите знать, я сказал, что он — сволочь.

— Что?

Алеша поднял глаза на отца, вскрикнул и побежал к двери. Мария Ивановна догнала его.

— Алеша, я очень прошу тебя... Должна же быть причина... Еще в прошлом году...

— Потому что он сволочь, сволочь, сволочь! Из-за него честных людей расстреливали. Он гад!

Алеша выронил монету, покатившуюся к ногам Валерия Павловича, кинулся за ней, но отец уже поднял монету.

— Ах, вот в чем дело! Тогда сядем.— Он взял стул.— И поговорим спокойно.

— Валерий, я прошу тебя... Тебе вредно волноваться.

— А я и не волнуюсь.— Валерий Павлович вертел в руках монету.— Видишь ли в чем дело, Алеша... Ты осмелился обвинить своего преподавателя в тяжелом преступлении. На каком основании? У тебя есть доказательства? А если это клевета? Нет, Алеша, преступление в данном случае совершил не он, а ты. И называется оно — ты еще не знаешь этого слова — инсинуацией. Кстати, откуда у тебя эта монета?

— Выменял.

— Старинная?

— Да.

— Ты сегодня же извинишься перед историком,— пряча монету, сказал Валерий Павлович.

— Разумеется,— поспешно подтвердила Мария Ивановна, взглянув на сына, который, упрямо опустив голову, направился к двери.— Тебе пора, Валерий.

Алеша обернулся.

— Отдай монету,— прошептал он.

Валерий Павлович сделал вид, что не слышит.

— Иди, Алеша,— сказала Мария Ивановна.

— Пускай он отдаст монету.

Валерий Павлович засмеялся.

— Ладно, тогда давай меняться,— с неожиданным добродушием сказал он.— Твоя монета — мои марки. Ты ведь собираешь с портретами?

— Да.

— Я тебе, знаешь, какого Людовика Восемнадцатого достану — только держись!

— При Людовике Восемнадцатом марок не было.

— Ах, не было? Тем хуже для него. Ну, иди сюда.

Он обнял сына за плечи.

— Мир!

В кабинете зазвонил телефон, и Валерий Павлович вышел из столовой. Ему хотелось закрыть за собой дверь — это могла быть Ксения, но он сделал над собой усилие и не закрыл.

— Валерий Павлович?

— Да.

— Сотников, из парткома. Зайдите к нам, Валерий Павлович.

— Что случилось?

— Ничего особенного. Тут справлялись о вас.

— Кто?

— Какой-то Кузин, из газеты «Научная жизнь».

— Что ему нужно?

— Зайдете?

— У меня лекция в час.

— Вот перед лекцией и зайдите.

3

Валерию Павловичу не понравилось, что им заинтересовалась газета, потому что у него были враги, и эти враги, до сих пор сидевшие тихо, оживились теперь, зимой 1954 года. Оживился, например, старый маньяк Кошкин. Мелькнула здесь и там в научных журналах фамилия Остроградского. Это было неприятно, хотя Валерий Павлович, разумеется, ничего не имел против его возвращения.

Перед лекцией он зашел в партком. Сотников ждал его. Да, приезжал какой-то Кузин из газеты «Научная жизнь», спрашивал,— ну, черт его знает, обо всем на свете! Почему-то интересовался защитой дипломных работ. Потом заговорил о вас. Что вы делаете? Где напечатаны последние работы?

— Что же вы ответили?

— Правду.

— Именно?

— Я сказал, что вот уже добрых двадцать лет вы читаете лекции. А насчет работ посоветовал зайти в библиотеку за справкой.

— И больше ничего?

— Да. Впрочем, нет. Уходя, он спросил о Черкашине. Известна ли мне причина самоубийства?

— Что же вы ответили?

— Не известна.

— И больше ничего?

Сотников засмеялся.

— Спросил еще — с какого этажа? Я сказал, что с одиннадцатого. Обывательское любопытство.

4

Статья «Совесть ученого» была запланирована в сентябре 1954 года, и то, что узнал Кузин, еще раз убедило его в необходимости появления этой статьи. Точнее было бы сказать, что его убедило не то, что он узнал,— он почти ничего не узнал, а настойчивое стремление секретаря парткома внушить ему, что подобная статья может принести только вред. С этим Кузин никак не мог согласиться.

Фальсификация в естествознании давно стала бедствием, и необходимо было доказать, что оно не только обходится очень дорого, но и подрывает наш авторитет за границей. Еще недавно, при Сталине, писать об этом было не только опасно, но невозможно. Теперь положение изменилось, и Кузин энергично убеждал начальство, что газета больше не имеет права делать вид, что бедствия не существует.

Кузин был «разработчиком» — редакция держала несколько сотрудников, занимавшихся главным образом проверкой и подготовкой материала. У него была странная внешность — острый, кривоватый нос, острый кадык на длинной шее, седеющие волосы, падающие на лоб, глубоко сидящие, вспыхивающие глаза. Он был похож на Дон Кихота. Приятели-художники рисовали его пятью острыми углами. На самом деле это был антипод Дон Кихота — трезвый человек, не любивший терять времени даром.

В крошечной комнатке отдела естествознания он ждал звонка Горшкова, своего шефа, опытного журналиста. Человек мнительный, осторожный, Горшков умело пользовался инерцией известности, позволявшей ему в течение многих лет сохранять солидное положение. И теперь, думая о предстоящем разговоре, Кузин нервно морщился, представляя себе квадратное лицо шефа и толстые руки, нерешительно перелистывающие разработку. А ведь она была хороша! Правда, Кузин почти не коснулся атмосферы, в которой обычно возникает фальсификация. Это за-

вело бы его слишком далеко. Не написал он, к сожалению, и о секретности, хотя ему было совершенно ясно, что фальсификация почти всегда опирается на секретность, как это было, например, в знаменитом деле Прошьяна.

Но все-таки Кузин отвел душу. Втайне он надеялся, что когда-нибудь его разработки дойдут до ЦК и произведут соответствующее впечатление. Был же подобный случай в «Литературной газете»!

Как все разработчики, Кузин мучительно хотел печататься. Он мечтал о больших, в три колонки, статьях, вокруг которых закипали бы споры. Он видел свои подвалы перепечатанными в «Правде» с кратким, но лестным для него редакционным примечанием... Иногда печататься удавалось. И всякий раз это был праздник, хотя его заметки — он это знал — были написаны принужденно и сухо.

Впрочем, на этот раз не было никакой надежды, что Горшков поручит ему написать статью. Вопрос был серьезный, и автора надо было найти серьезного, с именем. Задача! Он мысленно перебрал несколько имен. Но этот — он решил — не возьмется, а тот — не тянет. Третий был политически хорош, но статья была бы одновременно и резкой и скучной.

Наконец Горшков вызвал его. На этот раз он держался уверенно — должно быть, позвонил главному редактору и получил благословение.

— Кому поручить?

— Алексей Сергеевич, а что, если мы попросим...

Он назвал фамилию.

— Откажется.

— Почему вы думаете? Он же пишет о людях науки?

— Намучаешься с ним,— вздохнув, сказал Горшков.— За каждое слово будет цепляться.

— Зато, если он заинтересуется материалом, он хорошо напишет. Я поговорю с ним, хорошо?

— Поговорите. Ничего не выйдет.

— А я думаю, выйдет. И вы знаете почему? Помните историю студента Черкашина?

— Да, но при чем же здесь...

— Алексей Сергеич, у него в романах постоянно такие истории. Он согласится.

5

Ольга, вдова студента Черкашина, жила на Кадашевской набережной, в квартире, переделанной из подвала. Эти квартиры и до сих пор обращают на себя внимание своими окнами, против которых стоят буквой «п» кирпичные стеночки, огораживающие от осенних дождей и весенних разливов.

Быстрая, никогда не жалующаяся, Черкашина мертвела, думая о том, что ее шестилетняя дочка, которую тоже звали Олей, может заболеть от постоянной сырости. Она ненавидела длинный, с каменным полом коридор, освещенный единственной лампочкой, эти неуютные длинные комнаты — свою и соседей,— которые когда-то были второпях нагорожены да так и остались на добрые полстолетия. Давно пора было обменять комнату, да кто же согласится переехать в подвал?

В райсовете от нее приняли заявление, на работе — в Библиотеке иностранной литературы — обещали помочь. Но все это было туманно, неопределенно. Надо было действовать, хлопотать, скандалить, может быть, дать кому-то денег, в которых она сама постоянно нуждалась... Она не умела ни хлопотать, ни скандалить. Вся надежда была — уже не первый год — на Мишу Лепесткова.

Черкашина была худенькая, беленькая, с косящим взглядом, в котором мелькало вдруг что-то неожиданное, опасное. Может быть, потому, что она, как ни старалась, была одета и причесана небрежно, она производила впечатление воздушности, беспечности...

В этот день пришлось задержаться — ее помощница по экспедиции перепутала адреса на заграничных бандеролях. Правда, соседка обещала привести Оленьку из детского сада. Но нужно было постирать для нее назавтра, помыть посуду и наконец ответить на письмо Платона Васильевича, отца ее покойного мужа.

Все это — кроме письма — надо было закончить до девяти, потому что в девять собирался зайти Лепестков, а она не любила при нем возиться с хозяйством. Он сердился: «Что я за гость?», кидался помогать ей, а однажды, дожидаясь ее прихода, перемыл вместе с Оленькой посуду.

Он так часто бывал у Черкашиных, что соседи в конце концов перестали интересоваться их отношениями — супружескими, как они полагали. Все же двери приоткрывались одна за другой, когда, нагруженный покупками, он

стремительно пробегал по коридору, плотный, плечом вперед, крепко ставя кривоватые ноги.

Миша был другом покойного Бориса Черкашина, но не по университету, а по фронту. Два года — сорок третий и сорок четвертый — они воевали вместе. В университете они оказались на разных курсах — Лепестков поступил годом раньше. Разошлись и интересы: Черкашин занялся рыбным хозяйством, Лепестков — физикой моря. Они встречались редко. Но в предсмертной записке Борис просил друга позаботиться о двух Олях.

С тех пор прошло пять лет в этой комнате с узким окном, из которого, только изогнувшись, можно было увидеть небо. Когда Черкашина уставала от вечного страха за Оленьку, от воспоминаний, от бессонных ночей, ей приходила в голову простая мысль, что все могло бы измениться, если бы Миша... Но мысль приходила и уходила. Молчал и он. И Черкашина напевала, поправляла летящие волосы, смеялась, болтала и, слушая, как Миша выговаривает ей за неумение жить, вдруг поднимала на него влажные, разбегающиеся глаза.

...Все было бы сделано вовремя, если бы не испортилась плитка — по вечерам Ольга Прохоровна не пользовалась керогазом. Правда, пока она ее чинила, дочка приготовила себе постель, прибрала со стола, помыла посуду — у нее были ловкие ручки. Вода согрелась, голенькая Оля, с заплетенной косичкой, встала в таз, и мать стала весело растирать ее губкой. Обе раскраснелись, растрепались.

— А летом к деду Платону поедем...— приговаривала Черкашина.— Дед хороший, с палочкой, слепенький.

В дверь постучали. Они не слышали. Постучали еще раз, и Черкашина, думая, что это Миша, крикнула:

— Войдите!

Незнакомый человек в осеннем пальто и зимней пыжиковой шапке — это был Кузин — приоткрыл дверь.

— Извините.

— Одну минутку. Подождите, пожалуйста, в коридоре.

Черкашина прибрала в комнате, уложила дочку и, наскоро причесавшись, сменила халатик на платье.

— Мама, это дед Платон? — звонко спросила Оля.

6

Кузин пришел к Черкашиной, чтобы дополнить свою разработку. В истории ее мужа были неясности, подсказавшие Кузину соображения, которые могли заинтересовать автора будущей статьи. Как человек деликатный, он заранее обдумал разговор и начал его издалека. Ему немного мешало, что Черкашина оказалась такой молодой, бело-розовой, с кое-как закрученным узлом волос на затылке. К ней совсем не подходило слово «вдова», скорее она была похожа на невесту.

— Снегирев? — как будто не поверив ушам, переспросила она.

И с этой минуты начались странности, изумившие Кузина. Черкашина побледнела, черты ее опустились, и когда, помолчав, она взглянула на Кузина, в ее глазах было не прежнее беспечно-заинтересованное выражение, а строгое и тревожное. Что-то как будто замкнулось в ней, она начала отвечать медленно, глядя в сторону, неопределенно. Да, ее муж работал в снегиревской экспедиции летом 1948 года. Отношения? Тогда были хорошие. Со Снегиревым и не могло быть других.

— Что это значит?

Она промолчала. Кузин заметил, что, насколько ему известно, многие находятся со Снегиревым в плохих отношениях. Опять промолчала. Разговор стал останавливаться, спотыкаться.

— Простите, Ольга Прохоровна, что я вынужден коснуться... Я понимаю, что этот вопрос для вас... И если вы...

В дверь постучали. Черкашина поспешно сказала:

— Войдите!

Плотный мужчина, лет тридцати, неуклюже, плечом вперед, протиснулся в комнату.

— Ох, как хорошо, что вы пришли, Миша! — повеселев, сказала Черкашина.— Познакомьтесь, это товарищ из газеты.

Мужчина неторопливо повесил полушубок на гвоздь. У него было красное лицо с туманными и, как показалось Кузину, лишенными всякого выражения глазами. Он назвал себя: «Лепестков», взял стул и приготовился слушать.

— А Снегирев знает об этой статье? Которую вы собрались написать?

— Может быть, и не я.

— Это все равно...— пробурчал Лепестков.— Важно,

знает или не знает. Потому что, если он знает... Ну, словом, тогда не выйдет.

— Почему?

Лепестков стал смотреть в потолок.

— Такой уж он влиятельный человек? — спросил Кузин.

— Да.

— Хороший ученый?

— Ну нет!

— Так в чем же дело?

Лепестков опять замолчал. Взвешивающее, оценивающее выражение прошло по его лицу. «Кто тебя знает, кто ты такой? И почему я, собственно, должен говорить с тобой откровенно?» Так Кузин расшифровал его размышления.

— Послушайте, вы видите меня в первый раз. Но, поверьте, я ничего не хочу, кроме как добраться до истины, а по всему видно, что вы могли бы помочь. Допускаю, что ко мне у вас недоверчивое отношение, но в данном случае...

Лепестков смотрел в потолок. Черкашина без всякой надобности поправила на спящей девочке одеяло.

— Послушайте, я прекрасно понимаю. Приходит человек с улицы, даже не приходит, а врывается... Но ведь не в интересах же Снегирева поднимать эту историю?

Лепестков что-то вопросительно пробормотал. Черкашина кивнула.

— Что?

— Нет, это я Ольге Прохоровне сказал. Вот что, пойдемте куда-нибудь отсюда. Мне пора. Если вы можете проводить меня до метро, я вам кое-что расскажу.

Он надел треух и полушубок, кивнул Черкашиной и, не дожидаясь, пока Кузин попрощается, вышел.

7

— Я ушел, потому что не хотел при Ольге Прохоровне говорить о ее муже. Ведь вы о Борисе хотели ее расспросить?

— Да.

Они шли по Кадашевской набережной, пар клубился над темной, почему-то незамерзшей водой. Люди в кожухах в клубах пара что-то делали на барже, от которой ползли к берегу толстые грязные змеи кольчатых труб.

— Я знаю, что вас интересует, и могу рассказать, хотя

убежден, что из этого до поры до времени ничего не выйдет. Дело в том, что эта история — частность.

— Хороша частность!

— Именно так. Если сравнить самоубийство Черкашина с тем, что тогда происходило в науке...

— Вы имеете в виду биологию?

— Да, в широком смысле. Так вот, если представить, что перед вами — театр, скажем, трагедия Шекспира, это самоубийство... Ну, скажем, какой-нибудь Яго оступился, слегка подвернув ногу. А спектакль идет своим чередом. В этой истории Снегирев именно слегка оступился. Его пожурили, тоже слегка, а потом... Кому охота ссориться с таким человеком?

— С каким таким?

— Да уж с таким...

— Мне охота.

— Вы — другое дело. Вы — не биолог, не ихтиолог, не пишете диссертаций и не нуждаетесь в жилплощади.

— Как раз нуждаюсь.

— Все равно. Вы — человек другого круга.

— Пожалуй,— смеясь, сказал Кузин. Ему нравился собеседник. И Лепестков не без любопытства поглядывал на кривой нос, торчавший из-под низко надетой пыжиковой шапки, на острые плечи, на всю нескладную длинную фигуру Кузина.

Они прошли через Малый Каменный, цветные лампочки на кино «Ударник» сонно просвечивали сквозь молочный воздух. В пустом сквере одиноко бродили закутанные бабы-сторожа, прошла, громко разговаривая, компания молодежи.

— Так вот Черкашин. Он писал стихи.

— Да?

— Плохие. И биологом он был плохим. Он очень хорошо воевал. Не потому, что был человеком военным, а потому, что война была для него... Ну, не знаю. Чем-то вроде искупления. Он был человеком фанатическим, предававшимся делу без оглядки. Истовым и неистовым.

— То есть?

— Ну, это вроде каламбура. Одно у него не мешало другому. Вдруг сожмет зубы, побелеет. Мог убить. На войне ведь убивали по-разному. Он — свято. Кроме того, он был с корнями...

— В социальном смысле?

— Именно. Всех своих односельчан он прекрасно знал,

бедствия их волновали его постоянно. Он возмущался, кипел, куда-то писал. Колхоз был рыбачий, где-то под Керчью, и его ихтиология взялась именно оттуда. Он намеревался после вуза вернуться в колхоз. Вы замерзли?

— Да. Но это не важно. Рассказывайте. Интересно.

— Зайдем в магазин, возле «Ударника», и погреемся. Там можно даже, кажется, выпить у стойки.

— Я не пью, у меня язва.

— Вот от язвы как раз и лечатся водкой.

У стойки можно было выпить только шампанское. Они постояли, греясь, искоса поглядывая друг на друга. Дверь хлопала, люди входили красные, с заиндевевшими волосами. Морозный воздух врывался, клубился и таял.

Кузин, который не ел с утра, купил сладкую булку и съел. Они еще немного поговорили о язве.

— На чем я остановился? А, да! На факультете Борис попал к Снегиреву. Не сразу, а на четвертом курсе, когда тот взял его с собой в экспедицию на Каспийское море. Это была экспедиция... Словом, наблюдения Бориса не устроили Снегирева.

— Почему не устроили?

— Потому что у Снегирева была работа... Гм, тут бы надо кое-что объяснить. Работы не было.

— То есть?

— Работа — и притом вполне удавшаяся — принадлежала другому человеку, а Снегирев как раз стремился ее опровергнуть.

— Зачем?

— Ну-с, это длинная история. Не вдаваясь в подробности: он взял с собой Бориса, чтобы тот подтвердил его возражения, а Борис... Вот тут и началось! Он долго не решался поговорить со Снегиревым, и мы его готовили — Ольга и я. Это было трудно. Он кричал, а Ольгу даже побил.

— Не может быть!

Лепестков промолчал. Он снял треух и вытер носовым платком вспотевший лоб и слегка вьющиеся некрасивые волосы. Его и без того красное лицо еще покраснело.

— Словом, уговорили мы его, он пошел, а вернулся уже полусумасшедшим. Снегирев выслушал его, швырнул в лицо статью и сказал: «Не может этого быть!»

Кузин вынул записную книжку.

— Пожалуйста,— сказал Лепестков в ответ на его вопросительный взгляд.— Кстати, это была не статья, а диплом. А когда Борис стал возражать, Снегирев ответил

ему буквально следующее: «Необходимо доказать, что я прав, а на ваши данные мне наплевать». И вот, что любопытно... Вам трудно судить, вы Черкашина не знали. В нем было что-то от протопопа Аввакума — подохну, а тремя перстами креститься не стану! Я ни минуты не сомневался, что он упрется — именно так он вел себя на войне. Ведь от него потребовали — ни много ни мало, чтобы он стал другим человеком. Конечно, Снегирев не осмеливался требовать впрямую, он намекал, но намек был ясный: «Не подделаешь — не допущу к защите».

В магазине стало шумно. Женщины стали ругать продавщицу, отпустившую яблоки без очереди: «Та стояла, эта не стояла». Они ушли.

— Теперь куда? — спросил Лепестков.

— Куда хотите.

— Может быть, ко мне? На улице записывать неудобно. Я живу недалеко, па Ордынке.

— Я вас не стесню?

— Ничуть. Правда, у меня скромно. Зато тепло.

Они пошли назад через мост.

— Ничего, вы рассказывайте,— попросил Кузин.— Я запомню, а потом запишу.

— Ладно. Так вот. Надо было подчистить данные и на основании новых, взятых с потолка, доказать, что Снегирев прав. Шутка ли? Но тут подошла весна, я должен был ехать на практику, и Борис мне сказал: «Если подделаю, удавлюсь». Тут же он стал доказывать, что, в сущности, диплом — вздор, а главное — окончить и вернуться в село. Он как будто убеждал меня, что ему ничего не остается, как подделать данные,— и тут же, между прочим, шутил и ломался. Он был из тех глубоко порядочных людей, которые в безвыходном положении начинают вести себя странно — не то каются, не то ерничают.

Лепестков полез в карман за носовым платком.

— Я уехал,— продолжал он, шумно высморкавшись.— Так что все прочее расскажу уже с чужих слов. Во двор и налево...

Они прошли под низким сводом ворот. Старый двухэтажный флигель стоял в глубине двора. Здесь было не по-городскому тихо, скрип снега стал слышен под ногами. Над флигелем плыла зимняя, полная, еще золотая, но уже просвечивающая голубизной луна.

— Сюда,— сказал Лепестков. К здоровенному каменному флигелю была пристроена деревянная боковушка, в ко-

торой уютно светилось оконце.— Сам выстроил. Конечно, не своими руками. Впрочем, до некоторой степени и своими.

Пристройка состояла из просторного тамбура, в котором было так же холодно, как на дворе, и маленькой комнаты, прибранной и довольно уютной. Круглая печь была, видимо, недавно натоплена. Над столом выгибала длинную шею чертежная лампа. Вдоль глухой стены стояла высокая, почти до потолка, книжная полка, в которой здесь и там были устроены закрытые шкафчики. «Для белья»,— подумал Кузин и сразу невольно сказал: «Ого!», увидев в одном из шкафчиков, который открыл Лепестков, много винных бутылок разного размера и вида.

Лепестков поставил на стол коньяк.

— Да, черт, совсем забыл! Вы не пьете. Так, может, устроить для вас чай? Мигом!

— Спасибо, не надо.

Взглянув на часы, Кузин достал крошечный пузырек с белыми шариками. Он высыпал шарики на ладонь, отсчитал восемь и слизнул с ладони.

— Гомеопатия?

— Да.

— Помогает?

— Кто его разберет. Говорят — да, если по часам есть. А я, видите, как... Зачем-то булку сожрал в магазине. То там ухватишь, то тут.

8

— Стало быть, я уехал до осени. И вот что произошло после моего отъезда: Черкашин подчистил данные, причем, видимо, торопился, потому что это было сделано кое-как, неумело. И все-таки удался номер! Торопясь доказать свою правоту, Снегирев поручил Борису прочитать доклад на студенческой научной конференции. Что было делать? Он согласился. На этой же конференции был показан фильм, снятый экспедицией, и хотя во время демонстрации произошло досадное недоразумение — победа была полная. И через несколько дней Черкашин покончил с собой — и надо сказать, обдуманно. Кто-то из его земляков остановился в гостинице «Москва», Борис зашел к нему, поболтали, выпили. Потом земляк пошел принимать душ, а прежде, заметьте, принял душ и надел чистую рубашку Черкашин. Когда земляк вернулся, номер был пуст

и на столе лежала записка. Это была одна из многих записок. Он и в деканат написал, и отцу, а жене, между прочим, ни слова.

— Вы сказали: «Через несколько дней»?

— Да.

— Что же произошло за эти несколько дней?

— Почему вы спрашиваете?

— Потому что причина не ясна. Совесть?

— Это немало.

— Верно. Но все-таки — жена, дочь. Односельчане, с которыми он был так тесно связан. Решиться на такое? Значит, другого выхода не было?

Лепестков не ответил. Он налил коньяк, выпил. У Кузина заболел живот. «Черт, проходили мимо аптеки, надо было купить белладонны».

— Михаил Леонтьевич,— сказал он,— и все это, по-вашему, частность?

— Разумеется. Кто такой Черкашин? Всего-навсего студент, и, повторяю, не очень способный. А слышали вы, например, об Остроградском?

— Слышал.

— Давно?

— Две недели тому назад.

Лепестков засмеялся.

— Бессмертный этот рассказ Чехова, где в поезде встречаются двое, один — знаменитый ученый, академик, другой — инженер, тоже известный. И оказывается, что они ничего друг о друге не знают... Как же так? Вы собираетесь писать об ихтиологии, океанологии и ничего не знаете об Остроградском?

— Почти ничего. Расскажите, Михаил Леонтьевич.

Лепестков поднял глаза — не такие уж туманные, как показалось Кузину с первого взгляда. Впрочем, может быть, и туманные — но трогающий, глубокий свет пробивался в этом тумане. Он сидел в старом, потертом кресле, смешно оттопырив губы, может быть, снова взвешивая, оценивая, как тогда, у Черкашиной? Нет, теперь он задумался о другом. Глаза окинули книжную полку, потом остановились на какой-то рукописи, лежавшей на столе, потом с притворным равнодушием уставились в потолок — и погасли. Кузин тоже взглянул на рукопись, довольно толстую, в зеленой папке. Название было написано крупно, синим карандашом: «Безнаказанное преступление. Из истории советской биологии».

9

Остроградский не отбыл полного срока, и был отпущен как «актированный», то есть безнадежно больной. Ждать пришлось долго, почти целый год. И дождались из двенадцати только пятеро, в том числе и он. «Актированных» отправляли в красноярский Дом инвалидов, где, по слухам, жилось недурно. Был и другой выход — семья могла взять освобожденного на свое иждивение.

У Остроградского не было семьи. Когда его арестовали, жена осталась в Москве, ее не тронули, он получал от нее посылки. Письма были спокойные — на первый взгляд, но безнадежные, с какими-то намеками, половину которых он не понимал. В квартиру на Петровке въехал сотрудник МГБ с семьей, «и это даже к лучшему,— писала она,— потому что иногда очень страшно одной по ночам». Он снова не понял — почему же одной? Где Маша? Потом письма прекратились. Племянница Остроградского, Аня Долгушина, жила в Москве; он написал ей, и она ответила, что Машенька умерла от дифтерии в апреле 1951 года. Об Ирине она писала с беспокойством — бродит, растерянная, ничего ей не нужно, только твердит, что проглядела дочку. Наконец он дождался письма от Ирины — и понял, что больше никогда не увидит ее. Письмо было самое обыкновенное. «Вот лето и кончилось»,— писала она. Но она сама кончилась, и он знал, что умолять ее приободриться, ждать его значило так же мало, как умолять умирающего не умирать.

Он получил вызов от племянницы. Правда, в отпускном свидетельстве был указан Серпухов, а не Москва, но еще в поезде, в шуме и духоте переполненного вагона, радуясь этому шуму, стараясь по лицам, по разговорам понять, что произошло после смерти Сталина, что происходит в стране, он решил, что только отметится в Серпухове, а там...

Он прислушивался к погромыхиванию уносящегося поезда, и в нем самом что-то поднималось, уносилось, подступало к горлу. «Сердце»,— подумал он с тревогой. Но тревога была другая, нелагерная. Все было нелагерное, странное своей обыкновенностью, отсутствием чувства чужой, беспрерывно, днем и ночью, направляющей воли. Как про болезнь говорят «отпустило» — так отпустило и его. Впрочем, его и физически отпустило: в лагере у него

давление было 140 и 240 — и упало почти до нормы, едва он вышел за ворота.

Мысль, которая, как ему казалось, одна только и спасла его в заключении — он думал о ней три года,— продолжала помогать ему и теперь. Она была связана с теорией, которую он предложил в 1949 году, перед самым арестом, но уточняла эту теорию, доказывала ее неожиданное и громадное практическое значение. В лагере она была почти страшна своей несопоставимостью с унижениями, голодом, непосильным трудом. Он не умер, потому что знал, что эта мысль умрет вместе с ним. Теперь она была совсем другой — летящей, мчащейся, повторяющейся ровно и бодро в стуке колес.

«Но как доказать ее? — думал он почти беспечно.— Без лаборатории, без приборов, очень сложных, которых нет в Серпухове и еще нет, вероятно, даже в Москве?»

Он доехал до Серпухова и получил паспорт. В гостинице не было свободных номеров, или были, но не для него. Он побродил по городу в поисках комнаты, замерз, зашел в чайную, съел солянку, показавшуюся ему необыкновенно вкусной, а потом, подумав, полный обед.

Согревшись, отдохнув и поговорив — это было интересно — с пожилым рабочим-текстильщиком, он поехал в Москву.

Ему все равно пришлось бы уехать, потому что костюм, в котором он был арестован и который теперь, при выходе из заключения, вернулся к нему, оказался худой. В 1953 году, когда Остроградский выступал на вечере самодеятельности, костюм был еще приличный. Потом его, по-видимому, кто-то сносил — кромки на карманах залохматились, швы побелели. Ботинки тоже сносились. Пальто было кожаное, облезлое, с оттянутыми карманами, он сам чинил его на Лубянке. Но пальто было еще приличное.

Аня, добрая и глупая, рассказала, как Ирина вдруг пришла с Машенькой и сказала, что не вернется домой. Но Долгушин все же убедил ее вернуться (из трусости, как понял Остроградский и как действительно думала Аня), хотя Машенька была нездорова. Никому и в голову не пришло, что это дифтерия: температура была совсем маленькая и горло не болело. Потом, когда спохватились, уже ничего нельзя было сделать, хотя сыворотку вводили два раза.

Все это Остроградский знал, но выслушал снова, не расспрашивая, потому что знал в тысячу раз больше, чем

Аня могла рассказать. Долгушин вмешался — и испуганно замолчал, встретив окаменевшее лицо с сухими, страдающими глазами.

Потом Аня рассказала, как после похорон Машеньки она уговаривала Ирину поехать к родственникам Долгушина в Курск, и та согласилась, даже стала собираться в дорогу, только сказала, что ей хочется немного полежать, отдохнуть. Но как раз этого-то, по мнению Ани, и нельзя было делать. Она лежала, повернувшись к стене, и почти ничего не ела. Старалась, но не могла, не могла...

Первый день у Долгушиных прошел хорошо, может быть потому, что Остроградский сразу поехал на кладбище и вернулся только к вечеру — значит, прошел по коридору (квартира была коммунальная) только четыре раза. Второй — воскресенье — несколько хуже: Долгушин волновался, когда Остроградский выходил в уборную. На третий, увидев за утренним чаем томящееся желтое лицо Долгушина, который, по-видимому, не спал до утра, Остроградский понял, что дальше оставаться нельзя. Он и сам слишком часто оглядывался на телефон, прислушивался к шагам, чувствовал неприятную, сковывающую тяжесть в ногах, проходя по коридору.

Провожая его, Аня с трудом удержалась от слез. Но у нее был, по-видимому, какой-то разговор с мужем, заставивший ее промолчать, когда Остроградский принялся укладывать вещи. Он не отказался от ботинок и только слабо усмехнулся, когда на лице Долгушина, которому было жалко почти новых ботинок, все-таки мелькнуло удовлетворение.

10

Крупенины жили в только что отстроенном доме, у них не было телефона, и он поехал без звонка — это было ошибкой. Лариса Александровна, маленькая, чуть-чуть постаревшая, но с такой же тонкой талией, пышно стриженная (это было модно), восторженно вскрикнула, увидев его, усадила, стала расспрашивать — и его опять «отпустило», когда, рассказывая, он встретился с ее серыми, полными слез глазами.

Василий Степанович был в ванной, она побежала к нему. Остроградский слышал, как она крикнула:

— Вася, знаешь, кто у нас? Не скажу! Выходи скорее!

Она вернулась, стуча каблучками, быстро накрыла на стол, и у Остроградского засосало под ложечкой: такого стола — с длинно нарезанным, желтовато-лоснящимся балыком, с колбасой салями, которую он любил, с вином — он давно не видел.

Рыжий мальчик в очках, румяный и длинноногий, вошел в столовую и неловко поклонился.

— Это Женя,— сказала Лариса Александровна с гордостью.

— Не может быть!

За шесть лет Женя вырос вдвое и стал похож не на отца, а на деда. В двадцатых годах на лекции деда — он читал в МГУ курс русской истории — ходили студенты всех факультетов.

— Рассказывайте же, дорогой Анатолий Осипович, я слушаю, слушаю!

Он продолжал рассказывать, но недолго: пришел Василий Степанович, и с той минуты, когда они пошли навстречу друг другу, чтобы обняться — и не обнялись, началось что-то совсем другое. Со стороны все осталось как бы по-прежнему, хотя Остроградский, который до сих пор почти не чувствовал, что на нем истасканный костюм и не вспоминал о висевшем в передней пальто,— почувствовал и вспомнил. «А, наплевать!» — мысленно сказал он. Но вскоре стало не наплевать. Красный, после ванны, в дорогой пижаме, из-под которой виднелась толстая, розовая грудь, Крупенин ел и слушал. Иногда он мычал — этого Остроградский не замечал за ним прежде. Мычание было сочувственное, хотя и не очень.

Остроградский внимательно посмотрел на его постаревшее, прежде тонкое, теперь тяжелое, как гиря, лицо и встретил взгляд, испуганный, загнанный, молящий — о чем? По меньшей мере, о том, чтобы Остроградский, которому он, Крупенин, не хотел и боялся помочь, ушел. Не только ушел, а позволил бы забыть о его существовании,— и возможно скорее.

Это было неожиданно. А может быть, и не очень? И Остроградскому вспомнилось, как однажды Крупенин шел по коридору в министерстве — не шел, а врезывался, держа голову немного набок, полный решимости немедленно утвердить свое благополучие в каком-то важном или незначительном деле. Вот тогда-то и строилась в воображении эта квартира, эта карьера.

Перемена, происшедшая с Крупениным, была унизительна, и хотя Остроградский испытывал почти физическую боль стыда за него, он все-таки наелся. Ужин был хорош.

Поговорили еще немного — почему-то о медицине. Лариса Александровна лечилась сердоликом. У кого? Она не сказала.

— Анатолий Осипович, вы слышали о сердоликовом лечении? Поразительные результаты!

Крупенин снисходительно усмехнулся.

Надо было уходить — и он ушел, провожаемый его мычанием, на этот раз слегка огорченным, и преувеличенными пожеланиями Ларисы Александровны, которая, повидимому, рассердилась на мужа.

11

Я никогда не читал «разработок», хотя много писал для газет, особенно в годы войны. Та, которую принес Кузин, скромно называлась «материалом к статье». Но это был не материал к статье, а трактат. Некогда Стендаль написал «Трактат о любви». То, что я сперва просмотрел, а потом внимательно прочел с карандашом в руках, было трактатом о мошенничестве в науке.

Он был написан плохо, факты заслоняли друг друга, требуя от читателя не только внимания — работы. Иногда прорывалась ирония, довольно безвкусная: «Вспыхнувшие, как метеоры, открытия благополучно закрывались в благопристойной академической тишине». Иногда — «изящная литература»: «Истина для некоторых деятелей науки — не прекрасная незнакомка, а готовая к услугам первого встречного шлюха». «Голый король» упоминался едва ли не на каждой странице, так что можно было подумать, что королями в науке чувствуют себя только голые короли.

И все же, читая разработку, я подумал, что этот длинный, остроугольный Кузин — талантливый человек, хотя, может быть, бездарный писатель.

— Здесь есть одна история,— сказал он, уходя,— которая, по-моему, покажется вам любопытной.

Историй было много. Не одну, а десять статей можно было написать, пользуясь его разработкой. Но он, без сомнения, хотел обратить мое внимание на странную исто-

рию, разыгравшуюся вокруг какого-то кольчатого червя, о котором я до сих пор ничего не слышал. Она началась давно, еще в 1932 году, когда Остроградский впервые поставил вопрос о том, какое из бесчисленных животных, обитающих в мировом океане, может стать ценным живым кормом для рыбного населения Каспийского моря. Опыты продолжались семь лет. Решено было наконец остановиться на этом черве, который — при общем сочувственном внимании прессы и науки — был в 1940 году переселен в Каспийское море.

О нем забыли и думать в годы войны, но когда война кончилась — или даже раньше, в октябре 1944 года,— один из сотрудников Института рыбного хозяйства вскрыл осетра, пойманного на Каспии, и обнаружил в его желудке кольчатых червей. Остроградский вернулся к отложенной работе, и его экспедиция в течение двенадцати дней установила, что запасы живого корма превышают миллионы центперов. Он стал основной пищей промысловых рыб.

Здесь кончается первая, счастливая часть этой истории. До сих пор ее главными героями были рыбы. Во второй, менее счастливой, на первый план выдвигается человек, которого мне захотелось увидеть. Фамилия его — Снегирев.

Разработка — не статья, в ней можно быть вдвое откровеннее, и Кузин, что называется, отвел душу, рассказывая о Снегиреве. Он начал с общих соображений, доказывая, что «понижение класса точности» коснулось не только биологии, но медицины и, в особенности, сельского хозяйства. В качестве примера он привел докторскую диссертацию Снегирева. На ее защите с наиболее резкой критикой выступил Остроградский. Диссертация чуть не провалилась, и это было началом многолетней вражды, о которой Кузин, увлекшись, рассказал несколько высокопарно: «Он боролся против Остроградского денно и нощно, он следил за каждым его шагом, он внушал другим, что святой обязанностью любого честного гражданина является уничтожение его врага, по крайней мере моральное, если не физическое». Он громил его в рецензиях, правда, не появлявшихся в печати, но не терявших от этого своего влияния.

И вдруг дискуссия прекратилась. Снегирев споткнулся, правда, ненадолго. Его ученик, студент пятого курса, Черкашин подделал экспериментальные данные в дипломной работе. Никто этого не обнаружил, его доклад на

студенческой научной конференции прошел с успехом. Тем не менее через несколько дней он выбросился с одиннадцатого этажа гостиницы «Москва», и, разумеется, разбился насмерть.

«О чем думал перед смертью этот человек? — риторически восклицал Кузин.— Как случилось, что подле него в эти страшные минуты не оказалось друзей, которые удержали бы его от малодушного шага?» Была назначена комиссия, отстранившая Снегирева от преподавания, но «жизнь сделала крутой поворот,— писал Кузин,— и провалившийся ученый, человек сомнительной репутации, вдруг оказался хозяином положения».

Что же это был за крутой поворот, который Кузин смело назвал «возвращением к догалилеевским временам»? Речь шла, без сомнения, о сессии ВАСХНИЛ 1948 года, после которой борьба против Остроградского сразу же приняла политическую окраску. Новый декан, некто П., не только вернул Снегиреву кафедру, но с его помощью занялся разгромом факультета. Многие профессора были уволены, в том числе знаменитый Лучинин.

На Каспий выехала новая экспедиция, «работа которой происходила в атмосфере полнейшей секретности». Зато не было недостатка в слухах. Эти невидимые силы действовали в полную меру.

«А когда настало время подвести итоги,— продолжал Кузин,— Снегирев продемонстрировал кинофильм, который был снят его экспедицией с целью доказать, что безобидный кольчатый червь представляет собой грозного хищника. И, действительно, показанный на экране крупным планом, он с жадностью глотал мотылей. Но в ту минуту, когда это неотразимое доказательство появилось на экране, один из зрителей задал коварный вопрос: «А сколько дней вы его не кормили?» И сотрудница, дававшая пояснения, простодушно ответила: «Десять»...

Снова группа Остроградского, опубликовавшая обширный материал, должна была в комиссиях и подкомиссиях доказывать свою правоту. Снова и снова Снегирев, ничего и нигде не опубликовавший, продолжал утверждать, что безусловно удавшийся опыт Остроградского — не удался».

Но вот борьба оборвалась. Видный деятель заявил, что вся работа Остроградского — замаскированное вредительство. Зимой 1949 года его имя исчезает со страниц научных журналов. Его книги не выдаются в библиотеках. Ра-

боты по акклиматизации останавливаются. Экспедиции свертываются. Научные планы пересматриваются. Остроградский арестован.

12

Я позвонил Кузину, и он явился немедленно — длинный, остроугольный, с кривым носом и ежеминутно щурящимися глазами.

Я сказал, что прочел его разработку и что это не материал к статье, а трактат, который надо издать отдельно, тиражом в сто тысяч экземпляров. Он засмеялся.

— Ну, а серьезно?

— А серьезно — серия статей.

— Так и задумано.

— Несколько вопросов. Вы пишете: «В какую же копеечку обошлась стране деятельность Снегирева?» Вот именно, в какую?

— Можно подсчитать.

— Еще вопрос: где Остроградский?

— Вернулся.

— Он реабилитирован?

— Кажется, нет. Но дело пересматривается. Он живет под Москвой.

— О нем можно писать?

Кузин поскучнел.

— Поговорю с Горшковым. Но я догадываюсь, что он ответит: «Можно, но не упоминая».

— То есть как?

— Ну, не знаю...— уныло сказал Кузин.— Он скажет: «Редакцию интересует этический аспект. А в истории Черкашина он выражен сильнее».

Мы с Кузиным знакомы давно и, хотя встречаемся не чаще двух-трех раз в год, разговариваем по-дружески откровенно.

— Ну, вот что: я не буду писать о Снегиреве.

Кузин вытянул шею, длинную, с торчащим кадыком.

— Почему?

— Во-первых, потому, что мне не нравится эта кухня, где один повар готовит обед, а другой его украшает.

— Очень хорошо. Считайте, что я просто рассказал вам эту историю. Во-вторых?

— А во-вторых, я ничего не понимаю в рыбах. Может быть, Снегирев прав? Или не так уж не прав, как вы

утверждаете. Как писать о людях, которых я никогда не видел?

Кузин подумал.

— Очень хорошо. Мы заставим их встретиться.

— Каким образом?

— Надо повторить эту дуэль,— сказал Кузин. У него вспыхнули глаза.— И так, чтобы она прошла перед вашими глазами.

— Но это невозможно.

— Почему же? Остроградский освобожден, вернулся, а реабилитация не нужна, чтобы встретиться со Снегиревым в нашей редакции.

— На его месте я бы не поехал.

— О, вы меня не поняли! Они не должны знать, что увидят друг друга. Вы против?

— Нет, но... В этом есть что-то неприятное.

— Вы думаете?

— Что-то предательское. Впрочем, дело ваше.

13

Три ночи Остроградский провел у тети Лизы, дворничихи, служившей в том доме на Петровке, где он жил до ареста. Это было небезопасно, хотя из прежних жильцов почти никого не осталось. Но у тети Лизы был общий ход с лифтершей, и незнакомый человек легко мог обратить на себя ее внимание.

Остроградский был осужден без конфискации имущества, при аресте забрали только шкатулку с письмами и несколько книг. Теперь тетя Лиза отдала ему старую байковую пижаму, патефон и медаль имени Семенова-Тян-Шанского, которую он получил еще до войны. Пижаму и патефон Остроградский тут же ей подарил, а красивую медаль положил в портфель. В портфеле он носил бритвенный прибор, полотенце с мылом, два блокнота с перенумерованными лагерной администрацией страницами и письма Ирины.

Он много успел за эти дни. Он подал заявление о пересмотре дела, и заявление приняли. В 1954 году приговор выглядел неправдоподобным: в числе прочих преступлений Остроградского обвинили в том, что он назвал роман, получивший Сталинскую премию, «дамским рукоделием».

Он побывал у старых знакомых. Одни, как Крупенин,

боялись его, другие искусно скрывали страх и даже храбрились, но неуверенно, нервно. Валька Лапотников, которого он знал со студенческих лет, сказал ему: «Ты, брат, на меня не рассчитывай, я теперь сволочь!» — и предложил денег. Остроградский засмеялся и взял.

Но были другие, встретившие его с непритворной радостью — Кульчицкий, Лепестков, Баева, которых он оставил аспирантами и даже студентами.

Миша Лепестков из неуклюжего юноши превратился в неуклюжего мужчину, не переставшего стремительно двигаться плечом вперед, цепляя землю ногами. Его спокойствие поразило Остроградского.

«Вот куда пошло,— подумал он, слушая ровную речь Лепесткова и глядя на его лицо с подернутыми дымкой глазами.— Эти своего добьются, пожалуй!»

От тети Лизы Остроградский переехал к нему на Ордынку. Впервые после ареста ему удалось наговориться вволю о том, что больше всего волновало его — о науке, о положении в науке.

Положение было совсем другое, чем в 1948 году, хотя укоренившаяся привычка оглядываться, говорить шепотом, не доверять друг другу, инерция страха еще продолжалась.

— Но, как известно, согласно закону инерции, тело сохраняет состояние движения, пока приложенные силы не заставят его изменить это состояние,— сказал Лепестков.

— А силы приложены?

— По-моему, да.

Он упомянул о казни Берии.

— Вы знали?

— Еще бы! В лагерях всё знают.

Но Лепестков рассказал о Берии с такими подробностями, о которых в лагерях не знали.

Они заговорили о факультетских делах, и Остроградский даже хлопнул в ладоши, узнав, что декан П. исключен из партии и уже давно — не декан. Генетика — не то что разрешена, а как бы самопроизвольно возникла.

— А с неделю тому назад был разговор и о вас.

— Где? По какому поводу?

— В этой комнате. Со мной. Газета «Научная жизнь» собирается напечатать статью о мошенничестве в науке.

— Спасибо,— смеясь, сказал Остроградский.— К моим грехам только этого не хватало.

Лепестков посмотрел на его тонкое, темное лицо.

— Вы мало изменились, Анатолий Осипович. Другие торопятся, нервничают. А вы...

— И я тороплюсь. Так что же с газетой?

Лепестков рассказал.

— Ого, и Снегирева вспомнили?

— О нем-то, главным образом, и шел разговор.

— Любопытно,— сказал Остроградский.— Не напечатают.

— Я тоже думаю.

— Из-за меня, вот что жалко. Вы не должны были упоминать обо мне.

— Вот еще!

— Разумеется. Я еще не реабилитирован, а Снегирев тут, в сущности, ни при чем.

— Здравствуйте! — смеясь, сказал Лепестков.

— Впрочем, может быть, и при чем, но ведь это, в сущности, мелочь.

— Нет, не мелочь.

Они поужинали. Лепестков достал из шкафчика коньяк, Остроградский отказался, сославшись на сердцебиение. Лепестков выпил и прислушался: тихими вечерами в его комнате был слышен бой часов кремлевской башни. Пробило десять.

— Миша, а как вы попали в ВНИРО?

— Попросился — и взяли. Там спокойнее. Люди дела. Никто не лезет. Кроме того, там Проваторов.

— Хороший человек?

— Да.

— А как вообще?

— Как после тяжелого сна. Медленно приходят в себя. Но уже много молодежи.

— Так Лучинин — академик?

— Да. Знаете, как у нас! Но снегиревская компания держится прочно.

Они помолчали. Лепестков вспомнил, как он впервые, студентом второго курса, пришел к Остроградскому и не застал его дома. Ирина Павловна встретила его. Какие-то художники забежали, и начался длинный спор о живописи, в котором Лепестков ничего не понял. Остроградского все не было, но Ирина Павловна ничуть не беспокоилась, хотя давно прошло время, которое он назначил Лепесткову. Наконец он пришел, опоздав на полтора часа: заболтался с каким-то рыболовом, который понравился ему тем, что удил рыбу спиннингом с Москворецкого моста. Все

было полно естественности и простоты — сама Ирина Павловна, разговоры об искусстве, толстые ломти сыра с хлебом за ужином, маленькая, серьезная дочка, тихо, наставительно поучавшая кукол...

— Анатолий Осипович, я хочу вас спросить. Перед вами прошли сотни людей в лагерях и тюрьмах. Встречались ли среди них настоящие, убежденные контрреволюционеры?

Остроградский засмеялся.

— Вы думаете, они мне в этом признались бы? Впрочем, в Бутырках я сидел с одним мальчиком, который считал себя контрреволюционером. У него расстреляли отца, героя гражданской войны, и он пытался организовать подпольную группу. Любопытно, что ему дали только десять лет. В сравнении с мнимыми преступлениями — это была ерунда. Подумаешь, подпольная группа!

— Он погиб?

— Не знаю.

Они устроились на ночь. Миша достал раскладушку. Остроградский не отказался от дивана, который был коротковат для него и стал впору, когда он сбросил валик.

— Значит, главное сейчас прописка?

— Нет. Главное — реабилитация.

— А в Серпухове можно прописаться?

— Для этого надо найти комнату. Кроме того: жить в Серпухове, а работать в Москве?

— Пока да.

— А деньги? Одиннадцать пятьдесят туда да одиннадцать пятьдесят обратно.

— Деньги найдутся. Завтра поедем вместе в Институт информации и возьмем несколько книг. Напишите рефераты. Там не спрашивают, кто и откуда. Да хоть бы и спросили! Вам дадут!

— Спасибо, Миша.

— А жить вам надо у Кошкина.

— Ивана Александровича? — радостно спросил Остроградский.

— Да.

— Ну, как он?

— Отлично. Вы никогда не были у него на даче?

— Был, конечно, но давно, еще до войны. Но ведь от Лазаревки до Москвы, по-моему, километров тридцать?

— Да.

— Маловато.

— То есть?

— Ближе, чем сто, не пропишут. Зона.

Они помолчали.

— Лабораторию бы...— сказал Остроградский и рассмеялся. Самая мысль о том, что он в своем положении вспомнил о лаборатории, показалась ему забавной.

— Через год.

— Ну да?

— Помяните мое слово. Которое сегодня число?

— Второе декабря.

— Запомним. Доброй ночи.

Остроградский закрыл глаза. На кремлевской башне пробило одиннадцать, потом двенадцать. Он ходил по камере стиснув зубы и мотал головой. Голодовка. Пятый день. Зубы стучали. Он ходил и мотал головой.

«А ну, не думать об этом!» — велел он себе.

И перестал думать.

— И ну спать!

И уснул.

14

Остроградский прописался в глухом селе под Загорском. Условившись высылать хозяйке пятьдесят рублей в месяц, он вернулся в Москву. Прописка стоила порядочно денег, но теперь он зарабатывал. Он свободно читал на четырех языках, а за рефераты в Институте информации платили недурно.

Жить все-таки было негде, скитаться по друзьям надоело, и он согласился поехать с Лепестковым на кошкинскую дачу.

Иван Александрович Кошкин был человеком неукротимым, и не он, а его боялись. Неизвестно, сколько ему было лет — он ненавидел юбилеи. Должно быть, семьдесят пять, а то и все восемьдесят. Но он был еще крепок — среднего роста, прямой, с желто-седым коком, с глубоко запрятанными, странными глазками, как бы состоящими из одного зрачка.

Он встретил Остроградского и Лепесткова у ворот и провел их в пустую дачу — обокраденную, как он объяснил, еще в годы войны. В сторожке у ворот жила бабка Гриппа, о которой Кошкин сказал кратко: «Жулик». За триста рублей в месяц бабка Гриппа топила две печки — огромную кафельную в столовой и печь-плиту на кухне.

— Таким образом, температура, необходимая для существа, обладающего сложно организованным мозгом и членораздельной речью, налицо,— сказал Кошкин.— Но как быть с едой? Ближайшая столовая в железнодорожном поселке. Три километра. Хорошая, кстати.

— Что ж, буду ходить. Можно брать на дом?

— Не знаю.

— Я поговорю с директором,— сказал Лепестков,— и привезу вам судки.

— Спасибо.

— Сюда бы еще одно существо, обладающее сложно организованным мозгом,— сказал Кошкин.— Женского пола.

Остроградский засмеялся.

— Да. И даже не с таким уж и сложным.

Лепестков бродил по даче, неприбранной, закопченной, с продырявленными диванами и колченогими стульями. На втором этаже, в пустой комнате, лежали на полу старые журналы. Он повернул выключатель — лампа, висевшая на длинном шнуре, не зажглась. «Сюда бы еще одно существо...— Он подумал о Черкашиной.— Нет, далеко. Не поедет».

Из окна был виден двор с одной разметенной дорожкой к дому. Толстые овальные змеи снега свисали с забора. «Оленьку пришлось бы взять из детского сада. Кроме того... В пустой даче, одни. Ну, это-то вздор». Старое лицо Остроградского, с впалыми висками, вспомнилось ему. «Разумеется, вздор».

Шаги послышались на лестнице. Кошкин вошел и сказал негромко:

— Вешает картину.

Он говорил о маленьком полотне Ирины Павловны, которое нашлось у Ани Долгушиной. Остроградский взял его и повсюду носил с собой.

— Какая женщина была,— сказал Кошкин с горечью, со злобой.— Умерла просто потому, что не могла без него жить. Какой свет от нее был всегда! Такую не забудешь.

— Не надеялась?

— Нет. Когда его взяли, она ко мне на другой день пришла с дочкой. Я кинулся утешать, обнадеживать. Она сказала только: «Вот и все».

Они помолчали.

— Иван Александрович, ведь вы не пользуетесь верхом?

— Ни верхом, ни низом.

— Если Анатолий Осипович будет жить внизу, лучше совсем закрыть мезонин. Будет теплее.

— Делайте, что хотите.

— Как он, по-вашему? Ничего, правда?

— Не ничего, а отлично. Я вчера от книжной полки не мог его оторвать. Уже шатается от усталости, глаз не может поднять, а все стоит, читает. Не садился, чтобы не уснуть. Я чуть не заплакал. Ну ладно. Пошли-ка вниз.

Они спустились. Остроградский прилаживал к окну летнюю штору из палочек, выцветшую, растянувшуюся, но от которой в комнате сразу стало уютнее. Она уже уходила у него вверх и вниз. Стол стоял у окна, пустая книжная полка передвинута. Лепестков сказал о сваленных книгах наверху и что мезонин надо забить. Но Остроградский попросил не забивать, пока он не разберет книги.

— Превосходно,— сказал он и расхохотался, провалившись в жалобно зазвеневший диван.

— Нужно его выбросить и купить раскладушку,— сказал Иван Александрович.

— Ничуть не бывало! Я его починю. Сниму обивку и перетяну пружины. Нет, все хорошо. Если ваша бабка не сексот.

Кошкин засмеялся.

— Анатолий Осипович, вас реабилитируют через два, много три месяца. Сейчас это делается скоро.

— А прописка?

— И пропишут.

— Вашими бы устами...

Они помолчали.

— Мне пора,— сказал Лепестков.

— Сейчас поедем, мой дорогой,— сердечно отозвался Кошкин.— Как ваша книга?

— Пишу.

— Вы — хороший человек. Анатолий Осипович, все ваши ученики такие хорошие люди?

Лепестков засмеялся.

— Все. А у вас?

— А у меня их нет,— вздохнув, сказал Кошкин.— Кто в ссылке умер, кто — вернувшись из ссылки. А кто... «Прежде чем петух пропоет трижды, ты отречешься от меня».

Он сидел хмурясь, крепко положив кулаки на худые колени. В красном свете печки он был похож на сердитого

тролля со своими медвежьими глазками, грозно выгляды-вающими из мохнатого окружения.

— Вы помните Карманова? — спросил он.

— Нет.

— Разве вас посадили до сессии ВАСХНИЛ?

— Нет, после.

— Знаете, что он мне сказал накануне своего выступления на сессии: «Что поделаешь, Иван Александрович, у меня трое детей и одна нога».

Бабка Гриппа вошла в столовую и, не поздоровавшись, стала шумно орудовать в печке кочергой. Искры вспыхнули, осветив ее лицо, старое и самодовольное, с вздернутым носом.

— А где Рогинский?

— Он был исключен из партии в сорок девятом году. Долго ходил без работы. Потом устроился в Геологический институт.

— Геологический?

— А что делать? Но сейчас все меняется.

— И в Академии?

— Да. Лучинин прошел на последних выборах.

— Я знаю. Это важно.

— Еще бы! Гладышеву поручена организация нового научного центра.

— Где?

— В Днищеве.

— Что за человек Гладышев?

— Умен как дьявол. Неприятно-самоуверен, резок. Знает, что очень нужен, но пользуется этим умело. Не раздражая. Осторожен, пока это не мешает делу. А тогда уже и неосторожен! Он мне нравится. Где же вы будете спать? Я привез постельное белье и подушку.

— Спасибо, Иван Александрович. На диване.

— Провалитесь.

— Наплевать.

— Сейчас все устрою,— сказал Лепестков.

Он поднялся на мезонин и принес две большие ковровые подушки.

— Вот и хорошо.

— Вы сошли с ума,— отнимая подушки, сказал Иван Александрович.— На них спала Мальва.

— А кто это Мальва?

— Собака.

— Прекрасно,— ловко устраивая постель, возразил Остроградский.— А теперь на них буду спать я.

Кошкин с Лепестковым ушли. Он был один. Натюрморт Ирины висел на стене, лимонно-желтые цветы в старом медном кувшине. Он помнил этот кувшин, но забыл натюрморт. «Хорошо ли я его повесил? Перевешу, если будет отсвечивать днем».

Он погасил лампу, и в комнате медленно установились два света — красный, теплый, живой от разгоревшейся печки, и зимний, лунный — от голого, незадернутого окна. Он нарочно не опустил штору. Кувшин можно было угадать только по блику, но цветы воздушно светились над грубыми, косо срезанными досками стола.

15

У Черкашиной было хорошее детство в лесу, в Подмосковье — и с тех пор в памяти осталось счастливое ощущение каждого нового дня как события. Она много думала тогда, ей было весело следить, как дни повторялись и все-таки не повторялись. Теперь ей казалось, что у нее вообще нет никаких мыслей, а есть только чувства, которыми — если это так уж необходимо — можно даже и думать. Если думать мыслями — такой теорией она любила дразнить Лепесткова,—жизнь давно кончилась и только кажется, что она, Черкашина, еще существует. А если думать чувствами... И она начинала смеяться, потому что на добром лице Лепесткова появлялось страдальческое выражение.

Ее короткая семейная жизнь давно была позади. Теперь ей казалось, что в этом браке ничего не было, кроме вспыхивающих ссор и длинных разговоров, почему-то ночами, когда ей мучительно хотелось спать. Может быть, она не любила мужа? Инстинктивно она старалась, чтобы он об этом не догадался. И он не догадывался.

Он был глубоко погружен в себя, в свои стихи, в свои дела, академические и общественные, в дела своих земляков, с которыми он виделся и переписывался постоянно.

Когда он умер, ей едва минуло двадцать три года. Она ушла из университета, поступила на работу. От прежней жизни осталась Оленька, которая была до странности похожа на мать. Обе одинаково смеялись, одинаково, не раздумывая, принимались за любую работу, одинаково смотрели в сторону и вдруг поднимали разбегающиеся глаза.

Муж страдал бессонницей, а после его смерти и Черкашина стала тревожно и мало спать — точно он наказал ее бессонницей за то, что она о чем-то не подумала, что-то упустила. С вечера она засыпала, прислушиваясь к своему дыханию, которое становилось все ровнее и наконец уводило ее за собой. И вдруг просыпалась, всегда с одним ощущением: она прыгает вниз с подоконника, смеясь, отлично зная, что не упадет, полетит. Но падает медленно и неотвратимо.

Так было и в этот, расстроивший ее последний день 1954 года. Она падала уже мертвая, со сложенными на груди руками, и мостовая была совсем близко, когда она открыла глаза. В сырой комнате был полумрак раннего зимнего утра. Косой прямоугольник света лежал на полу. Он медленно двигался. Она долго следила за ним. Оленька спала, уткнувшись головой в подушку. Черкашина вспомнила, как вчера она зашла за ней в детский сад, дети бегали вперегонки, а Оленька отстала сразу — побледнела, а потом уже не бежала, а торопливо шла, улыбаясь, на неверных ножках. И сейчас, когда Черкашина повернула ее на бочок, из-под спутанных волос показалось бледно-розовое личико, в котором было что-то болезненное. «Или мне это кажется?» — с упавшим сердцем подумала Черкашина.

Миша Лепестков забежал рано, в девятом часу. Она торопилась на работу, опаздывала, а надо было еще отвести Оленьку в сад. Но то, что он сказал, сразу заставило ее забыть все свои дела и заботу.

— Что вы говорите, Миша? Не понимаю. Куда переехать? Какая дача?

Он объяснил.

— Да бог с вами! А Оленька?

Лепестков ответил, что Оленьку нужно, разумеется, взять с собой.

— А с кем она будет оставаться? Дача пустая?

— Не совсем. Там живет один человек.

— Женщина?

— Нет, мужчина. Остроградский. Вы знакомы?

— Нет.— У нее было растерянное лицо.— Какой Остроградский?

— Тот самый. Он вернулся из ссылки. В Москве у него нет квартиры.

— Тот самый?

Ольга Прохоровна была на одной лекции Остроград-

ского. Он тогда уже оставил преподавание, но два-три раза в год выступал перед студентами всех курсов по самым общим вопросам океанографии. Ей запомнилась его легкость, он не вошел, а вбежал на кафедру. Он был моложавый, тонкий и говорил сложно, но свободно, с уверенностью, что его понимают.

— Он живет там один?

— Да.

Она рассердилась.

— Значит, Оленька будет целый день с незнакомым человеком, а я в Москве буду умирать от беспокойства. Так?

— Да,— сказал Лепестков. У него был несчастный вид.

— Прекрасная мысль.

— Там очень хорошо. Лес.

— Да знаю я Лазаревку!

— Воздух. Там живет еще бабка. Она топит. Помогать не станет.

— Еще лучше. Значит, мне надо вставать в пять часов, готовить для Оленьки, бежать на поезд, а потом...

Она села и расплакалась.

— Ольга, да полно, что вы! — Растерянный Лепестков гладил ее по плечу.— Ну, забудьте об этом. Вы же сами... Когда еще будет другая комната!

— Никогда,— плача говорила Черкашина.— Господи, неужели я не понимаю, что это было бы прекрасно, чудесно. Оленька проводила бы на воздухе целые дни, она быстро поправилась бы, и я была бы там счастлива, потому что люблю лес и устала. Но это невозможно. Неужели вы не понимаете, что это невозможно?

— Понимаю,— подтвердил Лепестков.— Не будем больше говорить об этом.

Они вышли вместе. Лепестков отвел Оленьку в детский сад, Ольга Прохоровна поехала на работу. Но весь день она не переставала думать о Лазаревке.

Лесничество, в котором служил отец, было в пяти километрах от Лазаревки. Она бегала в школу на лыжах. Петька Четунов провожал ее, и сперва они шли молча, догоняя и перегоняя друг друга. Потом Петька начинал длинно рассказывать об «отражении скачка царизма на Кавказ в творчестве Лермонтова» — он решил поступить на филфак. Дорога шла через ельник, посаженный отцом, и ельник был чем-то похож на отца — прямой, как будто бодро идущий куда-то. Можно было, не сворачивая, дойти

до лесничества. Но они сворачивали — и березовая роща открывалась, просторная, светлая, с черными полосками на белых стволах. На нее надо было смотреть сразу, одним взглядом, чтобы потом, закрыв глаза, увидеть ее всю, с розовым туманом, светившимся в глубине, с опрокинутыми навзничь тенями.

Все происходившее в мире было связано с лесом, и когда Петька неловко, не снимая лыж, целовал ее в крепко сжатые губы,— в этом тоже каким-то образом участвовал лес, но не шагающие елочки, не березовая роща, а густой осинник, где на нежных веточках лежали тяжелые мохнатые кубики снега. Они сбивали снег палкой, и деревце распрямлялось, как будто нехотя, сонно.

Потом отец ушел в армию, и лес кончился, а с ним — тишина, чистота, детство. Начался город, осторожно поползли по затемненным улицам трамваи с синими лампочками, прикрытыми козырьками...

Москва шумела и волновалась в последний день года, магазины были переполнены, ей с трудом удалось купить для Оленьки елочный набор и конфеты. Елку из той же Лазаревки к вечеру обещал привезти Лепестков.

На работе все говорили о встрече Нового года, день был уже праздничный, торопливый, стремительно мчавшийся к ночи — и Ольга Прохоровна невольно спешила вместе с другими. Неподвижным, нетронутым осталось только видение светлого, тихого дома в лесу.

16

Первым пришел Остроградский — и не один, с учениками. Нас познакомили. Он поздоровался и сел, с интересом поглядывая вокруг. Он был спокоен. Очевидно, Кузин сдержал обещание и не сказал ему, кто должен прийти вслед за ним. Снегирев опоздал.

Я кое-что прочитал об Остроградском, перелистал его книги и теперь, увидев его, решил, что нет ничего удивительного в том, что эти книги написал именно он. У него было худощавое смуглое лицо с заметной родинкой на подбородке. Смуглота была располагающая, мягкая. Манера говорить тоже мягкая, но с внезапно пробегающей едкой и свободной улыбкой.

— Я думаю, нет необходимости ждать,— сказал Горшков. Я не видел его несколько лет. Он постарел и, кажет-

ся, больше, чем прежде, боялся, что ему скажут об этом.— Позвольте представить вам...— Он назвал мою фамилию.— Хотелось бы, Анатолий Осипович, прежде всего выслушать вас.

Остроградский заговорил — и уже через десять минут я понял, что разработка Кузина, при всей своей обстоятельности, была далеко не полна. Ей не хватало того, что угадывалось за каждым словом Остроградского,— всей картины науки в целом. Он говорил, не забывая об аудитории, с удивительной простотой.

— Дело в том, что Каспий существует, как известно, уже много тысячелетий изолированно, так сказать, сам по себе. Между тем его исходная фауна некогда была очень сходна с Черным морем. Потом он пережил свою историю, в которой были периоды, когда морские элементы вымирали, заменялись более пресноводными. И вот явилась простая мысль — а нельзя ли вернуть Каспию элементы, которых не хватает в его биологическом хозяйстве? Ну, точно так, скажем, как после веселой встречи Нового года в квартире может оказаться нехватка посуды. Разбили что-нибудь, кофейные чашки. Вот эта-то мысль, разумеется, в несколько более сложной форме и была высказана впервые еще в 1932 году [1].

Но вот он заговорил о сорок восьмом годе — тоже спокойно. У Горшкова стало осторожное лицо. Остроградский взглянул на него и улыбнулся. Он кратко рассказал историю двух экспедиций, заметив вскользь, что одна из них отправилась в путь только потому, что Снегирев упорно называл белое — черным. О поисках кольчатого червя после войны он сказал так: «Осетр нашел его раньше, чем мы». Вопрос давно решен, и, по-видимому, к нему намерены вернуться только потому, что эта история практически почти остановила акклиматизацию, не правда ли? Ихтиология ушла далеко вперед за последние годы.

Грузноватый человек лет пятидесяти, в нарядном новом костюме, вошел в комнату. Остроградский замолчал. Все остановилось — точно на сцене без занавеса, когда следующий акт начинается после мгновенного оцепенения. Нет, оба не знали!

— Продолжайте, Анатолий Осипович,— сказал Горшков.

---

[1] В действительности эта идея и ее практическое воплощение принадлежат известному зоологу и гидробиологу Л. А. Зенкевичу.

Остроградский курил, не поднимая глаз. Он не оставлял сигарету, пока она не начинала жечь пальцы. Руки были большие, крепкие, с поблескивающей кожей.

Он снова заговорил — вот когда стало видно, что впервые за много лет он получил слово! Он спохватывался иногда, связывая далекие, на первый взгляд, события в науке, но все это были именно события, а не просто факты, и он чувствовал себя среди них как дома.

Ученики слушали его именно как ученики — со спокойной гордостью и даже как будто немного хвастаясь им.

— Который Лепестков? — шепнул я Кузину.

Он показал. Лепестков был крепкий, нескладный малый, с большими руками и ногами — и со странным взглядом: он смотрел прямо, а казалось, что косо.

— А рядом — Людмила Васильевна Баева.

Баева была круглая, с румянцем во всю щеку, ежеминутно встряхивающая головой, кудрявой, как у амура.

17

— Мне бы хотелось, чтобы вопрос был рассмотрен в другом составе,— сказал Снегирев.

У него были большие темно-карие, быстро оглядывающие и прячущиеся глаза.

Кузин нервно возразил: «Почему же? Редакции нужно объективно установить... Никто, кроме вас, не выступал против...» — Горшков остановил его.

— Перед нами две точки зрения,— мягко сказал он.— А истина, как известно, рождается в спорах.

Снегирев начал с оправданий. Он заговорил — довольно бессвязно — о каких-то интригах, о том, что с ним перестали кланяться после того, как он написал отзыв об Остроградском.

В свое время Комитет по Сталинским премиям предложил ему написать отзыв о книге Остроградского. Это была обыкновенная рецензия, уверял он. Причем вовсе не отрицательная. О вредительстве ни слова. Вывод был: «Работа не кончена и требует подтверждения». Когда на факультете работала особая комиссия, откуда-то стало известно об этой рецензии, и хотя он, Снегирев, ни за что не хотел ее показывать — в конце концов пришлось. Уговорили. Более того — приказали.

— В чем сущность спора? — спросил Горшков. И Снегирев говорил еще полчаса. Сущность спора в том, что кольчатый червь — хищник и акклиматизация его в худшем случае — вредна, а в лучшем — бесполезна. Он тянул, повторялся, жаловался. Выигрывал время?

Наконец его перебила Баева. Она называла Снегирева на «ты» — очевидно, они прежде были в дружеских отношениях.

— Валерий, ты сказал, что с тобой перестали кланяться?

— Да.

— Почему?

Снегирев снова длинно заговорил.

— Ох! Как в повторяющемся сне! — сказала Баева и засмеялась.— С тобой перестали кланяться, потому что твой отзыв об Остроградском был построен, мягко выражаясь, на извращениях. Причем сознательных. Ты сознательно обманул особую комиссию. Правда, время было такое, что ей хотелось быть обманутой, но это — другой вопрос. Ты и мне грозил. Когда я к тебе пришла — доброжелательно, кстати,— что ты мне сказал? «Защищая Остроградского, ты делаешь страшное дело. Не знаю только, сознательно или бессознательно». Я сказала: «Сознательно». Ты ответил: «Тем хуже для тебя». Прямо или косвенно, ты грозил всем, кто защищал Анатолия Осиповича. Как это называется?

— Прошу меня оградить,— сказал Снегирев.

Я посмотрел на него: похоже было, что он начинает терять равновесие. Глаза сузились. Очевидно, ему трудно было сдерживаться — а приходилось! Под округлившимся — с годами? — лицом чувствовались энергичные скулы, сильно выгнутые надбровные дуги.

Горшков сказал что-то туманное и успокоительное: «Целью нашей встречи отнюдь не является выяснение отношений...»

— Насколько я понимаю,— возразила Баева.— Цель нашей встречи — возобновление работы?

Вошел, опоздавший на добрый час, директор Института рыбного хозяйства Алексей Сергеевич Проваторов и сразу же стал говорить, крепко сжимая руками спинку стула. Снегирев терроризировал ученых, которые были с ним не согласны. Он называл их механистами, обывателями или просто дураками. Он, Проваторов, лично слышал, как Снегирев говорил заместителю министра, что Остро-

градский — вредитель. Давайте называть вещи своими именами, это была беспринципная травля, кончившаяся трагически. А кто поставил вопрос в Госплане?

Было странно и трогательно видеть, как этот огромный, седой, с гордой осанкой, похожий на артиста человек говорил, волнуясь, как мальчик.

— Можно узнать,— я обратился к Остроградскому, который молча курил, не принимая участия в разговоре,— если бы ваша группа возобновила работу не в Каспийском, а, скажем, в Аральском море — это встретило бы сопротивление?

Остроградский ответил:

— Да. И в опасной форме.

Все замолчали. Потом снова заговорили, как будто удостоверясь, что хотя скрытая сторона дела названа наконец — с нею все равно нечего делать.

Снегирев больше не оправдывался. Он нападал — сперва нерешительно, а потом нагло: «Вы наговариваете!», «Этого не было!», «Вы сочиняете!»

Он был уже совсем другой, чем в первые минуты встречи, когда, почувствовав опасность, он медлил, сдерживался, выжидал. Теперь он не выглядел ни взволнованным, ни смущенным. Иногда у него становилось обиженное, как у ребенка, лицо.

Дважды над ним смеялись, и это было почему-то страшно. В первый раз, когда его уличили в том, что он написал для декана П. программное выступление, и он возразил растерянно: «А что же я мог сделать?» И в другой раз, когда он сказал что-то о новом методе промысловой разведки. Очевидно, это было невежественным вздором. Он не вспылил — только показал и спрятал бешеные, налившиеся кровью глаза.

Потом заговорил Лепестков, упираясь прямо в лицо Снегирева немигающим взглядом — и это было так, как будто он растолкал бегущих, взволнованно спорящих людей и, тяжело ступая, пошел к намеченной цели. Он сказал, что убежден в неизбежности победы правды в науке, потому что страна не может развиваться без этой победы. Но мы не герои Гомера, чтобы довериться Року.

— Допустим, что завтра у меня появится мысль, что в Москве-реке течет молоко, а не вода. Легко опровергнуть, но лишь в одном случае — зная, что вам ничего не грозит. А если еще поставить вокруг высокий забор и объявить работу секретной...

Он заговорил о том, что мы не имеем права обсуждать вопрос в академической форме. Фальсификация в науке — не отвлеченное понятие. Студент Черкашин покончил с собой, потому что Снегиреву понадобились фальшивые данные для отчета. Борьба против Остроградского привела к его аресту, и если мы теперь видим его среди нас — мы обязаны этим не Снегиреву.

С неторопливостью историка Лепестков раскрывал истинные мотивы этой борьбы. Он как будто шел по темному коридору, распахивая двери в одну комнату, потом в другую. Из туго набитого портфеля он доставал документы, разумеется, в копиях. Среди них, в мертвом молчании, была прочитана и та «общая характеристика» Остроградского, которая, очевидно, решила его судьбу.

Теперь Снегирев говорил уже только: «Ложь!», «Почему вы мне не сказали о составе совещания?»

Потом он сказал:

— Все мои работы я не публиковал, чтобы не обострять спора.

Снова рассмеялись. Невесело на этот раз.

Остроградский курил, не поднимая глаз.

— У меня старые сведения,— сказал он,— помнится, уже к сорок шестому году размножение кольчатого червя дало немалый эффект. Если не ошибаюсь, только в Северном Каспии дело шло к двум миллионам центнеров рыбы по живому весу. С тех пор прошло почти восемь лет. Надо полагать, что рыбы ели червя, несмотря на то что меня посадили в тюрьму, так что сейчас эта величина приближается, вероятно, к четырем миллионам. Необходимо продолжать работу.

Снегирев снова стал возражать, хотя говорить было больше не о чем. Его не слушали. Остроградский внимательно разглядывал свои руки, потом занялся карандашом, лежавшим перед ним на чистом листе бумаги. У него было усталое лицо. «Не разговаривать так долго, а убить Снегирева — вот это было бы, пожалуй, ему по плечу»,— подумалось мне, когда он поднял глаза, спокойные, с блеснувшей полоской белка.

18

Смеркалось. Погода погрубела к ночи. Редкий жесткий снежок стал виден в свете вспыхнувших фонарей. Еще полчаса — и пурга, как в поле, замела во всю ширину

Садовой. Снегирев поднял воротник и, сняв перчатку, прикладывал теплую ладонь к замерзшим губам. Он шел и шел, прикидывая, рассчитывая. От кого идет затея, хотел бы он знать. Конечно, от ВНИРО. И тогда, в сорок девятом, Проваторов упорствовал. А теперь там еще и Лепестков! Они! Они! В свое время он, Снегирев, жаловался на Проваторова министру. Копия письма сохранилась, и надо послать ее в редакцию, чтобы сразу стало ясно, что это за птица. Он заскрежетал зубами, вспомнив, как над ним смеялись. Они старались, этот сука Лепестков, убедить редакцию, что он — невежда. Ладно, еще посмотрим! Надо поехать к редактору и передать ему, во-первых,— он загнул палец,— свидетельство Главрыбпрома о том, что им, Снегиревым,— и никем другим,— разработан новый метод промысловой разведки. Во-вторых,— он загнул другой,— что техсовет министерства поддержал его предложения по проблеме Керченского пролива. В-третьих,— автобиография. Чтобы эти сволочи знали, что в двадцатом году он добровольно вступил в девяносто шестой Вохровский полк и дрался с белобандитами и с девятнадцати лет учительствовал в деревне, а потом десять лет бился, чтобы поступить в университет.

Слезы выступили у него на глаза, когда он вспомнил, как ходил кочегаром на траулерах, и как было трудно готовиться в университет без образования, и как на первом курсе ему, тридцатилетнему, было стыдно среди девчонок и мальчишек. И как он униженно просил Кошкина поставить ему зачет, и Кошкин засмеялся, когда, желая польстить, он нечаянно назвал его не «маститым», а «мастистым». Погодите же, погодите!

Прошло уже два часа, как он вышел из редакции. Он забыл о Ксении, которая ждала его. Потом вспомнил, и тоже со злобой: «А, хрен с ней, пускай ждет!» Значит, документы, автобиография, письмо по поводу Проваторова, что еще? Список работ.

С Остроградским можно договориться, потому что в Воркуте или на Магадане — где он там был — его, надо полагать, кое-чему научили. Но сделать это надо с оглядкой, осторожно, не задевая самолюбия, так, чтобы ему даже в голову не пришло, что его покупают. Повод есть. Крупенина жаловалась, что, когда Остроградский был у них, Василий встретил его мордой об стол. Так вот, завтра же Василий поедет к нему и извинится. У Остроградского ни кола ни двора — осторожно пообещать квартиру. И ка-

федру — еще более осторожно. Или лабораторию. Это, пожалуй, даже проще. Согласится! Статья может принести ему только вред, и он это должен понять, если он не дурак, а он — совсем не дурак. Не Снегирев судил и приговаривал его, а насчет сигнала — ну что ж! Это был его долг. Был и остался. Тут ничего не выйдет у них. Все знают, что тут только толкни — такое посыплется... Куда там Снегирев, всполошатся и другие, почище! Жаль только, что он давно не звонил Кулябко. Он мысленно увидел Кулябко, смешливого, с узкими плечами, с черным хохолком, часто вскакивающего из-за стола без всякой причины: «Ага, пожаловал, когда прижали!» Ничего, обойдется, заговорю о нумизматике, подарю Алешкину монету. Этот не выдаст.

А если выдаст? Снегиреву стало жарко, он снял шарф и сунул его в карман пальто. Ведь выдаст же — и с головой, если откроется черкашинская история! Такое не любят. Он стал думать об этой истории, которая была плоха тем, что от нее могли остаться — и даже наверное остались — документы. Остались предсмертные письма Черкашина в партбюро и отцу и письма отца в «Правду», в «Известия» и министру высшего образования. По предложению «Известий» была создана комиссия партбюро, от которой, в свою очередь, сохранились протоколы. Что, если этот бульдог Лепестков с его хваткой возьмется поднимать черкашинские бумаги?

Он не позвонил домой. Мария Ивановна ждала его, расстроенная, болезненно щурясь, догадываясь, что произошла неприятность. Стол был накрыт, но он не стал ужинать, только выпил чашку крепкого кофе и ушел в кабинет.

— Валерий!

Он так огрызнулся, что она отшатнулась.

...Он работает всю ночь. Автобиографию нужно переписать, одно подчеркнуть, а другое оставить в тени. Из письма по поводу Проваторова нужно вычеркнуть слишком резкие выражения. Из политических намеков оставить один, много — два. Никто с подлинником сверять не будет. Он перестукивает письмо на машинке.

Еще ночь, но ощущение слепого зимнего утра возникает за темным окном, за опущенной шторой. Он закрывает машинку, складывает бумаги. Кажется, все? Ноги горят, он ходит по кабинету, по коридору босиком, пол приятно холодит ноги. Дверь в Алешину комнату приот-

крыта, он заглядывает, и вид слабо освещенной, спокойной, чистой комнаты, в которой ровно, бесшумно дышит спящий мальчик, успокаивает его. Все будет хорошо. Он возвращается, ложится в постель, закрывает глаза. Спать, спать! Не уснуть.

Бессонница бродит по городу, для нее нет закрытых дверей. Он принимает прохладную ванну и безвредное иностранное снотворное средство. Он лежит на спине, глядя в потолок, начинающий заметно светлеть. Все будет хорошо. Спать, спать! Завтра трудный день, надо уснуть. Не уснуть.

И Лепесткову не спится в эту долгую январскую ночь. Только что развиднелось, а он уже на ногах. Он разжигает печку, вороша еще не погасшие угли, и, надев полушубок, нахлобучив треух, отправляется на Кадашевскую набережную к тем домам, к тем окнам подвальных квартир, против которых стоят буквой «п» кирпичные стеночки, огораживающие от весенних разливов.

Пусто в городе, пусто на набережной, никому нет дела до мужчины в полушубке и треухе, который, присев на корточки, начинает осторожно разбирать одну из этих стеночек. Он взял с собой молоток, но не пригодился молоток, старый цемент крошится под руками. Кирпичи он складывает в сторонку, а потом, по три, по четыре, относит во двор соседнего дома. Спорится работа. Редкие прохожие идут мимо, не обращая внимания. Но вот милиционер показывается из переулка и неторопливо подходит к нему.

— Разбираете?

— Да.

— А как же весной?

— Снова сложу.

— Живете здесь?

— Да. («А ну, пойдет проверять?») Мало свету. Одиннадцать процентов от нормы. Девочка маленькая, жалко.

— Ясно, жалко. Давно бы уж эти подвалы... Комнату хлопочете? Сейчас многие получают.

— Да.— Лепестков осторожно отваливает кирпичи, складывает, несет на соседний двор.

— Девочка-то дочка?

— Вроде.

Это было несложно — доказать, что нельзя обманывать государство и что совесть полезна и даже необходима для человека науки. Но как написать о повороте 1948 года, после которого появилась возможность превратить удавшийся опыт акклиматизации в политическое преступление? Чем была для Снегирева эта возможность? Как написать сцену в редакции — не сцену, а то, что скользило, угадывалось за сценой! Ведь Остроградскому не только тяжело было — я это понял — вспоминать о том, что произошло, но стыдно за Снегирева?

Я позвонил Кузину и попросил его приехать.

Как всегда, он явился немедленно — в новом костюме, подстриженный, франтоватый и почему-то все-таки похожий на гремящего заржавленными латами Дон Кихота.

— Собрался с женой на концерт,— объяснил он,— и обрадовался, когда вы позвонили. Жена пойдет с Еленкой — это моя сестра,— а мы займемся интереснейшим делом.

Он принес папку, на которой было оттиснуто «Папка для бумаг», очевидно, чтобы никто не мог усомниться в ее назначении.

— Вы знаете, что это такое? Документы, которые главный редактор вчера получил от Снегирева.— Кузин смотрел на меня, значительно щурясь.— Основная цель — доказать, что он отнюдь не невежда. Вот список его работ. Из двадцати опубликовано девять. Дважды указана одна и та же статья под слегка измененным названием. В научных журналах напечатаны пять, остальные в журнале «Рыбное хозяйство». Это — липа. В редакции он больше всего боялся попасть впросак. И попал, если вы заметили. Сейчас он мечется как бешеный, стараясь угадать, откуда удар. Ему и в голову не приходит, что редакция серьезно, без предубеждения, интересуется фальсификацией науки. Интересно, кстати, что он думает о вас? — спросил Кузин и засмеялся.— Но вернемся к бумагам. Оставим автобиографию, хотя она полна недомолвок. Не станет же он, в самом деле, упоминать, что после черкашинской истории был отстранен от преподавания. Это перечень нехарактерных фактов, которые могут составить жизнь десяти людей, нисколько не похожих на Снегирева. Отложим и другие бумаги. Начинается самое интересное. Вы любите подслушивать?

— Нет.

— А придется! Снегирев заявил, что совещание было «подстроено», и потребовал, чтобы редакция опросила ученых, поддерживающих его точку зрения. У вас есть отводная трубка?

— Нет. Есть второй аппарат.

— Где?

— В столовой.

— Жаль. Мы могли бы обмениваться мимикой.

Он набрал номер.

— Можно профессора Данилова? Здравствуйте, Георгий Константинович. С вами говорит Кузин, сотрудник газеты «Научная жизнь».

Я прошел в столовую и снял трубку.

— ...Извечный спор,— услышал я сухой, напряженный голос.— Кто прав? Трудно сказать.

— И все-таки? — спросил Кузин.

— Я, в сущности, мало занимался этим вопросом.

— Но разве вы не участвовали в снегиревских экспедициях?

— Я не мог отказаться.

— Почему?

Молчание.

— Алло,— осторожно напомнил Кузин.

— Повторяю, эта тема не входит в круг моих интересов.

— Благодарю вас.— Кузин положил трубку.— Вы слушаете? — крикнул он мне.

— Да.

— Недурно для начала... Профессор Челноков?

— Да.

— С вами говорит...

Челноков начал с того, что не хочет «встревать» в затянувшийся спор, а потом, вдруг засмеявшись, сказал, что «положительное значение работы Остроградского не вызывает сомнений». Судя по голосу, это был человек легкомысленный, добродушный и толстый.

— Я ведь ботаник,— сказал он,— так что Снегирев зря ссылается на меня в этом деле.

Кузин простился.

— Профессор Нечаева? С вами говорит...

Профессор Нечаева испугалась, узнав, кто с ней говорит. «Оставляя в стороне моральные качества Снегирева»,— сказала она и опять испугалась. На вопрос, считает

ли она работу Остроградского полезной, она ответила загадочно: — Безусловно, если мы докажем, что она не приносит вреда.

— Идите пить чай,— крикнул я Кузину.

— До чая ли тут?

Уклонялись все, с кем он разговаривал, но гением уклончивости оказался какой-то доцент Клушин, который сказал, что фальсификацией науки, с его точки зрения, занимался не Снегирев, а Остроградский. Но имеем ли право его осуждать? Он, Клушин, думает, что не имеем!

— Даже Дарвина в свое время упрекали в фальсификации,— сказал он.

Кузин повесил трубку и вытер платком усталое, но веселое лицо.

— Одно из двух,— сказал он, перебирая листки, на которых были записаны разговоры,— либо наш герой не успел предупредить своих подручных, либо они его уже не боятся.

За чаем я сказал ему, что не буду писать о Снегиреве.

— Почему?

— Потому что мы с вами тоже немного Снегиревы, иначе нам не пришла бы в голову бессердечная мысль, что они не должны знать о приходе друг друга. Мы заставили Остроградского встретиться с человеком, который переломил его жизнь. Его несчастье было выставлено напоказ, а он из тех людей, которые даже врачу стесняются пожаловаться на болезнь. Но дело еще и в другом. Откуда взялся Снегирев? Ручаюсь, что над первой подлостью и он задумался, в особенности если можно было ее обойти. И вы станете меня убеждать, чтобы я написал об этом? Нет, вам нужна статья, в которой все было бы приглажено, прибрано, стерто.

Позвонил телефон. Я снял трубку.

— Кто говорит?

— Ваш читатель и почитатель,— ответил мягкий и, как мне показалось, застенчивый голос.— Случайно узнал, что газета «Научная жизнь»...

Мимика все-таки пригодилась. Я только поднял брови, и Кузин, подпрыгнув, как кузнечик, кинулся в кабинет.

— Извините постороннего, но глубоко расположенного к вам человека. Не беритесь за эту статью. Вы даром потеряете время.

— Почему?

— Она не будет напечатана.

— А если будет?

— О, тогда... Ну, не знаю. Не стоит загадывать.

— Это угроза?

— Угроза? — с тем же оттенком застенчивости переспросил мой собеседник.— Почему же? Напротив. Забота!

Он положил трубку. Кузин выскочил из кабинета.

— Ну-с? — спросил он, подступая ко мне с грозным и торжествующим видом.

— Буду писать.

20

К Крупенину лучше было идти с женой, чтобы поговорить с ним, пока дамы будут трещать о том, что в Столешниковом можно достать французские духи, а на Шаболовке продаются немецкие торшеры. Хорошо, кабы Крупенин не испугался. Он и прежде был трус, а теперь — с чего бы? — стал бояться собственной тени.

Они сидели в кабинете, женщины после ужина остались в столовой.

— Ох, стрекочет,— сказал Снегирев.— Хорошая у тебя Лариса.

— Ничего,— самодовольно улыбаясь, ответил Крупенин.

— Откровенная, прямая. Послушай, а ведь она была права, когда сердилась на тебя за то, что ты так холодно встретил Остроградского. Вы же когда-то дружили.

У Крупенина стало серьезное лицо.

— Почему же холодно?

— Она говорит, что ты мычал,— смеясь, сказал Снегирев.— Это, брат, не дело. Тем более что посадили его, очевидно, зря. В этом, кажется, не приходится сомневаться?

Крупенин пошевелился в кресле. Он смотрел на Снегирева странно.

— На твоем месте я бы встретил его совершенно иначе. Он — крупный ученый. С заслугами. Он выжил — факт, с которым так или иначе приходится считаться. Сейчас это даже модно — устраивать невинно пострадавших. Подумаем, как ему помочь? Проигрыша не будет.

Крупенин извинился и вышел — проститься с сыном, как он объяснил. Он обожал сына. Каждый вечер перед сном Женя задавал отцу заранее приготовленные вопросы.

— Так ты говоришь, надо помочь? — сказал он, вер-

нувшись и удобно устраиваясь в кресле.— Может быть, может быть.

В кабинете горела только настольная лампа. Крупенин был освещен в профиль — ухо, набрякшая щека, красивый, поседевший висок. Он слушал с прежним вниманием. Но что-то переменилось. «Решил, собака, держать ухо востро»,— подумал Снегирев. Он сдержал раздражение.

— Ты не думаешь, что разумно было бы предложить ему... Ну, не знаю. Может быть, денег? Ведь у него сейчас ни кола ни двора. Пришел он к тебе в надежде на помощь.

— Да говорю тебе, что я...

— Думаю, что он не откажется от денег. Но сейчас для него важнее работа.

— Позволь, как ты себе представляешь? Я должен пойти к Остроградскому?

— Вот именно. А что здесь особенного?

— Почему же я? Если ты ему так сочувствуешь, ты и поезжай!

Снегирев нахмурился.

— Тебе удобнее. Вы были друзьями.

— Но я... я даже не знаю, где он живет...

— У Кошкина на даче.

— У Кошкина? — широко открыв глаза, переспросил Крупенин.— Да Кошкин меня с лестницы спустит!

— Он там редко бывает.

— Не поеду.

Это было сказано с тем новым для Крупенина оттенком независимости, который появился в их отношениях лишь в последнее время. Еще в прошлом году после столь решительного «не поеду» полились бы длиннейшие, часа на полтора, разговоры. Сегодня — нет. Крупенин молчал. Он втянул голову в плечи, смотрел настороженно, испуганно, но молчал. Его рука, протянувшаяся к пепельнице, чтобы погасить папиросу, слегка дрожала.

— Значит, не поедешь?

— Нет.

— Неужели ты не понимаешь, как это важно — не для Остроградского, а для нас,— наладить с ним отношения? Его реабилитируют. Проваторов немедленно возьмет его к себе, это значит, что практически ВНИРО перейдет под его руководство. Что же получается? Лучинин — Академия, Кошкин — «Зоологический журнал», Остроградский — ВНИРО. Ты представляешь себе, в каком... мы с тобой будем сидеть, или не представляешь?

Крупенин молчал.

— Не поедешь?

— Нет.

— Тогда поговорим начистоту. Вот что: газета «Научная жизнь» готовит против меня статью. Содержания я еще не знаю. Речь идет пока только обо мне. Но если вспомнят черкашинскую историю... Ты думаешь, дерьмо собачье,— сказал Снегирев, раздув ноздри и приблизив свое лицо с поблескивающими зубами к посеревшему лицу Крупенина, который с ужасом подался назад,— ты думаешь, что если меня спихнут, тебе удастся отсидеться в этой квартире, утопив задницу в сафьяновом кресле? Ты забыл, сукин сын, что когда Черкашин принес на меня заявление, ты ему это заявление вернул, а меня предупредил, что нужно принять срочные меры. Ты мне письмо написал, и оно сохранилось.

Снегирев вынул и показал письмо Крупенину — впрочем, на расстоянии.

— Вот, брат. Нам с тобой подобная статья ни к чему. Надо действовать. И, судя по обстановке в редакции, без Остроградского не обойтись. Так что ты, Василий Степанович, к нему все-таки съездишь. Пойми, чудак,— добавил он уже мягко.— Любой знак сочувствия для него сейчас дорог. Он доверчив. Он поверит, что ты хочешь ему помочь. И ты действительно хочешь. Или нет?

Крупенин молчал.

— Хорошо,— наконец сказал он с трудом.— Денег он не возьмет. О какой работе ты говорил? В Институте информации?

— Ну, это-то просто. Думаю, что ему нужна штатная должность.

— Он прописан в Москве?

21

К Черкашиной Снегирев поехал на следующий день и попал удачно — ее не было дома. Можно было поболтать с соседями и поиграть с Оленькой, которой он привез дорогие подарки: обезьяну-барабанщика и осла, который ходил, смешно переваливаясь, и вдруг вставал на задние ноги.

Соседи рассказали кое-что любопытное. Снегирев знал, что Черкашин перед смертью просил Лепесткова позабо-

титься о вдове. Это было давно, и отношения с тех пор могли развалиться. Однако не развалились. Напротив! От соседей Снегирев узнал, какой завидный — для Лепесткова? — оборот приняли эти заботы...

Оба хохотали — и Оленька, от которой, переваливаясь, уходил взъерошенный, измятый осел, и Снегирев, присевший на корточки,— когда Черкашина вошла и остановилась у порога.

Он видел ее только однажды, когда она провожала мужа на Каспий. Тогда она была беленькая, незаметная девочка, пожалуй, хорошенькая, но из тех, которые забываются, едва отводишь глаза. И теперь в ее наружности не было ничего, что нравилось Снегиреву в женщинах: она была слишком тонка, с маленькой грудью, небрежно причесана, не накрашены губы. Но теперь за этой незаметностью скрывалось что-то лихорадочное, нетерпеливое, острое, и Снегирев почувствовал это с первого взгляда.

— Ольга Прохоровна, я был бы у вас давным-давно, но, откровенно говоря, не решался. Почему? Да потому, что вы указали бы мне на дверь. Я — Снегирев, вы меня не узнали?

Конечно, она не узнала его, потому что слушала до сих пор с усталым, вопросительным взглядом. Теперь у нее странно изменилось лицо. Она побледнела и взялась рукой за косяк...

— Ухожу,— испугавшись, что она упадет в обморок, поспешно продолжал Снегирев.— Скажу только, что я считаю себя глубоко виноватым перед вами, перед Борисом. Если бы можно было не то что предвидеть, но представить себе, что он... Чего бы я не сделал! — Он опустил голову.— Только чтобы этого не случилось.

Так он всегда говорил с женщинами. Слова могли быть другие, это не имело значения. «А хорошо бы...» — подумал он. У нее были небольшие, стройные ноги. Он почувствовал желание, возраставшее с каждой минутой, и оно сразу же стало участвовать в том, что он говорил, придавая голосу убедительность и мягкую силу.

— Не волнуйтесь, я вижу, что вы волнуетесь. Сейчас все объясню, уйду и через десять минут вы забудете о моем существовании. Но прежде вы мне объясните,— спросил он с упреком, в котором прозвучала неподдельная искренность,— как случилось, что вы попали в этот подвал, к этим людям... Я с ними говорил перед вашим приходом... Вы давно здесь живете?

Ольга Прохоровна не ответила.

— Нет, нет, я не прошу прощения. Все равно вы не простили бы — и правы. Но я не понимаю. Борис был фронтовиком, поэтом. Как же никто не подумал...

Главное было — говорить не переставая, а в коротких паузах — смотреть на нее темно-карими красивыми глазами. Ольга Прохоровна села на стул, стоявший подле двери. «Слава богу, не прогнала. Села и слушает. Выйдет дело».

Дело касалось дипломной работы Бориса Черкашина и других бумаг, которые могли сохраниться у его вдовы и даже наверняка сохранились. Но теперь, встретив ее влажные, разбегающиеся глаза, он стал думать о другом, более приятном — и далеко не невозможном деле. Он даже представил себе это дело, и внутренняя дрожь, от которой заблестели глаза, знакомо и весело прохватила тело.

— Хотите вы этого или не хотите, но в этой промозглой комнате вы жить не будете. Думайте, что хотите. Думайте, что мне что-то нужно от вас и я хочу заранее вас задобрить. Мне ничего не нужно. Я пришел, потому что не мог не прийти. Без всякого дела.

От этого «без всякого дела» не так-то легко было перейти к делу. Он говорил еще с полчаса и наконец добился того, что она стала ему отвечать. Она ответила, когда он спросил, хлопочут ли о комнате на работе,— и, едва услышав ее нежный, глуховатый голос, он понял, что она мертвовата, вяловата не потому, что ее муж, которого она, может быть, никогда не любила, пять лет тому назад покончил с собой, а от одиночества молодой женщины, от нераскрытости, утомлявшей и раздражавшей ее. Он понял это не умом, а тем чувством внутренней дрожи, которое больше не старался унять. Он не забыл о статье. У него уже десять раз на языке было: «Ольга Прохоровна, у вас был сотрудник газеты «Научная жизнь»? Но сказать это было бы так же преждевременно, как, без дальних слов, взять ее за грудь. «Конечно, если бы я ее...— уже холодно подумал он,— все прочее пошло бы как по маслу». Но торопиться было невозможно. Что-то опасное мелькало в ее глазах, и это останавливало его, хотя она даже улыбнулась, когда он почти жалобно сказал: «Ну, пожалуйста», снова заговорив об Оленьке, о темной комнате, о том, что ему, Снегиреву, именно ему, необходимо помочь ей — ну, просто до смерти, до зарезу! Оленька стояла подле матери, Черкашина погладила ее по голове, и он вдруг

решился — положил свою руку на ее узкую, вздрогнувшую руку.

Она подняла глаза. Он еще не знал, что сказать; но слова, которые всегда сами собой говорились в такие минуты и действовали, как правило, неотразимо, уже готовы были сорваться, когда чьи-то быстрые шаги послышались в коридоре. Черкашина встала.

— Войдите,— сказала она едва ли не прежде, чем постучали. Вошел Лепестков.

Он задержался у двери, но постоял только несколько секунд, а потом пошел прямо на Снегирева. Он двигался неторопливо, плечом вперед, ступая криво, но твердо. Лицо его, всегда несколько красноватое, побурело, из-под треуха, который он инстинктивно столкнул на затылок, показались волосы, мягкие и вьющиеся, но чем-то страшные.

Снегирев встал, пробормотав вежливо: «Здравствуйте». Но тут было не до вежливости. Он попятился, сперва в глубину комнаты, потом, повинуясь движениям Лепесткова,— к двери.

По-видимому, в этих эволюциях, происходивших в полной тишине, было нечто забавное, потому что Оленька засмеялась. Не глядя, Лепестков сорвал с гвоздя богатую снегиревскую шубу, бобровую круглую шапку и швырнул к его ногам, на пол. Снегирев подобрал и надел. Он почти оправился, хотя руки не слушались. Он сказал что-то громко и с возмущением. Лепестков закрыл за ним дверь и обернулся к Ольге Прохоровне.

— Миша,— прошептала она с отчаянием,— вы хотели, чтобы я куда-то уехала? В Лазаревку? На какую-то дачу? Я согласна. От Лазаревки электричкой, кажется, только тридцать минут. Не беда, что Оленьку придется взять из детсада.

22

Я ни от кого не оборонялся, работал над статьей и не старался написать так, чтобы она непременно появилась в печати. Я думал только о том, чтобы найти ключ к этой, в сущности, обыкновенной истории. Ключ заключался в том, чтобы открыть всю чудовищность этой обыкновенности, а для этого надо было писать так же просто, как если бы я адресовал свою статью детям. Мне всегда

казалось, что дети серьезнее нас и что литература для них — дело, а не развлеченье, конечно, до тех пор, пока взрослые не соблазнили их почувствовать себя детьми. Я старался представить себе здравый, ничем не обусловленный взгляд на эту историю — для этого надо было вернуться к впечатлениям и размышлениям прежних лет, как бы находившимся в обмороке, и заставить их очнуться, или — иными словами — ясно вспомнить себя в те недавние годы. Это были размышления о тех поразительных переменах, которые превращали дельных людей, пытавшихся улучшить жизнь, в притворщиков, создававших лишь видимость дела. Я написал об атмосфере, в которой происходили при жизни Сталина эти превращения, никому не казавшиеся бессмысленными, как будто подозрительность, стремление оправдаться, хотя ты ни в чем не виноват, существовали сами по себе, как некие божества, для которых счастье, смерть, горе уже потому не имели значения, что все это было человеческое, а они существовали как бы отдельно от человека. И наконец — это было самое главное — я написал о тех, кто, разделив общую судьбу, нашел в себе силы не измениться, не разлюбить то, что сделано, и остаться самим собой, продолжая жить и работать.

Сперва это было трудно — не думать о жирных пометках красным карандашом и грозных вопросительных знаках. Потом удалось — и это было так, как будто открылась калитка в заборе, вдоль которого я долго ходил, притворяясь, что мне не так уж и хочется заглянуть в сад, пройти в дом, увидеть хозяев, поговорить с ними о том, что было, и как сделать, чтобы стало лучше, чем было.

23

Остроградский всегда любил обдумыванье, скоропись мысли, когда нет времени на подробности, потому что главное уже вырисовалось и нужно шагать к нему, не оглядываясь, в семимильных сапогах. Выраженье это осталось от студенческих лет.

Полупроснувшись, он сразу же увидел эти главные очертания и уже не отрывался от них, слушал погромыхиванье бабки на кухне. Он вскочил быстро и босой, в пижаме, долго стоял у стола, записывая наскоро, полусловами. Он торопился, потому что пол был ледяной и с веран-

ды дуло, хотя он обил дверь старым войлоком, завалявшимся в кошкинском сарае. Потом он побежал на кухню, где было тепло и пахло овсянкой, которая пузырилась в кастрюльке, стоявшей в глубине печки-плиты.

Бабка принесла ледяной воды со двора, и он, раздевшись до пояса, обвязавшись полотенцем, шумно, с наслажденьем умылся. Теперь обдумыванье пошло с перерывами. За завтраком оно еще продолжалось. Но потом пошли перерывы, потому что он пилил дрова с бабкой, а в полдень надо было идти за обедом в железнодорожный поселок. Дорогой он вернулся к обдумыванью, и оно оборвалось только к вечеру, когда на дороге послышался знакомый рожок и бабка, выскочив из сторожки, закричала:

— Керосин! Керосин!

Постояв в очереди, Остроградский притащил два тяжелых бидона.

Он заправил лампу — иногда по вечерам не было света — и подрезал фитили в керосинке. На дворе послышались голоса, он выглянул и в начинавшихся сумерках не сразу узнал полного человека в шубе и шапке, который шел по дорожке к дому, отмахиваясь от бабки. У Остроградского неприятно толкнулось сердце. Это был Снегирев.

— Простите, могу я видеть... Ах, это вы, Анатолий Осипович,— сказал он. Остроградский был в телогрейке и ватных штанах.— Здравствуйте. Мне бы хотелось...

— Пожалуйста, проходите.

Они прошли в комнату Остроградского через холодную, пустую террасу.

— Да, запустил свою дачу Иван Александрыч,— сказал Снегирев. Он держался уверенно.— И все-таки хорошо в лесу. Зиму в городе почти не чувствуешь. А здесь...

Сердце успокоилось, и теперь Остроградский смотрел на него почти с любопытством, совсем по-другому, чем в редакции, где его по временам прохватывала мгновенная, острая дрожь. Он предложил Снегиреву снять шубу, а сам остался в телогрейке. Бабка истопила печь, но плохо, и в комнате было свежо.

— Анатолий Осипович, не льщу себя надеждой, что вы обрадовались моему посещению. Что вы обо мне думаете, я знаю. Но вы, это я тоже знаю, считаете меня человеком дела.

Остроградский не ответил. Он вспомнил, как Ирина однажды посоветовала ему молчать в предстоящем неприятном разговоре с ректором, который был перед ним виноват,

и ректор выболтал то, о чем не упомянул бы ни словом, если бы Анатолий Осипович поддержал разговор.

— На этом заседании в редакции, заставшем меня врасплох, Проваторов — человек вспыльчивый — обмолвился одним словом, над которым я потом задумался и даже, признаться, ползал по словарям. Он сказал, что я со всеми своими приемами принадлежу к мафии — существует в Сицилии такое тайное разбойничье общество. Так вот — не похоже. С мафией пытаются бороться, правда безуспешно, а нам... Все, что ни придет в голову нашему ата... я хочу сказать, руководителю, подтверждают, как истину, имеющую государственное значение. Я накину шубу, если позволите, у вас прохладно.

Снегирев продолжал — как-то слишком кругло, может быть, потому, что говорил он один.

— Все это вросло глубоко, неискоренимо, и смешно думать, что может измениться в десять или пятнадцать лет. Срывы возможны. Но ему все нипочем, он как птица Феникс возникает из пепла. И вы знаете почему? Он человек со звездой.

Тут любопытно было не то, что Снегирев откровенничал, а то, что он находился, по-видимому, в периоде самосозерцания или самолюбования. Человек со звездой — это было уже нечто религиозное. В человека со звездой надо верить.

— Вы вправе спросить, какое все это имеет к вам отношение. Немалое. Предпринят шаг, направленный против меня, как вашего многолетнего противника. Но если вглядеться, окажется, что это покушение на вас. То есть, конечно, на меня, но я отбрешусь, добьюсь опровержения, а вы свою открывающуюся возможность работы погубите бесповоротно.

В студенческие годы Остроградский видел запомнившийся фильм «Кабинет Каллигари», от которого надолго осталось впечатление неприятного и даже опасного волшебства, живущего рядом с нами. Уже не с любопытством, а с ощущеньем скрытого неудобства, угрозы, обладающей почти магической силой, смотрел Остроградский на плотного, благополучного, пожалуй, даже красивого человека, сидевшего перед ним в дорогой, накинутой на сильные плечи шубе.

— Вам нужна лаборатория, Анатолий Осипович, да такая, чтобы в нее никто, ни единая душа не лазала. Хотите ее получить? Не завтра, а, скажем, через неделю?

Остроградский молчал.

— Разумеется, не из моих рук — это было бы неловко и глупо. От заместителя министра, который пригласит вас к себе, посожалеет о случившемся. Ну и предложит.

На этот раз он долго ждал ответа и получил бы весьма неожиданный, потому что Остроградский почувствовал острое желание ударить его стоявшей в углу суковатой палкой. Но Анатолий Осипович только взглянул на палку.

— Я знаю, у вас затруднения. Прописка и прочее. Квартира. Это все возникнет не мгновенно, но без малейших усилий и даже, как это ни странно, без вашего участия. Разве что придется подписать две-три бумаги.

На этот раз минуты две посидели, не разговаривая, дожидаясь, кто же первый начнет.

Начал Снегирев.

— Я понимаю, вам ответить трудно. Дело зашло далеко, и бить отбой — я говорю о статье — неудобно. Так пускай же она с богом печатается, если это так важно для вас и ваших друзей. Признаюсь откровенно, мне прямо сказано — потерпеть, потому что, если на одну чашу весов положить меня со всеми моими неприятностями, а на другую — вас, никто не усомнится в том, которая перетянет.

Все это было вздором или даже просто ложью, хотя бы по той причине, что Снегирев противоречил себе. То статья, «если в нее вглядеться», была шагом весьма опасным, потому что она отменяла возможность работы. То она ничего не отменяла «и даже лучше, если ее напечатают,— подумал Остроградский с внезапно блеснувшей догадкой,— потому что если я под прикрытием этой статьи получу лабораторию — и волки будут целы, и овцы сыты. Он действительно выпутается, а я буду у него в кармане».

На этот раз молчание длилось так долго, что Снегирев, догадавшись о его преднамеренности, выпрямился и побледнел.

— Анатолий Осипович, мне нужен ответ,— вежливо, но уже сдерживаясь, сказал он.— Даже не ответ, а ваше согласие переговорить в министерстве. Да или нет?

Остроградский помедлил еще немного.

— Валерий Павлович,— сказал он.— Ведь у вас, помнится, еще в кандидатской были любопытные соображения о зимовальных миграциях хамсы. Как будто я больше не встречал ваших сообщений по этому вопросу?

Снегирев встал, надел шубу и застегнулся. Лицо у него было спокойное, но такое, что Остроградский подумал: «А ведь ты зарезал бы меня, сукин сын, будь твоя воля».

Он любезно проводил гостя.

24

Ольга Прохоровна на два дня отпросилась с работы, сказав, что уезжает за город, потому что боится оставаться зимой с болезненной девочкой в сыром полуподвале. Но на Кадашевской нельзя было сказать правду. Как ни плоха была ее комната, на нее могли найтись — и непременно нашлись бы — охотники. Она не собиралась выписываться,— и все-таки надо было постараться, чтобы соседям даже не пришло в голову, что она уезжает надолго. Она объяснила им, что дача служебная. Библиотека иностранной литературы устроила в Лазаревке нечто вроде загородного детского сада.

Иногда в разгаре хлопот ее охватывал ужас. В конце концов жизнь в Москве, пусть трудная, не так уж плоха! Она бы осталась, если бы Миша, успевший в этот день съездить в Лазаревку, не увез керогаз. В полдень он снова съездил, нагруженный так, что едва был виден под чемоданами и узлами. В третий раз, к вечеру, отправились вместе. Правое плечо, то, которое при ходьбе выдвигалось вперед, Миша (на случай, если Оленька устанет) оставил свободным.

В поезде они заговорили об Остроградском, и Ольга Прохоровна заметила, что иногда раздражавшее ее сходство Миши с умной, слегка сонной овцой, мгновенно исчезло. Он сказал, что года три назад был в Ереване и его поразил дом Аветика Исаакяна, полный изящных вещей, открытый — не только потому, что каждый мог войти в него днем или ночью.

— Из окна — Арарат. И в доме что-то от чистоты Арарата.

В этом доме он вспомнил об Остроградских. Там тоже были эти простота и радушие — незаметное, ненавязчивое.

И тоже все как будто сперва было написано на полотне, а потом ожило и наполнилось разговорами, спорами, красками.

— Они много путешествовали. Ведь он — альпинист. Всегда вместе, даже на Памире.

— Красивая?

— Ирина Павловна? Да, очень,— с восторгом сказал Лепестков.— Не знаю,— добавил он, подумав.

От станции до поселка было далеко, но Лепестков стал уверять, что так всегда кажется в первый раз, и Ольга Прохоровна согласилась. «Нет, далеко,— подумала она.— К поезду по утрам придется ходить в темноте».

Лазаревка стала другая. Лес, как будто он в чем-то провинился, стоял теперь за высокими глухими заборами. Где-то в глубине дачных участков виднелись крыши над толстыми раскатами снега. Заборы тянулись так долго, что Ольге Прохоровне захотелось заплакать.

Наконец пришли. Бабка в тулупе, в теплом платке, из которого торчал мертвый острый нос, разметала дорожку. Ольга Прохоровна сказала: «Здравствуйте». Она не ответила.

Дом был большой, обшарпанный, с просторным, когда-то затейливым, а теперь жалким крыльцом. Ступени ходили под ногами. Лепестков сказал виноватым голосом:

— Осторожно.

Остроградский встретил их на пустой холодной террасе. Ольга Прохоровна думала, что он старик, измученный тюрьмой и ссылкой. Но он был совсем не старик. Он был смуглый, прямой. Ей даже показалось, что он не так уж изменился с тех пор, как она видела его на той, запомнившейся, единственной лекции.

Они поужинали на кухне.

— Я очень рад, что вы приехали, Ольга Прохоровна,— сдержанно, но так, что нельзя было не поверить, сказал он.

У него была добрая улыбка. Похоже было, что он все время думает о своем, что, впрочем, не помешало ему распить с Лепестковым пол-литра.

— Мне здесь хорошо. Но я ведь особь статья. Я не знаю, что такое скука. А вы будете скучать.

Ольга Прохоровна покачала головой.

— Нет. Я люблю лес.

— Правда? Я тоже. Послушайте,— весело сказал он.— Не беспокойтесь, дочка не будет одна. Вы беспокоились, мне говорил Миша.

— Да.

— На соседней даче, генеральской, живет Маруся. Она — сторож, а муж у нее шофер. Хорошие люди. Дочке Наденьке тоже шесть лет. Вашей шесть?

— Да.

— Вот и отлично. Все устроится. Жаль, что вы не выпили с нами. У вас озабоченный вид.

Она засмеялась. Остроградский посмотрел на нее, потом на Лепесткова.

— Вы чем-то похожи, как это ни странно. Оба смотрите прямо, а кажется, косо. Миша, как ваша книга?

— Пишу, Анатолий Осипович.

— Отчаянный человек. Храбрый портняжка.

Лепестков засмеялся.

— Ну ладно, пошли устраиваться. Значит, комната за печкой. Что-то сомневаюсь я насчет комнаты за печкой.

В эту комнату выходил щит кафельной печки, но, хотя это был красивый, фигурно облицованный щит, от него, кажется, было мало толку.

— Н-да-а, прохладно,— сказал Остроградский.— Вот что, вы спите здесь, а Оленьку сегодня положим на кухне.

Он уже и прежде соединил Черкашину и Лепесткова, сказав, что они чем-то похожи, как говорят о супругах, а теперь еще и отправил их в одну комнату на ночь.

Она сдержала улыбку. Лепестков поспешно отозвался:

— Я еду в Москву.

— А-а.— Остроградский поднял брови.— Так устраивайте же дочку, Ольга Прохоровна! У нее глаза слипаются. А потом обсудим один план. Миша, вы не поедете, пока мы его не обсудим.

План заключался в том, что он, Остроградский, переедет в комнату со щитом, а Ольга Прохоровна с дочкой поселятся в комнате с печкой.

— Ну, нет,— решительно возразила Черкашина.

— Слушайте, я сейчас почти ничего не делаю. Пишу рефераты для Института информации. И думаю. А думать лучше всего при двенадцати градусах тепла. Доказано научно.

Оленька уснула сразу. Черкашина вошла в комнату Остроградского, из которой он с Мишей выносил разваливающийся гардероб, и пожалела, что согласилась. Все в комнате было прилажено руками человека, привыкшего под каждой случайной крышей устраиваться бережно, неторопливо.

В комнате сильно пахло табаком, и Остроградский сказал, что самое верное средство — повесить на нитке большой кусок мягкого черного хлеба. Он вышел на кухню, вернулся и повесил — от слова у него было недалеко до дела.

Ольга Прохоровна наконец прогнала Мишу в Москву— последний поезд уходил около часа ночи. Оленька спала в кухне на двух составленных креслах. Остроградский пожелал доброй ночи и ушел. Бабка Гриппа гремела железом в столовой, мешала печку. «Нарочно так громко,— подумала Черкашина,— чтобы показать, что ей до меня нет никакого дела».

К запаху табака примешивался теперь слабый запах ржаного хлеба. «Как давно не была я за городом зимой. Как просторно здесь после Москвы. Как тихо! Завтра воскресенье, не надо рано вставать. Нет, надо! Ничего не разобрано, не устроено. И не хочется ничего устраивать, разбирать». Штора криво висела на окне, зацепилась за шпингалет, и надо было встать и поправить. «Не встану и не поправлю». Штора была соломенная, летняя, наверно, с веранды. «В воскресенье схожу в лесничество. Интересно, как все там стало теперь».

Она вспомнила контору лесничества на краю поселка, у развилки горбатых дорог. Лесники, поджидая отца, курили на ступеньках, он приходил ненадолго и разговаривал с ними в жарко натопленной комнате, не снимая полушубка и шапки. Их дом был в стороне, в лесу, такой же, как контора, только поменьше, рубленный в лапу, с гладко струганными бревенчатыми стенами и широкими досками пола. Но в конторе все повторялось изо дня в день, по заведенному порядку, и у них в доме каждое утро начиналось с неожиданности. Это началось, когда она заболела и дед — бывший макетчик — принес ей вырезанного из сосновой коры конька-горбунка с гривкой, которая была сделана из его собственной рыже-серой бороды. Через несколько дней она увидела на столике подле кровати козлика с барабаном, и началось самое интересное — ожидание. Сперва дед дарил ей зверей, потом появился Бурати-

но, бежавший куда-то сломя голову с огромным ключом в руке, потом свирепый сапожник, на которого можно было смотреть только с одной стороны, но это ничего не значило, потому что, как объяснил дед, именно так и бывает в театре. Косясь черно-белым глазом, сапожник кроил кожу на грубом столе. Прошло еще два-три дня, и, просунув в дверь свой дикий, крепкий нос, дед сказал: «В работе». На этот раз ожидание продолжалось долго. Только к вечеру следующего дня дед притащил высокого задумчивого старика, который смотрел через лупу в раскрытую на его худых коленях огромную книгу.

— Дон-Кихот,— торжественно сказал дед. В лупе не было стекла, но дед сказал, что, если бы он вставил стекло, это было бы уже не искусство. Она не поняла, но согласилась. Дон-Кихот был грустный, с мечом на боку. На большой накладной пуговице кафтана дед умудрился вырезать что-то вроде герба.

Невозможно было угадать, что появится из магической комнаты деда, где под стеклянным колпаком сидела тоненькая дама с цветами в руках, в длинном платье, спадавшем с кресла по сторонам и красиво расстилавшемся на полу.

А по вечерам начинались «события» — так дед называл домашние спектакли, в которых он исполнял все мужские, а она все женские роли. Она засмеялась в темноте, вспомнив, как это было интересно и странно и как дед застал ее в слезах, потому что оказалось, что Джульетте только четырнадцать лет. В четырнадцать лет так сложно, красиво говорить:

О сердце, разорвися, ты банкрот!

Так влюбиться! Покончить с собой!

Отец дразнил их, доказывая, что, если читать стихи снизу вверх, ничего не меняется, а смысл, или, точнее, бессмыслица, становится гораздо занятнее. Она любила читать стихи вслух, и однажды актер московского театра, приехавший к своей дочке, которая была вместе с Олей в эвакуации под Краснокамском, сказал, что с ее голосом она могла бы стать настоящей актрисой. Но Борису не нравилось, как она читает стихи, он сам читал совсем по-другому. Когда Борис познакомился с ней, только что вернувшись с войны, ей больше всего понравилось в нем, что он пишет стихи, а сам не похож на поэта. Потом она ста-

ла думать об Остроградском — как с ним легко и как он удивился, когда она рассказала, что студенты говорили о каком-то профессоре Неймане, который занимается только тем, что читает его, Остроградского, работы, а потом определяет, что можно печатать, а что еще нельзя — никто не поймет. Он засмеялся и сказал, что Нейман действительно не дал ему напечатать одну работу и очень жаль, оттого что месяца через два нечто подобное опубликовали шведы. Лес стоял за окном, голубой от луны и снега. «Вот я и вернулась в лес». Детство было где-то рядом, беспечное, быстрое, притаившееся за добрыми, грубыми стволами.

И Остроградский не сразу уснул в эту ночь. У него была способность сосредоточенности, позволявшая ему думать о чем-либо двое-трое суток подряд,— и Черкашина приехала, когда он был в азарте обдумывания той «лагерной» мысли, которая почти никогда не оставляла его, то приближаясь, то удаляясь. Рефераты для Института информации нисколько не мешали ему. Но сегодня он не то что расстался с этой мыслью, а как бы попросил ее подождать, а сам ушел в сторону, в зимнюю ночную тишину, которая была не так одинока, не так однообразно пуста, как всегда.

Присутствие молодой женщины в доме, только пройти столовую, волновало его. Почему уехал Лепестков? Что это за отношения между ними? «Вы будете спать здесь»,— сказал он о них обоих, и она, как девчонка, поджала губы, сдерживая улыбку. Сколько ей лет? Двадцать восемь? Сердце стало замирать, легкая боль — та самая, загрудинная, вышла и расположилась привычно, как дома. Он лизнул пробочку с нитроглицерином и, когда не помогло, снова лизнул. Все хорошо. Эта женщина похожа на Ирину.

И он вспомнил то, что никогда не переставал вспоминать,— первую встречу с Ириной. Он работал в то лето на биостанции и, когда ему надоедали пахнувшие кухней борщи служебной столовой, ходил за семь километров к тете Паше, в поселок под Феодосией. Тетя Паша — бледная, рыхлая, красивая, с черными трагическими глазами — кормила вкусно, остро, обильно и, пока постояльцы обедали, рассказывала, как все стало дорого на базаре.

Остроградский любил эти обеды, любил ее сад с жирными гроздьями винограда, свисающими с согнутых арками веток, и вечерние разговоры с Пашиным мужем, кино-

механиком, мечтательным и тихим, когда он был пьян, и свирепым, когда тетя Паша приговаривала его к трезвому существованию. Иногда Остроградский оставался ночевать, и это тоже было приятно — проснуться в три часа ночи от голоса тети Паши, выгонявшей гусей, и выйти из мягкой душной темноты низкой комнаты на двор, в другую — мягкую и просторную темноту ночи.

В тот день он оказался за столом с молодой парой, только что приехавшей из Ленинграда и удивившей его тем, что за время длинного обеда — тетя Паша кормила не торопясь — муж и жена не сказали друг другу ни слова. Кроме самых общих, необходимых фраз, они не говорили и с Остроградским.

Он остался до утра, тетя Паша устроила его в сарае, на сеннике, пахнувшем полынью. Угрюмый, трезвый киномеханик бродил по двору, требуя немедленного признания своих заслуг в изобретении звукового кино, тетя Паша шваркнула в него палкой, он замолчал, сунулся было к Остроградскому, притворившемуся спящим, и вскоре сам уснул в том же сарае, за перегородкой.

Ночь открылась, началась, поплыла — сонные шорохи в сухой траве, ленивое мычанье коров, чьи-то мягкие шаги вдоль пыльного переулка. Негромкие, тревожные голоса разбудили его: «Как же так, ночью, одна? Мало ли что может случиться».— «Ты сказала ему?» — «И что?» — «Ничего?» — «Ну, поссорились! Да разве же так можно?»

Тетя Паша беспокоилась о молодой женщине, которая ночью ушла в горы, взяла только шаль и ушла, а когда тетя Паша спросила: «Когда же вы вернетесь?» — ответила: «Я совсем не приду».

Через несколько минут Остроградский уже быстро шел по переулку вдоль белых, под черными крышами, мазанок, в горы. Он забыл спросить, как зовут эту женщину. Он ничего не знал о ней, кроме того, что, выйдя из калитки, она повернула направо. Направо был спуск к морю, но через развалины Генуэзской крепости можно было подняться и в горы.

Собака нерешительно тявкнула, когда он спустился к морю и пошел вдоль длинно растянутых, сушившихся на рогатках сетей. В крепости стояла рыбачья артель. Он постучал в дверь странно врезанного в развалины строения; заспанный, босой мужчина вышел и сказал, что не видел женщину, не проходила.

Тропинок было много, и он не знал, почему выбрал именно эту, каменную, неудобную, сперва пологую, потом сразу крутую. Он как будто выбрал не эту тропинку среди десятка других, а эту ночь, когда в его жизни должно было произойти что-то неожиданное и значительное, эти развалины, лежавшие теперь перед ним как на ладони и выглядевшие грозно и грустно, эту дорогу, дрожавшую на неподвижно-черном пространстве моря.

Камешек попал в туфлю, он снял ее, вытряхнул и пошел дальше, не торопясь, почти наверное знал, что найдет эту женщину, увидит за первым же поворотом. И тропинка действительно повернула, превратилась в тропу... Никого. «Ау!» Эхо отозвалось. Неизвестно было, что кричать — «Вернитесь» или «Я за вами»? Она не знала его голоса, могла не отозваться, испугаться.

Он нашел ее на этой тропе, увидел издалека. Она оглянулась, стала быстро уходить от него; он догнал, задохнувшись...

Так он познакомился с Ириной — нашел замерзшую, закутавшуюся в шаль, накинувшуюся на него, когда он стал просить ее вернуться. Нашел и, не возвращаясь к тете Паше, уехал с ней на биостанцию, а оттуда в Москву. «Нашел в горах и не вернул владельцу»,— объяснил он друзьям. С владельцем потом было много хлопот.

Боль прошла, и, как всегда, захотелось курить, но он дал себе слово — не курить по ночам. И не кашлять, тем более что он теперь не один. Лепестков рассказал ему историю самоубийства Черкашина, и он лежал теперь, думая о том, что жизнь этой молодой женщины, в сущности, похожа на его, сложную, уходящую и, несмотря ни на что, прекрасную жизнь. Это произошло почти одновременно — самоубийство Черкашина и его, Остроградского, арест и ссылка. Причина была, как ни странно, одна или тот же человек, в руках которого соединились причины. Одни — для того чтобы Остроградского арестовали, а потом отправили в ссылку, где он много раз был близок к смерти, а другие — чтобы студент Черкашин бросился с одиннадцатого этажа и погиб сразу, без пыток. Все это кончилось вместе с той жизнью, которая ушла, как уходит поезд, простоявший много суток в буране, с заиндевевшими стенками, обледеневший, гремящий усталым железом,— и началась другая, тихая, в этой пустой даче, в лесу. Он счастливо дышал в темноте.

Наконец позвонили — и Снегирев кинулся в машину, едва не забыв дома портфель, набитый бумагами, которые могли пригодиться в разговоре.

Кулябко встретил его нервно-весело, вскочил, пошел навстречу и, повернув на полдороге, уселся за свой огромный письменный стол. «Плохо»,— с упавшим сердцем подумал Снегирев. Но это было ни хорошо, ни плохо. Это был Кулябко, сухой, узкоплечий, ежеминутно меняющий решения по каким-то, ему одному известным причинам.

У него была слабость — нумизматика. Он был страстным собирателем старых русских монет. Едва ли не каждый разговор со знакомым или полузнакомым человеком кончался тем, что Кулябко вручал ему листок с перечислением монет, которых еще не было в его бесценной коллекции и которые он разыскивал годами.

— Ну что, брат, прижали? — смеясь, спросил он.— Ведь не явился бы, если бы не прижали.

— Только собираются, Матвей Ильич,— стараясь попасть в этот непринужденный тон, отозвался Снегирев.

— Рассказывай. Десять минут.

Прошло не меньше пяти, а он уже слушал в пол-уха. Для него не имело значения, прав или не прав Снегирев. Он думал об изменяющейся картине отношений, которая породила самую возможность статьи в газете «Научная жизнь». На том участке биологии, с которым связан Снегирев, много напутано, и эта путаница не может продолжаться вечно! Может быть, оставить все как есть, то есть не жать на редакцию?

«Привык выходить сухим из воды Снегирев,— думал он в то время, как его лицо, с тонкими треугольными бровями и падающим на лоб черным хохолком, сохраняло привычное слушающее выражение,— избалован. Да теперь время другое».

— Матвей Ильич, дело прошлое, но я считаю, что его надо было не сажать, а отстранить от преподавания, потому что в лаборатории он волен заниматься чем угодно, а студентам мог принести только вред.

...С другой стороны, он сухим из воды выходил не случайно...— Теперь Кулябко внимательно слушал,— и оттуда как раз будут жать, хотя не хуже меня понимают... Придется позвонить...

— ...И очень хорошо, что вернулся, тем более что в Магадане или на Воркуте — где он там был — у него было достаточно времени, чтобы отказаться от своих туманных теорий. И то, что он живет где-то у Кошкина на даче, потому что его не прописывают в Москве...

— У Кошкина?

«Не буду звонить,— подумал Кулябко.— Так или иначе, придется налаживать отношения с кошкинской группой. Ведь если Академия по-прежнему будет настаивать, чтобы Кошкин был редактором «Зоологического журнала»...»

— Сейчас нельзя так резко ставить вопрос,— сказал он, чтобы сказать что-нибудь, и только потому, что Снегирев, долго, без умолку говоривший, вопросительно приостановился.— Ты учти, Валерий Павлыч, обманщиков действительно много.

«А что я скажу Спицыну? — продолжал он думать. Спицын был начальство.— Спицыну я скажу, что это необходимо для равновесия. Наконец просто чтобы как-то разрядить атмосферу в кошкинской группе. Так. Ну, а если действительно не одна статья, а серия, как говорит Снегирев? Да и вообще... Что значит «фальсификация науки»? Мало ли кто еще может принять это на себя! Нет, позвоню! Сегодня же! Буду настаивать. Снимут».

— Если редакция стремится к объективному решению,— говорил Снегирев,— почему не позвали Челнокова, Нечаеву, Клушина? Пригласили только кошкинцев, разве это не характерно?

— Валерий Павлыч, напрасно волнуешься,— весело сказал Кулябко.— Статья не пойдет.

У Снегирева радостно изменилось лицо. Он снова длинно заговорил.

— Нет, этого я остановить не могу,— возразил Кулябко.— Кто-то пишет, ну и пускай пишет. Ведь для тебя важно, чтобы статья не была напечатана, так? А это что? — с внезапно вспыхнувшим волнением спросил он, когда Снегирев положил перед ним на стол Алешкину монету.— Батюшки мои, никак, Иван Третий?

Снегирев позвонил Крупенину из автомата и с трудом удержался от смеха, когда Лариса Александровна сказала, что Василий Степанович не был у Остроградского, потому что у него вот уже третий день плохо с сердцем.

— Передайте ему привет. И скажите, что может сидеть дома. Лучше позовите Остроградского к себе. Может быть, и я забегу. Кстати, передайте, пожалуйста, Василию, что статья, о которой мы говорили, не пойдет.

Статья не пойдет. Все возвращалось на свои места. Он вспомнил о Ксении и решил, что пойдет к ней завтра после лекции. Нет, сегодня. Сейчас. Статья не пойдет. Но прежде надо позвонить домой. «Небось моя длиннополая места себе не находит».

Он взял такси и остановил его у кондитерской, чтобы купить для Ксении трюфелей. Триста грамм, пожалуйста. Нет, полкило.

Вместо Ксении он вдруг поехал к старичку-коллекционеру, у которого давно торговал для Алеши альбом редких и даже редчайших марок. Так. А теперь домой. Трюфеля пригодятся. Марья Ивановна любит, когда он покупает что-нибудь к столу. Статья не пойдет. «Дворники» сметали со стекол машины крупный нежный снег, и Москва — пушистая, легкая — показывалась и исчезала.

26

Мне почти никогда не удавалось оставаться равнодушным к отсутствию здравого смысла — черта, причинявшая мне множество огорчений. Мог ли я предположить, что эта склонность наконец пригодится?

Практическая сторона статьи была очень важна. Но была и другая. Предоставляя читателю право приговора, я старался не сопоставить, а, напротив, показать всю несопоставимость Остроградского и Снегирева.

Я не боялся того, что можно назвать резкостью светотени. Мне хотелось показать крупным планом самое дело науки, проникающей всю огромную, меняющуюся жизнь страны, и людей этого дела — реального в одном случае и мнимого — в другом.

Статья пролежала весь январь — Кузин утверждал, что по вине Горшкова, который испугался и стал тянуть, надеясь на творческий отпуск. Это был, разумеется, вздор. Главным затруднением — как выяснилось через несколько дней — было то новое, что вдруг стало краешком показываться в редакционной (и не только в редакционной) ра-

боте: газета сама должна была решить вопрос о том, печатать или не печатать статью.

— А поди-ка угадай границы этой свободы,— смеясь, сказал Кузин.— Особенно если ты, как Горшков, заранее ждешь неприятностей и думаешь только о том, как бы их избежать.

— Был звонок,— сообщил он мне в другой раз.— И дело плохо.

Был не один и не два звонка. Шла неустанная, лихорадочная, обдуманная — а иногда и не очень обдуманная — работа. Какие-то аспиранты прислали восторженный отзыв о Снегиреве как научном руководителе,— откуда могли они узнать о статье? Рыбачий колхоз (Феодосия) в пространном обращении доказывал, что летом 1953 года советы Снегирева обеспечили перевыполнение плана улова. Обращение было вооружено научными данными.

— Вы просто не представляете себе, что делается,— жаловался Кузин.— Жмут со всех сторон. Но определилось и другое: позиция. И непохоже, что главный редактор собирается от нее отступать!

По-видимому, он был прав, потому что вдруг прислали гранки, да еще с просьбой поторопиться.

— Статья в номере. Появится завтра.

Статья не появилась ни завтра, ни послезавтра. Снова что-то согласовывалось, увязывалось, проверялось.

Позвонил Горшков и попросил убрать фразу: «...чувство, в котором еще сквозила неуверенность в завтрашнем дне или сегодняшней ночи...»

Я не согласился.

Через час он позвонил снова:

— Тут у вас одиннадцатый этаж. Может быть, переделаем на пятый?

— Почему?

— У нас нет точных данных. Да и вообще... Стоит ли упоминать о Черкашине? Снегирев утверждает, что он был душевнобольной.

— Мало ли что он утверждает!

Статья появилась в начале февраля. Я прочел ее — и удивился. Для человека в общем добродушного она была непривычно резка. Но самым неожиданным в этой статье было то, что она появилась.

27

Ольга Прохоровна никогда не читала газету «Научная жизнь» и купила номер, чтобы завернуть сушки — кулек прорвался в трамвае. Дорогой она, не разворачивая сушки, стала читать газету и чуть не проехала Лазаревку — так раздумалась и разволновалась. Было что-то обидное в том, как автор наскоро, в двух словах, рассказал о самоубийстве Бориса. «Точно не было этой ночи, когда я, проснувшись, увидела у окна его вздрагивающие широкие, костлявые плечи. И других ночей, когда он не спал чуть ли не две недели подряд — и я уговаривала его пойти в диспансер, и он стал издеваться над женщиной-врачом, а потом выбежал на улицу и вдруг рассмеялся как ни в чем не бывало?»

В вагоне было светло и просторно; молодые цыгане, по-видимому муж и жена, смуглые до синевы, чисто и легко, не по-зимнему одетые, горячо разговаривали, сверкая неправдоподобно черными, красивыми, тупыми глазами — и Ольга Прохоровна, бог весть почему, вспомнила самые счастливые дни своей жизни с Борисом. Это было, когда она только что влюбилась в него, и даже еще не была уверена, что влюбилась. Она училась на филологическом, и он убеждал ее перейти на биофак, а сам все читал стихи, свои и чужие. Каждый вечер он встречал ее на Моховой, и они шли куда глаза глядят, по набережным, по переулкам Замоскворечья. Он много рассказывал тогда о войне, которая была для него не только испытанием, но — она это чувствовала — увлечением, страстью. Он рассказывал о жизни рыбаков на Тузлинской косе, узенькой полоске земли между двумя морями — Азовским и Черным. В конце двадцатых годов море размыло плотину в Тузлинской косе, уловы снизились, и теперь земляки ждали его возвращения, чтобы поднять вопрос о «прорве» и наконец перекрыть ее. Он рассказывал, волнуясь, и она тоже начинала волноваться, а вернувшись домой, рассказывала о «прорве» тетке, у которой жила на Кадашевской.

И вдруг они поссорились — как ссорились сейчас открыто, не стесняясь, молодые цыгане, эта красавица, вдруг яростно сорвавшая с шеи ожерелье из серебряных монет и швырнувшая в мужа или любовника горсть этих монет, раскатившихся по вагону. Они поклялись никогда не встре-

чаться, и сразу же она стала томиться и тосковать без него. Тетка, сестра отца, такая же большая и складная, как отец, посоветовала ей уехать, и она поехала на каникулы в Боровск, где жили какие-то дальние родственники, хотя надо было заниматься, потому что еще с первого курса остались хвосты.

Можно было подумать, что на краю света, а не в полутораста километрах от Москвы этот Боровск с его крутым берегом над изогнутой узкой рекой, с его свистом и гиканьем гулявшей молодежи, с завалившим крыши ослепительным снегом, со старым монастырем, в котором были теперь курсы по подготовке трактористов. Вечером она пошла в кино, устроенном в одном из монастырских зданий. Строгие своды плавными спадающими дугами опускались к овальным, полуметровой толщины окнам, забитым щитами; могучие двери с грозным, ржавым скрипом ходили на петлях, и неприятно-странен был контраст между суровостью старого здания и случайной обстановкой кино, горой легких скамеек, плакатами, плохо натянутым экраном. Стрекотанье аппарата послышалось, расширяющийся луч упал на экран, и в эту минуту она почувствовала, что Борис вошел в зал. Было невозможно представить себе, что он в Боровске, и если бы даже это случилось, как могла она почувствовать его приход, его присутствие в темноте, среди множества чужих людей, оживленно разговаривавших и замолчавших, когда началась картина? Но она почувствовала. Не оборачиваясь, она знала, что он идет между скамеек, ища свободное место, и знала, что через несколько мгновений она увидит его.

Это было чудо, когда сидевшая рядом девушка подвинулась, чтобы Борис мог найти это единственное свободное место, но Ольга не удивилась, только кивнула. Все уже было чудом: это странное и прекрасное кино, устроенное в монастырском здании, голубой конус света, в котором дрожала ослепительная рождественская пыль, его рука, которую он нежно и властно положил на ее счастливые, холодные руки...

Теперь в вагоне было шумно и тесно, инвалид вошел и требовательно закричал что-то, держа ушанку в багровых, туго обтянутых кожей культях. Закинув голову, с открытыми невидящими глазами он протискивался вдоль вагона, и Ольга Прохоровна положила в его ушанку монету с невольным чувством вины перед ним. «Когда я стала чув-

ствовать себя виноватой за то, что Борису было трудно учиться? За то, что Оленька плохо спала, за пеленки, за плохие уловы рыбы на Тузлинской косе? Не знаю, не знаю».

И снова она стала думать о своей неудавшейся жизни. Но ведь были же не только в Боровске недолгие счастливые дни! Когда они поженились, Борис повез ее знакомиться с родными на Тузлинскую косу. День они провели в белой, пыльной, раскаленной Керчи, и он интересно рассказывал о греческих древностях, а вечером поехали в колхоз, и старик Черкашин — слепой, прямой, с грубым, чистым, загорелым лицом — встретил их у порога и сказал: «Здравствуй, дочка». Каждое утро они уходили на лодке к самому краю косы, бродили по отмели, купались, читали стихи. Потом нашли какой-то островок, блестевший под солнцем, как огромная светло-желтая рыба, и Борис носил ее по этому островку на руках...

Тетка умерла; они переехали на Кадашевскую, и началась другая жизнь, еще хорошая, но другая, другая! Ждали сына, родилась дочка. Лепестков, который был где-то далеко, в экспедиции на Баренцевом море, прислал милую телеграмму: «Не огорчайтесь, девочки — тоже люди». Но Борис не только огорчился, он был глубоко расстроен, почти оскорблен...

Незаметно, исподволь подошел тот день, когда она вдруг вспомнила, что так и не рассказала ему о себе, о своем детстве, которое было самой счастливой порой ее жизни, о близости с отцом — она росла без матери, умершей родами. Потом подошел другой день — тоже запомнившийся,— когда она поняла, что и не могла рассказать — не потому, что не хотелось, а потому, что между ними никогда не было таких отношений, когда мог бы состояться этот разговор ни о чем, о пустяках, о том, что не было его делами, его обидами, его святостью, непогрешимостью. Тогда она уже знала, что рано или поздно уйдет от него.

28

Но когда же все-таки началось у Бориса это незамечание чужой жизни, эта, раздражавшая ее, глубокая, страстная погруженность в свою? Она сама почти перестала замечать Бориса — и очнулась однажды, уви-

дев не только не железно-упрямым, а растерявшимся, неуверенным, робким. Он всегда говорил, что живет и работает не для нее или Оленьки, а во имя высшей, благородной цели. Теперь оказалось, что он должен подделать дипломную работу — все во имя той же благородной цели: работы в колхозе, необходимости помочь землякам.

Вот тогда-то и произошло то, что она никогда не могла забыть и о чем теперь, через много лет, вспомнила с отвращением. Они поссорились, она назвала Бориса трусом, он ударил ее — и это была минута, когда кончились их прежние отношения. Она не могла не участвовать в новых, мертвенных отношениях — и участвовала. Но это была не она. Другая женщина, усталая, не очень молодая, заботилась о муже, думала о его делах, спала с ним в одной постели...

Они помирились. Как было не пожалеть его, когда он спрашивал с виноватой улыбкой: «Ну хочешь, я целых три часа не буду вздыхать?» Он бродил ночами, желтый, горбоносый, небритый, с большой проступившей челюстью, и было страшно за Оленьку, страшно найти неотправленное письмо Платону Васильевичу, в котором он прощался с ним и земляками.

29

Ольга Прохоровна внимательно прочитала все, что говорилось в статье о борьбе Снегирева против Остроградского, и хотя эта история, которую она и прежде знала, была изложена ясно,— все же оставалось непонятным, как могло получиться, что Снегирев, доказывая чушь и бросая на ветер огромные деньги, действовал так свободно? Можно было предположить, что ему покровительствовали какие-то влиятельные люди, которые, ничего не понимая в науке, все-таки доверились ему — почему? Ничего не было в статье о том, что, когда Снегирев почувствовал, как трудно справиться с упрямым противником,— он простонапросто посадил его... Очевидно, обо всем этом еще нельзя было писать откровенно? Но тогда, может быть, лучше совсем не писать?

«Все равно, он будет очень рад»,— подумала она об Остроградском, и у нее повеселело на душе, когда она вспомнила, как, слушая ее, он думает о своем, и как два

Остроградских, оба вежливые, с доброй улыбкой, но удивительно разные, по утрам долго шумно моются холодной водой на холодной кухне, а вечерами рассказывают — с юмором, как это ни странно,— о страшной, каторжной жизни. Один Остроградский был весел, легок, удивительно неприхотлив. Он наслаждался солнечной погодой, морозом, крепким чаем, теплом и, главным образом,— сказал он очень серьезно,— отсутствием сексотов, которые преследовали его в тюрьме, на этапе, в лагере и, по-видимому, в Москве, когда он жил у племянницы и друзей.

Все самое обыкновенное доставляло ему удовольствие, даже, кажется, самая возможность дышать.

Но статья, которую она читала в поезде, была связана с другим Остроградским, часто задумывающимся, потирая рукой высокий, в крупных морщинах лоб, рассеянным и глядящим свысока (так ей казалось) не только на нее, но на всю эту случайно сложившуюся, временную, неудобную жизнь. Этот второй Остроградский был известным ученым, попавшим в беду, но ожидающим реабилитации, после которой он, очевидно, снова получит кафедру, положение, квартиру. Что же касается ее, Ольги Черкашиной, так она-то и является принадлежностью этой временной, неудобной жизни в пустой кошкинской даче.

Остроградский рубил дрова у сарая и разговаривал с бабкой. Он был в валенках, без шапки. Старый ватник распахивался, когда он заносил топор,— и показывалась плоская, узкая грудь. Бабка терпеливо ждала, пока он устанет, и тогда начинала жаловаться на сноху и сына. Остроградский «разговорил ее» — на свою беду, потому что своими жалобами она не давала ему покоя.

— Ольга Прохоровна, отчет,— сказал он.— Все в порядке. Девочки лепят на Марусином дворе снежную бабу. Новостей никаких.

Он устроил на пне толстое полено и молодецки трахнул — полено развалилось со звоном.

— Вам вредно колоть дрова.

— Возможно. Но еще вреднее думать, что мне нельзя их колоть.

— А у меня для вас новость.

— Да ну? Хорошая?

— Очень.

Она подала ему газету, он начал читать — и сразу побежал в дом за очками.

Это было неожиданно, когда, сняв пальто и принимаясь хозяйничать на кухне, она услышала смех. Остроградский часто смеялся, но сдержанно, может быть стесняясь беззубого рта — в лагере он потерял от цинги передние зубы. Но сейчас это был очень веселый, умолкавший и вдруг снова взрывающийся смех. Прошло четверть часа, и, еще хохоча, он пришел на кухню с газетой в руках.

— Невероятно,— сказал он, снимая очки и вытирая слезы.— Очень смешно. Я был уверен, что не напечатают. Это неприятное совещание в редакции... Мне все время хотелось очнуться, как после длинного, нелепого сна. Но больше я не сержусь. Он влип.

— Кто?

— Разумеется, автор.

— Почему?

— Слушайте, вы не представляете себе, что это за люди! Теперь на него обрушатся все снегиревы Советского Союза.

Ольга Прохоровна слушала, не улыбаясь. Он посмотрел на нее — и хлопнул себя сложенной газетой по лбу.

— Боже мой! Вам должна быть неприятна эта статья, я подумал об этом, а потом совершенно забыл! Ну вот...— У нее стали быстро капать слезы.— Простите меня.

— При чем же здесь вы? Просто вспомнилось...

— Пожалуйста, не надо.

Остроградский взял ее руки в свои. Она отняла руки.

— Вы уже обедали?

— Нет, ждали вас.

— Я схожу за Олей.

Вечером Кошкин приехал на машине и привез Людмилу Васильевну Баеву, румяную, с круглой завитой головой, смеющуюся, похожую на амура. Но это был энергично настроенный амур, который уселся у топившейся печки и, положив руки на круглые колени, стал весьма трезво рассуждать о том, почему газета «Научная жизнь» вдруг заинтересовалась вопросом о честности в науке.

Моргая крошечными острыми глазками, желто-седой, мохнатый Кошкин весело расхаживал по дому.

— Экую красоту навели! — сказал он.— Будто в глазах светлее стало.— Это было любимое выражение его

домработницы, старушки, работавшей у него много лет.— А это что? Мой диван?

— Не узнаете?

Диван окреп и помолодел. У него был потрепанный, но внушающий доверие вид.

— Узнал с трудом.

На кухне Ольга Прохоровна, в косынке и библиотечном халате, накрывала к столу.

— Ого! И буфет откуда-то притащили?

Это был не буфет, а старая горка без стекол, которую Остроградский нашел в сарае и протер подсолнечным маслом.

— Молодцы!.. Ах, другая общественная погода? — сказал он, присаживаясь к Баевой.— Нет ничего проще! Устройте над Снегиревым показательный процесс — вот вам и другая общественная погода.

— Ох! Нельзя ли без процессов? Так почему же напечатали эту статью?

— Потому что Снегирев снова в чем-то крупно срезался и уличить его впрямую было, по-видимому, неудобно. Вот и вытащили старую историю. А может, срезался кто-нибудь почище, да не в биологии, а скажем, в сельском хозяйстве, и решено пожертвовать Снегиревым, чтобы отвести удар от других.

— А вы думаете, он так легко позволит собой пожертвовать? Ах, в конце концов не все ли равно? — спросила Баева, хлопнув себя ладошками по круглым коленям.— Дело идет на лад, это ясно. Иначе не появлялись бы в газетах статьи, которые год назад не то что прочитать, но вообразить было страшновато.

Лепестков приехал поздно, когда его уже перестали ждать, и привез незнакомого скромного мальчика в рыжем свитере и измятых штанах. Он сказал, что это Юра Челпанов, который только притворяется мальчиком, потому что уже окончил университет, работает в Институте океанографии Академии наук и недурно разбирается в физике моря. Остроградский поговорил с Юрой и был поражен: это «недурно разбирается» означало, что Юра не только наделен даром весьма просто выражать необычайно сложные мысли, но кружит где-то рядом с его «лагерной» теорией,— ошибаясь, правда, но смело, талантливо ошибаясь.

30

Снегирева была снисходительна к людям. Девушки из сберкассы получали от нее конфеты к Женскому дню. Над ее склонностью одеваться по-своему — вдруг она появлялась в бальном тюлевом платье — подсмеивались жены других профессоров. Но нельзя было не уважать постоянство ее убеждений.

Она была убеждена, например, в гениальности мужа, она негодовала на начальство, которое, по ее мнению, недостаточно ценило его, любила рассказывать о его популярности среди молодежи. Его значение — не только в обществе, но в истории — представлялось ей неоспоримым. Вот почему, прочитав статью, она решила, что это — просто вздор, на который не стоит обращать внимания. Но когда Валерий Павлович вышел к завтраку небритый, постаревший, с измятым после бессонной ночи лицом, и молча ушел к себе, выпив чашку черного кофе, она вдруг поняла, что ничтожная клеветническая статейка не только глубоко задела его, но угрожает его положению. Он принял бы ее легко, если бы это было не так!

Она поехала к Крупениным — ей хотелось повидаться с Ларисой, которую она уважала. К сожалению, Лариса была не одна. Из передней Мария Ивановна услышала голоса Челноковой и Клушиной. Дамы оживленно разговаривали — и замолчали при ее появлении.

Может быть, надо было сделать вид, что статейка нисколько не интересует ее? Но Марье Ивановне показалось недостойным притворяться — перед кем? Она сейчас же сказала, что никогда в жизни не читала ничего подлее и что они с Валерием Павловичем, разумеется, не оставят эту грязную клевету без ответа.

Лариса Александровна согласилась.

— Другой реакции никто и не ждет.— Она была сдержанна, может быть из-за Остроградского, к которому у нее «слабость», как однажды выразился Валерий Павлович? Но эта сдержанность была приятней, чем, например, фальшивое негодование Клушиной, которая расквохталась и потом уже никому не дала сказать хоть слово. Клушина, так же как и ее дурак муж, была, без сомнения, довольна, хотя не кто иной, как Валерий Павлович, вывел этого скользкого Клушина в люди. И Челнокова, которую Мария Ивановна вылечила от невралгии, была довольна, хотя и

промямлила что-то насчет ответственности за клевету. «Экий мешок»,— с отвращением подумала Мария Ивановна, когда огромная Челнокова встала, хотя за пять минут до прихода Снегиревой, очевидно, не собиралась уходить, а ждала ужина, чтобы нажраться.

Клушина, к сожалению, осталась. От статьи она, не закрывая рта, перелетела к какой-то домработнице, которая на седьмом месяце явилась к ней наниматься! — можете себе представить это нахальство!

Усталая, с головной болью Снегирева вернулась домой. Ей показалось, что даже старуха лифтерша смотрит на нее иначе, чем прежде. «Заболеваю»,— подумала она, заметив блеснувший откровенной ненавистью взгляд этой лифтерши, всегда лебезившей перед ней.

В содовой ванне, которую Мария Ивановна считала прекрасным средством от нервного переутомления, ей пришла в голову оригинальная мысль: она сама напишет ответ. Не жалобу, потому что жаловаться надо в правительство, и лучше, если это сделает сам Валерий. Именно ответ клеветнику, как там его фамилия?

Еще лежа в ванне, она стала сочинять этот ответ: «Гиганты науки не впервые подвергаются нападкам и поруганию. Нет ничего удивительного в том, что подобная участь...»

Она писала ответ до утра. «Как смеете вы шельмовать ученого, внесшего громадный вклад в народное хозяйство нашей страны?..» «Статья называется «О совести ученого». Но где же совесть писателя?»

Перед рассветом она задремала и очнулась разбитая, с тяжелой мигренью. Как всегда при мигренях, она видела хуже, чем обычно, и должна была почти вплотную приблизиться к зеркалу, чтобы разглядеть лиловое лицо с длинными мешочками под глазами. «Хороша»,— подумала она с отвращением.

Валерия Павловича уже не было дома. Сильно щурясь, она выпила кофе и отослала домработницу в магазин.

Аспирантка, не та рыжая, фамилию которой Марья Ивановна никак не могла запомнить, а другая, Шахлина, позвонила, чтобы рассказать, что вчера студенты покупали газету со статьей по рублю за номер.

Шахлина возмущалась, но странно — даже в ее восклицаниях чувствовалось тайное злорадство, хотя, как все ас-

ширантки, она была, конечно, без памяти влюблена в ее мужа.

К обеду письмо было закончено. Может быть, немного длинно? Мария Ивановна без сил прилегла на диван. Фрося, домработница, заглянула за какими-то распоряжениями — она отослала ее. Алеша вернулся из школы, по-видимому с Женей Крупениным, из коридора донеслись их негромкие голоса. «А не прочитать ли мое письмо мальчикам? — подумалось ей.— Будет хуже, если они услышат о статье со стороны. Возможно даже, что нашлись негодяи, которые уже успели подсунуть газету Алеше?»

То, что она услышала, подойдя к Алешиной двери, заставило ее простоять полчаса, почти не дыша.

— Сперва я хотел, как Долохов,— сказал Женя.— Помнишь, из «Войны и мира»? А потом решил пройти из отцовского кабинета в столовую по кромке.

— По какой кромке?

— Там есть кромка. Короткая, несколько шагов, а потом можно ухватиться за решетку балкона.

Мария Ивановна выпрямилась. Она помнила эту кромку и с ужасом вообразила на ней своего рассеянного, близорукого Алешу. Крупенины жили на восьмом этаже.

— Прошел?

— Да.

— И ничего не доказал.

— Почему?

— Потому что можно физически не быть трусом, а морально дрожать как осиновый лист.

Они помолчали.

— Я слышал, как мать сердилась на него за Остроградского,— сказал Женя.— Но почему отец так испугался его? Почему?

— Это интересно, но только теоретически.

— То есть?

— Потому что он не испугался бы, если бы не было причины,— слабо, но отчетливо сказал Алеша.

— Что ты хочешь сказать?

— Ничего. Вообще, спроси его сам, если на то пошло. Небось слабо? Это тебе не кромка.

Снова помолчали.

— Слушай, а ведь я спрошу,— зазвеневшим голосом сказал Женя.— У нас с ним условие, давнишнее, еще ко-

гда мне было десять лет. Я должен за день приготовить вопросы, а он по вечерам отвечает, иногда, между прочим, занятно.

— Не ответит.

— Ответит.

— Может соврать.

Они заговорили шепотом.

— А я так не могу,— сказал Алеша. У него был взволнованный голос.

— Трусишь?

— Да.

— Еще ладно, что признаешься,— с презрением сказал Женя.— А если он спросит — почему?

— Мало ли почему? Мои марки. Захотел и роздал.

Они заговорили о другом. Но Мария Ивановна еще долго стояла у двери с болезненной пустотой в голове, с внезапно онемевшими руками и ногами.

31

Перемены были даже в том, как вертелся Клушин, на которого в конце концов пришлось накричать. Клушин должен был послать от сотрудников кафедры строго объективное письмо: факты подтасованы, ложно использованы, искажены. Копия — в «Правду».

Перемены были и в том, как держался Данилов, на которого нельзя было накричать, как на Клушина, потому что он стал теперь заметной фигурой. Данилов полуобещал написать в редакцию, а потом посоветовал отсидеться. Персиков, Метакса, Коренев лебезили, так же как прежде, и все-таки немного не так.

Все это были перемены, хотя и не очень заметные, но характерные, приводящие в бешенство, от которых темнело в глазах, а сердце начинало стучать где-то в горле. Некогда было размышлять над ними, и он ломал их, шагал через них. Он знал и другое: как бы эти люди ни юлили, им придется его защищать, потому что они так же боятся этих перемен, как и он.

Они боятся, потому что сегодня он полетит вверх тормашками, а завтра может прийти их черед. Когда-то старый сухарь Данилов сказал, смеясь: «А здорово мы с тобой, Валерий Павлыч, разгромили советскую ихтиологию». «Мы с тобой». Он это сказал не случайно.

Но самая непостижимая, угрожающая перемена заключалась, разумеется, в том, что Кулябко позвонил в редакцию, а статью взяли да и напечатали, как ни в чем не бывало. Значит ли это, что редакция опирается на кого-то другого? Плохо, если так, потому что этим другим мог оказаться Спицын.

...Жена пришла в халате, с лиловым лицом, ступая осторожно, как цапля, и принесла «Ответ клеветнику» на пятнадцати страницах. Это было под вечер, он только что приехал от заместителя министра, который держался туманно и в конце концов дал понять, что хотя он лично возмущен «бестактной статьей», ему кажется сомнительным, что газета напечатает опровержение.

— Прочти, Валерий. Я сделала все, что могла.

Он начал читать.

— Ох, матушка, хоть ты не дури мне голову,— сказал он, горько вздохнув.

— Ты должен поговорить с Алешей. Мальчика нельзя узнать.

— То есть?

— Очевидно, какие-то негодяи подсунули ему газету.

Снегирев болезненно сморщился.

— Марья, хотя Алешу взяла бы ты на себя. Ну, объясни ему... Вот ты же написала!

— Я ему говорю: «Алеша, тише, папа не спит». А он отвечает: «Если не спит, почему же тише?»

— Ну и что же?

— Он роздал марки.

— Как роздал? Я только что подарил ему ценный альбом.

— Мальчикам.

Мария Ивановна заплакала — что было вовсе на нее не похоже — и ушла, оставив «Ответ клеветнику» на столе.

Снегирев прилег в сумерках, не зажигая огня. Что надо сделать, не откладывая, и что он сегодня так и не сделал? Нечаева! Он не договорился с Нечаевой, чтобы она написала в газету. Как-никак она — профессор, письмо может произвести впечатление. Кроме того, ее нужно пустить по разговорной линии. Вообще, разговорную линию нельзя упускать.

«Это-то все получится,— подумал он устало.— А вот что действительно трудно...»

Действительно трудно было повторить то, что он уже сделал однажды,— добыть подходящую справку о Черкашине в психоневрологическом диспансере. Тогда, в 1948-м, удалось. Но тогда он отбивался от факультетской комиссии, которая хотя и могла его утопить, но не хотела. Теперь — дело другое. Времена — другие и люди — не те.

«Мальчика нельзя узнать» — вдруг вспомнилось ему, и он подумал, что из-за этой статьи он за всю зиму не больше чем два-три раза разговаривал с сыном. Когда это было, что он вошел к Алеше и тот как-то неловко пошевелился в кресле, точно ему сразу же захотелось убежать? Он отвечал односложно, не поднимая глаз от книги, бледный, худенький, сжавшийся, с острыми коленями, с острыми плечами.

— О, будьте вы все трижды прокляты,— громко сказал Снегирев. Он сердито вытер ладонью мокрые щеки.

32

Ольга Прохоровна не сразу заметила, что она торопится в Лазаревку не потому, что беспокоится за дочку — Остроградский подружился с Оленькой, они отлично хозяйничали вдвоем,— а потому, что каждый вечер он рассказывал что-нибудь интересное, и Ольга Прохоровна с утра начинала думать об этих вечерних часах за столом.

Он прожил не одну, а несколько жизней — так ему казалось. Он как бы открыл в себе возможность переключения — в конце концов она поняла эту мысль, хотя многое из того, о чем он говорил, скорее чувствовала, чем понимала.

Вероятно, для того, чтобы начать вторую жизнь, надо прожить прежнюю до конца. Вот это — к сожалению или счастью? — не удавалось. Наука была всегда — и в лагере, где было не до науки.

— Способность переключения, вообще говоря, свойственна физисам,— объяснил он однажды.— Вы, конечно, заметили, что я — физис?

У него была шуточная теория, согласно которой человечество делится на физисов и психисов. Первые — неудержимо стремятся к цели, в особенности когда дело касается

любви, вторые действуют медленно, но верно. Физисы любят поесть, вспыльчивы, доверчивы. Психисы — сдержанны, подозрительны и, в общем, равнодушны к еде. И те и другие — мнительны, но физисы лечатся с наслаждением, а психисы — нервно, скептически, не доверяя врачам. И те и другие любят футбол, но физисы — беззаботно, легко меняя привязанности, а психисы — с предчувствиями, с дурными снами, предсказывая — из суеверия — поражения любимых команд.

Юлий Цезарь предпочитал солдат, которые в гневе краснеют. Это были физисы. Психисы бледнеют. Рубенс был физисом, не говоря уже о Дюма-отце, а из русских, разумеется, Лев Толстой, вопреки его философии.

— А вот я, например, не люблю футбол,— сказала Ольга Прохоровна,— значит, я не психис и не физис.

Он посмотрел на нее смеющимися глазами.

— О нет, вы — физис! Мне еще надо научить вас любить музыку, и тогда вы станете типичным физисом. Вроде меня.

Иногда они слушали музыку по радио, и Ольга Прохоровна жаловалась, что не может заставить себя только слушать, не думая ни о чем.

Ольга Прохоровна рассказывала о себе, хотя еще недавно уверяла Остроградского, что рассказывать не о чем, потому что в ее жизни не было ничего интересного. Но оказалось, что ему интересно даже то, что осенними вечерами она с отцом коптила в печке, на угольях, селедку, заворачивая ее в газетную бумагу. Он хохотал, как ребенок, когда она рассказала, как в десятом классе влюбилась в пожилого лысого учителя литературы и мучилась не тем, что он пожилой и лысый, а тем, что он маленького роста.

— И ведь все это было значительно, важно. Потом мне приходилось напоминать себе, какой я была тогда, чтобы понять, почему мне казалось, что это так значительно и важно!

Из лесничества Ольга бегала в школу на лыжах и опаздывала, потому что надо было посмотреть, что происходит в березовой роще. Ничего не происходило в роще, она просто стояла на солнце, нарядная, убравшаяся инеем, покачивая длинными, простоволосыми космами ветвей. Но посмотреть все-таки надо было, и даже не посмотреть,

а заглянуть, как в знакомый дом, где тебя ждут и любят. Отец не велел оклеивать обоями ее комнату, бревна начинали горьковато пахнуть сосной, когда топилась печка,— и это тоже был лес, который она любила.

У нее было чувство, что когда-то она уже вспоминала все это, потом забыла, а теперь снова вспоминает с трудом, с удивлением. Неужели это она держала с мальчишками пари, что прыгнет на лыжах с высокого четырехметрового трамплина,— и прыгнула, и сломала лыжи, которые только что подарил ей отец?

И Анатолий Осипович вспоминал свое детство. Каждую осень перед началом учебного года на двор въезжала крытая повозка, набитая старыми журналами. Бумага шла на переплеты для учебников, но прежде чем отец, покашливая в редкие монгольские усы, неторопливый, молчаливый, принимался за работу, мальчики (у Анатолия Осиповича был младший брат Гриша) уже с головой ныряли в журналы. Грише нравилось «Пробуждение». На каждой странице были виньетки, силуэты, медальоны. Женщины с распущенными волосами, в хитонах, улыбались загадочно и томно. Поэты подписывались странно: Черный Бор, Лидия Лесная.

— А я читал все подряд. В «Вестнике знания» — о первых воздухоплавателях. Монгольфье, Лилиенталь! В самых именах было что-то летящее, легкое!

Случались вечера, когда Остроградский не то что чувствовал себя плохо, но «существовал с усилием», как он сам говорил. Он серел, в черных глазах появлялось выражение тоски. Ольга Прохоровна уговорила его поехать к врачу — и он вернулся веселый.

— Да это мудрец Соломон,— сказал он.— Он спросил меня, слышал ли я такое выражение — «память сердца»? «У вашего сердца хорошая память. Когда-то вы перенесли микроинфаркт на ногах и забыли. А оно не забыло».

Ольга Прохоровна заказала микстуру, но он не стал ее принимать.

— Я сторонник более радикальных мер,— сказал он, смеясь.— Реабилитация, прописка. Вообще, счастье. А фармакопея, Ольга Прохоровна, помогала человечеству в девятнадцатом веке.

Реабилитация двигалась далеко не так быстро, как хотелось, с каждым днем отставая от других дел, связанных с восстанавливающимся положением. Кошкин был назна-

чен главным редактором «Зоологического журнала» — если бы Остроградский был прописан в Москве, он получил бы штатную работу. В Издательстве иностранной литературы ему предложили должность старшего редактора и вежливо уклонились от оформления, узнав, что он еще не реабилитирован.

33

Плохо было, что Кузин лежал в больнице со своей язвой и, следовательно, не мог присутствовать при разговоре. Но еще хуже было то, что разговаривать предстояло с Горшковым, который не понравился Остроградскому на совещании.

Он знал таких людей, потому что встречался с ними повсюду — в экспедициях, в научных учреждениях, в лагерях, где их было много среди начальников и среди заключенных. Это были люди, ежеминутно (внутренне) оглядывающиеся, к чему-то прислушивающиеся и давно разучившиеся думать о чем-либо, кроме собственной безопасности. Со своими круглыми фразами Горшков производил жалкое впечатление, может быть, еще и потому, что у него была мужественная внешность. Он встретил Остроградского вежливо, но неопределенно.

— Да, благодарю вас, конечно,— перебил он, едва Остроградский начал рассказывать ему о практическом значении своей, продуманной еще в лагере, работы. (Неудобно было сразу заговорить о реабилитации.) — Я позвоню М.— Он назвал знаменитое имя.— И мы обратимся к вам, в случае необходимости, непременно.

Было ясно, что он и не подумает звонить М. и что Остроградский совершенно не нужен ему, даже если его концепция способна совершить переворот в науке. Ему хотелось, чтобы статья «Совесть ученого» не появлялась в печати и чтобы вообще ничего не было, но одновременно все-таки как-то и было.

По-видимому, было бессмысленно говорить с ним о том, чтобы редакция обратилась в Верховный суд с просьбой ускорить реабилитацию. Но Остроградский все-таки заговорил, вспомнив чувство напряжения, которое невольно испытывал всякий раз, проходя мимо милиционера. Как-никак он был прописан в одном месте, а жил в другом. Гонорары в Издательстве иностранной литературы, в Ин-

ституте информации приходилось выписывать на Баеву или Лепесткова.

— Мне хотелось узнать...— начал он.

Горшков выслушал его.

— Разумеется, мы охотно поддержали бы вас,— сказал он,— хотя санкцию на это должен дать главный редактор. Но, Анатолий Осипович, тут едва ли поможет вам наша газета! Тут надо что-нибудь более влиятельное, солидное... «Известия», «Правда».

Остроградский помолчал.

— Понятно,— почти грубо сказал он.— Тогда вот что: вы можете дать мне два-три номера газеты с этой статьей?

— О, разумеется.

Он взял газету, поблагодарил и ушел.

Он недавно был в прокуратуре и сегодня не пошел бы снова, если бы не этот разозливший его разговор. Там, в прокуратуре, сидел свой Горшков, только менее вежливый, разговаривающий сквозь зубы. В прошлый раз он почему-то злобно вскинулся, узнав, что у Остроградского на руках осталась копия приговора. «Откуда у вас это? Вы не должны это иметь».

Просидев два часа в битком набитой приемной, среди таких же, как он, бывших лагерников, Остроградский вошел в кабинет — и удивился. На месте прежней окостеневшей скотины сидел молодой человек, румяный, сероглазый, лет тридцати, с хорошим лицом.

— Конечно, ему легко было дать такой совет,— заметил он (Остроградский рассказал, что жаловался заместителю прокурора, что ему не дают жить в Москве, и тот сказал: «Живите»),— но милиции еще легче оштрафовать вас за нарушение паспортного режима.

— Вот именно. Послушайте, я хотел вас попросить. Вы не можете ускорить это дело?

— По чести говоря, нет,— сказал прокурор.— Вы не представляете себе, что творится. Сейчас мы реабилитируем быстро, и хотя я не знаком с вашим делом... Я здесь человек новый.

— Вижу.

— И занимался до сих пор, между прочим, Катоном Старшим.

— Да?

— Но вот мобилизовали, или, вернее, сам мобилизовался — и не жалею.

Они помолчали.

— Послушайте, я хочу оставить вам этот номер газеты,— сказал Остроградский.— Здесь напечатана одна статья.

— О вас?

— Да. И еще об одном человеке, который, может быть, упоминается в деле. Прочтите.

— Непременно.

— И еще одно. Что, если бы за меня кто-нибудь поручился?

— Не помешает. Кто?

— Например, академик Кошкин.

— Отлично,— сказал прокурор одобрительно, но как-то так, что сразу стало ясно, что об академике Кошкине он слышит впервые.

— Или, может быть... У меня есть один знакомый артист.

Остроградский назвал фамилию.

— Да ну? Вы с ним знакомы? Давно?

— Лет сорок. Мы учились в одной школе, в одном классе.

— Что вы говорите! А он уже и тогда...

— Нет, тогда он был самый обыкновенный парень. Здорово свистал.

— Интересно,— сказал прокурор. Его серые глаза оживились.— Вы слышали, как он читает «Старосветских помещиков»?

— Нет.

— Гениально. Все перед глазами и жалко, ну просто до слез. Словом, это будет очень хорошо, если он пришлет поручительство, очень.

Остроградский ушел из Верховного суда в прекрасном настроении, хотя прокурор почти ничего не обещал. Но в том восторге, с которым он говорил о «Старосветских помещиках», было что-то обнадеживающее. Если уж старосветских помещиков ему жалко до слез...

24

Ему захотелось сразу же рассказать Ольге Прохоровне об этом разговоре, но был разгар рабочего дня, и он решил сперва побродить по Москве, а потом зайти к ней в библиотеку.

День был солнечный после морозной ночи, парок завивался и таял на потемневшем, чуть влажном тротуаре.

Дома стояли в матовой изморози, и в воздухе была эта изморозь, разноцветно вспыхивающая на солнце. Однообразный уличный утомительный шум вдруг обрывался — точно громадный оркестр настраивал инструменты, взмах палочкой — и все умолкало.

Он шел — и Москва его молодости проступала, четкая, как гравюра в старых книгах под матовой, прозрачной бумагой. Москва с садиком на Кудринской площади, с другими садиками и палисадниками, с никого не удивлявшей перекличкой петухов по утрам. С бульварами, которые сегодня скрипели бы от блеска и снега и были бы белыми и синими от косых теней на снегу.

С Большой Никитской он свернул на Тверской бульвар, где теперь не было ни Камерного театра, ни кино «Великий немой», ни деревянного балагана, в котором продавались медовые маковки, твердые, как железо. Вот здесь, рядом с кино, жил в 1919 году Иван Александрович Кошкин. В большой пустой квартире потрескивали от мороза и отваливались большими кусками заиндевевшие обои. Иван Александрович, такой же желто-седой, с медвежьими глазками, отжимал мерзлую картошку, а потом жарил оладьи на сковородке, которую вместо масла быстро смазывал стеариновой свечкой, а Толя Остроградский, в оборванном романовском полушубке, голодный и нахальный, ходил из угла в угол и доказывал, что одной из главных задач мировой революции является погружение батисферы в морские глубины вблизи Марианских островов.

А вот здесь жили сестры Раздольские, Нина и Вера, хорошенькая и нехорошенькая, и он нарочно стал ухаживать за нехорошенькой, а потом уже и не нарочно.

Все это была Москва до Ирины, Москва двадцатых, студенческих лет. Но вот он перешел Пушкинскую площадь, спустился к Петровке, и началась Москва Ирины, с тревогой отцовства, с сонными вздохами розовой, нежной, веселой жены, которую он никак не мог разбудить по утрам.

На пятачке, где теперь стоянка такси, была церковь, которую снесли в тридцатых годах. Цветочный магазин (бывший Ноева) напротив Столешникова еще сохранился в маленьком, одноэтажном здании, казавшемся странным в центре Москвы. Против Петровского пассажа, на месте садика, появившегося уже после войны, стояли двухэтаж-

ные дома, а на углу Кузнецкого и Петровки ампирный дом с колоннами. Продавец воздушных шаров всегда стоял вот здесь, у пассажа, и, когда у него покупали шары, отвязывал их ловко, небрежно, точно они не могли улететь.

...Он не зашел за Ольгой Прохоровной и поехал в Лазаревку один.

35

Зима с яркими, солнечными утрами, с колющим ветром, с крепким, вкусным, скрипящим снегом, который каждый день с ночи начинали увозить и никак не могли увезти из Москвы, наконец переломилась, обмякла. В матовом воздухе с бродящей полосой тумана уже брезжил март, когда Кузин позвонил и попросил разрешения прийти ко мне с Лепестковым.

— Вообще-то еще не зарубцевалась,— ответил он. (Я спросил, как его язва.) — Но, вот видите, пришлось выписаться. Словом, поговорим.

Он пришел посвежевший, слегка округлившийся — пожалуй, теперь хватило бы четырех углов, чтобы нарисовать его голенастую фигуру. И Лепестков изменился. Этот, напротив, похудел — и заметно. Прежде в его лице, длинно-круглом, розовом, с туманным взглядом, были и твердость и мягкость. Теперь осталась только твердость, особенно заметная в поджатых губах.

— Что ж, плохо дело,— бодро начал Кузин. Он приехал с толстым портфелем.— Шеф извлек меня из Второй Градской и приказал проверить все заявления Снегирева и иже с ним. Это значит, что я должен опрокинуть груду клеветы, доносов и просто вздора, а потом доказать, что мы поступили правильно, напечатав вашу статью. Редакция должна оправдаться. Перед кем? Не знаю. Горшков ушел в кусты.

— В самом деле?

— Притворился, что вообще почти не существовал, когда печаталась ваша статья. Болел, уезжал, разводился с женой, собирался в творческий отпуск. Фантом страха,— со вздохом сказал Кузин.— Распространяется мгновенно, со скоростью света. На меня уже посматривают с сожалением: попал в историю! Черт с ними! Я сказал шефу, что мне одному не справиться, и он выдал мне помощника по фамилии Гершановичюс. Дельный малый! Так вот корот-

ко: Снегирев добивается, чтобы газета напечатала опровержение — и добьется, если мы этому не помешаем. Мы — это, в частности, вы.

— Я?

— Да.

Кузин вынул из портфеля две папки, толстую и тонкую. На толстой было написано крупно: «Письма отрицательные», а на тонкой: «Письма положительные».

— Вы, оказывается, человек-невидимка.

— В самом деле?

— Да. Вы умеете бесследно исчезать под маской уважаемого писателя. Вы просто делец, которого давно пора поставить на место.

Кузин развязал папку и стал читать отчеркнутые места.

— «Вы дали нашим врагам за границей богатый материал для издевательства над советской наукой... Ваша грязная статейка — это не поиски честности в науке, а бесчестная месть... Над ней смеются даже юнпаты... Она представляет собою возмутительный пример тенденциозности и подтасовки фактов». Некоторые выражения повторяются дословно,— заметил в скобках Кузин,— хотя авторы находятся в разных городах и, очевидно, не имеют понятия друг о друге. С юридической точки зрения это — улика.— Он положил письма на стол.— Так-с. Считайте, что я сообщил о том, что происходит в мире малом — то есть в нашей газете. Теперь попросим Михаила Леонтьевича рассказать о том, что происходит в мире науки.

Молча слушавший, а может быть, и не слушавший (он с неодобрением водил глазами по стенам, на которых висели недурные, с моей точки зрения, картины), Лепестков встрепенулся и заговорил:

— Я, между прочим, тоже написал вам письмо, но оно, очевидно, находится в «положительной» папке. Мне кажется, что ваша статья в известном смысле — событие.

— Спасибо.

— Нет, спасибо вам. К сожалению, она далеко не полна.

— В каком смысле?

— Некоторых поразительных фактов в ней не хватает.

— А именно?

— Ну вот, хотя бы проверка, о которой говорил Проваторов. Возражения Снегирева обошлись ВНИРО — следовательно, государству — в полтора миллиона рублей.

Лепестков говорил мягким голосом, как будто сожалея о том, что вынужден упрекнуть меня в полуправде.

— Это все?

— Нет. Вам удалось рассказать о Снегиреве. Но Остроградский... Мне кажется, вы написали бы лучше, если бы немного больше узнали о нем.

— Например?

— Он был арестован по вздорному обвинению, но в тюрьме от него добивались — известно, как это делалось — признания в том, что акклиматизация кольчатого червя — вредительство. Он отказался и объявил голодовку.

— Ну, знаете,— добродушно сказал Кузин,— об этом уж вы сами пишите.

— А я и напишу. Теперь о другом. Конечно, невозможно перечислить все оттенки отношения к вашей статье. Сейчас многие начинают догадываться, что можно работать, так сказать, «мимо» снегиревых, и дорожат этой возможностью, считая, что победа подлинной науки все равно неизбежна. Так стоит ли вмешиваться?

Он помолчал.

— Другие отнюдь не рассчитывают, что победа придет сама собой, и убеждены, что для этого надо многое, в том числе и такие статьи, как ваша. Кстати сказать, во ВНИРО состоялось обсуждение статьи. В целом — за, хотя были и возражения. Так вот, решается вопрос: заступиться или отступиться? И кажется, что подумывают заступиться. Этого следовало ожидать: отделаться от Снегирева хотя и заманчиво, но не так-то просто. Теперь насчет опровержения. Если ему удастся добиться опровержения, это будет очень плохо — и прежде всего для Остроградского. Сейчас его дело пересматривается в Верховном суде. Статья может ускорить реабилитацию. В сущности, она сама по себе является реабилитацией — если не в юридическом, так в общественном смысле.

— А вы думаете, что в Верховном суде читают газету «Научная жизнь»?

— Может быть, и нет. Но этот номер прочли. Остроградский сам отвез его прокурору.

— Понимаю. Важно, чтобы опровержение не появилось. Но что же я-то могу для этого сделать?

Лепестков посмотрел на Кузина, который сидел с таким видом, как будто самого главного он еще не сказал. Потом на меня. Мы помолчали.

— Прежде всего,— сказал наконец Лепестков,— надо доказать, что вы и Остроградский — не родственники.

Я засмеялся.

— Слушайте, слушайте,— сказал Кузин.

— Видите ли, по поводу вашей статьи большое волнение. Сейчас оно, впрочем, начинает уже утихать. Студенты, в частности, комитет комсомола, требовали широкого обсуждения. Партком тянул, обещал, снова тянул — собственно, не партком, а Сотников. Одновременно работала комиссия. На днях ее доклад обсуждался на парткоме, и вот тут-то и было сказано, что вы и Остроградский — родственники. Его дочь замужем за вашим сыном, заявил Сотников, а за ним еще кое-кто.— Он вопросительно посмотрел на Кузина.— Кажется, это нашло отражение в письмах?

— Да.

— Кстати, многие выступали против Снегирева, так что постановление прошло с трудом. Но прошло. Кое-кто утверждал, что Остроградский тут вообще ни при чем. И что вся эта затея понадобилась вам для книги «Преобразователи природы». Так вы не родственники?

Я засмеялся.

— Впервые увидел его в редакции.

— Один парень, между прочим, честный, задал мне этот вопрос, и я ответил, что если вы — родственники, значит, вы оба — гениальные актеры, потому что даже по системе Станиславского нельзя было естественнее разыграть первое знакомство. Надо написать, что вы не родственники.

— Куда?

— В партком.

— Копия — в ЦК, в нашу редакцию и в «Правду»,— прибавил Кузин.

— Но тогда надо, чтобы написал и Остроградский.

— Уже.

Это была краткая автобиография: «Я родился в 1904 году в Екатеринбурге. Мой отец Осип Александрович родом из Нижнего Новгорода. Девичья фамилия матери —

Верпер, она родом из Саранска. Наша семья жила в Москве с марта 1917 года. У меня есть племянница — Анна Георгиевна Долгушина. Моя жена Стеллецкая Ирина Павловна и дочь Мария 6 лет скончались в Москве летом 1951 года. Мой брат Григорий Осипович служил на Балтийском флоте и был убит во время Отечественной войны...»

В конце Остроградский упоминал, что увидел меня впервые на заседании в газете «Научная жизнь». Никто из его родственников и друзей лично со мной знаком не был.

Я вернул заявление Кузину. Должно быть, у меня было расстроенное лицо, потому что он сочувственно сморщился.

— Так-то, дорогой мой,— сказал он.— Это вам не романы писать.

Они ушли, а я задумался над дикой необходимостью доказывать, что мы с Остроградским не родственники, хотя если бы мы были родственниками, вполне естественно с моей стороны было бы за него заступиться. Меня подозревали в том, что я написал о нем, потому что его дочь, которая умерла, когда ей было шесть лет, вышла замуж за моего сына, которому минуло двадцать.

Но и другие мысли пришли мне в голову, когда я принялся за свое письмо, состоявшее главным образом из отрицаний. Сопротивление Снегирева представилось мне в сценах, которые я вдруг увидел его глазами, а не своими. Это бешенство, этот опыт деятеля, умело опирающегося на подозрительность, недоверие, на смутное чувство вины, скользящее за тобой по пятам.

И другой взгляд представился мне: Остроградский. Я вспомнил его смуглое лицо с внезапно пробегающей свободной улыбкой, его большие, сильные руки с поблескивающей кожей пятидесятилетнего человека. Работа! Он хочет работать! К черту обиды, не было унижений! Страшно только одно — невозможность работать!

36

В Лазаревке произошло событие. К старухе Цыплятниковой, работающей в пекарне, явился гражданин из Москвы и загнал ее в подвал, угрожая революьвером. В ее

домике жена этого гражданина каждую неделю встречалась с любовником. Старухе удалось выбраться из подвала, и она прибежала к Марусиному мужу, шоферу Пете. Петя пошел к Цыплятниковой, и с ним, очевидно, просто из любопытства, отправился Остроградский.

Все это Черкашина узнала от бабки Грипны, которая жалела только об одном: что неверная жена не приехала поездом 17.40.

— Теперь ему ждать и ждать, а ему разве дадут ждать? У окна сидит, а кто мимо идет — стреляет.

Черкашина только что вернулась из Москвы, усталая, сердясь на себя за то, что, выстояв длинную очередь, взяла только одно кило отличной антоновки, которая зимой встречается редко. Больше она не думала об антоновке.

— Как стреляет?

— С винтовки. Собаку убил. На него собаку спустили, а он убил.

— Зачем же Анатолий Осипович пошел?

— Кто ж его знает? Должно, в мокрую простыню завязывать.

— Не понимаю.

— Этаких в мокрую простыню завязывают и в Белы Столбы везут. Он — притверженный.

Надо было идти за Оленькой, а Черкашина все говорила с бабкой. Не добившись толку, она побежала к Марусе. Девочки играли во дворе. Маруся, спокойная, добродушная, тоже сказала, что Анатолий Осипович с Петей пошли обезоруживать ревнивого мужа.

— Вообще, надо бы в милицию позвонить,— сказала она.

— А где она живет, эта Цыплятникова?

— Далеко. Аккурат у пруда.

Ольга Прохоровна вернулась, накрыла на стол и села у окна. Лепестков должен был приехать к обеду. Вспомнив об этом, она поставила еще одну тарелку и подрезала хлеба. Потом снова села.

Оленька что-то рассказывала звонко и, рассердившись, что мама не слушает, полезла к ней на колени и с силой повернула к себе ее голову.

— Мама! Да мама же!

— Сейчас, Оленька,— сказала она и, накинув пальто, вышла за калитку.

Никого не было на дороге с припорошенной колеей. Редкие овальные куски снега лежали на елях. Было тихо; дятел где-то постучал и замолк. Лес темнел успокоительно, мягко. Но она волновалась.

Лепестков приехал в восьмом часу, и Ольга Прохоровна накинулась на него, как будто он был виноват в том, что Остроградский пошел выручать какую-то старуху.

— Сам же говорил, что ему надо держаться подальше от милиции!

— Ничего не понимаю.

Ольга Прохоровна объяснила. Она была очень бледна.

— Надо пойти за ним.

Лепестков искоса посмотрел на нее и опустил глаза.

— Да?

Каждые два-три дня он привозил для Анатолия Осиповича библиотечные книги и сейчас привез много книг в большом заплечном мешке. Твердо ступая, он прошел в его комнату, вынул книги и положил их на стол.

— Куда идти?

— Никуда,— ответила она с раздражением.— Вы устали. Садитесь, будем обедать.

Лепестков молча надел полушубок, треух и вышел.

Через полчаса Ольга Прохоровна увидела их из окна.

Остроградский, похожий на старого рабочего в своих ватных брюках и распахнутой телогрейке, что-то живо рассказывал. Лепестков слушал его, опустив голову, не улыбаясь. За ними ковыляла бабка с раздувшимся от любопытства носом.

Ольга Прохоровна засмеялась. Ей и потом все время хотелось смеяться, хотя в том, что рассказал Остроградский, не было ничего смешного. Ревнивый гражданин оказался худеньким пареньком лет двадцати четырех, едва ли не студентом. Он действительно хотел застрелить жену. О предстоящем свидании ему сообщила соседка Цыплятниковой, тоже работница пекарни, но не из моральных побуждений, а потому что завидовала Цыплятниковой, получавшей за комнату пятьдесят рублей в месяц.

— И действительно был вооружен?

— Да. Старым наганом. И откуда только у него взялся?

— Стрелял?

— Да нет! Как только увидел милиционера, бросил наган в снег и заплакал.

— А вы не подумали, что милиционер может заинтересоваться вовсе не этим студентом, а вами?

— Подумал. Я сперва было не пошел. Но потом мне очень захотелось.

Все засмеялись, и даже сумрачный Лепестков улыбнулся.

— Теперь его в Белы Столбы свезут,— сказала бабка.— Али на Канатчикову. Меня сноха задавить хотела, а у самой сына на Канатчикову свезли. Была я там, видела. Ничего, тихий.

— Бабушка, садитесь с нами, пообедайте,— ласково сказала Ольга Прохоровна.

Остроградский поднял брови. До сих пор между бабкой и Ольгой Прохоровной были несколько натянутые отношения.

Бабка села и за весь обед никому не дала сказать ни слова.

— Мне без полтора года восемь десятков,— сказала она, захмелев после первой же рюмки.— А почему? Потому, что я в бога верю. Наш бог — староверский. Наша вера от вашей — крепкая.

37

Остроградский заметил — этого нельзя было не заметить,— что Ольга Прохоровна была необычно оживлена в этот вечер, а Лепестков, наоборот, молчалив и подавлен. Она часто смеялась, завитки белокурых волос упали на лоб, в тонком лице замелькало что-то отчаянное, беспечное.

— Пусть бы все делали, что им нравится,— сказала она, когда разговор вернулся к тайным свиданьям и ревнивому мужу.— Эх, вот бы жизнь была!

Она, смеясь, посмотрела на Лепесткова, и он покраснел, опустив глаза.

«Поссорились»,— решил Остроградский. Последнее время Лепестков стал далеко не так часто приезжать в Лазаревку, как прежде. Он очень похудел, в яйцеподоб-

ном лице обнаружились проломы, а во всей плотной, крупной, неуклюже-стремительной фигуре — костлявость. По-видимому, между молодыми людьми были сложные отношения.

После обеда Остроградский пригласил было Лепесткова к себе, но Ольга Прохоровна вдруг не пустила их, заявив, что сегодня она не позволит им говорить о делах.

— Почему бы нам, например, не послушать музыку?— весело спросила она.— Миша, я знаю, не танцует. А вы, Анатолий Осипович?

Он сразу же подхватил этот тон:

— Танцую. По меньшей мере, танцевал лет пятнадцать тому назад. Нет, меньше! На Красной площади, в День Победы. Миша, покрутите приемник, а я пойду и надену новый костюм.

— Не нужно, я шучу. Наверно, и сама разучилась. Лучше почитаем стихи.

— А вы любите стихи?

— Очень.

И Ольга Прохоровна рассказала, как школьницей часами бродила по лесу, читая стихи.

— А еще я любила лежать на полу с раскинутыми руками.

— Зачем?

— Не знаю. У горящей печки. Лежала и думала. Вы помните что-нибудь наизусть?

Остроградский сказал, что в лагере на вечере самодеятельности читал отрывок из «Войны и мира».

— Наизусть?

— Да. Я любимые страницы помню наизусть.

— Ну, прочтите.

— Нет, это длинно. Еще я читал Блока. Хотите?

— Да.

Он прочел «Под насыпью во рву некошеном».

— Как хорошо! — сказал Ольга Прохоровна и вздохнула.

Лепестков собрался уезжать, и она — это было впервые — стала с жаром уговаривать его остаться.

— Ну, пожалуйста, Миша! Мы еще посидим, поболтаем! Я вам застелю в столовой. Анатолий Осипович, скажите ему.

— Конечно, оставайтесь, Миша. Ведь вы еще хотели рассказать мне о вашей книге.

Лепестков стоял неподвижно.

— Нет, мне нужно,— наконец глухо сказал он.

— Я вас не пущу!

Он надел полушубок и остановился, зачем-то крепко сжимая треух побелевшими пальцами. Потом стремительно, плечом вперед, двинулся к двери. В овале оттаявшего окна Остроградский увидел его мелькнувшую, пересекающую двор фигуру.

— И бог с ним! — сказала Ольга Прохоровна. У нее был расстроенный вид.

— Это звучит, как «черт с ним»,— сказал Остроградский.

Она расхохоталась.

— Может быть! Он прекрасный человек. Но утомительный, правда?

— Ничуть.

— Ну, ладно, ничуть. Хотите еще выпить?

— Ого,— сказал Остроградский тихо.— Ого!

— Ну, что «ого»? Хотите или нет?

— Конечно, да.

Она налила себе и ему задрожавшей рукой.

— Вот и все. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Остроградский ушел к себе, но не стал ложиться, а сел у незадернутого окна, за которым были темный двор и грубые почерневшие лапы елей с белыми пятнами снега и дрожащие просветы месяца, который старался спрятаться от Остроградского за быстро бегущими облаками. «Лепестков ревнует ко мне, чудак, а она сердится,— вот откуда это волнение и стихи, и «пусть бы все делали, что им нравится», и глаза. И я бы на его месте ревновал, да еще как! Сидел бы, как тот парнишка, с наганом у окна и ждал поезда семнадцать сорок».

И он стал думать о том, как ему хотелось понравиться Ольге Прохоровне, сперва бессознательно, а потом нарочно: он давно не рассказывал о себе с таким наслаждением, давно не говорил так много о музыке, о литературе. Да, да, ему хотелось, чтобы она заслушивалась его, притихнув, сжавшись в старом ободранном кресле! Он старался внутренне приблизиться к ней и чувствовал, что это удается ему, может быть потому, что и она понимала, что ему нужен не только ее интерес и волнение, но она сама, с заколотым и все-таки всегда рассыпающимся узлом волос, с

беспечным смехом и нежными, разъезжающимися глазами. Разве она не сказала однажды, что никогда и ни с кем ей не было так интересно, как с ним.

Он посмотрел на Иринин натюрморт, который менялся, как человек, при вечернем свете — кувшин становился старше, темнее, цветы скромно сияли на сливающемся, исчезающем фоне. «Откуда я привез ей этот кувшин? Ах, да! Из Сванетии. Она не поехала тогда со мной, ждала Машу».

— Ну что ты, конечно же, нет! — сказал он этим цветам, кувшину, этим грубым доскам стола, которые тоже выглядели совсем иначе, чем днем.

38

С вокзала Лепестков поехал не домой, а в магазин «Грузия», где у знакомого продавца купил «Саперави». Для Баевой, которая предпочитала сладкие вина, он взял «Мускат». Она жила рядом с «Грузией»; он позвонил ей, она пришла, розовая, утонувшая в шубе, похожая на игрушечного мохнатого зверя. Они купили балыку, ветчины, икры и много других вкусных закусок, на которые у него не хватило денег, так что Людмиле Васильевне пришлось на минутку вернуться домой.

— Свадьба? — спросила она, когда, погрузившись в машину, заваленную пакетами, они поехали на Ордынку.

— Проводы,— ответил он серьезно.

— Далеко?

— В Антарктику.

Людмила Васильевна засмеялась. Но было что-то очень невеселое в том, как Лепестков, приехав с ней на Ордынку, принялся прибирать в комнате и накрывать на стол. Помедлив немного, она снова спросила:

— Что-нибудь случилось?

— Ровно ничего.

— Ой ли!

— Право же!

— И нельзя помочь?

Он слабо усмехнулся.

С Проваторовым невозможно было договориться по телефону, потому что после работы он возился со своими

рыбами и оторвать его от этих рыб, важно дремлющих в огромных освещенных аквариумах, можно было только силой. Так Лепестков и сделал: приехал, надел на Проваторова шубу и посадил в такси.

Кошкин, которому он позвонил от Проваторова, согласился сразу.

— У меня гостит племянница,— сказал он.— Я привезу ее с собой, хорошо?

Юра Челпанов пришел, когда садились за стол.

Так начался этот вечер — весело, но неопределенно. Никто не понимал, по какому поводу Лепестков позвал гостей и что должно было произойти в его боковушке.

Разговаривали ни о чем, смеялись, шутили. Но в шутках чувствовался оттенок ожидания. Ничего не ждала только племянница Кошкина, которая, кажется, не сомневалась в том, что московские ученые собрались в честь ее приезда. Племянница оказалась артисткой минского драматического театра. Она быстро вертела лохматой рыжей головкой, много пила и кокетничала со всеми, даже с Людмилой Васильевной, которая покатывалась со смеху, едва та открывала рот. В большом, красивом, седом Проваторове артистка заподозрила драматический талант и сказала, что с такой внешностью он должен работать не в каком-то ВНИРО, а играть Ричарда Львиное Сердце. Эта артистка чуть не заставила Лепесткова отказаться от затеи, ради которой он позвал друзей. Но он не отказался.

Его книга была еще далеко не закончена, и он не решился бы устроить чтение так скоро, если бы не другое, важное решение, которое могло на неопределенно долгий срок изменить его жизнь.

— Вот только боюсь, не соскучилась бы...— Он забыл, как зовут племянницу Кошкина.

— Ерунда. Леночка как раз нуждается в некоторых научных представлениях, чтобы окончательно покорить любителей джаза,— возразил подвыпивший Иван Александрович.— В крайнем случае, она немного поспит. Дать тебе подушку, Леночка?

Артистка с гордостью отказалась, и Лепестков, отодвинув в сторону грязную посуду, положил рукопись на стол.

Он не сразу начал читать. Волнуясь, он долго устраивал над столом чертежную лампу, вытягивая и сгибая ее

длинную шею. Его румяные длинно-круглые щеки слегка побледнели, вьющиеся некрасивые волосы как-то отдельно повисли над лбом, напоминая парик...

— Алексей Сергеевич, ведь можно не сомневаться в том, что вы принимаете участие в организации антарктической экспедиции? — спросил он, когда все разошлись, кроме Проваторова, не любившего рано уходить из гостей.

— Можно. И даже должно.

— Так вот.— Раскрасневшийся, в пиджаке, наброшенном на крепкие плечи, Лепестков, стоя на коленях, мешал угли в прогорающей печке.— Не нужен ли вам биолог, кандидат наук, тридцати семи лет, рост — сто семьдесят два, вес — семьдесят четыре?

Проваторов задумчиво посмотрел на него.

— К пингвинам захотелось?

— Да. Засиделся.

— Кажется, научный состав уже укомплектован.

— А вспомогательный?

— Не поедете же вы хлебопеком?

— Нет. Но я, например, знаю штурманское дело.

— Мало у нас своих экспедиций?

— Много. Но мне охота туда.

— Ладно, поговорю,— нехотя сказал Проваторов.— А что случилось?

— Ровно ничего.

— Правда?

— Разумеется, правда.

39

Очевидно, редколлегия явилась в полном составе, потому что кабинет Беклемишева был почти полон. Я мало знал его. Он был высокий, лет сорока, грузноватый, рыжеволосый, добродушный. Отпечаток достоинства был заметен в том, как он говорил и держался. Такой же — грузноватой, добродушно-снисходительной была и его газета.

Горшков рассказал историю статьи.

— При всем моем глубоком уважении к автору, следует признать, что разработка давала более широкие воз-

можности. Эффектность материала не всегда приводит к эффективным результатам.

Это было отвратительно — слушать его, думая о том, что, если опровержение будет напечатано, редакция волей-неволей вынуждена будет свалить свою мнимую вину на меня. Невозможно было ненавидеть Кузина, с его добрым кривым носом, с его кадыком и язвой, но я был, кажется, готов убить его за то, что он втянул меня в эту историю.

Почему вопрос об опровержении обсуждался с такой остротой? Потому что так же, как в недавнем прошлом произошли перемены, позволившие напечатать статью, так теперь сопротивление Снегирева, энергия его покровителей и подручных произвели другой, частный, сдвиг, заставивший редакцию серьезно подумать об опровержении. Были люди, которые не хотели печатать его, прекрасно понимая, что газета попадает в неловкое положение. Но были другие, опасавшиеся за собственное положение в редакции, маленькие снегиревы, построившие свое благополучие на осторожности, оправдывавшей любую — с их точки зрения — необходимую ложь. Эти хотели, более того — требовали, думая, что в борьбу вступили люди, с которыми бесполезно бороться. Были, наконец, и третьи, скользящие, взвешивающие, пытающиеся угадать позицию главного редактора — и тайком уже набрасывающие текст опровержения в редакционных блокнотах.

Далеко не все произносилось вслух. Многое передавалось шепотом, на ухо, записочкой, из рук в руки. Кто-то сказал, что следовало «фокусировать» вопрос на других, менее «локальных» случаях, а потом «суммировать» его — и не в одной статье, а в серии больших, научно обоснованных выступлений.

Кузин иронически крякнул. Я впервые видел его в официальной обстановке. Он был совсем другой, нахохлившийся, сдержанно-мрачный. Трудно греметь заржавленными латами в присутствии начальства. Убивать его мне больше не хотелось.

— Прошу слова,— срывающимся голосом сказал он.

Беклемишев кивнул.

— В разработке, которую подготовил отдел, материал суммирован,— начал Кузин.— Фальсификация опытных данных установлена в терапии, в микробиологии, в почвоведении, в животноводстве. Я считаю необходимым послать

разработку в ЦК. Теперь о статье. Все поведение Снегирева уже после опубликования статьи говорит о том, что мы были обязаны ее напечатать. Я приведу только один пример. Почти во всех отрицательных письмах по адресу автора повторяется следующее обвинение: «Знал ли он, что Черкашин был душевно болен, и если знал, то почему умолчал об этом?» Или: «Как не постеснялся он воспользоваться словами и поступком душевнобольного человека?» Но вот передо мной две справки. Одну из них Снегирев представил в партбюро в 1948 году, когда его обвиняли в том, что Черкашин из-за него покончил самоубийством. Копию с копии этой справки он прислал в нашу редакцию. Мы с Гершановичюсом поехали в диспансер и установили, что это подложная справка. Прошу сличить с нею ту, которую нам выдали по данным истории болезни.

Он положил на стол бумаги, и они пошли гулять по рукам.

— После самоубийства прошло пять лет. Врач, выдавший подложную справку, умер. Ему повезло,— сказал с отчаянием Кузин.— Потому что, если бы мы были последовательны, мы могли бы привлечь его к ответственности за тяжелое служебное преступление. В истории болезни шизофрения предположена, но не подтверждена. Диагноз — вегетативный невроз у конституционного невропата. Большинство из присутствующих — по меньшей мере я — конституционные невропаты, и у всех, без исключения, вегетативный невроз. Между тем, цитирую: «Мы исключили бы его из партии, если бы он не представил справку о том, что Черкашин был душевнобольным...» Из письма бывшего члена партбюро Чернова. Цитирую: «Он доказал нам, что Черкашин выбросился из окна в припадке безумия». Из стенограммы беседы с бывшим секретарем факультетской комиссии Еремеевым.

Было ясно, почему Кузин говорил с отчаяньем. Но это было никого не удивлявшее отчаянье, которое все присутствовавшие как бы условились не замечать. Точно он совсем не говорил — так была выслушана его безнадежная, прозвучавшая из другого времени речь. Главный редактор смотрел на него снисходительно, но неподвижно.

Я попросил слова — и удивился, услышав свой взволнованный голос. Мне казалось, что я совершенно спокоен.

Я сказал, что преувеличенная осторожность еще бродит среди нас, хотя она основана, в сущности, на инерции, медленно сходящей на нет. Пора очнуться от этого состояния неуверенности, шаткости, унизительного недоверия друг к другу. Пора, наконец, оценить всю дикость, всю неестественность этого чувства, еще недавно вторгавшегося в самые незначительные подробности жизни. Может показаться, что я нахожусь в трудном положении — под статьей стоит моя подпись. Но это мнимое впечатление: для меня было важно написать эту статью и полезно увидеть то, что произошло и происходит сейчас — перед моими глазами.

Меня выслушали молча. Бледный, на глазах заболевающий Кузин подошел в перерыве и крепко пожал мою руку.

Когда заседание возобновилось, Горшков прочел набросок опровержения — вероятно, один из многих, потому что он с трудом разбирался в перечеркнутых строках. Редакция признавалась, что была неправа, называя доктора наук Снегирева невеждой. Вопрос о фальсификации науки требует более осторожного подхода и более тщательного изучения. Моя фамилия не упоминалась.

Я повез Кузина к себе, и мы напились. Он поклялся, что больше никогда не попросит у меня статью на подобную тему для его газеты или, если его прогонят, на любую другую тему для другой газеты.

— Мы смотрим глазами дня, как на часы — который час? — сказал он.— А надо смотреть глазами года. Нет, пятилетия. Вы способны?

— Сегодня едва ли.

— Нет, вы способны. Глазами десятилетия,— сказал с вдохновением Кузин.— И тогда сразу станет ясно, кто прав. Вы согласны?

Я ответил, что согласен, и тогда он, как дважды два, доказал, что опровержение напечатано не будет.

40

В этот день Остроградский рано уехал в Москву. У Ольги Прохоровны был маленький грипп, и ей выписали бюллетень на два дня — очень кстати, давно пора было заняться стиркой. Пока вода грелась на плите, они с

Оленькой, оставшейся дома, чтобы помочь маме, разбирали белье. Пес залаял. Кто-то глухо топал на крыльце, потом сказал просительно: «Веничка бы!» Она выглянула и увидела милиционера. Рядом с ним понуро стояла бабка.

Ничего особенного не было в том, что единственный в Лазаревке милиционер Гриша заглянул на кошкинскую дачу. Но у Черкашиной почему-то беспокойно екнуло сердце.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте.

Гриша снял шапку.

— Хозяин дома?

— Хозяин здесь зимой не живет.

— А кто живет?

— Я.

Гриша подумал. У него было румяное, добродушное лицо с висячими, как у младенца, щеками.

— Прописаны?

Ольга Прохоровна сказала, что она прописана в Москве. Сюда ее пригласил на время академик Кошкин.

— Может быть, показать вам паспорт? — спросила она, волнуясь.

Гриша посмотрел паспорт.

— А кто еще здесь живет?

— Больше никто. Собственно, в чем дело?

— Там будет видно, в чем дело. Покажите квартиру.

Они прошли в ее комнату. Оленька, отобрав свое белье, энергично завязывала его в простынку.

— Дочка?

— Да.

— А это чья комната?..— спросил он, пройдя через столовую и заглянув к Остроградскому.— Тоже ваша?

На полочке лежали бритвенные принадлежности, а в консервной банке на столе — окурки. Ольга Прохоровна засмеялась,— кажется, естественно,— и покраснела.

— Ну что ж,— сказала она кокетливо,— приезжает ко мне иногда один человек. Мне ведь еще не сто лет, правда?

Гриша смотрел на нее, подозрительно щурясь. Он посуровел.

— Да, вам не сто лет. Значит, иногда приезжает? — Он сделал ударение на «иногда».

— Да.

— Понятно.

Он ушел с этим неопределенным, угрожающим словом, а она осталась стоять в кухне, схватившись рукой за спинку стула.

Оленька спросила что-то насчет соды и засмеялась.

— Ну, мама, я спрашиваю, хватит ли соды, а ты говоришь — на кухне, в столе.

— Мы сегодня не будем стирать, доченька. Одевайся, я отведу тебя к Марусе. Мне надо в Москву.

Волнуясь, что она не застанет Лепесткова дома, она поехала к нему прямо с вокзала. Но он был дома. В майке, открывавшей сильную волосатую грудь, он что-то писал, согнувшись над столом.

— Миша, за Анатолием Осиповичем приходил милиционер,— сказала она не здороваясь.— Надо найти его и предупредить, чтоб не возвращался.

Лепестков усадил ее и стал расспрашивать.

— Обыска не было?

— Нет.

— Кто-то накапал.

— Да. Я думаю — бабка.

Он пожал плечами.

— Зачем?

— Да просто так. Почему бы и нет? Я пойду.

— Куда.

— Не знаю. Надо позвонить Кошкину.

Лепестков посмотрел на нее исподлобья. У нее горело лицо. Меховая шапочка была надета криво. Прядь волос завилась где-то не на месте, под ухом.

— Поговорим спокойно. Не думаю, что его собираются арестовать. Это делается иначе. Кто-то донес, что он живет без прописки. Вероятнее всего — Снегирев. Могут оштрафовать. Могут, впрочем, и выслать. У вас есть дела в городе?

— Я хотела кое-что купить.

— Вы зайдете домой?

— Да.

— Вот и хорошо. Я буду у вас,— он посмотрел на часы,— ровно в два. Думаю, что Анатолий Осипович в Институте информации. Словом, я его разыщу.

Они расстались. В два часа Лепестков приехал на Кадашевскую и сказал, что в Институте информации Остроградский был утром, а в Издательство иностранной литературы не заезжал. Кошкин на заседании Академии наук и будет дома не раньше вечера. Домашняя работница говорит, что Остроградский был у него вчера.

— Это я знаю, он рассказывал.

Ольга Прохоровна только что вернулась и сидела в пальто, усталая, с авоськами на коленях.

— Вам надо поесть,— помолчав, сказал Лепестков.

— Может быть, он у племянницы?

— Вряд ли. Там муж очень пугливый. По-моему, Анатолий Осипович у них не бывает. Вам надо поесть.

— Я не хочу.

Она съела яблоко.

— А где живет его племянница?

Они поехали к Долгушиным и никого не застали дома. В Ленинской библиотеке они провели добрый час — там по кошкинскому абонементу Остроградский получал книги на дом. Любезная девушка на абонементе сказала, что сегодня для Кошкина никто книг не брал.

В восьмом часу, измученные, молчаливые, они простились на Савеловском вокзале.

41

Накапал, очевидно, Снегирев. Или просто, когда Анатолий Осипович пошел смотреть на ревнивого мужа, устроившего засаду у Цыплятниковой, на него обратили внимание, как на незнакомого нездешнего человека. Это было очень неосторожно. Он вообще неосторожен — от усталости, от неустройства. Как он сказал об этой женщине, бывшей ссыльной, тоже прописавшейся под Загорском? «В подвешенном состоянии»? Ему надоело постоянно находиться в «подвешенном состоянии», ежеминутно оглядываться, всегда чувствовать себя виноватым. За что? Она думала об этом в поезде, а потом, тащась к даче со всеми авоськами, разбитая, взволнованная, усталая, боясь, что сейчас она придет домой и бабка скажет ей: «Взяли».

Она распахнула калитку. В доме был свет. Остроградский встретил ее на кухне.

— Все знаю,— сказал он.— Приходили из милиции, и надо смываться. Почему вы сегодня так поздно? Я беспокоился. Ходил за Олей, но Маруся сказала, что она ее накормит и сама приведет.

Ольга Прохоровна, не раздеваясь, села на табурет и заплакала.

— Что с вами?

— Ничего. Просто устала. Мы с Мишей искали вас целый день. Боже мой, мы объездили всю Москву. Где вы были?

Он смущенно засмеялся.

— У меня есть такой приятель, Валька Лапотников, я рассказывал вам? Он затащил меня к себе. Мы пообедали, надо сказать, недурно, а потом он показывал мне свою коллекцию старого русского фарфора. И каялся. Милая, родная моя,— сказал он и поцеловал ее руку.— Так вы из-за меня так измучились? Вы на себя не похожи.

Маруся привела Оленьку, и девочка, заметив, что мать устала, сразу же стала хлопотать — достала продукты, накрыла на стол, поставила чайник.

— Черт, как не хочется уезжать,— сказал Остроградский. У него вдруг стало измученное, старое лицо.— Ладно. Ничего не поделаешь.

Он ушел и вернулся.

— Главное, реабилитация-то продвигается. Я сегодня был в прокуратуре. Все знают, что я не виноват. Но странно: оправдать человека так же сложно, как обвинить. Или даже еще сложнее. Много работы. Говорят — скоро. Останусь сегодня,— помолчав, сказал он.— Уже поздно, ночь. Не придут.

Весь вечер он уходил к себе и возвращался. Решено было, что он уедет в шесть утра, налегке — куда? Там будет видно. Может быть, в Загорск? Или Серпухов? Если бы удалось снять комнату, я бы остался в Серпухове. А потом Лепестков привезет чемодан.

Они поужинали.

— Бог даст, не последний раз,— сказал он, наливая водку. Ольга Прохоровна отказалась, но он попросил: — Ну, маленькую. Эхма! А Валька, между прочим, хорошо живет.

Они чокнулись, выпили. Остроградский ушел к себе, но не стал ложиться, а сел у окна, как в тот вечер, когда Ольга Прохоровна развеселилась, а Лепестков приревно-

вал ее и рано уехал. Когда это было? Совсем недавно, две недели назад. Но это было уже в другой жизни, в той, которая опять уходила, таяла, менялась, как менялась, таяла ночь раннего марта за окном. Месяц не прятался от него, как тогда. Голубовато-черный, неподвижный свет стоял между елей.

Он встал и прошел через столовую, быстро, бесшумно, с сильно бьющимся сердцем. Дверь в комнату Ольги Прохоровны была закрыта неплотно, он открыл ее и остановился на пороге, не решаясь войти.

Она не спала. Короткая соломенная штора не доходила до подоконника, полоски лунного света, как транспарант, лежали на полу. Она сидела на постели, опустив голову, придерживая рукой одеяло на груди, прислушиваясь.

— Это вы, Анатолий Осипович?

— Да.

— Идите сюда.

Он еще медлил. Она сказала:

— Идите же.

42

Остроградский слышал, как прошла последняя электричка, и удивился, когда до него донеслось далекое гуденье и нарастающий в тишине шум первого утреннего поезда, который должен был прийти через четыре часа. Может быть, он уснул?

— Я спал? — спросил он.

— Несколько минут.

— Я помню, на чем вы остановились. Вы поехали с Борисом на Тузлинскую косу.

— Да. Я поняла, что вы уснули, и замолчала.

— А вы не поспали?

— Нет, мне не хочется. Спите, мой дорогой.

— Вот еще! Это стыдно.

— Ничуть.

— Ну, рассказывайте.

— Может быть, не надо?

— Нет, надо. Вы тогда были счастливы?

— Да. Это была счастливая неделя. Он был совсем другой на родине. Веселый. Все время таскал меня на руках и пел.

— А потом?
— Потом я поняла, что уйду или стану ему изменять.
— И стала?
— Нет. Может быть, не успела?

Ночь давно переломилась, а в комнате все не становилось светлее. Остроградский закрыл глаза. У него было странное, счастливое чувство, что он вернулся в свое прошлое, украденное у него и теперь ворвавшееся с разбега. Непрожитое, с полосками луны на полу, с детской кроваткой, в которой спал, неслышно дыша, ребенок.

— А ничего, что я старый?
— Вы какой-то не старый. А если и старый?
— Пятьдесят три.
— Ну так что ж! Ведь не семьдесят три.

И она снова стала рассказывать о той памятной неделе на Тузлинской косе. Ей долго не было потом так хорошо — да что говорить — до сегодняшней ночи!

— Вы там были потом?
— Да. В запрошлом году. Ездила показывать Оленьку деду. Там хорошо. И дед хороший.
— Рыбак?
— Да. Он слепой. Там все рыбаки. И все говорят о «прорве».
— Что такое прорва?
— Прежде рыба почему-то задерживалась у Тузлинской косы, а потом стала проходить свободно. Борис все надеялся, что когда-нибудь удастся закрыть эту прорву.

Электричка пришла и ушла.

— Я знаю, куда я поеду. К Лапотникову.
— А он кто?
— Он — фигура.
— Фигура где?
— В рыбной промышленности. Он меня приглашал.
— На два-три дня. А потом?
— Не знаю. Если бы даже удалось снять комнату в Серпухове, там нельзя работать.
— Ко мне, на Кадашевскую.
— А соседи?

Электричка снова пришла и ушла.

— Пора,— сказала Ольга Прохоровна.
— Так рано не придут.

— Вам надо поспать.

— У Вальки высплюсь. Поговорим еще. Как все произошло между нами? Я ничего не знаю.

— Вот так и произошло. Мне вдруг подумалось — слава богу, нужна. Ведь нужна?

— Еще бы.

Она замолчала, ровное дыхание послышалось. Уснула? Остроградский тихо положил руку на ее грудь. Она во сне поцеловала руку.

— Пора.

— Ухожу.

Но он не ушел. Полоски на полу побледнели, свет месяца и снега стал медленно таять, маленькие, легкие тени закружились, опускаясь за молочным окном. Должно быть, пошел снег. Остроградский с закрытыми глазами увидел этот мягкий, мартовский снег, матовый, несверкающий, в скромных отблесках еще не вставшего солнца. Он радостно вздохнул.

— Полежим спокойно.

— Мы лежим спокойно.

— Это называется «спокойно»?

— Да.

— Буду знать,— серьезно сказала Ольга Прохоровна.— Буду знать.

Утром Остроградский уехал в Москву, а она отвела Оленьку к Марусе и стала бродить по дому, бледная, счастливая, в новом платье, которое ей почему-то захотелось надеть. Перед зеркалом она, впервые за много лет, намазала губы и сразу же, как будто испугавшись чего-то, стерла помаду.

Она бродила и думала. В опустевшей комнате Остроградского она долго смотрела на связанные стопочки книг, на старый чемодан, к которому были привязаны, тоже старые, солдатские, еще лагерные ботинки...

На другой день Ольга Прохоровна переехала с Оленькой в Москву.

43

От Лепесткова, который хлопотал в райсовете, она знала, что ее очередь на комнату, хотя и медленно, но приближается, и что есть надежда получить ее еще в этом

году. Теперь, выстояв длинную очередь к добродушной, похожей на мопса старухе, она поняла, что если это произойдет, так не раньше, чем она сама превратится в старуху. Она поняла, что нельзя молча уходить, выслушав стереотипный ответ, и что нельзя даже стереотипно скандалить. Надо было не просто хлопотать, а нападать, грозить, уговаривать, и не от случая к случаю, а неустанно, ежедневно, неутомимо.

Она пошла в Моссовет и добилась того, что на Кадашевскую явилась комиссия, принявшая решение, которое должно было ускорить дело. Через воспитательницу Оленькиного детского сада она познакомилась с депутатом райсовета, и тот поддержал и лично переслал в жилотдел ее заявление. Она попросила директора Библиотеки иностранной литературы позвонить председателю райисполкома.

— Вот вы, оказывается, какая,— сказала ей эта ученейшая, почтеннейшая, известная всей Москве женщина, которой Ольга Прохоровна еще недавно смертельно боялась. Она ответила искренне:

— А я и сама не знала, что я такая.

Старухе из жилотдела она позвонила сорок раз и сказала ей об этом в конце концов, услышав в ответ рычание. Но ей и нужно было это рычание.

В середине апреля она выяснила, что ее очередь передвинулась, или, точнее, что кто-то, получавший комнату вне очереди, вынужден был ей уступить. Теперь ее место было недальнее, и все знали, что она держится за это место зубами. Ее уже не только знали, ей сочувствовали.

За месяц она виделась с Остроградским только два раза. Однажды у Лапотникова, в богатой квартире на улице Горького, где гостеприимный, с толстым, лукавым лицом хозяин старательно подчеркивал, что они могут чувствовать себя, как дома,— и вечером другого дня на углу улицы Воровского и Садовой. Она увидела его, идущего к ней через площадь, и испугалась, что он не ждет, пока встанут машины. Был вечер, косые столбы фар перекрещивались, метались — и она чуть не вскрикнула — ей показалось, что он попал под колеса. Но он снова показался, высокий, худой, в кожаном пальто и кепке, надетой по-молодому лихо.

— У тебя лицо засияло, вот я на него и пошел,— от-

ветил он, смеясь, когда она стала выговаривать за неосторожность.

У обоих были важные новости — Остроградский хотел рассказать о том, как двигается реабилитация, Ольга Прохоровна — о своих жилищных делах.

Она сказала, что собирается отвезти Оленьку к деду, на Тузлинскую косу, и что тогда он сможет приходить к ней на Кадашевскую — разумеется, днем.

— Хоть пообедаешь по-человечески.

Они теперь были на «ты».

— А соседи?

— Ну что ж, соседи! Ведь днем.

— А нельзя сегодня? Сейчас?

Она покачала головой.

— Оленька дома.

Они шли молча, улыбаясь друг другу. Он вспомнил и рассказал, как в первую ночь, когда она переехала в Лазаревку, он не спал и волновался, потому что она была рядом, и думал о том, что его и ее жизнь, в сущности, переплелись давно, еще когда они не знали друг друга.

— А потом я подумал: «Встать и пойти к ней».

— Ну да?

— Честное слово. Но я знал, что не пойду. Это было от счастья.

Она поняла.

— От возможности счастья?

— Да. И от одиночества.

— А мне все казалось, что ты то далеко, то близко.

— Так и было.

— Мне казалось, что это как станция, на которой ты ждешь поезда. Лазаревка, эта дача и то, что я приятна тебе. А главное для тебя — совсем другое. То, что связывало твою прежнюю жизнь, до лагеря, с той, которая будет потом.

— Связывала ты. Не сразу. Сперва мне просто хотелось понравиться. Хорошенькая. Кажется, одинокая. Почему бы и нет? А потом я перестал стараться.

— Жаль.

— Правда, жаль?

— Я шучу. Теперь уж чего стараться!

Он обнял ее у закрытых дверей храма Всех Скорбящих Радости на Ордынке. Здесь было темно и никто не прохо-

дил, потому что сквер, окружавший церковь, был разделен в этом месте забором. Между колонн была запасная боковая дверь. Половинки ее немного разошлись, высокая узкая полоска светилась сквозь щель. В храме шла вечерняя служба, монотонное чтение, прерываемое возгласами и как бы протяжными вздохами, доносилось до них. Они целовались, потом слушали, притихнув. Свет уличного фонаря был далеко, но в сумраке зимнего снежного вечера Остроградский видел взволнованное лицо Ольги Прохоровны. Он испугался, что она так молода, сказал ей об этом, и она в ответ молча поцеловала его. Было холодно стоять у железной церковной двери так долго, может быть не меньше часа, оба были в легких пальто. Но уйти было трудно, даже невозможно, и они не уходили.

— «Обручается раб божий Анатолий рабе божией Ольге»,— смеясь, сказал Остроградский.— «Ты бо из начала создал еси пол мужеский и женский и от тебе сочетавается мужу жена в помощь и восприятие рода человеча».

— Откуда ты это знаешь?

— Из «Анны Карениной». Я заменил имена...— И он продолжал: — «Сам убо господи боже наш, пославый истину на наследие твое и обетование твое... Призри на раба твоего Анатолия и на рабу твою Ольгу и утверди обручение их в вере, и единомыслии, и истине, и любви...»

44

Ольга Прохоровна знала, что она не в силах передать Остроградскому и десятую долю того чувства счастья, которое она прежде никогда не испытывала и которое давным-давно перестала ждать. Это чувство было и спокойствием, как будто расставившим все в душе по местам, и возвращеньем к детству, потому что только в детстве она так наслаждалась ожиданием, неожиданностями, тишиной. Все это не имело, кажется, никакого отношения к нравственности, но никогда прежде она не чувствовала такого отвращения к лжи, неестественности, притворству. Может быть, не она, а Анатолий Осипович чувствовал это отвращение? Она подчас путала его мысли и чувства со своими не потому, что вполне понимала его, а потому, что все принадлежавшее прежде ей стало принадлежать ему,

и она инстинктивно старалась, чтобы он получил больше, чем ожидал, да и больше, чем она сама ожидала. Они точно складывали вместе свои душевные силы или менялись ими, поддерживая друг друга. Все неудавшееся, несбывшееся как бы перестало существовать для нее или с каждым днем становилось все незначительнее и бледнее.

Она не забыла своей жизни с Борисом, но та жизнь не произошла, а случилась, так же как могла случиться другая, более спокойная или счастливая, но одинаково не похожая на то, что сбывалось теперь между Остроградским и ею. Даже в первые счастливые годы с Борисом надо было что-то объяснять, что-то прощать ему, чего-то стыдиться. Сейчас ничего не надо было объяснять — все понималось с полудвижения, с полуслова. Не надо было ни прощать, ни стыдиться. Надо было только одно — стать собой, и она знала, что это происходит, и надеялась, что Анатолий Осипович думает об этом, хотя, может быть, не так часто, как она.

Но самым неожиданным было возникшее в ней и все укреплявшееся ощущение свободы, особенно острое, потому что с Борисом она была оскорбительно несвободна. Оно появилось не потому, что Анатолий Осипович ни в чем не стеснял ее — и Борис, почти не касаясь, проходил мимо того, чем она была занята. Напротив, оно появилось потому, что Остроградский не только расспрашивал ее о каждой мелочи дня с интересом, но думал и говорил о ее будущем — не вернуться ли ей в университет? Она чувствовала себя свободно потому, что, опираясь на него, знала, что свободен и он.

Как в детстве, Ольга Прохоровна как бы прислушивалась к глубокой органной ноте, сопровождавшей все происходившее между ними, и, как в детстве, когда она прыгала с четырехметрового трамплина, ей казалось, что она решилась на опасный, рискованный шаг.

И только одно тревожило и огорчало ее: она не была уверена, что и в нем произошла такая же глубокая, ошеломляющая перемена. Что-то оставалось непрозрачным в нем, что-то не вспыхнуло, осталось в тени. Но это пройдет, это пройдет! Он никогда не говорит с ней о жене и дочери — почему? Случайно она увидела фото Ирины и замерла: что она перед этой высокой красавицей, взмахнувшей ракеткой, смеющейся, в прелестном платье, с тонким, скромным лицом!

45

Ольга Прохоровна продала свою единственную драгоценность — золотое колечко с черным жемчугом, которое отдал ей, уходя на войну, отец,— и за колечко заплатили неожиданно много, четыреста тридцать восемь рублей. Этого было достаточно не только на поездку в Керчь, но и чтобы купить Черкашиным подарки. Дед Платон Васильич жил с незамужней дочерью, работавшей на рыбкомбинате.

В Джанкое была ночная пересадка, на станции говорили, что переполненный поезд стоит недолго, попасть тяжело. Но Ольга Прохоровна почему-то не волновалась. Дежурный по станции бросил свои дела и пошел компостировать билеты вместе с ней — она нисколько не удивилась. Единственное место оказалось в купированном вагоне — и это было именно так, как должно быть. Еще никогда в жизни она не чувствовала себя такой уверенной и спокойной.

В темном ночном купе, куда она едва достучалась, спали мужчины в трусиках — и сейчас же вскочили, стали устраивать ее на нижнее место — у нее было верхнее. В купе было жарко, но из вежливости все они, когда вновь улеглись, натянули на себя одеяла.

Она проснулась с рассветом, прислушалась и засмеялась: соседи говорили о «прорве». О «прорве» говорили и в Керченском порту, где Ольга Прохоровна с дочкой ждали катера. И на катере, где моторист яростно схватился с приезжими, утверждавшими, что в крымском рыболовстве ничего не изменилось бы, даже если бы «прорву» удалось заткнуть.

Но вот остались позади торчащие из воды безобразные остовы судов, затопленных во время войны, плавучий док, самый берег, на котором строящиеся заводы угадывались по очертаниям кранов. Линия кавказского берега показалась вдали.

Покойное чувство охватило Ольгу Прохоровну, сидевшую на корме, подставив лицо весеннему, уже жаркому солнцу. Впервые в жизни она должна была расстаться с дочкой. Она знала, что это будет трудно для них обеих — у Оленьки наполнялись слезами глаза, когда, слушая мать, она покорно кивала. Все было очень трудно — и то, что де-

нег у нее в обрез, и что сверхурочная работа — составление библиографии для одного никому не нужного издания — отнимала у нее вечера, которые она могла бы проводить с Остроградским, и что они бродили по Москве, бездомные, целуясь в подъездах, как в семнадцать лет. Но все было так легко, что легче невозможно было себе и представить. Ничего прекраснее нельзя было себе представить, чем нежная линия Таманского полуострова, которая то затуманивалась где-то в дымке, то вырисовывалась прозрачно. Ничего необыкновеннее не было и не могло быть, чем эти два берега — крымский и кавказский, которые она видела одновременно, и сама коса, когда они причалили,— узкая полоса земли, лежащая между двумя морями. На ней стояли дома — старые и новые, высокая горка соли белела на причале рядом с бочонками, сложенными в штабели. Девки кроили парус прямо на улице, пожилой рыбак с пышными льняными усами распоряжался работой. Ничего не было и не могло быть лучше в мире, чем этот крепкий запах смолы, мокрого дерева, рыбы...

46

В доме хозяйничала старшая сестра Бориса, Варя, похожая на него, с широкими скулами и всегда крепко сжатыми зубами. В ней было что-то монашеское, но не от религиозности (хотя она была религиозна), а от беспрестанного ощущения, что она не просто живет, как другие люди, а служит — эта черта была и в Борисе. Она служила, убирая дом, который содержался в чистоте, ухаживая за слепым отцом и, уж конечно, работая на рыбкомбинате — ее портрет с неподвижно выпученными глазами висел на доске Почета. Дед был совсем другой, приветливый, внутренне свободный, с добрым лицом и страшенными бровями, из-под которых смотрели ясные, ничего не видящие глаза. Потеряв в шестьдесят лет зрение, он научился читать ощупью по Брайлю. Толстые, странные книги для слепых лежали повсюду в доме, который был похож на деда — чистый, белый, с инициалами «П. Ч.» — Платон Черкашин,— крупно вылепленными на фронтоне.

Он знал все, что происходило на Тузлинской косе.

— Нам бы еще милиционера,— как-то сказал он Ольге Прохоровне.— И на тебе — республика как республика!

Семейных не берем, вот что плохо! Жилья мало. Холостому что? Сорвал куш в путину, только его и видели! А семейные — солидный народ.

Он читал с утра до вечера, и когда Ольга Прохоровна сказала ему то, что еще в Москве решила непременно сказать, он тоже читал, держа книгу на коленях и подняв лицо к потолку.

— Платон Васильевич, я выхожу замуж.

Пальцы на книге вздрогнули и остановились.

— Мне трудно было сказать вам...— Ольга Прохоровна немного задохнулась.— Но скрывать еще труднее.

Дед помолчал.

— Чего же скрывать? — просто сказал он.— Дело такое. А каково будет для Оленьки? Хорошо ли?

Он заговорил о том, что, может быть, Оленька останется на Тузле, хотя бы не насовсем, а пока устроится жизнь.

— Нет, Платон Васильич. Вот пока все устроится, я и привезла ее вам.

— Эх, Борисова дочка! — горько сказал дед. Фотография Бориса, старая, еще довоенная, стояла на комоде. Он был снят после школы, по-мальчишески суровый, в новом костюме, в рубашке с твердым чистым воротником и сам такой же твердый и чистый.

— За кого? — спросил дед.— Хороший ли человек?

Она назвала фамилию — и он заволновался.

— Остроградский?

— Да.

Статья «О совести ученого», наклеенная на картон и вставленная в некрашеную рамку, висела над кроватью.

— Тот самый?

Дед показал не на статью, куда-то в сторону. Но Ольга Прохоровна догадалась.

— Да, да.

— Ну, это судьба,— помолчав, сказал дед.— Так ведь пожилой, должно быть?

— Да. Но это ничего.

— Ясно, ничего. Хорошо даже. А что же ему? — Он говорил теперь о Снегиреве.— Так ничего и не будет?

— Не знаю, Платон Васильич.

— Борис почему не выдержал? Потому что его война сломила. Войну-то он выиграл.

— Да.

— А тут, поди-ка, еще одного врага одолей.

— Да еще какого врага!

— Ничего, найдется управа! На крови ведь только неправда держится. Правде-то зачем кровь?

Он замолчал, услышав легкие Оленькины шаги на крыльце. Ольга Прохоровна прижалась к нему. Он ласково провел рукой по ее лицу.

— А плакать не надо.

47

Ей хотелось добраться до края косы, куда они с Борисом ездили каждый день в ту, запомнившуюся, счастливую неделю, и она попросила секретаря тузлинской парторганизации, который хотел посмотреть, размыло ли снова косу, взять ее с собой. Они пошли втроем: она, секретарь — черноглазый порывистый украинец, приехавший после войны в Керчь к друзьям и увлекшийся тузлинскими делами, и пожилой рыбак, поглядывавший на Ольгу Прохоровну смеющимися глазами из-под выгоревших бровей.

— Я думаю, что за девочка, а это нашего Бориса Черкашина жена,— сказал он, когда лодка уже подходила к размытому краю косы.— Ну, как он? Преуспевает, вообще?

Ольга Прохоровна растерянно смотрела на него и молчала.

— Вот они! — закричал секретарь.— Столбики! Я весной от этих столбиков уток стрелял! А теперь они где? Почти под водой. Видите? Метров сто размыло!

— Если не больше! — подтвердил рыбак. Так и осталось неясным, как могло случиться, что он не слышал — или забыл? — о смерти Бориса.

Узкая полоска показалась недалеко от того места, где море отделило косу от таманского берега. Это был песчаный островок, по-видимому недавно намытый. Ольге Прохоровне захотелось остаться на этом островке — и они высадили ее, а сами пошли смотреть контрольные невода.

...Она знала, зачем приехала сюда — проститься с Борисом. Но никакого прощанья не получилось, потому что едва она осталась одна, как сразу же стала думать об Остроградском.

После той ночи в Лазаревке она, оставаясь одна, неизменно начинала жалеть, что его нет рядом с нею. Она бродила, босая, подкидывая ногами песок, и думала, перебирала их встречи. Когда они были у Лапотникова и хозяин, добродушный, самодовольный, суетливый, хвастливый, вдруг вспомнил, что у него срочное дело, и ушел надолго, чуть ли не на полчаса — они сидели молча, расстроенные, гадая — нарочно он оставил их или не нарочно. На улице они кидались друг к другу.

Она бродила и думала. Ракушки сильно и нежно блестели под солнцем, тонкие следы птичьих ножек нарисовались здесь и там на песке. Она рассматривала эти следы и думала, думала. Было одно обстоятельство, которое могло сделать в тысячу раз труднее ее, а теперь и его трудную жизнь. Она вздохнула весело и тревожно. Черт побери! Ко всем нашим делам еще и это! Ни кола ни двора! Может быть, она ошибается? Сколько прошло? Она сосчитала. Еще мало. Но похоже. Правда, с Оленькой все началось совершенно иначе. Но похоже! Что-то неуловимо изменилось — в чем? Она сама не знала. В том, как она подбрасывала песок ногами, в том, как она села, натянув юбку на колени, в том, как она думала об Остроградском и хотела близости с ним. В том, как она смотрела на затянувшийся дымкой Таманский полуостров.

Солнце уже склонялось, когда они пустились в обратный путь. От Тузлинской косы отвалил катерок, секретарь сказал, что это киномеханик отправился в Керчь за картиной. Цапля сидела на стойке контрольного невода, неподвижная, с втянутой в плечи надменной головкой. Да, похоже! Что-то он скажет? Мысль, которой Ольга Прохоровна боялась, мелькнула... Ни за что! Она не только не стремилась избежать того, что случилось — если случилось, а как будто ждала и хотела, чтобы все было именно так.

48

Просыпаясь с трудом (как всегда после снотворного, которое он принял на этот раз ночью, в неположенное время), Снегирев сквозь прищуренные веки увидел жену — и что-то непривычное мелькнуло в том, как она прошла с газетой в руках — осторожно, но быстро.

— Напечатали?

Мария Ивановна подошла и, покраснев, как девочка, поцеловала его. Опровержение было напечатано. Правда, оно было напечатано на третьей странице, мелким шрифтом, среди читательских писем. Чтобы никто не заметил. Не все ли равно? Победа!

Он сразу же решил, что прежде всего надо зайти к Сотникову — пускай подошьет к делу. Фактически это ответ на постановление бюро. Потом надо позвонить Кулябко и сделать вид, что это — работа Кулябко, хотя работа как раз не его. Надо поговорить с факультетской газетой: передовая «О подлинных и мнимых фальсификаторах». И тут уже — будьте уверены — в дело пойдет другой шрифт, покрупнее!

Он принялся за гимнастику, но сразу же бросил, потому что телефон стал звонить, как в день Нового года.

Клушин, у которого выхватила трубку кокетливо заверещавшая Клушина, Персиков, Нечаева и, совсем некстати, Ксения, которую он тысячу раз просил не звонить домой. Ксения хохотала, потому что он разговаривал с ней принужденно, как с незнакомой, и была, кажется, немного пьяна. В десять утра! Все равно, было приятно, что она позвонила.

Метакса, Коренев, рыжая, которая никак не может забыть о том, что как-то в Керчи, от нечего делать...

Он уже знал опровержение наизусть и все-таки еще раз прочел его не торопясь, внимательно, слово за словом. Оно было написано глухо. Автора выгородили. Неприятно подчеркивалось слово «невежда». Редакция сожалеет. Подлецы! Он обошелся бы без таких сожалений!

Наплевать! Опровержение есть опровержение, даже если оно написано со скрежетом зубовным. Текст забывается. Остается главное — факт. А уж он, Снегирев, позаботится, чтобы из этого факта были сделаны выводы. Где надо и такие, как надо!

Ему хотелось спросить жену, прочел ли опровержение Алеша. Он не спросил: было молчаливо условлено, что Алеша как бы ничего не знает об этой истории. Но, уходя, Валерий Павлович не выдержал и все-таки оставил «Научную жизнь» в комнате сына — не на столе, а на окне, среди других газет и журналов.

Он поехал на лекцию. Поднимаясь по лестнице, он вспомнил, что даже не перелистал конспект. Но сразу же забыл об этом. Сегодня он не сомневался в удаче.

И в молодости Снегирев почти не готовился к лекциям, но читал все-таки хорошо, стараясь передать студентам тот интерес «открытия», без которого ему самому сразу же становилось скучно. Потом осталась только умелость, подчас он начинал чувствовать, что они слушают его с напряжением. Во всяком случае, «гнать студентов на его лекции палками», как он с презрением говорил о других профессорах, не приходилось.

Он держался спокойно после появления статьи, с чуть заметным оттенком оскорбленной гордости, а однажды — это имело успех — ловко срезал студентку Волину, которая пыталась выразить ему сочувствие. Волина лезла в аспирантуру, об этом знали на курсе.

Сегодня он настолько не заботился о том, чтобы лекция удалась, что даже немного удивился, увидев скучающие лица. Движенье холодности донеслось до него. Он знал, что нужно делать в подобных случаях: переключить внимание. Он бросил шутку, другую. Никто не засмеялся. На задних скамьях разговаривали. Кто-то зевнул.

— Может быть, вопросы?

Студент Остапенко, лохматый, рыжий, с детским квадратным лицом, сказал негромко:

— Простите, профессор... Мне хотелось узнать, что вы думаете о теории Улисса Симпсона Гранта?

Неудобно было сознаться, что Снегирев впервые услышал о Гранте. К счастью, студент тут же стал излагать эту теорию, опубликованную в последнем номере... Он назвал известный американский журнал. Теория была любопытная, хотя подозрительная, судя по новым, модным терминам, значения которых Снегирев не понял.

— Сейчас скажу,— ответил он,— а пока попробуем выяснить, как относится к ней... Ну, скажем, Варварин.

Варварин относился к теории отрицательно и считал, что иначе к ней и нельзя относиться, поскольку Грант, очевидно, не признает объективно существующих закономерностей живой природы. Впрочем, и по другим его работам совершенно очевидно, что он не кто иной, как ви-

талист, иногда притворяющийся — более или менее удачно — материалистом.

— Скажем проще: эклектик,— добавил Снегирев.

Подавленный смешок пробежал по аудитории, и Снегирев, почувствовав неладное, мягко оборвал разговор.

Волина кинулась к нему, когда, закончив лекцию, он шел по коридору.

— Валерий Павлыч, они вас разыграли.

У нее были красные пятна на щеках, хорошенькое личико вспотело.

— Как разыграли?

— Я слышала, как они сговаривались. Такого ученого нет.

— Но позвольте... Остапенко изложил его теорию.

— Это теория самого Остапенко. Они просто трепались. Они держали пари, что вы...

Она отшатнулась, увидев его бешеное лицо. Но он сдержался.

— Я сегодня же доложу об этой возмутительной истории на бюро.

— Никаких докладов и никаких бюро.— Он улыбнулся.— Я прекрасно понял, что это была шутка.

Она смотрела на него с удивлением.

— А вам, товарищ Волина, я посоветовал бы не доносить на своих товарищей. Даже из лучших побуждений.

— Да?

Она оскорбленно тряхнула головкой.

— Хорошо, Валерий Павлыч. На всякий случай я хочу сказать вам, что Улисс Симпсон Грант — восемнадцатый президент Северо-Американских Соединенных Штатов.

50

Это был хлопотливый день. Снегирев договорился с редактором факультетской газеты, зашел в партком, условился о заседании кафедры, на котором Клушин должен был огласить опровержение — разумеется, с соответствующими комментариями.

В министерстве он провел часа два, повидавшись с людьми, от которых как бы ничего не зависело, но на деле

зависело многое, и которые, в частности, могли показать опровержение министру.

Собираясь уходить, он заглянул в первую попавшуюся комнату, чтобы позвонить домой — надо было сказать, чтобы не ждали к обеду. Группа сотрудников собралась вокруг знакомого референта, державшего в руках газету с отчеркнутым опровержением. Все оживленно разговаривали — и замолчали, едва Снегирев появился в дверях. Он подошел, улыбаясь, и инстинктивно насторожился, увидев серьезные лица. С ним поздоровались вежливо, но сухо.

Он попросил разрешения позвонить, снял трубку. Телефон был сдвоенный, в соседней комнате разговаривали. Он извинился и вышел.

Что все это значит? Это значит, что теперь, когда опровержение было напечатано, к нему стали относиться иначе, чем прежде.

Он позвонил жене из вестибюля. Прежде его боялись, но не сторонились. Теперь сторонятся, стало быть, не боятся. Почему? Потому что появилось — неизвестно где и как — то, что позволило студентам разыграть его, а референту, которого он о чем-то спросил, почти не ответить.

— Ежеминутно,— ответила торжествующая Мария Ивановна, когда он спросил, кто звонил. Она назвала фамилии. Не так уж много! Зато Данилов, который еле кивал ему с тех пор, как его выбрали членкором.

Он повесил трубку и тут же позвонил Кулябко.

— Его нет.

— А когда будет?

— Он больше здесь не работает.

— То есть как? Я просил товарища Кулябко.

— Поняла,— терпеливо ответил женский голос.— Но товарищ Кулябко больше здесь не работает. На его месте...— Она назвала незнакомую фамилию.— Что-нибудь передать?

Снегирев бросил трубку.

Ничего особенного не было в том, что сняли Кулябко, который не знал, что он скажет в следующую минуту, но неприятные, царапающие следы этого дня, который начался так счастливо, стали чувствительнее и глубже. Ладно же! Поживем, увидим! Шутка дорого встанет Остапенко и Варварину на защите диплома. А на месте Кулябко будет другой Кулябко!

51

В комнате еще темно, а ведь теперь светает рано, лето. «Да, уже лето»,— подумал Остроградский. Сейчас он встанет и поедет в Русиново, не забыть бы только позвонить Васе Крупенину, который обещал купить для Ирины английскую ракетку. Ирина и Машенька встретят его на станции в одинаковых платьях — он издалека увидит их из окна вагона. Остроградский засмеялся в полусне. Ему нравилось, что они встречают его в одинаковых платьях.

Но было еще что-то очень хорошее, о чем так славно думалось ранним утром, в полусне, не открывая глаз. Что-то не очень важное, но приятное, и, во всяком случае, то, что неизбежно должно было произойти именно в этот день. Он вспомнил и засмеялся. Сегодня Ирина позавтракает наскоро, «стоя на одной ноге», как она говорит, и побежит к «пьянице» за цветами. «Пьяницей» в Русинове звали старуху-цветочницу, которая действительно пила, что ничуть не мешало ей выращивать лучшие во всей округе гладиолусы и пионы. «Боже мой, неужели мне уже сорок четыре? Я рано состарюсь. Я — в мать, а Вернеры старятся рано. Вот Гриша — в отца,— подумал он о брате,— и выглядит моложе, чем я, а ведь между нами только полтора года. Впрочем, он — моряк, а форма молодит, особенно морская».

Надо было вставать, а он все плыл куда-то в тишине, в теспоте набегающих мыслей. Он плыл не только потому, что не хотелось вставать, но еще и потому, что ему непременно хотелось доказать себе, что сейчас он встанет и поедет в Русиново и что на станции его встретят Ирина и Маша. Но что-то уже случилось с Русиновым, с теннисной ракеткой, с одинаковыми красными платьями, с Гришей. Что-то путалось, не доказывалось, скользило. И соскользнуло бы, если бы он отпустил от себя это утро. Он не отпустил. Он приехал в Русиново, Ирина с Машенькой встретили его и сразу стали рассказывать что-то смешное. О дачной хозяйке, которая завивается на ночь. О толстом мальчишке, который целый день катается на велосипеде. Кажется, в этот день Ирина сказала ему: «Когда все так хорошо, становится страшно». Соскользнуло. Он вернул. Кажется, в этот день... Опять соскользнуло. Он

заговорил с Машенькой, чтобы снова вернуть этот день, но это была уже другая девочка, беленькая, худенькая, с косичками, которая, слушая его, делала что-то быстрыми, ловкими ручками. Все было уже не то и не так.

Он лежал на раскладушке, в маленькой комнате, со срезанным, летящим на него потолком. Он ночевал у тети Лизы, в доме на Петровке, где жил до ареста. Он проснулся и должен был незаметно уйти, положив ключ в условленное место.

52

Дел было много. Проваторов просил его принять участие в подготовке антарктической экспедиции, и два сотрудника ВНИРО уже работали по его указаниям. Людмила Васильевна Баева закончила экспериментальную часть докторской, а с выводами что-то не получалось.

Но главное дело — если не считать реабилитации — было связано с одной возможностью, вдруг открывшейся и, кажется, единственной в его положении. Еще в феврале, когда оказалось, что Юра Челпанов очень близко подошел к теории, которую Остроградский обдумывал в лагере, они решили вместе поставить работу в Юриной лаборатории — маленькой, но располагавшей редким, новейшим прибором. Это было смело и даже рискованно, потому что догадка Остроградского не имела ничего общего с планом лаборатории. Вечером он должен был встретиться с Юрой у Кошкина.

— Но возможно,— сказал загадочно Иван Александрович,— что будет и еще кое-кто.

Этот «кое-кто» был, без сомнения, Гладышев, с которым Кошкин давно собирался его познакомить.

Были и другие дела, тоже важные: позвонить прокурору, получить деньги в Институте информации, отправить деньги хозяйке комнаты под Загорском, зайти в парикмахерскую и наконец купить новый костюм.

Он получил и послал деньги, позвонил раз пять прокурору, не дозвонился и зашел в ЦУМ. Мужские костюмы продавались на третьем этаже. В очереди было много женщин — должно быть, покупали для сыновей и мужей. Остроградский стал вспоминать свой номер. Кажется, пятидесятый, третий рост?

— Которые не знают свой размер, должны ходить с женами. А холостые — с мамами,— поучительно сказал продавец.

Конечно, разумнее было бы купить темный двубортный на лето и зиму. Но ему захотелось купить светлый, однобортный. «Не по возрасту, черт побери,— подумал он, глядя на себя в маленькой примерочной, состоявшей из легких шелковых штор.— Но ведь сказала же Ольга, что я какой-то нестарый?..» Он примерил темный. Тоже недурно. Гм, гм...

Он еще выбирал бы, пожалуй, если бы не знал заранее, что в конце концов все равно купит светлый костюм.

Он надел его и стал бродить по ЦУМу, размышляя над тем, что ему в последний раз сказал Юра Челпанов. Юра сказал, что одно из предположений проверить пока невозможно. Но это была та невозможность, с которой надо было обращаться умно. С нежностью, но умело. Эта была невозможность, которую надо было понять, как женщину. И, кажется, это уже произошло — быть может, когда он выбирал костюм или звонил в прокуратуру? Кстати, позвоню-ка я снова. Прокурор пошел обедать. Рано обедает прокурор — четверть второго. Остроградский ходил, посвистывая, и вдруг купил для Ольги шелковую театральную сумочку, хорошенькую, с цепочкой. Теперь денег осталось мало, но он подумал и купил еще шляпу, а кепку сунул в пакет со старым костюмом.

Пожалуй, теперь нельзя было сказать, что он похож на нереабилитированного, непрописанного в Москве, не соблюдающего паспортный режим гражданина.

53

В парикмахерской было душно. Заняв очередь, он стал перебирать лежавшие на столе старые газеты и сразу наткнулся в «Научной жизни» на маленькую заметку «От редакции», спрятавшуюся (или спрятанную?) среди читательских писем. Это было «опровержение» — то самое, которого так боялся Миша Лепестков. Напрасно боялся! Опровержение — если можно было так назвать напечатанную нонпарелью заметку — было написано невнятно, приблизительно, глухо: Снегирев — не невежда, редакция сожалеет, проблема заслуживает глубокого изучения. Пожа-

луй, в заметке было даже что-то неуловимо-обидное для Снегирева. Она означала... Он как бы взглянул на весь газетный лист одним отвлеченным взглядом. Она ничего не означала.

...Он чуть не пропустил свою очередь, зачитавшись статьей в «Известиях», которая не могла появиться месяц или два тому назад и за которую до марта 1953 года дали бы лет десять.

— Под полечку? — спросил парикмахер.

— Да. «Нет, не десятку, а все двадцать пять,— подумал Остроградский.— И не где-нибудь, а в каком-нибудь Джезказгане».

— Бриться будем?

— Пожалуйста.

Из парикмахерской он снова позвонил и снова не добрался до понравившегося ему прокурора. Секретарша, которая ничего не знала о деле, разговаривала грубо.

Два часа. Он знал, что даже если он пойдет очень медленно и будет останавливаться у каждой витрины, ноги все равно принесут его раньше — не в три, а, скажем, без четверти три. Ноги всегда приносили его раньше, потому что даже ждать Ольгу, зная, что она непременно придет, было наслажденьем.

Они виделись теперь почти каждый день, но по-прежнему на улицах, потому что на Кадашевской поселился какой-то тип, уволенный из охраны, и Ольга его боялась.

...И на этот раз ноги принесли его к ней на двадцать минут раньше, хотя из парикмахерской он пошел не направо к Библиотеке иностранной литературы, а налево. Ольга ахнула и засмеялась, увидев его. Остроградский с гордостью поджал губы. Она была в синем халате, быстрая, торопившаяся кончить к его приходу работу, прелестная со своей разваливающейся прической. В комнату ежеминутно заходила ее помощница Лена, и Остроградский чинно уселся в углу, положив пакет со старым костюмом на колени.

— Можно оставить его у тебя?— спросил он, когда помощница вышла.

— Конечно.

И она спрятала пакет в шкаф, «а то Лена, пожалуй, отправит его куда-нибудь на Цейлон, вместе с нашими бандеролями».

— Мне нравится смотреть, как ты работаешь,— сказал Остроградский.— Почему ты смеешься? — спросил он, когда они вышли на улицу.

— Нет, ничего. Лена говорит, что ты — интересный.

— Ну, конечно, еще бы! Как костюм?

Он знал, что ей хотелось сказать, что напрасно он не купил темный костюм,— и действительно эти слова уже были у нее на языке. Но он знал и то, что она промолчит, не желая огорчать его,— и она промолчала. Но что ей не нужна дорогая театральная сумочка — он не догадался может быть потому, что не знал, что она театральная. Ольга поблагодарила его и сказала, что мечтала как раз о такой. К этой сумочке была нужна еще одна, взамен той, давно истрепанной, с которой она ходила и в магазин и на работу.

— Куда мы сегодня?

У них были «хозяйственные» прогулки, когда Ольга покупала, а Остроградский, который терпеть не мог магазинов, помогал ей, занимая очередь и стараясь не перепутать чеки — и это тоже нравилось ему, потому что Ольга его все время жалела. А были и настоящие, далекие, когда они уходили куда-нибудь в Останкино или на Ленинские горы, вдоль Москвы-реки, по которым гоняли свои остроносые лодки серьезные, сосредоточенные юноши и девушки, ритмично сгибая загорелые спины. Остроградский наслаждался. Он любил Москву.

— Сегодня мы поедем... Не скажу, куда и зачем.

— Почему?

— Нельзя. Ты голодный?

— Не очень.

— Можешь потерпеть?

— Да.

54

Ольга отказалась от комнаты в старом деревянном доме на Четвертой Мещанской и теперь хотела, чтобы Остроградский одобрил ее решение взять комнату, которую ей предложили в новом строящемся районе.

Они проехали в метро, потом автобусом, потом — с конечной остановки — пошли пешком по развороченной, неасфальтированной дороге. Рычащие грузовики ныряли по ухабам. Везде были краны, медленно, кругло пово-

рачивающиеся, с опасной легкостью проносящие по воздуху какие-то грузы, похожие на гигантские карточные колоды.

К дому, почти законченному, но еще в лесах, было трудно подойти, но они все-таки подошли и, нырнув под доски, загородившие крест-накрест только что отделанную лестницу, поднялись на седьмой этаж.

— Задохнулся?

— Нет.

— Лифт еще не работает,— сказала Ольга Прохоровна виноватым голосом.

Комната была небольшая, двенадцатиметровая. В ту минуту, когда они вошли, солнце, уже обойдя ее, как будто нарочно задержалось, косо скользя сквозь грязные окна.

— Квадратная. Это удобно.

— Да.

— Не тесновато ли? — смеясь, спросил Остроградский.

— Ну вот еще!

— Для четверых-то.

— Ну так что ж!

Он посмотрел на Ольгу. Она была очень серьезна.

— Где что будет стоять, а?

Она кивнула. Тогда он тоже прикинул — куда поставить письменный стол?

Они стали смотреть из окна. Ольга рассказывала, и Остроградский подивился тому, что она уже знает, какие магазины откроются в этом доме, а какие — в соседнем.

— Здесь будет почта. А вон там, где роют большой котлован,— кинотеатр.

Она уже жила в этой комнате, на этой улице, которой еще не было и в помине.

— С тобой не пропадешь.

В ответ она быстро поцеловала его.

Он сказал что-то, не помня себя, с взволнованными глазами, выражение которых она уже знала.

— Не надо, мой дорогой. Когда ты теперь будешь у Лапотникова?

Давно обо всем догадавшийся Лапотников немедленно уходил, едва они появлялись.

— Не знаю. Завтра. Приедешь?

— Конечно.

55

Ольга Прохоровна уговорила Остроградского не провожать ее домой (они весело и вкусно пообедали в «Балчуге»). Она знала, что он захочет остаться, а она не в силах будет отказать, потому что ей самой хотелось, чтобы он остался. Это было невозможно: она боялась бывшего охранника, отравлявшего жизнь всей квартиры.

Однако эта причина показалась им незначительной, когда, выйдя из ресторана, Ольга и Остроградский остановились у парапета набережной и посмотрели друг другу в глаза.

— Дай я тебя хоть поцелую.

Они пошли в сквер напротив Дома правительства, пахнувший липой, с громадной клумбой только что высаженных тюльпанов, прохладный в сумерках раннего лета, и разговаривали, пока не вспыхнули фонари, прогнавшие эти сумерки и вместе с ними — иллюзию, что в сквере нет никого, кроме них.

56

Каждый раз она начинала ждать новой встречи с той минуты, когда они расставались, и сейчас, простившись с Остроградским, она сразу же стала ждать завтрашней встречи. Но это не помешало ей думать об Оленьке, за которой она собиралась поехать в середине июня, о комнате, о сумочке — она долго рассматривала ее в продовольственном магазине. Она думала — и ждала. Смотрела рекламу кино — и ждала. Все было полно этим ожиданием, странной легкостью, с которой она думала обо всем сразу, и чувством благодарности — кому? За что? Она не знала.

Кто-то обогнал ее на мосту, шагая стремительно, плечом вперед — плотный человек с некрасивыми, слегка вьющимися волосами. Лепестков? Она не была уверена.

— Миша? — спросила она негромко.

Он обернулся.

— Ольга, я вас не узнал.

Они помолчали. По неуловимому обмену впечатлениями, естественному для людей, так долго знавших друг друга, Ольга Прохоровна поняла, что он сразу заметил происшедшую в ней перемену. Но он заметил ее не умом, а

любовью, которая вся превратилась в зрение, в те два или три искоса брошенных на нее взгляда, когда они повернули на набережную с Каменного моста.

Нельзя было говорить с ним об этой перемене, но она все-таки заговорила, услышав себя с ужасом и тупым удивлением. Это было, как если бы она с размаху кинулась в пропасть ничего не значащих слов, которые должны были выразить и сожаление, и признательность, и то, что он ее лучший, самый близкий друг, и то, что он не должен, не смеет чувствовать себя несчастным без нее и что она только теперь поняла, как она перед ним виновата.

— Миша,— начала она с трудом.— Мы давно не виделись, а между тем...

Он перебил на полуслове:

— Не помню, я говорил вам, что собрался в Антарктику?

— Нет.

— Значит, в самом деле, давно. Проваторов предложил, и я немедленно согласился. Я все прицеливался — не удастся ли проверить одну затею в лаборатории. Не удалось, а в Антарктике все сразу же станет ясно, потому что там у меня под боком и химики, и физики. Первоклассный комплексный институт, о котором я мечтаю всю жизнь.

Он рассказал об экспедиции, потом о Юре Челпанове, который оказался, к его удивлению, мастером спорта по плаванью, несмотря на свою невзрачную внешность.

— А чем кончилось единоборство с жилотделом? — спросил он и обрадовался, узнав, что Ольга Прохоровна получила комнату, да еще в новом доме.

— А с мебелью вам поможет Шурка Глаголь, я вас с ним познакомлю.

Он объяснил, что Шурка — это его новый приятель, длинный рыжий парень с дикими идеями, но первоклассный интерьерщик, умеющий из пары досок сделать письменный стол, который по желанию можно превратить в кровать или книжную полку.

Разговор был легкий, почти веселый. Разговор был о том, что ничего, в сущности, не случилось.

«Он все понял давным-давно, еще в тот вечер, когда я волновалась за Анатолия Осиповича и просила его остаться в Лазаревке на ночь»,— думала Ольга Прохоровна, вернувшись домой и стоя подле постели, с которой надо

было что-то сделать. «Боже мой, ведь я едва не назвала то, о чем он так долго, много лет не хотел говорить!»

Постель надо было застелить, а потом лечь. Нет, сперва раздеться, а потом лечь. Нет, раздеться, умыться и лечь.

Она вспомнила лицо Лепесткова с туманным взглядом, в котором всегда что-то мерцало, когда он разговаривал с ней. Теперь он говорил и смеялся, но глаза были задернуты и все лицо задернуто, похудевшее, с упрямым подбородком.

Она разделась, умылась, легла.

«Это был разговор о кирпичной стеночке за окном, которую он разобрал, чтобы в комнате стало светлее, о соседях, которые думали, что мы муж и жена. О том, что ни я, ни Миша не отрицали этого, потому что так мне было легче жить: опора. Но каково же было ему притворяться? После смерти Бориса он только и делал, что разбирал эти стеночки. Продал даже книги, чтобы переехать поближе ко мне, пристроив боковушку к флигелю на Ордынке. А молчал он, потому что боялся, что я могу согласиться стать его женой из признательности или потому что я одинока».

Ей захотелось сразу же рассказать об этой встрече Анатолию Осиповичу, но это было невозможно, сколько бы она ни металась по комнате в ночной рубашке, раскрасневшаяся, с рассыпавшимися волосами.

Она вспомнила, как Анатолий Осипович в первый вечер знакомства на кошкинской даче едва не отправил ее с Лепестковым в одну комнату, приняв их за супругов, и его удивление, почти недоверчивое, когда она сказала ему однажды, что между ними никогда не было других, кроме дружеских, отношений. Ей тогда и понравился и не понравился тот мужской оттенок сожаления, с которым Анатолий Осипович сказал что-то очень ласково о Лепесткове. Да что говорить, они просто забыли о нем! Они? Нет, она! Анатолий Осипович знает, что Миша едет в Антарктику, не может не знать, он сам участвует в подготовке. А ей он ничего не сказал, потому что она как бы попросила его не упоминать о Мише, и он сердился на ее равнодушие, когда упоминать все-таки приходилось. «Я, одна я виновата,— продолжала она думать.— Анатолий Осипович беспокоился, что Миша так надолго пропал, и спрашивал меня, и сердился, когда я отвечала небрежно, с досадой. Он сердился, потому что видел и понимал мою неблагодарность, мою беспощадность к другу, который сде-

лал для меня так много! А для него? Кто же, если не Миша остался верен ему и заботился — поселил у себя, а потом устроил в Лазаревке, привозил книги и — я уверена — помогал деньгами! Что же Анатолий Осипович должен думать обо мне! И почему он ни разу не сказал, что я поступаю несправедливо, подло?»

— Боже мой, он разлюбит меня,— сказала она вслух, прижимая к горячим щекам холодные руки.

57

Это может показаться странным, но, прочитав «опровержение», напечатанное в газете «Научная жизнь», я вспомнил Ленинград осенью 1937 года. Город был охвачен каким-то воспаленным чувством неизбежности, ожидания. Одни боялись, делая вид, что они не боятся; другие — ссылаясь на то, что боятся решительно все; третьи — притворяясь, что они храбрее других; четвертые — доказывая, что бояться полезно и даже необходимо. Я зашел к старому другу, глубокому ученому, занимавшемуся историей русской жизни прошлого века. Он был озлобленно-спокоен.

— Смотри,— сказал он, подведя меня к окну, из которого открывался обыкновенный вид на стену соседнего дома.— Видишь?

Тесный, старопетербургский двор был пуст. К залатанной крыше сарая прилепился высокий деревянный домик с лесенкой и длинным шестом. Голубятня? Но и домик был безжизненно пуст.

— Ничего не вижу.

— Присмотрись.

И я увидел — не двор, а воздух двора, рассеянную, незримо-мелкую пепельную пыль, неподвижно стоявшую в каменном узком колодце.

— Что это?

Он усмехнулся.

— Память жгут,— сказал он.— Давно — и каждую ночь.

И он заговорил о гибели писем, фотографий, документов, в которых с невообразимым своеобразием отпечаталась частная жизнь, об осколках времени — драгоценных, потому что из них складывается история народа.

— Я схожу с ума,— сказал он,— когда думаю, что каждую ночь тысячи людей бросают в огонь свои дневники.

Казалось, давно забылись, померкли в памяти эти дни, пустой двор, запах гари, улетевшие голуби, легкий пепел в лучах осеннего солнца! Но как на черно-белом экране, вспыхнула передо мной эта сцена, когда я подумал, что вслед за «опровержением» все бумаги по снегиревскому делу будут брошены в мусорный ящик.

Я позвонил Кузину.

— Вам они больше не нужны. А мне — кто знает,— может быть, пригодятся?

И он привез мне несколько толстых папок, битком набитых запросами, доносами, справками, докладными записками — сотни страниц, полных злобы, скрытой ненависти, откровенного страха. Не надо было обладать дарованием историка, чтобы понять, с какой отчетливостью отразилась в этих бумагах шаткая, ломающаяся атмосфера начала пятидесятых годов. Мало сказать, что это было интересное чтение: я не мог оторваться от энергично, неустанно развертывающегося зрелища борьбы между кривдой и правдой. Здесь можно было найти и поражающую замкнутость душевной жизни, и ненависть к самой природе новизны — и скромную смелость людей, давно нашедших свою дорогу. За каждым письмом угадывался человек, как бы вписанный в картину десятилетия. Это был целый мир, внезапно раскрывшийся, меняющийся, необъясненный, требующий участия и разгадки.

58

Иван Александрович был недоволен тем, что Остроградский опоздал, потому что придавал его встрече с Гладышевым особенное значение. Анатолий Осипович понял это сразу — и не только потому, что у Кошкина был непривычный торжественно-взволнованный вид. Квартира на Тверском бульваре, обжитая, уютная и все же напоминавшая чем-то запущенную дачу в Лазаревке, была тщательно прибрана, полы натерты, стол накрыт не в маленькой столовой, а в ярко освещенном просторном кабинете. Старушка-домработница, в лихо сбившемся набок чепце, летала из комнаты в комнату, как будто ей было восемнадцать лет, и Кошкин, распоряжаясь, шипел на нее

тоже как-то по-молодому. Разговор начался хорошо, но сразу же ушел куда-то в сторону, и вернуть его в задуманную колею оказалось не так-то просто.

Анатолий Осипович и сам не знал, почему он не рассчитывал, что эта встреча может существенно изменить его положение. Но сам Гладышев интересовал его — и глубоко. Он был деятелем, причастным к тому, что происходило на магистралях политической жизни, и это, по-видимому, не мешало ему с размахом действовать в науке. Сейчас этот человек, распоряжавшийся десятками институтов и сотнями лабораторий, с интересом слушал Юру Челпанова, которому, кажется, было почти безразлично, какое место занимает Гладышев в научной и государственной иерархии. Юра на этот раз был не в рыжем толстом свитере, а в новом черном костюме, сидевшем на нем не особенно ловко. Рассказывал он о туристском походе на байдарках вдоль какой-то порожистой реки Приполярного Урала — и Гладышев слушал его с интересом. Это и было в нем самое приятное — живой, почти детский интерес, с которым, весело щурясь, он слушал Юру. Вообще же он не очень понравился Анатолию Осиповичу — по меньшей мере в первые минуты знакомства. В нем было заметно несовпадение между тем, что он говорил, и тем, что думал, характерное для людей, не раз испытавших на других свою решительность и влияние. Он был поджарый, седой. «И, видать, не робкого десятка»,— подумал Остроградский, глядя на его бледное и сильное лицо с глубоко сидящими глазами.

Вечер проходил прекрасно, тем более что и Анатолию Осиповичу было о чем рассказать — еще в тридцатых годах он был с знаменитым Абалаковым на Памире. Но Кошкин все волновался — очевидно, считал, что давно пора перейти от байдарочных походов, от мошки, замучившей Юру и его товарищей, от насмешившей всех ночевки в лесу рядом с медведем к делу, а дело было связано с организацией строившегося по поручению правительства научного центра.

Наконец сели за стол, и тут, как на грех, Юра заговорил о своей, общей с Остроградским работе. Работа шла, но кое-что не получалось, и Анатолий Осипович стал доказывать, что Юра должен сделать то же самое, но не тогда и не так.

Гладышев попросил рассказать о сущности спора, и пришлось вернуться к первоначальной мысли — той, ко-

торую Остроградский привез из лагеря в Москву. Очевидно, она поразила Гладышева, потому что он стал слушать Остроградского уже не с прежним «туристским» интересом, а с каким-то совсем другим, заставившим слабо порозоветь его бледные щеки.

59

Ольга Прохоровна проснулась со странным чувством, что кто-то стоит за дверью и терпеливо ждет, когда она откроет глаза. Она прислушалась, испуганная, с медленно забившимся сердцем. В комнате было темно, чуть виднелась косая, наклоненная ниша окна. Да, кто-то негромко, но настойчиво погромыхивал ручкой.

— Кто там?

— Это я, открой, пожалуйста,— чуть слышно попросил Остроградский.

— Боже мой!

Она вскочила, накинула халатик. Он быстро вошел.

— Что случилось?

— Да просто засиделся у Кошкина и не мог вернуться к тете Лизе так поздно. А у него остаться тоже не мог. Ты дрожишь?

— Я испугалась.

— Милая моя. Ну, ложись скорее.

Она легла, и он крепко укутал ее, как ребенка.

— Тебя никто не заметил?

— Не знаю. Едва ли. Все спят. Люди и гады. Три часа ночи.

— Господи, как хорошо, что ты пришел! Ну, рассказывай.

— О чем?

— Я вижу, что тебе хочется о чем-то мне рассказать.

— Это правда.

Они говорили шепотом.

— У тебя холодные руки.

— Ночь прохладная. Я шел быстро и все-таки замерз.

Ей снова захотелось сказать, что надо было купить другой костюм, поплотнее, и она опять не сказала.

— Так что же случилось?

Он был теперь совсем другой, чем вечером, когда они расстались у сквера. Он был в том состоянии сосредоточенности, раздвоенности, когда, как бы участвуя во всем

происходившем вокруг, он на деле участвовал только в непрестанной работе обдумывания, не прекращающейся ни на минуту. Она часто видела его таким в Лазаревке и всегда испытывала и нежное, как к ребенку, и немного испуганное, и благоговейное чувство.

— Хочешь чаю?

— Ну что ты! Ты уже легла.

— Подумаешь!

Она зажгла керогаз и поставила чайник.

— Я смешаю индийский с грузинским, как мы делали в Лазаревке. Это вкусно.

— Спасибо.

Он тихонько посвистывал, раскачиваясь на носках и заложив руки в карманы. Ольга Прохоровна поцеловала его.

— От тебя пахнет вином.

— Это оттого, что мы пили. Там был Гладышев.

— А кто такой Гладышев?

Он стал рассказывать, останавливаясь, вспоминая, поглядывая на нее хитрыми, счастливыми, отсутствующими глазами.

— Его тоже сажали, но ненадолго. Ивану Александровичу хотелось, чтобы я рассказал ему о моей затее. Я рассказал. Говорил три часа. Даже охрип. Я охрип?

— Нет. А Юра был?

— В том-то и дело,— виноватым голосом сказал Остроградский.

Юра пришел с новыми неожиданными возражениями, и они разговаривали до двух часов ночи, а Кошкин и руководитель будущего научного центра сидели тихо, как мышки, и слушали.

— А потом он вдруг предложил мне институт.

— Кто?

— Гладышев. Но это, конечно, вздор, хотя полномочия у него, кажется, обширные. Или даже обширнейшие.

— Он знает, что ты еще не реабилитирован?

— Именно это я у него и спросил.

— И что же?

— Засмеялся и ответил вот как я сейчас: «Вздор».

— Значит, мы переедем в Днищево?

— Милая моя,— нежно сказал Остроградский.— Это вилами по морю писано. Мы с тобой теперь стреляные воробьи, душенька ты моя. Но, вообще говоря, почему бы

и нет? Ты понимаешь, наука — это вроде поэзии. Пресволочнейшая штуковина. Она все равно будет развиваться, независимо от того, существуют Снегиревы или нет. Хорошо им живется или плохо. Неприятно, что от меня пахнет вином, да?

— Напротив, приятно.

— Вино было хорошее. Между прочим, Кошкин прекрасно разбирается в винах.

Смешанный индийско-грузинский чай был выпит, и веселый, согревшийся, хотя и не переставший думать о чем-то своем, Остроградский рассказал, как бабка Грппа на днях явилась к Ивану Александровичу с повесткой из милиции.

— Его оштрафовали на сто пятьдесят рублей.

— За что?

— За нарушение паспортного режима,— смеясь, сказал Остроградский.— Чтобы не держал на своей даче непрописанных граждан.

Он снял ботинки, повесил пиджак на спинку стула и уснул сразу, едва Ольга Прохоровна принялась за посуду. Она поставила лампу на пол, чтобы свет не бил ему в глаза. Еще не развиднелось, но темнота была уже предутренняя, не ночная. Ольга Прохоровна прибрала в комнате, умылась и села подле Остроградского, который спал, похрапывая, с успокоившимся, темным, добрым лицом. Она думала о том, что скоро поедет за Оленькой и привезет ее в новую комнату, о том, что сегодня Анатолий Осипович впервые заговорил с ней о своей семье, а это значит, что они стали ближе. Она думала о том, что было все-таки неосторожно прийти к ней на Кадашевскую, и жалела, что придется разбудить Анатолия Осиповича, когда она пойдет на работу. Еще она думала о том, что у них ничего нет и ничего не устроено и что это странно и страшно, что человек, которому только что предложили руководить научным институтом, должен бродить по Москве, прячась у друзей и знакомых. Но все устроится, все устроится! Скоро она уедет из этой комнаты, и кончится эта полутьма, одиночество. Жизнь станет другой, без мнимой беспечности, без страха. Этому почти невозможно поверить! Без страха! Легкая и трудная. Она приложила ладонь к горячим губам. Она чувствовала себя школьницей в зимнем лесу, лыжный след, поблескивая, исчезал в розовом тумане, нежно разгоравшемся среди белых стволов.

В животе толкнулось глухо и сладко, и такое же тупое и сладкое чувство, от которого ей стало смешно, разлилось по телу. Ей захотелось вытянуться, она устроилась на Оленькиной кровати, положив ноги на стул. Когда это было, что она кормила Оленьку лежа, они засыпали и просыпались, и она, смеясь, трогала губки девочки набухшим соском?

Что-то пронеслось, прошумело, она не знала где — в комнате или на Кадашевской. Дождь? Это был щедрый июньский дождь, ветер швырял его из стороны в сторону, и он, шатаясь, без дела, бродил по городу, раскатывался с шумом, дыша предутренней свежестью, мешая встречам в темных скверах. «И утверди обручение их в вере и единомыслии, в истине и любви».

Дождь был сильный, набегавший порывами. «Как бы теперь, когда Миша разобрал стеночки,— подумала Ольга Прохоровна,— вода не хлынула с панели в окно?» Но она сейчас же забыла об этом, потому что снова что-то произошло, что-то неожиданное и тревожное, присоединившееся к постоянному сильному шуму дождя. Тонкий жалобный звук присоединился к нему — и она вскочила с упавшим сердцем, потому что ей показалось, что этот звук возник где-то в комнате, в том углу, где Анатолий Осипович лежал на ее кровати.

— Что с тобой?

Он не ответил. Потом сказал что-то медленно и невнятно, и когда Ольга Прохоровна, чуть не опрокинув настольную лампу, зажгла ее наконец, она увидела, что он сидит, выпрямившись, с одеялом па раздвинутых ногах, вытянув напряженные руки.

— Ради бога,— сказала она.— Ради бога!

Он взялся рукой за сердце. У него были рассеянные, страдающие глаза, родинка страшно чернела на побелевшем лице с задохнувшимся, полуоткрытым ртом.

— Ирина,— вдруг ясным, сильным голосом, глядя прямо в лицо Ольги Прохоровны, позвал он.— Ирина!

Он упал на спину и сразу же сполз с подушки, тяжело зарываясь в постель, шаря вокруг себя дергающимися руками.

— Что с тобой? Тебе дурно? Скажи!

Он попытался подняться, но снова упал, точно кто-то сильно толкнул его в грудь.

Не помня себя, Ольга Прохоровна выбежала в коридор.

— Помогите!

Она постучала в соседнюю дверь, кинулась к двери напротив. Отозвался детский голос, потом мужской — недовольный, заспанный, хриплый:

— Что случилось?

Но она уже бежала по коридору в домоуправление, к телефону, она уже ворвалась в темный двор, вбежала по ступеням, оттолкнула кого-то.

— Пустите меня! Он умирает.

А Остроградский не знал, не чувствовал, что он умирает. У него в лагере не раз бывало плохо с сердцем, и теперь, мучаясь, он ждал, что припадок скоро пройдет. Ему казалось, что он в незнакомом доме, тесном, но уютном, и все было бы хорошо, если бы он не беспокоился об Ирине. О, как все дрожит и трепещет вокруг, как быстро несется куда-то этот сухой, деревянный, потрескивающий, поскрипывающий дом! Как рвется воздух за окнами, жидкие светлые пятна бегут на насыпи, по рельсам, по телеграфным столбам. Она, не она! Она, не она! Теперь его несли куда-то, или не его, а каменную ношу, которая стала его онемевшим телом. Он рванулся, кто-то толкнул его в грудь. Что-то новое, страшное сделалось в сердце. И уже невозможно было сопротивляться этой невидимой, непреодолимой силе.

60

В этот вечер Лариса Александровна позвонила Снегиреву и попросила его приехать как можно скорее.

— А что случилось?

— С Василием нехорошо.

— Болен?

— Нет, но... Словом, я жду вас. Это необходимо.

Она встретила Снегирева, тщательно причесанная, прибранная, как всегда, но с припухшими глазами и опустившимся после бессонной ночи лицом.

— В том-то и дело, что не знаю и ничего не могу понять,— сказала она.— Вчера Василий пошел проститься с Женей и вернулся расстроенный, хотя как будто не очень. Ночью ему не спалось, ворочался, а под утро, когда я задремала, тихонько вышел и с тех пор...

Они разговаривали в столовой, дверь из кабинета была закрыта, но оттуда были слышны какие-то всхлипывания, вскрики.

— Я уговаривала, умоляла, ему вообще нельзя пить. Куда там! Кричит. Что произошло между ними? Женя спокоен, ушел в школу, как всегда, потом позвонил, что вернется поздно, у них какой-то вечер. Василий меня винит...— У нее оборвался голос.

— В чем?

— Будто я...

Дверь распахнулась, и Крупенин, обмякший, в туфлях на босу ногу, в ночной рубашке и пижамных штанах, которые он подтягивал неверной рукой, показался на пороге.

— А, братец кролик! Здорово!

— Здравствуй, здравствуй,— холодно сказал Снегирев.

— Ну, садись! Я, правда, тебя не звал. Но коли пришел, садись. Как живешь?

— Помаленьку.

— Опровержения печатаешь?

Он долго пьяно смотрел на Снегирева.

— Силен! Сыновей-то мы с тобой проморгали?

Он сказал другое слово, покрепче. Лариса Александровна вздрогнула и вышла.

— Науку проморгали.— Он снова назвал то же слово.— Значит, так и будем жить?

Снегирев подошел и сильно встряхнул его.

— Постыдись!

— Ну! — Крупенин замахнулся, но не стал бить, а рухнул на диван и заплакал.

Снегирев молча ждал. У него еще утром раза два-три неприятно останавливалось сердце, пропуская удар, другой. И сейчас остановилось, пропустило.

— Знаешь, о чем меня Женька вчера спросил? Причем, заметь, совершенно спокойно: «Ты помнишь эту историю с Геннадием Лукичом, папа? Ну, с нашим историком? Мы его продолжаем бойкотировать. Не фактически, потому что это невозможно, а психологически. Ты, помнится, был на нашей стороне. Так вот я хочу тебя спросить: как ты относишься к Снегиреву, который, по-видимому, недалеко ушел от этого Геннадия Лукича?»

Валерий Павлович побледнел.

— Что, братец? Ноздри раздул? Ноздри будешь потом раздувать. Завтра тебя об этом Алешка спросит. Господи боже ты мой милостивый,— с тоской сказал Крупенин.— Ведь я же когда-то что-то знал! Я же много знал когда-то! Куда все делось? Вот куда!

И тяжелой пепельницей из уральского камня он запустил в зеркало полубуфета. Стекло посыпалось. Испуганная Лариса Александровна заглянула. Снегирев махнул ей. Она закрыла дверь.

— Послушай, Василий...

Крупенин отвел его сильной толстой рукой.

— Уйди. Ты у меня сына отнял.

— Здравствуйте.

— Добрый вечер. Уйди, черная душа.

Крупенин вытер платком мокрое лицо.

— Опровержение напечатал? А ему на твое опровержение...

— Кому ему?

— Не знаешь? Лепесткову, братец кролик. Слыхал?

— А Лепестков при чем?

— А Лепестков при том,— медленно выговаривая, ответил Крупенин,— что он книгу написал. Не знаешь? Э, братец кролик, значит, ты уже не у дел! А ведь там и о тебе. И обо мне. Короче говоря, о всей нашей славной когорте.

— Черта ли напечатают такую книгу!

— Ну да, сегодня не напечатают. И завтра. А послезавтра, смотришь — вот она! Видишь, какое дело, милый. Ведь ее весь мир будет читать! Конечно, нам с тобой на весь мир...— Он опять повторил то слово,— так ведь ее Алешка и Женька будут читать. Вот что худо, братец кролик. Вот что худо! А Остроградский? — двинувшись на Снегирева толстой, мясистой грудью, набухшим лицом с выкатившимися глазами, спросил он.

— Что Остроградский?

— А то, что я завтра же поеду к нему.

— Зачем?

— Ах, зачем? Ты же хотел, умный человек, чтобы я к нему поехал? Затем, что я ему все расскажу! Стану на колени и лбом об пол, как перед образом господа нашего Иисуса Христа. Все расскажу!

— А ты думаешь, он не знает?

— Знает. Все равно. Это мне надо, а ему на нас...

До поздней ночи Снегирев провозился с Крупениным. Он ругал его, пил с ним, снова ругал. Он уговорил его принять прохладную ванну — и ушел без сил, когда Василий Степаныч захрапел на полуслове, опустив всклокоченную голову на грудь и уютно сцепив руки на животе, выпиравшем из пижамных штанов.

— Ох, устал. Завтра расскажу,— сказал, вернувшись домой, Валерий Павлович.— Алеша спит?

— Да.

Он выслушал восторженный отчет о новых звонках по поводу опровержения.

— Как его дела?

Мария Ивановна не сразу поняла, что муж снова спросил об Алеше.

— Все в порядке.

— Ты говорила, что он роздал марки?

— Да. Он почему-то потерял интерес к маркам. Может быть, просто вырос?

— А вот ты однажды сказала: «Его нельзя узнать». В каком смысле?

— Я так сказала? Не помню. Почему ты заинтересовался?

— Просто так. Как он учится?

— Хорошо. У него только по истории тройка. Ты будешь ужинать?

— Нет.

Они пожелали друг другу спокойной ночи.

Валерий Павлович принял снотворное, переоделся, но не стал ложиться, а, почитав немного, прошел к сыну. В Алешиной комнате было прохладно, форточка открыта, лампочка уютно светилась в глубине стоявшего на ночном столике молочного, матового шара. Мальчик спал в странной, неудобной позе, которую Мария Ивановна считала полезной — на спине, с лежащими поверх одеяла руками. Руки были длинные, узкие, и все тело мальчишески узкое, вытянувшееся под тонким одеялом. Грудь поднималась чуть заметно.

Наклонившись над постелью, Снегирев внимательно смотрел на Алешу. Так он простоял долго, сам не зная зачем и ничего, кажется, не желая. Вдруг веки у мальчика дрогнули.

— Спишь? — чуть слышно спросил Валерий Павлович.

Веки все дрожали, но теперь уже как-то иначе, чем прежде.

Валерий Павлович быстро выпрямился. Ему стало страшно, холод пробежал по спине, сердце пропустило удар, забилось быстро и опять пропустило.

Теперь он наверное знал, что Алеша не спит, но спросить его снова было уже невозможно.

Он на цыпочках вышел из комнаты, лег и вздохнул. Воспоминание дня медленно прошло перед глазами. Который час? Половина второго. Все хорошо. Найдите плавающие перед закрытыми глазами цветные пятна, вглядитесь в них, дышите ровно — и вы незаметно уснете. Не старайтесь уснуть, не думайте о бессоннице. Не беда, что вы не спите эту ночь, она будет лекарством для следующей. Человек не может не спать. «Все хорошо,— говорил старый доктор, лечивший его от бессонницы.— И с каждым днем становится лучше и лучше». Повторяйте эту фразу, пока не уснете. «Все хорошо, и с каждым днем...»

61

Толстые папки с бумагами, которые принес мне из редакции Кузин, прочно легли в ящик моего письменного стола — устроились надолго. Жизнь, застывшая, нашедшая свое воплощение в доносах, продиктованных злобой и страхом, в скрестившихся, поражающих своей непримиримостью письмах, отошла, отшумела, и на смену ей явилась другая жизнь, с другими волнениями и заботами. Но что-то осталось. Было ли это воспоминание о проводах Остроградского? Или чувство острой потери, хотя я почти не знал его, едва перекинулся несколькими словами? Или другое воспоминание — прозрачный, точно вырезанный кольцом на стекле профиль молодой женщины, оцепеневшей от горя? Молодежь, долго не покидавшая могилу? Не знаю.

Осталось то, что заставило меня поехать в Ленинскую библиотеку и вернуться с книгами Остроградского. Я не стал читать их, это были специальные труды, главным образом по ихтиологии. Но я перелистал их, как бы прислушиваясь к затаенной ноте, которая вела меня за собой, среди сложных, требующих специальной подготовки изысканий. Она легко нашлась в его книге о географических ландшафтах, которая была полна живописным пониманием русской природы. В статье «Где искать Атлантиду» я встретил мысль, что в каждой науке есть своя Атлантида, что догадка, кажущаяся фантастической, подчас важнее, чем строго логический путь. Но чем старательнее пробивался я через трудные страницы, тем больше хотелось увидеть за ними живого человека, знаменитого и неизвестного, с простой и сложной судьбой. Кто мог бы рас-

сказать мне о нем? Я позвонил Кузину и попросил его привести ко мне Лепесткова.

— Он сейчас не может. Очень занят.

И Кузин объяснил, что Ольга Прохоровна в больнице, Лепестков ездит к ней каждый день.

Прошла неделя, и я повторил свою просьбу.

— Его нет в Москве.

Я знал, что Лепестков просился в антарктическую экспедицию.

— И нескоро вернется?

— Почему нескоро? Он поехал за девочкой на Тузлинскую косу.

Я спросил, как здоровье Ольги Прохоровны.

— Не очень, но она уже дома. Я вам говорил, что приезжала женщина из Загорска?

— Нет. Какая женщина?

— У которой был прописан Остроградский. Она искала его.

— Зачем?

— Привезла реабилитацию. То есть не реабилитацию, а письмо из Верховного суда. Просят зайти за бумагами.

Через несколько дней он позвонил и сказал, что придет с Лепестковым.

— У него теперь много времени. Он ушел из ВНИРО.

Кузин ходил, хватаясь за живот, вогнутый, как в кривом зеркале, желтый и злой. Придя ко мне, он рухнул на диван и попросил грелку.

— Почему бы вам не полечиться голодом? Говорят, верное средство.

— Спасибо!

Он лечился у знаменитой аллопатки-гомеопатки, которая запретила ему сыр, а потом сказала, хлопнув себя по колену, что она умерла бы, если бы ей запретили сыр.

Лепестков опоздал. Он спешил, вьющиеся волосы еще больше завились и потемнели от пота. Теперь он был похож на фавна, но на очень русского фавна, в широких бесформенных штанах и в ковбойке с закатанными рукавами.

Я предложил ему вина. Он отказался.

— Жарко. Если можно, воды. Холодной, из крана.

Мы немного поговорили о кузинской язве.

— Лучше расскажите, что вы натворили,— ворчливо сказал Кузин.

— Ничего не натворил.

Выступая на заседании институтского совета, Лепестков прочитал первую главу своей книги. Обсуждение продолжалось два дня и кончилось тем, что он ушел из института.

— Значит, в Антарктику вы уже не поедете?

— Нет. Хотя это, без сомнения, устроило бы моих оппонентов.

— Где же вы будете работать?

— Вы же знаете.

— Говорите, говорите,— сердито закричал Кузин.

Лепестков засмеялся.

— Гладышев предложил мне лабораторию в Днищеве,— сказал он мне.

— И вы согласились?

— Почему бы нет? Теперь можно многое сделать.

Он знал, что мне хотелось поговорить об Остроградском, и начал рассказывать, сперва медленно, потом свободно и живо:

— Прочтите его последнюю работу в «Зоологическом журнале». Это трудно, но я помогу. Мы с Кошкиным сейчас приготовили памятку — список трудов Анатолия Осиповича с двумя вступительными статьями. Одна из них — моя. Там же и литература о нем. Осталось еще составить список животных и растений, названных в его честь.

— Рыбы?

— Главным образом. Но есть и бабочки. Я вам пришлю, когда выйдет.

Мы вышли на балкон, с которого открывался странный вид на Москву — сохранившиеся разгороженные садики Замоскворечья, а вдали, черные, поднятые к небу, похожие на гигантские саксофоны, трубы Могэса. Мы поговорили об этом контрасте, а потом вернулись к Остроградскому. Я не записывал, знал, что запомню.

— У меня сегодня мало времени,— сказал Лепестков, глядя на меня своими сразу и твердыми и мягкими глазами,— и я расскажу только о том, как пришел к Анатолию Осиповичу в первый раз.

Но он рассказывал долго. Стемнело, зажглись фонари. Прошел короткий дождь, опять стало душно.

...Двойной портрет вдруг представился мне: Снегирев — Остроградский, и в глубине — бесконечно далекие друг от друга люди, вглядывающиеся в будущее с ожида-

нием и тревогой. И, слушая Лепесткова, я думал о том, что и я был обманут и без вины виноват и наказан унижением и страхом. И я верил и не верил и упрямо работал, оступаясь на каждом шагу, и путался в противоречиях, доказывая себе, что ложь — это правда. И я тосковал, стараясь забыть тяжкие сны, в которых приходилось мириться с бессмысленностью, хитрить и лицемерить.

Вечер еще медлил, потом уступил, тяжелая медно-красная заря над Москвой потускнела, растаяла, и пришла ночь, пронизанная предчувствиями, исполненная надеждами летняя ночь.

1963—1964

Открытая книга. Часть третья. Надежды.— Впервые в сб. «Литературная Москва», кн. 2, М., 1956 — под названием «Поиски и надежды».

Семь пар нечистых.— Впервые в журнале «Новый мир», № 2, 1962.

Косой дождь.— Впервые в журнале «Новый мир», № 10, 1962.

Двойной портрет.— Впервые в журнале «Простор», № 2, 3, 1966.

СОДЕРЖАНИЕ

Каверин В. А.

К13 Собрание сочинений: В 8-ми т.— М.: Худож. лит., 1980.—

Т. 5. Открытая книга: Роман. Ч. III. Надежды; Семь пар нечистых: Повесть; Косой дождь: Повесть; Двойной портрет: Роман. 1982.— 510 с.

В том включены третья часть романа «Открытая книга», повести «Семь пар нечистых», «Косой дождь» и роман «Двойной портрет».

К $\frac{4702010200\text{-}319}{028(01)\text{-}82}$ подписное **Р2**

ВЕНИАМИН АЛЕКСАНДРОВИЧ
КАВЕРИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ВОСЬМИ ТОМАХ
ТОМ ПЯТЫЙ

Редактор
О. Новикова
Художественный редактор
Е. Ененко
Технический редактор
Е. Полонская
Корректоры
Г. Киселева и
О. Наренкова

ИБ № 2418
Сдано в набор 19.02.81. Подписано к печати 24.11.81. Формат 84×108 1/32. Бумага типогр. № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. 26,88 усл. печ. л., 26,88 усл. кр.-отт., 27,82 уч.-изд. л. Тираж 100 000 экз. Изд. № III—242. Заказ № 2729.
Цена 2 р. 10 к.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». ГСП, 107882, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19. Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
Москва, М-54, Валовая, 28

